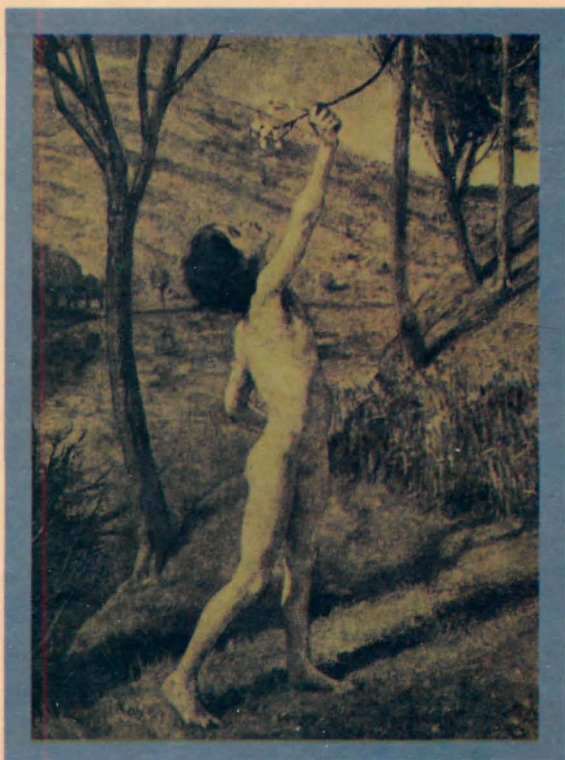


Германн фон Кайзерлинг



АМЕРИКА

Заря Нового мира

Санкт-Петербург
2002

Германн фон Кайзерлинг

АМЕРИКА
ЗАРЯ НОВОГО МИРА

Санкт-Петербург
2002

ББК 87
К15

Германн фон Кайзерлинг

Америка. Заря нового мира. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – 530 с.

ISBN 5-93597-046-5

Предлагаемое сочинение немецкого философа начала XX века Германна фон Кайзерлинга стало в свое время интеллектуальным событием в Европе и Америке. Книга посвящена анализу основных духовных и культурных тенденций, составляющих основу современного мирового состояния, отмеченного возросшим влиянием американского общества и самой страны на судьбы нашего мира.

Представляет интерес не только для философов и культурологов, но и для всех интересующихся проблемами современной истории.

ISBN 5-93597-046-5

© Санкт-Петербургское
философское общество, 2002
© О.А. Коваль, К.В. Лощевский,
перевод, 2002
© А.Ю. Семаш, оформление
обложки, 2002

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Основанное два года тому назад при Санкт-Петербургском философском обществе Издательство за столь недолгий срок своего существования сумело организовать широкую издательскую деятельность. Сформировано пять тематических серий, посвященных проблемам истории философии, феноменологии, культурологии и политической теории, в которых опубликованы произведения как современных отечественных философов, так и переводы зарубежных мыслителей. Помимо этого Издательство регулярно публикует сборники статей, посвященных актуальным проблемам современной гуманитарной мысли, материалы конференций и научных форумов. Всего издано более 80 книг и сборников.

Наряду с этим Издательство при поддержке Санкт-Петербургского философского общества и философского факультета Университета предприняло переводы сочинений зарубежных мыслителей, имена которых не только не известны в нашей стране искушенным знатокам западно-европейской философии, но даже в их собственных странах причисляются к числу мыслителей, доступных узкому интеллектуальному и культурному кругу. Почему это так — вопрос к специалистам, но эта элитарная исключительность не помешала данным философам оказать глубокое воздействие на культурную ситуацию нашего времени. К ним постепенно пробуждается интерес, по мере того как становится отчетливо ясным тупик и непродуктивность той линии духовного развития, которая отмечает движение нашей цивилизации.

Ныне Издательство предлагает публике первый результат этой переводческой работы — сочинение знаменитого в свое время немецкого культур-философа Германна фон Кайзерлинга «Америка. Заря нового мира».

В послесловии читатель найдет все необходимые первые сведения об этом мыслителе.

Издательство уверенно, что предлагаемое сочинение, в свое время ставшее интеллектуальным событием в Европе и Америке, не потеряло свое значение и интерес, особенно в контексте неизмеримо возросшего (до критических размеров) влияния американского общества и самой страны на судьбы нашего мира.

Редакционный совет
Санкт-Петербургского
философского общества

ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

Первоначально это сочинение было написано по-английски и предназначалось американскому читателю. Все то время, что я писал эту книгу, я ориентировался на особый менталитет именно этого читателя и никоим образом не исходил из немецких обстоятельств; в результате даже первоначальное название «America set free»^{*} оказалось непереводаемым. Зачем же в таком случае нужно немецкое или вообще неамериканское издание? Ответ вытекает из того факта, что сегодня мы живем в североамериканский период истории, такой же, по сути дела, исторический период, какими в свое время были египетский, эллинский, римский, германский, французский и английский. Этим я хочу сказать, что сегодня речь идет не о том, чтобы принять или отвергнуть Соединенные Штаты, а о чем-то прямо противоположном: лишь утверждаясь в отношении Соединенных Штатов, дух прочих культур может сохранять какое бы то ни было историческое значение. Такое утверждение предполагает необходимость его обсуждения, поскольку любая, даже самая незначительная жизненная проблема Соединенных Штатов касается нас всех.

Тот факт, что ныне мы живем в североамериканский период истории, обуславливает кардинальное изменение жизненных предпосылок — точно так же, как в свое время в результате победы христианства изменились жизненные предпосылки, бывшие характерными для античного мира. Это является решающим моментом и для Германии. Эпоху немецкого идеализма так же невозможно вернуть, как и времена классической Эллады. Подавляющее большинство того, что сегодня мыслится и пишется в

^{*} Америка освобожденная (англ.). Звездочками обозначены примечания переводчика, арабскими цифрами — автора.

духе немецкого идеализма, имеет столь же ничтожное значение, как и афинская диалектика послеконстантиновской эпохи. Мы живем в век самого радикального реализма всех времен: В другом месте я назвал его «эпохой духа, покорившего землю». Такой реализм означает первое действительно непосредственное обращение духа к своей истинной задаче, а именно — к одухотворению этой жизни. В отношении этой задачи удаленность от мира и бегство от него в лучшем случае представляют собой лишь благоприятные стартовые позиции. Тот, кто еще и сегодня, после того как идеализм самого различного толка проделал всю положенную ему работу, по-прежнему обращает свой взор к более высоким состояниям, вовсе не является человеком более высокого порядка: ему просто недостает благоразумия.

Дух Соединенных Штатов полностью соответствует новой эпохе. Однако в своем нынешнем облике он еще пребывает в некоей эмбриональной фазе. Поэтому, когда я писал эту книгу, мое первоначальное намерение состояло в том, чтобы проторить для американцев путь к их подлинному самоосуществлению. Почти все свои проблемы они вплоть до сегодняшнего дня видят в ложном свете, почти все цели, которые они пред собой ставят, сомнительны. Тем не менее тот способ, каким они ставят основные вопросы, почти во всех случаях является более продуктивным, чем тот, который характерен для Старого Света. Поскольку они в меньшей степени отягощены традицией, они могут более объективно и непосредственно рассматривать насущные проблемы нашего времени. Может возникнуть вопрос: каким же образом то, что было написано для американцев, может принести пользу и немцам, пусть даже Соединенным Штатам принадлежит будущее? Ответ будет следующим. То, что может помочь, наиболее интригует и вызывает к себе интерес именно тогда, когда оно заключено в чужеродную оправу. Отсюда необычность всех медитативных религиозных символов. Отсюда характерное для последнего времени столь плодотворное влияние восточного духа. Ведь мы все, независимо от того, знаем мы это или нет, живем в эпоху

той новой духовности, определение которой с той точностью, какая только представляется возможной, я даю в заключительной главе этой книги. А следовательно, не существует ни одной американской проблемы, которая самым непосредственным образом не была бы и нашей собственной. Это внутреннее основание той американизации, которая, несмотря на всю адресованную ей беспрестанную ругань, неудержимо распространяется на все вокруг. Однако Европа, и прежде всего Германия, американизируется сегодня по большей части в каком-то извращенном смысле. Поэтому правильная постановка американских проблем, чему и посвящена данная книга, оказывается непосредственно немецким делом. Разумеется, Германия никогда не станет американской провинцией; почему это исключено и почему Европа, и прежде всего опять-таки Германия, именно сейчас располагает возможностью обрести величайшее значение в своей истории, я показал в своей книге «Спектр Европы». Но Европа сможет целенаправленно продвигаться по своему новому пути лишь в том случае, если благодаря столкновению с Америкой она переживет определенное возрождение. А поскольку такое столкновение необходимо во всех областях и сферах, то буквально каждая американская проблема, повторюсь, имеет отношение к Европе.

Однако есть и еще одна причина, по которой я желаю, чтобы эту книгу прочло как можно больше немецких читателей. Поскольку я писал ее для людей с открытыми и простыми душами, чуждыми мудреной немецкой учености и поскольку — для того, чтобы книга была более понятна, я счел своим долгом не только имплицитно, но и эксплицитно почти полностью изложить свое мировоззрение и восприятие жизни, — «Америка» представляет собой первое по-настоящему общедоступное изложение моей философии. А последние главы содержат нечто еще более значительное: квинтэссенцию того, что я могу сказать о проблемах морали, культуры и духовности. Заключительная же глава занимает особое место, ибо в ней я так ясно, как никогда ранее, высказал самые принципиальные для меня мысли.

В заключение я хотел бы выразить публичную благодарность моей коллеге Терезе Дюрр. Она помогала мне в редактировании английского, а потом и немецкого текстов. Будучи способен мыслить и писать на многих языках, я в то же время абсолютно не в состоянии переводить. Госпожа Дюрр перевела для меня «America set free» на немецкий. Впоследствии я обработал ее первоначальный текст в соответствии со своим стилем, что предоставило мне прекрасную возможность кое-что сократить, уплотнить и внести иные улучшения.

Дармштадт, лето 1930 года
Герман Кайзерлинг

ВВЕДЕНИЕ

Все творческие умы во все времена, когда дело касалось чего-либо существенного, поступали в соответствии с принципом Лао-цзы: «Оказывать воздействие, не вступая в споры»; при этом не имеет значения, были ли они основателями религий, требовавшими веры, государственными мужами или полководцами, требовавшими послушания, или же, будучи поэтами и мудрецами, невозмутимо выражали свое знание, не заботясь о мнениях и возражениях всего мира. Сегодня этот факт получил научное объяснение: всякое творческое воздействие основывается на внушении, а оно имеет место только там, где сознание полностью открыто влиянию извне. Это в равной мере относится как к физическому порождению, так и к преобразованию души посредством слова и дела. Когда учитель мудрости требует, чтобы ученик медитировал над данным ему высказыванием, то есть не размышлял над ним, а был внутренне захвачен, буквально одержим этим высказыванием; когда тонкий знаток человеческой психологии как бы невзначай роняет особенно важную для себя мысль, ибо знает, что тогда она вызовет минимальное сопротивление, а потому будет наиболее убедительной; когда, наоборот, диктатор парализует посредством террора всякую направленную против него инициативу — с технической точки зрения во всех этих случаях речь идет об одном и том же. И этим объясняется также и то, почему все творческие умы были враждебны дискуссиям, а когда они до них снисходили, то преследовали совершенно иные цели, чем полагали их партнеры, — они видели в них либо предохранительный клапан (таковы парламент и пресса с точки зрения Бисмарка), либо средство истощить силы своего противника и именно таким образом освободить путь для суггестивного воздействия (метод Будды): от договоров и компромиссов дитя не ро-

дится. Но ведь нечто подобное рождению ребенка и составляет цель творчества.

Однако нет никакого сомнения в том, что типичная антипатия творческих умов отнюдь не решает проблемы спора в самом широком смысле, от словесного до силового, которым, по сути дела, и является война. Иначе враждебность к дискуссии была бы правилом, а не исключением, во всяком случае, не таким исключением, которое едва ли когда-либо будет понято и благосклонно оценено большинством. Последнее же, наоборот, испокон веков придерживалось того мнения, что столкновение в споре весьма плодотворно. И сколь бы ни многочисленны были случаи, доказывавшие, что такие столкновения не приводят ни к чему хорошему, общественное мнение упорно держится за этот удобный для себя предрассудок. А следовательно, этот предрассудок должен основываться на каком-то опыте. Но между суждением, основывающимся на этом опыте, и констатацией, которой открывается данное введение, нет никакого принципиального противоречия. Дискуссия настолько, и лишь настолько плодотворна, насколько в конечном итоге она приводит к тому же самому, к чему и рассмотренное нами в первом случае внушение. То есть в той мере, в какой благодаря обмену мнениями возникает нечто новое.

Дискуссия действительно может вызвать это новое. И в этом заключается единственное оправдание войны, архетипической формы всякой дискуссии. При поверхностном рассмотрении трудно понять, каким образом война, которая не завершилась полным уничтожением противника, могла бы исполнить свое предназначение — соответствовать своему смыслу. В действительности же, на всем протяжении истории исключительно такие, с материалистической солдатской точки зрения, завершившиеся вничью войны оказывались плодотворными и, следовательно, осмысленными, отчего уважение к врагу и милосердие к побежденным с незапамятных времен были основными императивами всякой военной этики — лишь невоинственные народы и эпохи воспринимали это иначе (в каком-то обстоятельстве заключается главное объяс-

нение низости современной войны на тотальное уничтожение). Такое положение вещей находит свое объяснение в том, что подлинной целью войны является не уничтожение противника, а изменение соотношения сил, каковое со своей стороны по-настоящему, то есть на длительный период, возможно только на основании определенных душевных превращений. Последние же являются естественным и необходимым следствием плодотворного психологического воздействия. И в этом смысле, как только люди на равноправной основе вступают в длительные напряженные взаимоотношения друг с другом, это взаимное превращение становится неизбежным и ведет к какому-нибудь разрешению существующего напряжения. Ибо, хотя бы они того или нет, как бы они ни стремились замкнуться, отделиться друг от друга, длительное напряженное отношение как таковое приводит к их общности. И это означает наличие некоей возвышающейся над партнерами действительности, которая должна тем глубже изменять их, чем более интенсивным является напряжение и чем дольше оно существует. Отсюда сходство супругов, возникающее в процессе их семейной жизни; отсюда и типичное духовное покорение победителей побежденными, осуществляющееся на том уровне, на котором последние превосходили первых, от эллинизации римлян и персизации арабов до ставшего следствием мировой войны опруссачивания западных держав. В этом отношении не имеет никакого значения, отмечено ли напряжение знаком любви или же, наоборот, ненависти; и те и другие в равной степени обладают творческим потенциалом и к тому же моментально переходят одно в другое, ибо в ином случае примирение врагов, честно сражавшихся друг с другом, было бы редчайшим исключением, а не всеобщим правилом.

Тем самым мы уже практически достигли самой сердцевины проблемы дискуссии (понятой в самом широком смысле): то, что может сделать диалог плодотворным, отнюдь не столкновение как таковое. Напротив, столкновение лишь настолько обладает определенной ценностью, насколько оно является выражением общности. Ибо на-

пряжение тогда, и только тогда является творческим, когда оно находит свое нормальное разряжение в создании чего-то нового.

Исходя из этого, мы можем первым делом установить, какой род диалога является безусловным злом: таков любой из них, не протекающий в духе вышеозначенной общности. Война, в которой один противник не рассматривает другого как равноправного, — это не война, а организованное убийство. Этим объясняются почти исключительно негативные последствия мировой войны: большинство народов вели ее как убийцы и грабители. Точно так же абсолютным злом является всякий спор, в котором хотя бы один из партнеров рассматривает как последнюю инстанцию не достойного уважения человека, а предполагаемую ошибочность иного, нежели его собственное, мнения. Несомненно существует нечто безусловно ложное; несомненно истина должна восторжествовать. Но это требование имеет смысл лишь в области объективной логики — здесь, наоборот, нелепо спорить, ориентируясь на человека, ибо в таком случае партнеры произвольно «персонализируются», а решающей в этой сфере может быть лишь объективная точка зрения. По этой причине я отвергаю личные столкновения с целью объективного познания, а в научных конгрессах, если уж они и представляют собой нечто большее, чем просто одно из средств распространения результатов научных исследований, вижу какой-либо смысл лишь тогда, когда главным является не полемика, а благородное общение. Точно так же абсурдны и прения после доклада, в котором содержится нечто новое, не стоит дискутировать с тем, от кого хочешь научиться новому: плодотворное влияние может быть достигнуто лишь благодаря тому, что одна сторона уступает и растворяется в другой, подобно мужчине и женщине, ибо однозначная установка на защиту собственной точки зрения, или на желание-больше-или-меньше-знать, или даже на одно лишь размышление действует в данном случае как своего рода зеркало, отражающее абсолютно все падающие на него лучи. То же самое относится и к дискуссиям в сфере науки. Но абсо-

лютно глупо дискутировать с намерением опровергнуть оппонента там, где объективная истина не может быть последней инстанцией в силу самой природы вещей. А так обстоит дело всюду, где одно жизненное единство как таковое противостоит другому; ибо ни одно из них не может отказаться от своей точки зрения, поскольку в таком случае оно отказалось бы от самого себя. Среди многих нелепостей, которыми сопровождалась эпоха мировой войны, самая чудовищная, несомненно, заключалась в том, что один народ предпринимал попытки «опровергнуть» другой. Такой образ мыслей не мог не породить совершенно чудовищного требования уничтожения своего противника, ибо тем самым просто уничтожалась бы опровергнутая ошибка, а тот факт, что она могла находиться по ту сторону «ложного», был совершенно недоступен сознанию ослепленных людей того времени. В том же самом заблуждении берет начало еще и сегодня бушующий спор о французском «*droit*»* и немецком «праве»: здесь просто — только спроецированные в представлении на уровень юридической теории — противостоят друг другу (основополагающие) жизненные необходимости двух народов, ни один из которых никогда не сможет признать правом то, что выносит ему смертный приговор. В области, где жизнь противостоит жизни, существуют лишь два вида дискуссии, которые не являются абсурдными: война как общность под знаком ненависти или любовная игра.

Таким образом, теперь мы в состоянии точно и недвусмысленно определить, когда дискуссия может быть плодотворна и на витальном уровне. Она может быть таковой только тогда, когда один человек так же мало пытается «опровергнуть» другого, как мужчина, обладающий женщиной, и наоборот; когда никто не надеется убедить другого и когда, несмотря на это, дискуссии не сопутствует атмосфера равнодушия. Три эти принципа любой возможной плодотворной дискуссии, несомненно, совершенно чужды девяности процентам всех тех, кто ожидает

* Право (фр.).

от прений и диспутов всяческого счастья. Тем не менее они обладают безусловной значимостью. Но означают они нечто совершенно иное, нежели те принципы, сторонниками которых объявляют себя склонные к договору и компромиссам политики: ибо не уравнивание партнеров в их *status quo* является целью и итогом следования вышеозначенным принципам плодотворной дискуссии, а возникновение чего-то нового как результат контакта между ее участниками. Это новое может возникнуть либо благодаря тому, что партнеры внутренне меняются и таким образом становятся иными, нежели были прежде, либо благодаря тому, что они порождают по-новому ориентированное поколение. Следовательно, дружеская дискуссия лишь тогда достигает своей цели, когда выражает ту же самую установку, что и война, но только с обратным знаком. А это означает: если жизнь просто сопоставляется с жизнью. Объективный результат может получиться только сам собой, то есть родиться из чрева бессознательного, подобно тому как ребенок сам собой возникает как плод любви.

А из этого совершенно определенно следует, какой стиль или какая техника годятся для плодотворной дискуссии. Партнеры должны относиться друг к другу точно так же, как, с одной стороны, творческий, а с другой — пассивно восприимчивый дух, ибо последний хочет учиться, а первый — оплодотворять. Они должны совершенно естественно, отбросив любые щиты и доспехи, полностью открыться воздействию друг друга; при этом никто из них ни в коей мере не отказывается от того, что он «есть», подобно тому как женщина, отдаваясь мужчине, не утрачивает своей самости; а то, чем он не является, но отстаивает как представление, не может сразу же целиком и полностью исчезнуть. Следовательно, постоянные дискуссии вовсе не исключали позитивного результата. Вот один большой пример из сотен тысяч не столь значительных: в эпоху поздней античности все тогдашние культурные народы открыли свой дух и душу влиянию друг друга. И к чему же это привело? Во все не к синкретизму и не к эклектизму, хотя, разумеется, эти явления перво-

начально и имели место, но затем очень быстро исчезли по причине своей безжизненности. Результатом было возникновение единого христианского мира, в котором все то, теоретически несоединимое, в обсуждении которого истекли кровью легионы духовных бойцов, было сплавлено в едином живом синтезе.

Почему же в качестве предисловия я предпослал своей книге все эти общие рассуждения? Потому, что по своей сути эта книга не об Америке, а для американцев, и потому, что возможность ее плодотворного воздействия зависит в первую очередь от первоначально правильной установки ее читателей. Когда я готовился к своему путешествию по Соединенным Штатам, в ходе которого я должен был прочитать цикл лекций, меня попросили указать темы моих выступлений. Я ответил: «У меня их нет; я не представляю какую-либо философскую теорию; я — философ, а это означает, что центр моего сознания естественным образом заключается в понимании, подобно тому как центр сознания *grand amoureuse** заключен в любви, художника — в его видении, а бизнесмена — в постижении правильной корреляции материальных ценностей. Поэтому для меня не имеет принципиального значения, какой проблемой я в данный момент занимаюсь. Разумеется, я в состоянии справиться далеко не со всеми из них. Но когда определенный предмет попадает в поле моего зрения, я, естественно, в соответствии со своими способностями, способен его рассмотреть. Причина этого в том, что философское рассмотрение никоим образом не занимается объективным содержанием как таковым; рассмотрение того или иного предмета является философским либо нефилософским, в зависимости от того, является или не является философским тот особый угол зрения, под которым он рассматривается. Я же по самой своей природе импровизатор; кроме того, в своих докладах всегда преследую только одну цель: помочь другим.

* Человек, испытывающий к кому-либо или чему-либо огромную любовь (*фр.*).

Если я не чувствую живой необходимости в своем мнении, я ничего не скажу: о своей личной точке зрения я предпочел бы умолчать. Поэтому пусть те, кто собирается меня слушать, сами решат, обсуждение какой темы было бы, по их мнению, наиболее полезным, и в форме, которая могла бы меня заинтересовать, напишут мне об этом: тогда, и только тогда я смогу принести максимальную пользу, какой бы ценностью ни обладали мои рассуждения сами по себе».

Все произошло, как я и ожидал. Мне были предложены самые разумные вопросы. Выступая с докладом, я почти всегда ощущал непосредственный контакт с аудиторией; поэтому я практически ни разу не выступал с одним и тем же докладом дважды, даже если анонсированные в газетах темы различных выступлений совпадали. Но главное — такой образ действий позволил мне вступить в непосредственный контакт с глубинами американского бессознательного. А следовательно, он предоставил мне все, что я только способен был воспринять. Во всяком случае, надо полагать, я куда больше получил, чем дал. Я был поставлен перед совершенно новыми для себя жизненными проблемами. Мне открылись вопросы, постановка которых едва ли могла когда-нибудь прийти мне в голову. Еще в ходе самого путешествия по Соединенным Штатам я почувствовал, что меня переполняет множество самых различных мыслей. И, едва вернувшись в Европу, я уже знал, что вскоре смогу представить в завершенной форме то, что я способен предложить американцам в качестве ответного дара, который должен был бы выразить всю ту благодарность, которую я испытываю к ним за подаренное мне богатство впечатлений. Я немедленно приступил к работе. Все те духовные дети, которые в облике глав этой книги один за другим появлялись на свет, были в высшей степени удивительными и для меня самого: в моем бессознательном сформировалось нечто новое.

Результаты, к которым я пришел, были в высшей степени личными и субъективными; даже абзац, открывающий первую часть этой книги, покажет читателю, как мало иллюзий я питал относительно собственной непогреши-

мости. Но, с другой стороны, вся ценность, которую человек, подобный мне, может представлять для другого, состоит в его субъективности и безусловной правдивости. В главе «Вселенская напряженность и мировое превосходство» своей книги «Возрождение» я писал о человеческом типе, который стремится выпестовать школу мудрости: «Он должен казаться эксцентричным, ибо с точки зрения современности он воплощает стихию разрушения. У большинства людей он вызывает постоянное раздражение именно потому, что он мудр. Китайцы, знающие толк в мудрости больше, чем какой-либо другой народ, обозначают мудреца при помощи комбинации двух иероглифов, один из которых означает ветер, а другой молнию: мудр не рассудительный старец, утративший все иллюзии, а тот, кто, подобно ветру, неумолимо стремится вперед и нигде не может остановиться; который, подобно молнии, очищает воздух и бьет, когда это необходимо». Этим же отчасти объясняется и мое пристрастие к вызывающим средствам выражения. Очевидно, что первейший долг всякого человека, полагающего, что в каком-либо отношении он видит и оценивает вещи в более правильном свете, чем остальные, состоит в том, чтобы не приспособливаться к предрассудкам других; он должен предпочесть оказаться самым ненавидимым человеком мира, чем быть «популярным». Однако главная причина, почему я высказываю то, что считаю истинным, нисколько не скрывая при этом субъективного истока своих убеждений, изложена в первой части настоящего введения. Я хочу внести свой вклад в прогресс Америки. И с этой целью должен, по возможности, сообщить своим словам свойства, которые были характерны для того, что эллины называли *Logos spermatikós**. А то, соответствуют ли действительности все приводимые мной факты, не имеет для меня принципиального значения. Весьма вероятно, что во многих случаях они ей не соответствуют. И не только потому, что моя осведомленность ограничена, но прежде всего потому, что я, чтобы мое воздействие было более плодотворным, вы-

* Плодотворный логос (греч.).

нужден был в зависимости от обстоятельств многое упрощать, утрировать и даже изображать в карикатурном виде; то, что многим может показаться недостаточной осведомленностью, часто является сознательно избранной художественной формой. Но я не стремлюсь и к расщудочному убеждению: в каждом отдельном случае для меня важно, вовлечь моих читателей в процесс «творческого познания». Сопровождается ли достижение этой цели одобрением моей точки зрения или ожесточенными нападками на нее, не имеет никакого значения. Чтобы полностью прояснить мои намерения, мне, пожалуй, будет достаточно сказать несколько слов о том эффекте, который произвела на интересующем нас континенте моя книга «Спектр Европы». Большинство ее читателей придерживаются того мнения, что из всех стран хуже всего я обошелся со Швейцарией; и поскольку я очень хорошо знаю эту страну, то сам ясно вижу, что многие мои суждения страдают односторонностью. Но я преследовал только одну цель: способствовать переменам. И именно это мне удалось. Нигде не читали эту книгу так много, как в Швейцарии; она вызвала там бесконечные дискуссии и обсуждения. Уже через полгода после ее выхода в свет возник довольно значительный разрыв между теми швейцарцами, которые стремятся к лучшему будущему, и теми, которые удовлетворены настоящим. На большее я и не надеялся. Так же мало меня огорчали и непонимание, и те нападки, которым я подвергался. Чтобы полностью разъяснить своим читателям, по всей вероятности, в большинстве своем не приученным ставить себе в заслугу наличие у себя врагов, что я имею в виду, возможно, будет нелишним привести одну цитату из еще одной моей книги. Во введении ко французскому изданию своего «Путевого дневника» я писал: *«J'ai souvent répondu à ceux de mes amis que chagrinaient les malentendus dont j'étais l'objet: «Le malentendu est, la première incarnation légitime de toute vérité». Il me semble vraiment ridicule, qu'un novateur – si modeste qu'il soit comme tel – se plaigne de n'être pas compris: l'âme étant un organisme vivant, elle ne peut assimiler que ce qui lui convient. Et si un élément étranger est introduit dans son système, il produit des troubles dont*

*l'intensité est directement proportionnelle à sa force propre. Dans ce sens, j'ai toujours été reconnaissant envers ceux qui ont bien voulu m'honorer de leurs attaques. Jamais je n'ai cru nécessaire de défendre: ou bien la drogue que je représent agit; ou bien elle n'agit pas»**.

В соответствии с этим «Америка» есть все что угодно, только не критическая книга; единственной ее целью является творческое воздействие. В первую очередь это книга не об Америке, а для американцев. Я хотел бы им помочь более ясно и отчетливо увидеть свои проблемы и самих себя, чем это им удавалось до сих пор. И с этой целью довольно часто в более популярной форме излагал те свои идеи, которые в менее доступных формулировках содержатся в других моих книгах; тем самым я хотел совершенно определенно показать, каковы, по моему мнению, истинные проблемы Америки с чисто американской точки зрения. По этой же причине я даже отважился писать по-английски; лишь некоторые разделы изначально были написаны по-немецки, а затем переведены на английский переводчицей моего «Творческого познания» госпожой Терезой Дюрр. Разумеется, я не владею этим языком, как им должен владеть писатель. Но, с другой стороны, я думаю на английском не только тогда, когда непосредственно говорю с англоязычной аудиторией, но даже тогда, когда я мысленно обращаюсь к этим людям и их проблемам. А поскольку мысль невозможно по-настоящему перевести с одного языка на другой, ибо каждый народ мыслит своими собственными, не такими, как все остальные, мыслями, для меня было невозможным писать

* «Я часто отвечал некоторым моим друзьям, которые горевали по поводу того, что не понимают меня: непонимание есть первое законное воплощение истины. Мне кажется действительно смешным, что некий новатор - как бы он ни был скромен - жалуется на непонимание: душа, будучи живым организмом, приемлет лишь то, что ей подходит. И если чуждый элемент внедряется в систему, он причиняет беспокойство, интенсивность которого прямо пропорциональна его собственным силам. В этом смысле, я всегда был признателен тем, кто хотел почтить меня своими нападениями. Я никогда не считал необходимым защищаться: либо snadо-бья, которые я предлагал, подействуют, либо нет.»

по-немецки и в то же время для американцев. Надеюсь, по этим причинам мои читатели проявят снисхождение к моему английскому стилю.

А теперь пришел момент свести воедино те общие рассуждения, с которых я начал данное введение, и разъяснения, которые я должен был дать читателям для понимания специфического характера этой книги. Если читатели хотят извлечь из нее пользу, они должны представить себе, что они именно в том единственно плодотворном смысле, что был очерчен мною выше, вступили со мной в дискуссию. По-английски я озаглавил книгу «America set free». Фактически она стала для Соединенных Штатов своего рода сеансом психоанализа¹. Я попытался отделить истину Америки от ее фантазий, а затем указать ей направление развития, которое в абсолютном смысле вело бы вперед и вверх. Поэтому вопрос о том, прав или не прав я объективно, с разумной точки зрения вообще не мог быть поставлен — никакое психоаналитическое толкование никогда не бывает правильным в этом смысле: оно истинно только в той мере, в какой дает новые силы анализируемому. Поскольку же я стремился лишь к одной цели — содействовать улучшению ситуации — и поскольку мои читатели, если они уделяют мне внимание, могут с разумной точки зрения также преследовать лишь одну цель: извлечь как можно больше пользы из сочинения — во всем прочем, возможно, весьма неприятного — иностранца, то почему бы им не прислушаться к моим пожеланиям? Пусть сначала они займут пассивную и чисто рецептивную позицию и подождут, что произойдет. Если действительно случится нечто нежелательное, то всегда будет достаточно времени, чтобы подвергнуть меня критике и в конечном счете со мной разделаться. Но почему бы сначала моим читателям не предоставить мне *fair chance**? Отказать мне в нем, несомненно, было бы противно самому духу Америки.

¹ Французское издание, вышедшее в свет в издательстве при библиотеке Шток, даже так и называется - «Psychoanalyse de l'Amérique».

* Честный шанс (англ.).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

АМЕРИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТ

Впервые открыть Америку было не так уж трудно. Мысль о том, чтобы найти новый континент или проложить новый путь к уже известному, прямо-таки носится в воздухе. Людей, жаждущих приключений, всегда достаточно, и я полагаю, что не нанесу какого-либо ущерба тому благоговению, которое подобает великому, если скажу, что сомневаюсь, что в течение всего своего жизненного пути Колумб имел возможность выказать такое же мужество, какое проявляет какой-нибудь безвестный фотограф, снимающий нападающего на него тигра. Однако не эта сторона вопроса составляет предмет моего исследования. Колумбу было сравнительно легко в подлинном смысле слова открыть Америку, то есть по-настоящему ее увидеть, понять, ибо он не в слишком большой степени разделял те предубеждения, которые могли бы замутить его взгляд; насколько мне известно, ему был присущ один-единственный предрассудок, которому можно было бы придать какое-либо значение: что Америка — это Индия. А поскольку именно этот предрассудок привел его к открытию Америки, то едва ли можно утверждать, что этот предрассудок причинил ему какой-либо вред. Для всякого, кто приступал к открытию Америки после Колумба, задача усложнялась (а каждый отдельный человек должен заново открывать для себя все то, что уже было некогда открыто, ибо каждый отдельный человек проживает свою собственную, особенную жизнь), поскольку для того, чтобы достичь истины, вновь прибывший вынужден пробиваться сквозь все более и более плотные и густые слои предрассудков как в собственной душе, так и в душах посещаемых им народов. С каждым новым поколением эти предрассудки все более погружаются в сферу

бессознательного, лишаясь тем самым всякого шанса на исправление. Наконец лишь более чем сверхпроницательному взгляду удастся обнаружить истину под спудом столь обширного накопленного опыта. Ибо, говоря в общих чертах, фактическое знание лишь тогда хорошо, когда оно следует за пониманием, а не предшествует ему; только понимание составляет подлинное знание, но его невозможно получить из знания фактов. Не только потому, что никакая статистика не может объяснить отдельного случая, а соответствующее действительности отражение той или иной ситуации может дать лишь знание всех без исключения фактов, имеющих место как в настоящем, так и в прошлом и будущем, но прежде всего потому, что лишь правильное толкование предоставляет фактам ценность действительности. Вспомним известную книгу Кэтрин Майос «Mother India»*. Мне известно не много более несправедливых книг. И все же я убежден не только в том, что большая часть содержащихся в этой книге фактов, если не все они, соответствует действительности, но даже в том, что в защиту отстаиваемой ее автором концепции можно было бы собрать еще больший фактический материал. Беда в том, что у этой почтенной дамы отсутствует даже толика понимания того смысла, который лежит в основе описываемых ею фактов. Она судит об Индии с точки зрения своих американских буржуазных предрассудков, и, пока они не устранены, всякое понимание исключено.

Естественно, приступая к своему персональному открытию Америки, я все это знал. Поэтому перед тем, как отправиться в путь, я читал об Америке так мало, как это только возможно. Во время путешествия я едва ли не с маниакальной тщательностью отстранялся от всяческих «знаний». Под любым предлогом уклонялся от осмотра общеизвестных достопримечательностей. Я практически не задавал вопросов. Мне удалось не встретиться ни с одним из людей, слывающих великими, благодаря тому, что их, как говорят в Америке, видно издалека. Я почти не

* Мать Индия (англ.).

выходил в свет. Я прочел едва ли одну газету. По мере сил берег свое сознание от случайных впечатлений. Насколько это было возможно, придерживался тех чисто рецептивных, обращенных внутрь установок, из которых в свое время возник мой «Путевой дневник»; я сознательно обращался лишь к бессознательной стороне американской жизни. А в своей умственной деятельности я полагался исключительно на интуицию — единственную функцию, вступающую в непосредственный контакт со всей целостностью жизни. Несмотря на это, у меня нет полной уверенности, что во всех случаях мне удавалось достичь правильного понимания. Прежде всего я пробыл в Соединенных Штатах слишком долго — целых четыре месяца. Интуиция же схватывает то, что она схватывает, мгновенно: она вообще не нуждается в протяженном во времени опыте. Такова одна сторона вопроса. Но у него есть и другая сторона: никогда нельзя знать заранее, правильно ли интуитивно полученное понимание или ложно. Его ценность может быть доказана лишь опытом.

Поскольку эта книга в той мере, в какой она посвящена вещам, увиденным своими глазами, а не порожденным изнутри идеям, едва ли не целиком представляет собой книгу интуиции, будет полезно, если я наряду с преимуществами интуитивной установки укажу и на некоторые исходящие от нее опасности; возможно, самым простым в этом отношении будет несколькими штрихами нарисовать картину американского образа мышления. Ни один народ не проявляет в своей духовной деятельности такого здоровья повсюду, где дело касается социальных и экономических вопросов, тем более что его сыновья и дочери от природы и благодаря воспитанию являются отличными психологами. Американский образ жизни — в рамках обычной для американцев деятельности — развивает практическое знание человека как никакой другой после заката Оттоманской империи; ибо и в старой Турции на ответственные посты выдвигались, как правило, достойные люди, причем также не на основании проверенных профессиональных знаний, а благодаря их общечеловеческим качествам. Одна американская техника

рекламы, бесконечно превосходящая европейскую не только своим количеством и эффективностью, но и своим хитроумием, доказывает высокие психологические способности американцев. Но, с другой стороны, можно сказать (что в ином смысле можно отнести и к британцам), что американцы вообще не мыслители, и это даже не учитывая отсутствия какого-либо существенного интереса к чисто теоретическим и абстрактным вопросам, каковое отличает все преимущественно практические народы. Зависит ли это от того, что американская жизнь определяется прежде всего социальными аспектами, или от того факта, что она в большей степени направлена на будущее, а не на прошлое, или от ее темпа, или от всех этих вещей вместе взятых, но главной функцией американского духа является не мышление, а интуиция. Фактически о людях как о живых целостностях можно судить лишь интуитивно. Лишь интуиция, а не рефлексия позволяет предвидеть будущее, дефицит времени лишает последнюю всякой ценности для практических целей. Это же является причиной той примечательной особенности, что средний американец мыслит — если вообще мыслит — газетными заголовками (*headlines*); в столь чрезвычайно развитой в американской прессе технике заголовков я вижу не какое-то особенное явление, а еще одно подтверждение того, что американский дух работает посредством своего рода духовной стенографии. Заголовки представляют собой кристаллизацию интуиций, а не мыслей; поэтому они самодостаточны и не нуждаются ни в каком развитии или разъяснении. Они находятся на той же самой стадии, что и китайские идеограммы — с тем лишь отличием, что последние суть концентрированное выражение духовной мудрости, а первые отражают интуицию человека с улицы. Если интуиция достаточно проницательна, чтобы просто обнаружить истину, она ведет к ней самым быстрым путем. Однако если она проходит мимо истины, исправить это едва ли возможно. Ведь интуиция как в своей активной, так и в своей пассивной модальности действует в течение исчезающе короткого мига, а результаты ее деятельности кажутся истинными или лож-

ными в первую очередь в силу психологических, а отнюдь не логических критериев; поэтому подтверждения или опровержения, проводимые на уровне рефлектирующего мышления, имеют не слишком большое значение. В самом деле, ни доказательство, ни опровержение не в состоянии погасить витальное воздействие удачного лозунга. А поскольку американец, когда он вообще проявляет заинтересованность, заинтересован витально, это означает, что для него это воздействие само по себе чрезвычайно много значит. Если же мы применим эту абсолютную истину к «человеку с улицы» и вспомним при этом о том, что он воспитан на газетах по большей части весьма сомнительного качества, то мы приходим к выводу, что для этого типа эффект имеет зачастую куда большее значение, нежели истина; что со своей стороны не может не развить вкуса и стремления к сенсации. Кроме того, это способствует тому, что этот человеческий тип должен в чрезвычайно высокой степени мыслить посредством лозунгов. Лозунги всегда подразумевают абстракции и поспешные обобщения. В результате человек, для которого они составляют главную радость, очень часто проходит мимо истинного смысла ситуации, непосредственное понимание которого составляет главное преимущество интуитивного дара. В конечном счете такой человек всякий раз, когда он излагает свои мысли, начинает казаться плоским и напоминает неодоушевленный механизм.

Из наших наблюдений а priori следует, что духовная деятельность среднего американца должна обнаруживать определенные органически обусловленные недостатки; и в самом деле, их наличие можно констатировать во всех типичных случаях. Конечно, для среднего американца имеет меньшее значение, чем для большинства европейцев, истинно ли то, что он читает или — если сообщение новостей составляет его профессию — что он пишет. Для него характерно бесчисленное множество предрассудков (лозунги как дешевые обобщения всегда подразумевают предрассудки), и он держится за них с невероятным упорством; ведь по-настоящему удачный шлягер надолго застревает в голове. В конечном счете его зависимое мышле-

ние редко бывает интересным. Поэтому по-настоящему адекватным ему выражением является именно лозунг. Лишь это объясняет, каким образом американские издатели без каких-либо затруднений определяют, сколько слов должно содержать обсуждение той или иной темы, и заказывают статьи определенного размера; эта практика была бы невозможна, если бы обращение с содержанием статьи под каким-либо заголовком не означало бы для среднего американца некоей чистой манипуляции, которой можно механически обучать и обучаться. Ибо основанная исключительно на интуиции духовная жизнь точно так же имеет свои границы, как и всякая жизнь, базирующаяся на какой-нибудь единственной функции. Здесь следует упомянуть еще один сводящийся к тому же самому обстоятельству недостаток. Во всех случаях, когда зрители или слушатели обладают одинаковой психологической структурой, мышление посредством заголовков выдерживает *pragmatic test*^{*}. Индивидуальная интуиция обладает наибольшей способностью к адаптации из всех духовных талантов. Между тем интуиция, разменивая себя на мелочь нескольких незначительных лозунговых типов, утрачивает всяческую способность к трансляции. По этой причине американцу труднее, чем большинству других людей, приспособить свои методы бизнеса к новому национальному окружению; он всегда остается миссионером, будь то проповедник, торговец или газетный хедлайнер. По этой причине от него настолько часто ускользает смысл неамериканских форм жизни и мышления. Это одно из самых интересных явлений, которые мне встречались: народ, по самой своей сути расположенный к интуиции, оказывается в то же самое время, по существу, неспособным к адаптации.

Поскольку я сам интуитивист, я, вне всякого сомнения, в определенной степени склонен к тому, чтобы впасть в заблуждения на американский манер. В особенности я склонен к широким обобщениям. Лично я, насколько

^{*} Прагматическое испытание (англ.).

ко я способен, пожалуй, держу ухо востро относительно имманентных недостатков склада своего ума; однако мне представляется правильным предостеречь от них читателя. Не из так называемой скромности — сознательное вранье мне не свойственно, — а по следующим основаниям: если мои читатели читают меня не слепо веруя, а используя мой ум, словно бы увеличительное стекло, которое то там, то тут искажает истинные пропорции, то им мои наблюдения будут полезны при любых обстоятельствах, прав я в данный момент или нет; тогда они начнут мыслить самостоятельно. Тогда моим читателям, быть может, откроется, почему я допустил те или иные ошибки, и тогда истина восторжествует несмотря на мои заблуждения. Разумеется, это произойдет почти наверняка, если они, пока на меня обращено их внимание, будут держать в уме лейтмотив введения к этой книге, а именно ту идею, что человек лишь тогда извлекает пользу из мысли другого человека, когда он слушает или читает его, не готовясь вступить с ним в полемику, а руководствуясь чисто рецептивной установкой, пребывая во внутренней готовности к импульсу, который, возможно, будет для него плодотворным.

Сказанного, наверное, достаточно для введения в последующее. Я хочу беспристрастно рассказать о том, что я видел и чувствовал. Я хочу показать свое сугубо личное видение американского ландшафта, вне зависимости от того, что, быть может, видели и думали другие.

Прежде всего — что такое американский ландшафт? Это не ландшафт в узком смысле слова. Это не то, что фанатики воспитания с такой готовностью и поспешностью называют «средой». Ландшафт обитаемого континента представляет собой результат взаимодействия природы и человека.

В различных обстоятельствах этот результат в большей степени несет на себе отпечаток либо деятельности человека, либо природы. В Японии или Голландии определяющим является человеческий фактор; без него не было бы даже самого физического ландшафта в том виде, в

каком он открывается взору. В Швейцарии, напротив, доминирует неживая природа. То же самое *mutatis mutandis** относится и ко всем странам, основными занятиями населения которых являются рыболовство и мореплавание; и действительно, нет такого человека или народа, который обладал бы столь могучим духом, чтобы наложить свой отпечаток на море. В наивысшей же степени это доминирование природы характерно для Африки. В Африке акцент падает на природу, а не на человека не потому, что Африка, если рассматривать ее в целом, представляет собой какую-то пустыню, и не потому, что там наша Земля очевиднее, чем где-либо еще выглядит как планета, которая вместе с другими подобными ей кружится в пустоте космического пространства, а жизнь не играет на ней сколь-нибудь заметной роли, но именно потому, что там человеческая жизнь тысячелетиями протекала преимущественно на уровне духа и души; она впитала в себя даже суровое величие космического характера африканского ландшафта, о чем свидетельствуют возвышенные религиозные образы, рожденные землей Африки. Конечное состояние равновесия между человеком и природой принципиально зависит от взаимоотношения действующих сил. Человек доминирует в тем большей степени, чем более он одарен и развит. Отсюда следует вывод, что все те страны, которые в течение достаточно долгого времени были местом обитания современного технизированного человека, являются по своей сути землей человека; а это означает, что из всех континентов североамериканский должен быть гуманизирован в наибольшей степени. Между тем это отнюдь не так. Когда в 1912 году я путешествовал по Йосемитеталю, я писал: «Мне становится чрезвычайно трудно вести духовную жизнь; лишь благодаря чудовищному напряжению мне удастся сконцентрировать свой дух на вечных проблемах; величие окружающей меня природы едва ли находит отзвук в моей душе». В точности то же самое я переживал в 1928 году в любой точке Соединенных Штатов, как только я

* С необходимыми поправками (лат.).

открывал врата своей души и своего духа воздействиям окружавшего меня мира. И как только я вызвал в памяти свои африканские переживания, я тотчас понял причину этого: Америка воздействует как величайшая противоположность Африке, ибо у нее еще нет души. Ее брак с человеком еще не породил никаких богов. Разве что когда-то здесь жил Маниту и, как призрак, бродил по прериям. Но индейцы были очень слабы в сравнении со своей страной; поэтому он так никогда и не обрел силы для того, чтобы, подобно Осирису, Аллаху и Яхве, стать душой своего континента. Конечно, на первый взгляд человек господствует в Северной Америке, чего он не может делать в Африке. Но господствует он исключительно как физическое существо. Психически он не одолел природу — будь то в смысле индейцев, для которых природа есть лишь покрывало, окутывающее дух так же, как сари, которое носят женщины, чтобы быть еще более соблазнительными; или в смысле греков, для которых природа означала соответствующее выражение картины их внутренней душевной жизни.

Мне кажется, что это составляет главную и решающую характеристику американского ландшафта. На это можно возразить, что психическая атмосфера Индии, Греции и Японии, как мы знаем их сегодня, еще не сложилась, ибо эти страны лишь совсем недавно достались своим нынешним властителям, а для преодоления материи душе требуется время. Это возражение обоснованно. Однако в случае Америки мы имеем дело лишь исключительно с Америкой наших дней. И сегодня Америка предлагает всем спектакль, который в зрелую эпоху нашей планеты производит прямо-таки ошеломительное впечатление: человек господствует над ней, как в свое время динозавры. И здесь мы одним махом достигаем понимания основополагающего значения того таинственного Нечто, что именуется психической атмосферой, — того Нечто, которое в равной мере переживается всеми, кто обладает необходимыми для его восприятия органами. Здесь я хочу, не вдаваясь в объяснения, привести одни только факты. Человек в первую очередь есть психичес-

кое существо; его непосредственный опыт имеет психическую, а не физическую природу. Кроме того, бессознательное всех людей связано между собой, так что фон, на котором выступают мысли и ощущения человека, одновременно представляет собой фон для окружающих его людей; это по меньшей мере на сорок процентов объясняет душевное сходство между родителями и детьми, которое обычно приписывают наследственности, а также на девяносто процентов объясняет душевное и духовное тождество всех народов или же современников, принадлежащих одному и тому же культурному кругу, вне зависимости от их национальности. При таких обстоятельствах принадлежащий коллективному бессознательному фон в соответствии с количеством и качеством действующих психических сил, с одной стороны, и длительности воздействия этих сил, с другой, должен приобретать значение такой же силы природы, как и все другие. Это объясняет, почему европейская атмосфера является по своей сути интеллектуальной и побуждающей к мышлению, тогда как североафриканская духовна, несмотря на господство природы.

Поэтому психическая атмосфера Северной Америки похожа на русскую или северо- и центральноазиатскую. Причина этого заключается в том, что во всех трех случаях мысленный и эмоциональный фон, на котором действует тот или иной отдельный местный уроженец, является совершенно незначительным фактором по сравнению с действительными физическими силами. И становится ясным, почему как в России, так и в Америке в противоположность Европе алкоголь используется в качестве не возбуждающего, а дурмнящего средства: лишь немногие способны к своим собственным мыслям или чувствам, и, естественно, ими бессознательно избирается простейший путь ухода от чувства внутренней пустоты. Это объясняет также, почему как в России, так и в Америке и в Центральной Азии всякая самостоятельная душевная деятельность производит впечатление не только необузданной, но прямо-таки чудовищной и невероятной энергии: она осуществ-

ляется словно бы в своего рода вакууме, что неизбежно вызывает чувство *horror vacui**. Психология Чингиз-хана, который словно ураган, пронесся по миру, Петра Великого или Ленина, навязавших свою волю миллионам людей, или психология американского промышленного магната, объявляющего «безбожной» всякую нацию, которая не покупает у него нефть, или полагающего, что со всех точек зрения, и прежде всего с моральной, каждый человек должен пользоваться лишь произведенными им автомобилями, по сути дела, представляют собой в этом отношении одно и то же. Но те же самые размышления в значительной степени объясняют и ту «бездушность», на которую как на характерную черту американцев жалуются почти все иностранцы. На первый взгляд это кажется странным, ведь первые поселенцы, по всей видимости, были не в меньшей мере одарены в эмоциональном отношении, чем какие-либо прочие представители европейских народов, от которых они ведут свое происхождение; и это же относится к большинству тех, кто прибыл в Америку позднее. Однако стоит лишь обдумать эту проблему более тщательным образом, как вскоре станет понятным, почему дело обстоит именно так: американская «бездушность» объясняется в первую очередь тем, что Америка все еще является колонией и что по-настоящему коренной культуры в ней еще не выросло.

Здесь мы достигли важного пункта. То, что можно сказать о сегодняшних американцах, прямо относится и ко всем колонистам всех времен и народов, пока они остаются таковыми по своей психической установке. Объяснение же заключается в следующем: что касается точных причин, то надо заметить, что мы еще недостаточно далеко продвинулись в психологии, чтобы определить их с удовлетворительной степенью надежности. Опыт же доказывает, что народ, меняя место обитания, образно говоря, свое тело, не берет, однако, вместе с собой свою душу; единственным известным нам исключением являются греческие колонии, которые отрывались от метро-

* Ужас перед пустотой (лат.).

полии подобно тому, как рой пчел вылетает из улья; то есть они обосновывались в чужой стране, словно в полной мере организованное тело, беря с собой все, что у них было, и прежде всего своих богов. В равной мере к этому типу принадлежат и евреи. Все другие эмигранты в течение нескольких поколений утрачивают свою выступающую в качестве жизненного фона традицию, если понимать ее как некое непрерывное коллективное бессознательное; она продолжает жить либо в их сознании, либо в отдаленных слоях бессознательного в форме, называемой психоаналитиками комплексами или вытеснением, — а если она продолжает жить лишь там и лишь в этой форме, то она уже не обладает какой-либо творческой силой в конструктивном смысле; все действительно живые душевные силы исходят из непрерывного и высокоорганизованного бессознательного. С другой стороны, каждая вновь возникающая традиция была теперь местной традицией. Для этого факта, насколько я могу судить, существует лишь одно удовлетворительное объяснение: мир ощущений и чувств — прошу заметить, что я говорю здесь об ощущениях, принадлежащих эмпирическому, а не метафизическому уровню духовного опыта, — тесно связан с землей. Из признания этого а priori следует, что каждый, кто навсегда покидает свою родину, в результате отказывается от своей души (понимаемой здесь в племенном, а не в личном смысле). С течением времени это может вести лишь к полному бездушию, дряхлению до тех пор, пока из новой общности с матерью-землей не родится какая-то новая душа. Именно это мы и наблюдаем в нынешних Соединенных Штатах. Но то же самое, вне всякого сомнения, можно наблюдать всюду, где в течение долгого времени в неизменности сохраняется колониальная душа. У германских завоевателей Италии и Галлии, несомненно, не было собственной души в течение достаточно долгого периода, а именно в промежутке между тем временем, когда уже утасли их собственные племенные воспоминания, и временем, когда их пронизал собственный дух Италии и Галлии; когда античность видела в «нордических людях» чистых варваров — хотя,

с другой стороны, Тацит, этот самый римский из всех римских авторов, исполнил хвалебную песнь подлинной германской жизни, — то это потому, что у нее были точно такие же основания считать их бездушными, как и у Европы в отношении американцев. И здесь мне сразу же хотелось бы подробно остановиться на проблеме американских негров. Как произошло, что в Соединенных Штатах черные оказывают столь непропорционально мощное влияние на все области эмоциональной жизни? Это произошло потому, что из всех поселенцев лишь черные тотчас отделились духу новой земли. Они не могли просто эксплуатировать ее; они не могли также и вести какую-либо независимую от земли духовную жизнь, ибо для этого им не доставало духовных талантов; таким образом, среди поселенцев они образовали единственный крестьянский тип. Благодаря этому негр смог развивать свою подлинную душу, а поскольку он чрезвычайно одарен эмоционально, в нем даже смогла развиваться чрезвычайно мощная душа. В той же самой области бессознательного у белых американцев существовала и продолжает существовать непропорциональная пустота, в которую, подобно тому как газ с чудовищной силой устремляется в пустое пространство, вторглась черная душа, до сих пор продолжающая свое наступление.

Вышесказанного, пожалуй, достаточно для объяснения относительного дефицита психической атмосферы в североамериканском ландшафте. А в этом, по всей видимости, заключается и объяснение того обстоятельства, что североамериканский континент, в наибольшей степени подчиненный себе человеком, все же не кажется гуманизированным. В общем и целом гуманизация зависит именно от силы психической атмосферы, а она, в свою очередь, не от интеллекта, а от основополагающего недифференцированного бессознательного, эмоционально связанного с землей. Это приводит к парадоксальному результату, заключающемуся в том, что, хотя живущий в Америке человек в материальном смысле покорил землю в куда большей степени, чем любой другой, американский ландшафт в большей мере определяется не челове-

ком, а землей как таковой. Отсюда его девственный характер. В отличие от всех прочих цивилизаций, Америка производит на чуткого наблюдателя двойственное впечатление: с точки зрения человеческого развития она кажется совсем юной, а с точки зрения природы — чрезвычайно старой. Здесь я хотел бы отослать своих читателей к тому, что писал в своем «Путевом дневнике» о первобытных силах, которые еще живы на американском континенте; не случайно, что нечто такое, как Марипоза-Хайн, существует лишь в этом месте нашей планеты. Эти первобытные силы чрезвычайно могущественны. То, что американская женщина является, если можно так выразиться, самым живучим человеческим существом на Земле, по всей видимости, объясняется действием этих сил. Удивительная целеустремленность и настойчивость, которую американцы демонстрируют, преследуя то, что в одной из последующих глав я обозначу как «животный идеал», является еще одним доказательством этого факта. Этим же в наибольшей степени объясняется обновление, которое испытывает европейская раса в Новом Свете. В конечном счете его первобытные силы фактически создают некий новый человеческий род. Поскольку мы наблюдаем лишь начало этого требующего значительного количества времени процесса, речь в данном случае не может идти о каком бы то ни было зрелом типе. Однако если подумать о том, что первые поселенцы, как белые, так и черные, пересекли океан лишь немного более чем три столетия назад, и о том, что процесс иммиграции еще продолжается, а потому условия для национальной консолидации были не слишком благоприятны, то нам остается лишь с благоговением изумляться преобразующей силе матери-земли. При благоприятных условиях так называемый «плавильный котел» действительно порождает некий отдельный новый тип. Уже сегодня всякий, имеющий глаза, может видеть бросающееся в глаза отличие типичного североамериканца от любого другого человеческого типа. Конечно, немало граждан Соединенных Штатов не относятся к этому типу. Когда я говорил: «Если земле будут предоставлены благоприятные условия», я

имел в виду, что силы земли не столкнутся со значительным сопротивлением со стороны сил, принадлежащих иным сферам. Чем в большей степени человеческая генерация связана с землей, тем меньше можно говорить о таком сопротивлении. Поэтому тип истинного белого американца чаще всего можно встретить среди потомков старых фермерских и ковбойских родов и в семьях самого различного происхождения, которые не слишком взбирались по лестнице материального успеха; в наименьшей степени он обнаруживается в богатых городских семьях. Часто утверждалось, что телесный облик белых американцев приближается к облику краснокожих, что проявляется тем более отчетливо, если белый дольше живет в сельской местности. Я же придерживаюсь того мнения, что на этот момент не следует обращать чрезмерное внимание: если бы он был столь значителен, как многие предполагают, то телесный облик американских негров, как наиболее тесно связанных с землей американцев, должен был бы в точно такой же степени приблизиться к облику индейцев — ни малейших признаков этого мы, насколько мне известно, не наблюдаем. С другой стороны, исследования Германа Вирта (см. его эпохальную книгу «Заря человечества») открыли чрезвычайную вероятность того, что чистый индейский тип состоит в ближайшем родстве с европейским нордическим типом. По-видимому, предки представителей обеих этих рас происходят из нынешней арктической зоны, откуда были последовательно заселены сначала Америка, а затем Европа; в соответствии с этим приближение белых американцев к индейцам легко можно объяснить «децивилизацией» европейцев, в которой многие писатели видели сущность американизации, то есть регрессией европейцев к более древнему типу. Но для наших целей подчеркивание арийско-индейского сближения будет излишним: действительность такова, что новый континент «непрерывно» порождает некий новый человеческий тип, — я говорю «непрерывно», ибо этот тип растет на американском континенте, несмотря на продолжающуюся в течение столетий иммиграцию, тогда как во всех иных известных нам случаях приток иммиг-

рантов прекращается, после того как страну захлестывает одна или, как это чаще всего бывает, несколько волн иммиграции. Со своей стороны это не могло не привести к возникновению и развитию нового душевного типа.

Прежде чем двигаться дальше, мы должны попытаться получить несколько более ясное представление о том, что в научных кругах понимается под самим словом «среда» (*Umgebung*). Весь мир говорит о влиянии климата. Однако совершенно неясно, каким образом климат может воздействовать на человека, кроме того, что он более или менее благотворно влияет на его здоровье или в большей или меньшей степени способствует его витальности. Хотя я и не являюсь по-настоящему компетентным в данной области, все же отважусь утверждать, что в определенном — и только в этом — отношении среда способна действовать творчески: на длительный срок изменяя характер взаимодействия кровяных желез и тому подобных органов. Существуют бросающиеся в глаза параллели между патологическими случаями и некоторыми ярко выраженными национальными типами; параллели в том смысле, что первые выглядят словно карикатуры на последние. Один пример из многих, это пример, связанный с чрезмерным развитием или недоразвитостью функции гипофиза: в одном случае мы видим карикатуру на англосаксонский тип с характерным для него худощавым, гибким телом, узкой головой и выдающимся подбородком; в другом — карикатуру на русского с присущим ему распределением жира по всему телу, как у тюленя. У нас еще нет достаточных знаний, которые позволили бы нам вынести по этому поводу окончательные суждения. Но уже на основании того немногого, что нам известно сегодня, я лично могу утверждать, что всякая национальная психология зиждется на правильной национальной физиологии; что тот или иной национальный тип зависит прежде всего от взаимодействия эндокринных желез, а оно, в свою очередь, в значительной мере обусловлено материальным окружением — в большей, нежели наследственностью. Разумеется, не все ландшафты обладают одина-

ковой творческой силой; этим объясняется, почему в некоторых странах «наследственность» кажется более значимой, чем «среда». Если речь идет об эндокринных железах, то возможность таких различий является чем-то само собой разумеющимся. Но среда всегда обладает отчетливо осязаемым воздействием. В иных странах она, как представляется, доминирует. К ним принадлежит Швейцария — что речь идет здесь о железах, кажется, вполне доказывается частыми случаями зубной болезни и идиотии, имеющими место в альпийских странах. То же самое относится и к тому региону Северной Америки, в котором расположены Соединенные Штаты.

В самом деле, я полагаю, что вышесказанное представляет собой одну из важнейших интуиций, которыми я был одарен, открывая свою душу американской атмосфере. Прирожденный американец — это вовсе не тот в минимальной степени зависимый от матери-земли человек, за которого его принимают все остальные; наоборот, он обязан ей своими главными качествами. В своей книге я приведу все известные мне доказательства и иллюстрации этого. Но поскольку чрезвычайно важно именно в этом не слишком ясном аспекте быть настолько точным и ясным, насколько это возможно, я, прежде чем окончательно обратиться к специальной теме американского типа, хотел бы несколько более подробно остановиться на другой стороне проблемы. Мы уже говорили, что при благоприятных условиях так называемый плавильный котел, вне всяких сомнений, порождает некий отдельный тип, добавив при этом, однако, что выражение «благоприятные условия» следует понимать в том смысле, что силы земли не сталкиваются со значительным сопротивлением сил, принадлежащим каким-либо иным сферам. В свою очередь, это сопротивление зависит от той связи с землей, в которой в течение поколений живет человеческое племя. Что же это за связь с землей? Едва ли здесь речь идет о физической близости или удаленности; в этом смысле от земли нельзя оторваться. Речь идет о психологической привязанности.

Горожанин психологически далек от природы в том смысле, что он не обращает на нее своего непосред-

ственного внимания; то же самое относится и к «интеллектуалу», где бы и как бы он не жил. Если Освальд Шпенглер в чем-то и прав, так это в своем утверждении, что эти типы, насколько мы можем это видеть на протяжении истории, с биологической точки зрения никогда не играли существенной роли. Городские и интеллектуальные культуры существовали задолго до Вавилона, но их сохранение всегда зависело от постоянного притока сельского населения; во всех развитых культурах города никогда не были чем-то бо́льшим чем мозгом народного тела; и чем большей жизненной силой он обладал, тем больше он был обязан этим бурному развитию органов более низкого порядка — под ними здесь подразумевается богатая, развитая и связанная с природой провинциальная жизнь. В современной Европе наиболее сильно зависящей от столицы страной представляется Франция; в ее интеллектуальной и культурной жизни провинция не играет почти никакой роли. Но подавляющее большинство имеющих важное значение для жизни страны парижан являются выходцами из провинции, и в мире вряд ли найдется человеческий тип, который был бы более связан с землей, чем французский провинциал. Поэтому нет никакой случайности и в том, что первый мегаполис в американском смысле, который нам известен, а именно Вавилон, был основан в плодородном Двуречье, и то же самое относится и к столицам Египта; в течение по меньшей мере пяти тысяч лет тамошний крестьянин практически не изменялся и всегда был тем, кто, несмотря на все перемены, хранил непрерывность истории. Расы, состоящие исключительно из горожан и интеллектуалов, в течение трех-четырех поколений вырождаются и вымирают. То, что имело место в прошлом, действительно и для всякого будущего, ибо здесь речь идет об элементарных, первичных силах. Смешно предполагать, что тип американца, в течение поколений жившего в Бостоне, Нью-Йорке или Чикаго, станет образцом для будущей американской цивилизации. Конечно, городская традиция может задать границы национальной традиции, но ее жизненная сила должна подпитываться извне, в результате продолжительного процесса обмена материалом, что наибо-

лее наглядно можно наблюдать на примере Парижа. То, что человек, теряя связь с живительными силами земли, одновременно утрачивает и свою собственную витальность, доказано, несмотря на ее краткость, именно историей Соединенных Штатов. Потомки представителей тех типов, которые с того времени, как они поселились на американской земле, лишь эксплуатировали ее почву — будь то нomaдические пионеры или индустриальные спекулянты, все без исключения утратили свою витальность. После своего отъезда из Америки я первым делом отправился в Англию. С биологической точки зрения главной чертой английского народа является его любовь к родине, под которой понимается вся природа Англии. Англичанин не эксплуатирует свою страну; он предпочитает, чтобы она оставалась в своем диком состоянии, и радуется ее красоте; как правило, даже самый трудолюбивый англичанин раскрывает свою душу навстречу духу своей страны. Когда из Соединенных Штатов я прибыл в Англию, мне прежде всего бросилось в глаза, что любой англичанин представляет собой намного более витальную личность, нежели обладающий на первый взгляд сильнейшей витальностью представитель современной американской городской культуры.

Поэтому в этой связи нам вообще не стоит принимать во внимание горожанина; в нем не живут силы, которые могли бы противодействовать природному процессу. И все же то, что было до сих пор сказано, еще не исчерпывает проблему. Очевидно, что человек не может в течение длительного времени расти и развиваться без тесной внутренней связи с землей. Однако, с другой стороны, он вовсе не обязательно является исключительно продуктом ее преобразования. Если человеческий тип проявляет себя как полностью исключительно связанный с землей, то лишь потому, что в нем самом нет ничего, что поднимало бы его над приближенным к природе человеком-животным. Ведь человек — дитя не только природы, но и духа. Человек даже в большей степени есть дух, нежели природа¹, — а дух также способен витализировать.

¹ Исчерпывающее обсуждение проблемы духовной действитель-

Но здесь речь идет именно о живом духе, а не о голом интеллекте, наиболее поверхностном выражении духа; это должен быть дух, самым известным выражением которого является сильная религиозная вера. Если наличествуют и действуют духовные силы, коренящиеся в этих глубоких сферах, то они могут противодействовать силам природы или уравнивать их. Мы наблюдаем такие факты на протяжении всей истории в области половой жизни, морали и религии. Но иногда они демонстрируют нам и то, как сохраняется изначальный характер эмигрировавшей в чужую страну расы. Самым грандиозным примером этого являются евреи. Тысячи лет они существуют без подлинной родины; они распространились по всей земле и обосновались почти во всех странах мира; силою обстоятельств вынужденные к паразитическому существованию, они жили в более тесном соприкосновении с «окружающим миром», чем большинство автохтонных наций. И, однако, даже по своему телесному облику они остались такими же, какими были изначально. У этого факта есть две причины. Во-первых, невероятная приверженность евреев законам крови; ведь если бы она была бы лишь подвергнута сомнению, то в каждой стране, где они поселились, произошло бы определенное изменение типа. Кроме того, сохранение изначального еврейского человеческого типа можно объяснить и другой причиной — его духовностью. Для еврея закон его религии всегда был его ближайшим «окружающим миром»; этому закону еврей всегда должен был следовать с чрезвычайной точностью, последовательностью и строгостью; вся его жизнь была полностью определена духовными связями. Благодаря этому он оказался сильнее природы; несмотря на ее постоянное воздействие, он сохранился таким, каким он был изначально. С другой стороны, стоит еврею изменить своему закону, как последствия становятся поистине катастрофическими; их удавалось избежать лишь тогда, когда евреи могли стать частью тела некоего нового народа, как это

ности читатель найдет в последней главе этой книги.

было в Испании и до определенной степени в Италии. Но стать частью нового народа для столь консолидированной и обособленной группы нелегко. А поскольку по своей сути еврейский тип от рождения духовен и не поддерживается силами земли, такая денационализация евреев слишком часто не ведет ни к чему иному, как к моральному загниванию.

Так обстоит дело с евреями. Но то, что относится к возникновению и сохранению их типа, имеет точно такое же отношение и ко всем народам, выработавшим кастовую систему. Ее прообраз до сих пор жив в Индии. Ничто не могло быть более чуждым и менее подходящим для древних арийских завоевателей (хотя они уже не были «нордическими людьми», но, скорее всего, пребывая на территории современных Персии и Афганистана, они сохранили те черты нордической расы, которые остались жизнестойкими в краях, отличающихся жарким климатом), чем палящая жара Индии. Кроме того, действующие на индийском полуострове природные силы обладают просто ужасным могуществом. Поэтому завоеватели инстинктивно выстроили систему духовных правил, которые могли противостоять этим воздействиям. Несмотря на эту систему, дух индийской земли вскоре проник до самых глубин арийской души; в ином случае завоеватели, не слишком подверженные по своей сущности мистицизму (даже в «Ригведе» содержится очень мало мистики), не стали бы так скоро величайшими в мире мистическими философами; иначе Индия, в расовом отношении сегодня в значительной степени более дравидийская, нежели арийская, не была бы и сейчас все той же страной мыслителей и пророков, какой она была с незапамятных времен. Но дух Индии овладел глубинами арийской души в ее предшествующей существованию духовной основе, а она в большей степени родственна европейской духовности, чем иррациональному хаосу дравидийских интуиций и чувств. Это обстоятельство предопределило то, что в высших кастах в огромной степени сохранился даже изначальный физический тип. По сути дела, то же самое относится и ко всем ког-

да-либо существовавшим кастовым системам, в том числе и к европейским аристократиям. Все европейские аристократы являются наследниками прежних завоевателей, и в течение многих столетий рыцари ощущали свое более близкое родство с представителями своего сословия, жившими в других странах и говоривших на другом языке, чем с жителями своей собственной страны. У них был свой собственный кодекс чести и нравов, имевший для них то же самое значение, что и закон для евреев или кастовая традиция для индусов; поэтому они в большей степени походили друг на друга, чем на представителей низших сословий своей собственной страны. Но то же самое относится и к американскому пуританизму.

В определенной степени верно, что пуританизм зародился в Европе и что Америка была колонизована не одними лишь пуританами: с самого начала независимо от них картину колониальной жизни определяли пионеры и торговцы; кроме того, в Америке достаточно долго жили и духовно ее осваивали представители многих других религиозных типов, количество которых в сумме, вероятно, превосходило общее число пуритан. Но почему в Европе пуританизм сыграл далеко не ту роль, что по ту сторону Атлантики, и почему каждый, говоря о духовных воздействиях, преобразовавших Новый Свет, использует не какое-либо иное слово, а именно «пуританизм»? И почему и сегодня ничего нельзя изменить в том факте, что все, что существует в цивилизации Соединенных Штатов, имеет пуританское происхождение? Гигантская роль, которую в ней играл и продолжает играть пуританизм, есть на самом деле не вопрос веры — она была и остается вопросом касты. Однако исключительное могущество пуританской касты объясняется тем, что лишь она отвлекала достаточное количество духовных сил на то, чтобы противостоять воздействию американской земли и тем самым увековечивать передаваемый по наследству тип. Довольно долгое время роялист боролся с пуританином за гегемонию. Но в результате последний одержал над первым окончательную победу. Причиной этого в пер-

вую очередь было то, что пуританин представлял собой гораздо более духовный тип; не следует забывать о том, что в пуританизме осуществлялось возрождение духа Ветхого завета (в противоположность Новому), а его дух как дух самого радикального этоса, который только видел свет, с самого начала оказывал наиболее мощное воздействие на землю; все покорение материального мира в конечном счете есть результат работы ветхозаветного духа. Но, кроме того, в отличие от роялизма, пуританизму пошло на пользу то обстоятельство, что Америка развилась в индустриальную демократию. Харви О'Хиггинс и Эдвард Х. Рид пишут в своей книге «The American Mind in Action»* (New York, Harper & Brothers):

«Непрерывный труд, решительное движение вперед и неустанное напряжение вели пуританина к зримому достижению успеха, так что даже те его качества, что в меньшей степени достойны восхищения, будили в другом стремление к подражанию. Пуританские идеалы угодно Богу труда и благословенного свыше достатка стали господствующими идеалами страны. Никакая жизнь никогда не была столь пригодной для становления национального идеала. Никакая кастовая система не расщепляла социальную массу на разнородные сословные устремления. Корабельный юнга становился президентом, рассыльный — банкиром, клерк — председателем компании, рабочий — капитаном индустрии. Идеал высших классов смог служить путеводной звездой для честолюбия низших, и особенная сословная цель смогла стать столь же всеобщей и популярной, как мода на платье, характерная для определенного сословия. Раз уж такой идеал однажды сформировался, то дети смогли узнать о нем от родителей, юношество — научиться ему у педагогов, народу его вдалбливали читанные-перечитанные книги, а честолюбивая молодежь могла усердно и с таким успехом претворять его в жизнь, что он стал составной частью обычаев, привычек и традиций всей нации».

* Американский ум в действии (англ.).

Таким образом, дух Соединенных Штатов в той мере, в какой он продолжает традиции первых трехсот лет своей истории, является по своей сути пуританским.

Пуританский образ мыслей стал доминирующим, подобно тому как в Индии с давних пор пришел к господству образ мыслей брахманов, хотя их каста представляла собой лишь весьма незначительное меньшинство: с помощью престижа, который вновь и вновь оживал благодаря более высокому типу, который, в свою очередь, постоянно обновлялся самим этим меньшинством. Этим объясняется также и то, почему пуританский закон с давних времен был так невероятно строг. Кастовый закон, защищающий от духа чужой земли, наиболее близок военному закону, в особенности закону оккупационной армии. Закон брахманов был и остается в этом смысле достаточно строгим; однако в конечном счете он затрагивает лишь религиозную и социальную жизнь. Американские поселенцы, как и все европейцы, были по своей сути обращены к миру, а кроме того, агрессивны по своей природе. Это и привело к намного большей строгости и радикализму их кастового закона по сравнению с тем, который когда-то существовал в Индии. В начале колонизации это не так бросалось в глаза, ибо Америка считалась «страной свободы» и «убежищем для всех»; поэтому в течение длительного времени принцип толерантности более или менее успешно противодействовал истинному духу пуританизма. Однако дух терпимости никогда не мог противостоять духу агрессии — все равно какого рода. Кроме того, чем более демократической является страна, тем более строгие законы должны в ней действовать и с тем большей решительностью они должны проводиться в жизнь. Во-первых, организованную массу можно укротить лишь посредством суровых законов (примером чего служит любая армия), а во-вторых, признание благодаря всем этим законам приносит огромный авторитет. В соответствии с этим мы видим, что Соединенные Штаты с течением времени все более и более наполнялись духом нетерпимости. Я не знал ничего более нетерпимого, чем дух не только какого-ни-

будь Ку-клукс-клана или фундаментализма, но даже чем дух морализма, царящего в городках Среднего Запада. В доказательство этого достаточно указать на сухой закон, а также на то, что именно в «стране свободы» у свободы мысли так поразительно мало друзей. С течением времени живой дух все яснее и настойчивее проявляет свой истинный характер и зачастую оказывается наиболее сильным именно тогда, когда соответствующий народ уже не сознает своей принадлежности к нему; ведь поскольку речь идет о поистине живом духе, то его центр тяжести заключается в бессознательном.

Такой прирост силы изначального духа можно наблюдать в Соединенных Штатах в необыкновенных размерах потому, что дух двух сильных человеческих типов, создавших эту страну — пуритан и пионеров, — вскоре переплавился в единый дух. Полностью отойдя от какой бы то ни было религии, пуританский дух вскорости превратился в подлинный хребет американского бизнесмена. Это объясняет, каким образом необходимость труда, присущая эпохе пионеров, смогла развиться в сегодняшнюю религию труда и предпринимательства. Возможно, когда-нибудь тот факт, что пуританизм по своей сущности означает господство касты народа-завоевателя над чужой страной, даст о себе знать и в традиционном военном и политическом смысле. То, к чему бессознательно стремится Америка, это духовная американизация мира. И если пули ее сыновей, проникающих в новые страны, отлиты из серебра, а не из свинца, то это именно потому, что таков способ завоевания, характерный для индустриальной эпохи. Здесь мы можем констатировать еще одну весьма примечательную взаимосвязь между духом пуритан и духом пионеров. Она относится к религиозным положениям первых колонистов, состоящих в том, что внешний успех служит непосредственным доказательством Божьей милости; следовательно, американская агрессивность коренится в определенном религиозном импульсе. Но с начала подлинно пуританской эры прошли столетия. Сегодня большинство населения состоит из людей, которые в соот-

ветствии с индийским порядком принадлежали бы к низшим кастам. Дух народа-завоевателя еще господствует, но сам народ изменился. Отцы-пилигримы не знали оптимизма современных американцев; чувства и мечтания не были их делом; обеспеченная и комфортабельная жизнь не казались им самоцелью. Тем не менее все в Америке, что как-то продолжает старые традиции, возможно, именно потому производит на европейца впечатление чего-то еще более пуританского, чем первоначальная американская жизнь; пуританский дух из исключительно религиозного явления развился в стеновой хребет всей традиционной жизни.

Все это правильно. Но, с другой стороны, очевидно, что именно теперь Америка переживает первый большой кризис в своей истории и что главная отличительная черта этого кризиса — расшатывание им основ пуританизма. Вне всякого сомнения, он борется за свое существование сегодня в качестве господствующей силы, и высока вероятность, что он окажется побежденным. Что это означает? Ответ на этот вопрос возвращает нас к нашему тезису, что в Америке дух земли доминирует вопреки духу человека. Если теперь под знаменем революции современной молодежи к господству придет некий новый тип американца, то это будет означать не что иное, как то, что нынче в Соединенных Штатах происходит тот же самый процесс, который тысячи лет назад имел место в Индии, когда в индузе дравидийская душа одержала победу над арийской. В следующей главе мы подробно займемся всеобщим обновлением как первым следствием рассматриваемого здесь процесса. Однако, чтобы сразу дать своим читателям представление о том, сколь мощные перемены происходят на их глазах, я хотел бы предварительно еще раз процитировать отрывок из доклада, прочитанного великим швейцарским психологом доктором К. Г. Юнгом в 1927 году на сессии Школы мудрости, несмотря на то что я уже делал это в «Спектре Европы». В общем контексте рассмотрения проблемы, насколько психика обусловлена связью с землей, он

так трактовал происходящее в данный момент изменения американского типа¹.

«У американцев мне прежде всего бросилось в глаза значительное влияние негров — их психологическое влияние, естественно, не смешение крови. Эмоциональные проявления американца, прежде всего его смех, вы можете лучше всего изучить в разделах *Society Gossip** американских газет; прообраз неподражаемого смеха Рузвельта вы обнаружите у американского негра. Своеобразная походка с относительно свободными суставами или виляющие бедра, которые можно так часто видеть у американок, заимствованы у негров. Американская музыка вдохновлена главным образом негритянской музыкой, танцы — негритянские. Выражения религиозного чувства, *revival meetings***, *holy rollers**** и прочие аномалии — результат сильного негритянского влияния и знаменитая американская наивность как в ее очаровательной форме, так и в ее более неприятных проявлениях может быть легко сопоставлена с детской непосредственностью негров. В среднем необычайно живой темперамент, проявляющийся отнюдь не только при игре в бейсбол, но особенно в необыкновенном вербальном выражении радости, самым красноречивым примером которого является непрерывный и безбрежный поток болтовни в американских газетах, едва ли может иметь германское происхождение, но скорее напоминает «chattering»**** негритянской деревни. Почти абсолютное отсутствие интимности и всепоглощающее тотальное присутствие общества напоминает примитивную жизнь в открытых хижинах, где господству-

¹ Доклад был напечатан как часть VIII Ежегодника Школы мудрости, «Подсвечник» (1927, Otto Reichl Verlag). Я не солидаризируюсь, прошу отметить, со всеми взглядами Юнга, однако полагаю, что в них содержится очень много истинного.

* Светская сплетня (англ.).

** Оживленные собрания (англ.).

*** Секта трясун (англ.).

**** Болтовня (англ.).

ет полное тождество индивида со своими соплеменниками. Мне казалось, что двери во всех американских домах всегда открыты, подобно тому как в американских *country-towns** не сыщешь садовых оград. Кажется, что все находится прямо на улице... В американской героической фантазии главную роль играет индейский характер. Американское отношение к спорту чрезвычайно далеко от европейской сердечности. Лишь индейские инициации могут состязаться с беспощадностью и жестокостью строгой американской тренировки. Поэтому успехи американского спорта достойны восхищения. Во всем, чего хочет американец, обнаруживается индеец; в невероятной сосредоточенности на определенной цели, в жесткости ее преследования, в непреклонности, с которой переносятся величайшие трудности, проявляются все легендарные добродетели индейца... Я обнаружил у своих американских пациентов, что их героическим фигурам также присущ индейский религиозный аспект. Важнейшей фигурой индейских религиозных форм является шаман, врач и заклинатель духов. Первым ставшим важным и для Европы американским изобретением в этой области стал спиритизм, вторым — *Christian Science*** и прочие формы *Mental Healing****. *Christian Science* — это некий ритуал заклинания, при котором отрекаются от демонов болезни, прославляют при помощи соответствующих формул упрямое тело и соответствующая высокому культурному уровню христианская религия используется для чудесного исцеления. Бедность духовного содержания путающая, но *Christian Science* жива, она обладает присущей лишь этой местности силой, и в ней совершаются те чудеса, которые тщетно искать в официальных церквях. Таким образом, в американце нам открывается странная картина: европеец с душой, подобной душам негра и индейца. Он разделяет судьбу всех захватчиков чужой земли: некоторые австралийские аборигены утверждают, что нельзя завоевывать чужую террито-

* Провинциальные городки (англ.).

** Христианская наука (англ.).

*** Психическое лечение (англ.).

рию, ибо в чужой земле живут духи предков, а следовательно, духи предков будут вселяться в новорожденных. В этом заключается глубокая психологическая истина: чужая земля ассимилирует завоевателей. В отличие от латинских завоевателей в Центральной и Южной Америке, североамериканцы со строжайшим пуританизмом сохраняли европейский уровень, но они были не в силах помешать тому, чтобы души их индейских врагов стали их душами. Девственная земля всегда заключает в себе неизбежность того, что, по крайней мере, бессознательное завоевателя спустится на уровень автохтонного жителя».

Разумеется, влияние негров нельзя приписать духу американского континента. Как уже было сказано, главная причина заключается в том обстоятельстве, что с точки зрения матери-земли черные уроженцы Америки были и вплоть до сегодняшнего дня остаются более истинными американцами, чем белые. Однако сейчас мы можем еще раз углубить это чрезвычайно важное признание. Является ли тип американского негра действительно туземным? Да, это так. Никогда не было в Африке ничего сравнимого с американским негром, и ничего подобного мы не найдем ни в Вест-Индии, ни в Южной Америке. Негритянские танцы, джаз, песни, заводящие любую американскую аудиторию, представляют собой проявления сущности эмансипированного негра — того, чем после гражданской войны стал на американской земле черный. Таким образом, он, в противоположность своим предкам, — такой же аутентичный американец, как это *mutatis mutandis* может утверждать о себе какой-нибудь отпрыск старой пионерской семьи Среднего Запада. А поскольку именно черному американцу свойственны местные, соответствующие американской земле чувства и ощущения, которые в белом еще не развиты, то негр дополняет белого. В этом заключается главная причина того, что все проявления эмоциональной жизни американцев кажутся произошедшими от негров: на самом деле у них американский исток. Но поскольку душа белого в этом отношении еще не переросла стадии рецептивности и подражания,

она, чтобы вообще жить своей собственной жизнью, должна выражать себя тем способом, который присущ негру.

Мне кажется, что именно сейчас будет уместным настолько подробно остановиться на щекотливой негритянской проблеме, насколько нам это позволяет наша тема. Цветной — это такой же истинный американец, как и его белый брат. Американская конституция не допускает ни малейшего преследования американских граждан, а благодаря чрезвычайному консерватизму американцев существует немного шансов, что конституция в скором времени, если вообще когда-нибудь, будет изменена. Вполне возможно, что суды Линча как в определенной степени предохранительный клапан сохранятся в течение еще достаточно долгого периода. Но я не могу себе представить, что когда-либо сможет быть проведена в жизнь последовательная антинегритянская политика. Социальный вопрос уже решен, насколько его решение вообще возможно при существующих обстоятельствах. В любом случае на Юге существует молчаливо признаваемая система, и было бы трудно изобрести что-либо более мудрое. Перед законом все равны, но белые и черные живут обособленно. Такое состояние можно поддерживать постоянно; рядом друг с другом, но при этом не смешиваясь, существуют не только различные виды животных, но в большинстве случаев и различные человеческие расы, живущие в странах со смешанным населением; так дело обстоит, например, в Индии. Однако американская конституция озабочена тем, чтобы превосходство одной касты не вело к подавлению другой. Таким образом, неграм не нужно чувствовать себя униженными, они могут тешить свою расовую гордость, оставаясь американцами. Возможно даже, что они создадут свою собственную культуру, и, возможно даже, неамериканский мир оценит эту культуру как самую подлинную культуру Америки. Лишь душа обладает силой непосредственной привлекательности, а отнюдь не интеллект с его техническими достижениями; ибо лишь душа есть «человек». Если бы Америка не предъявила бы миру ничего, кроме технических изобретений, о ее серьезном влиянии на мир не могло бы быть и речи; печат-

ный станок и порох были изобретены в Германии, однако мир не стал по этой причине немецким. Технические изобретения лишены души, их может освоить каждый; в конечном счете они принадлежат тому, кто даст им душу. Поэтому нет ничего парадоксального в том, что я ожидаю, что за высочайшие культурные достижения Америки нужно будет благодарить ее черных сыновей, тем более что предрассудок белых причисляет к черным всех, в чьих жилах есть хоть капля негритянской крови. Если же под неграми понимать лишь действительно черных, то превосходство белых во всех сферах жизни определенно сохранится еще в течение столетий. Но негритянская каста включает в себя огромный процент фактически белых. При таких обстоятельствах не будет ничего невероятно-го, если первые подлинны гении Нового Света будут принадлежать к черным; не следует забывать, что предки Пушкина, величайшего русского поэта, и Александра Дюма были цветными. И не только с культурной, но и с биологической точки зрения черные уроженцы Соединенных Штатов имеют в будущем большие перспективы. Нынешний белый американец редко производит впечатление человека подлинной витальности. Иногда это можно объяснить вырождением: пионеры и другие иммигранты первых поколений вынуждены были заниматься столь тяжелым трудом, что их потомки должны были за это поплатиться. Возможно, частично это можно объяснить также и особым характером этой земли, а именно в том смысле, что этому континенту соответствует относительно невитальный человеческий тип; в этом отношении белые, о которых в данном случае идет речь, приближаются к индейцам. Но главная причина, разумеется, та же самая, тем же объясняется американская бездушность, которую мы уже подробно рассмотрели. Насколько мы можем проследить ход истории, города, если судить с биологической точки зрения, всегда были местами трат и расходов, а не заработка и сбережения. Несомненно, индустриальная цивилизация породила новые условия, но эта цивилизация лишь тогда консолидируется, когда будет достигнуто некое новое равновесие между человеком как сыном

земли и человеком как ее эксплуататором. В настоящий — поворотный — момент существует опасность, что весь североамериканский континент, за исключением разве что пары горных цепей, превратится в нечто подобное одному-единственному городу, городу-вампиру. Уже сегодня непросто установить, где кончается Нью-Йорк и начинается Бостон; любой современный градостроительный проект исходит из той предпосылки, что каждый житель обладает собственным автомобилем, а потому пригороды тянутся без конца и края. Уже сегодня Чикаго занимает такое пространство, которое тридцать лет назад могло бы составить среднего размера королевство. В результате стандартизации американской жизни в городе жить намного проще и дешевле, чем в сельской местности, тем более что — или если — сельское строительство не оправдывает затрат; кроме того, совершенно невероятно, что в ближайшее время здесь сможет развиваться традиционный крестьянский тип; ведь единственным решением сельскохозяйственной проблемы, которое, кажется, предусматривается вашингтонским министерством сельского хозяйства, состоит в выведении типа исключительно интеллигентного и научно образованного фермера — а всей историей доказывается, что суетливые интеллигенты никогда не могли обрести прочного благополучия, приспособиваясь ко всегда неторопливым природным процессам. Все эти обстоятельства соединяются, формируя некую всеобщую психологию горожанина. Пристрастие к массовым скоплениям и удивительная послушность, с которой все американцы следуют призывам рекламных агентов, довершают картину. Да, быть может, территория Соединенных Штатов действительно когда-нибудь станет неким единым городом, и тогда со временем она, несомненно, превратится в некие сплошные руины. В 1928 году я провел несколько недель в действительно чудесном месте американской пустыни, которое называется Палм Спрингс. В нем постоянно жила едва ли пара сотен человек, но я насчитал там не менее 63 Real Estate Agents*. Одним солнечным утром я

* Агенты по недвижимости (англ.).

поднялся в горы. С вершины горы я увидел, что вся пустыня уже распланирована и поделена на участки, улицы и все прочее. И тогда я с ужасом осознал, что скоро вся калифорнийская пустыня превратится в один-единственный город, а этот город, возможно, сольется с неудержимо разрастающимся Чикаго... Эта проблема, несомненно, чрезвычайно серьезна. Если белый американец чересчур далеко разовьется в этом избранном им в данный момент направлении, то в будущем Америка в конечном счете наверняка превратится в черный континент. Сегодня мы знаем, что начиная с эпохи палеолита в Африке развивались, по меньшей мере, три великие культуры, первоначальные носители которых не были черными. В ту далекую эпоху негры, по всей видимости, играли примерно ту же роль, что сегодня гориллы. Но в конце концов господствовавшие расы утратили свою витальность; они были слишком далеки от матери-земли. Таким образом, последнее слово оставалось за негром, хотя он и относился к более низкому типу.

Теперь вернемся к нашему тезису, что в Америке господствующей силой является земля, а не человек. Конечно, я не верю серьезно, что в будущем Америка окончательно станет черным континентом; но я считаю правильным настоятельно подчеркнуть здесь опасность, которую таит в себе городская цивилизация, поскольку современные американцы, кажется, ее совершенно не сознают. После этого я могу сказать, что тип истинного коренного белого американца, несмотря на все, что было до сих пор сказано, уже находится в процессе развития. Однако прежде мы рассмотрим такой ход вещей, который хоть и не имел места в Соединенных Штатах, но возможность которого была весьма реальной, и установим, у какого человеческого типа нет будущего. Жители Новой Англии не могли развиваться в действительно местный тип, ибо они были главными носителями чистого пуританского духа, то есть духа кастовости, которая должна была сохранить от натиска воздействий Нового Света их изначальные расовые свойства. Если бы они развились в касту воинов или государственных деятелей, то они в самом

благоприятном случае смогли бы сохранить себя как обособленный тип господ, как, например, иезуиты в некоторых районах Южной Америки. Но это дерево искусственное с точки зрения земли, с самого начала было овеваемо далекими от земли культурными ветрами; следствием была культурная жизнь почти неземного характера. Я не знаю более безжизненный, бесчувственный и подверженный предрассудкам человеческий тип, чем тип жителя Бостона; к нему принадлежат даже такие люди, как Генри Адамс и Эмерсон. Но и не склонные к постоянству пионеры, чьей сущностью были авантюризм и безрассудная смелость, никак не могли по-настоящему пустить корни в осваиваемой ими стране; с точки зрения земли они по своей сути были номадами. Оставшись номадами, они, естественно, смогли развиваться лишь в разновидность такого чрезвычайно обособленного и узкого типа, как тип ковбоя; они не могли пустить корни, а потому и породить какую-либо культуру. С теоретической точки зрения это был такой же ход развития, что и тот, который имел место в Европе как следствие переселения народов (последним рецидивом которого является американское движение на запад): завоеватели могли бы стать кем-то вроде феодалов Старого Света и, следовательно, в большей степени обрести связь с землей. Фактически первоначальная традиция пионеров была почти в том же смысле аристократической, что и традиция германских завоевателей Европы; они также ощущали себя равноправными друг с другом; а их образ мыслей в той же степени был индивидуалистическим и героическим. Поэтому на Дальнем Западе — в последней области, где доминирует этот тип, — еще и сегодня господствует аристократическое сознание, а его нескрываемое презрение к Среднему Западу выглядит точно так же, как презрение дворян к бюргерам. Но аристократическое устройство общества предполагает неравенство. А оно не могло стать основой страны, колонизированной людьми, чьим единственным желанием было бегство от любого вида неравенства; кроме того, неравенство не могло развиваться там, где колонисты были изначально бедны и смиренны духом и ни в коей мере не

обладали той самоуверенностью, которая свойственна воинственным народам. И все же, рассуждая теоретически, укоренение иммигрантов в Новом Свете могло бы произойти в форме землевладения, тем более что есть определенное сходство между колонизацией Америки и заселением Индии. Конечно, Америка, когда белые вступили в обладание ею, была наполовину безлюдной частью Земли, однако расовые различия тех, кто раз за разом пересекал Атлантику, в скором времени привели к разнообразию, подобному тому, что имеет место в Индии. Если бы колонизация Америки произошла бы несколькими тысячелетиями ранее, то установившаяся в ней в конечном счете общественная структура, вне всяких сомнений, была бы подобна индийской кастовой системе. Но поскольку колонизация происходила под влиянием демократической идеи (или, лучше сказать, религии) — религии, противоположной господствовавшему в Европе кастовому духу, — то фактически существующие различия никогда не осознавались в развернутом и полном виде; существовало нечто вроде религиозного принципа, согласно которому расовое или социальное происхождение не принималось во внимание, что сначала и вправду соответствовало действительности, поскольку и пионеры, и пуритане фактически принадлежали одному роду-племени и были просто «американцами». Но это положение менялось с каждой новой волной иммигрантов из других стран. Сегодня *de facto* в Америке сложилась мягкая кастовая система, о которой более подробно будет сказано в главе «Демократия». Однако, как бы то ни было — и в этой связи это является решающим, — но в Америке действительно не сложилось аристократической системы. Первые поселенцы не застали никакой местной расы, над которой они могли бы с пользой для себя господствовать, обеспечив себе преимущества, которые поставили их в привилегированное положение по сравнению с теми, кто поселился здесь позднее. Хотя заселенные роялистами регионы нынешних Соединенных Штатов, в которых в качестве рабочей силы использовались специально ввозимые рабы, доказывают, насколько же возможна была

аристократическая Америка. В южных штатах иммигранты пустили корни и стали напоминать феодалов; поэтому у них нет ничего общего со швейцарцами. Они столь же глубоко срослись с землей, но сохранили свой аристократический характер. Однако джентльмен из южных штатов не является современным коренным американцем. Американец принадлежит к швейцарскому типу.

Что же это означает? И на чем основывается такое положение вещей? Это означает, что принцип привязанности к земле господствует вопреки духу, а как следствие этого, материя и инерция господствуют вопреки свободе и творчеству. В посвященной Швейцарии главе «Спектра» я подчеркивал исключительно негативные стороны швейцарского характера, ибо того требовал смысл книги. Но, разумеется, у него есть и другая сторона, и я охотно дополню свои прежние суждения, используя для этого критику, которую доктор К. Г. Юнг адресовал им в номере «Neuen Schweizer Rundschau»* за июнь 1928 года. В ней доктор Юнг исходит из того, что существуют два противоположных человеческих типа, которые неизбежно чувствуют по отношению друг к другу сильную антипатию, но с космической точки зрения и тот и другой в равной степени необходимы для сохранения жизни на этой планете: тип человека духа и тип человека, привязанного к земле. Два эти типа, говорит Юнг, соответствуют двум основным принципам китайской философии — Ян и Инь (в действительности это не так, но в данном отношении эти столь часто неправильно понимаемые китайские выражения вполне можно использовать, поскольку это не приведет к искаженной фактической картине). «Человек, подчиненный духу, — это Ян, человек земли — Инь; для него характерно первичное отношение к земле. Эти двое — враги от века, и все же одному необходим другой. Человек, привязанный к земле, также живет в соответствии с неким основным принципом, поскольку и он причастен великому и благородному... Из привязанности швейцарца к земле происходят, так сказать, все его

* Новое швейцарское обозрение (нем.).

как хорошие, так и дурные свойства: приземленность, ограниченность, бездуховность, бережливость, солидность, упрямство, отвержение чуждого, недоверчивость, их неприятный *Schwizerdütsch** и их равнодушие или, выражаясь политически, нейтральность... Если дело обстоит так, что мы — самая отсталая, самая консервативная, самая упрямая, самая самоуверенная и грубая европейская нация, то для европейского человека это будет означать, что на самом деле в своей сердцевине он приземлен, равнодушен, самоуверен, консервативен и отстал, то есть самым интимным образом связан с прошлым и нейтрален по отношению к колеблющимся и противоречивым стремлениям и мнениям и соответственно функциям других наций». Я полагаю, что каждый интеллигентный американец, прочтя эту характеристику швейцарца, тотчас признает, что она удивительным образом подходит и к типу обитателя Среднего Запада; разве что тот же самый основной тип, который в Швейцарии выступает в качестве мелкого буржуа, в огромной новой стране, где бережливость просто смешна, принимает облик предпримчивого Джорджа Ф. Бэббитта. Последний чрезвычайно важен и интересен. Бэббитт, по сути дела, поистине корневой тип, продукт определенной, местной почвы, и никакой другой. А теперь мы мысленно позволим тысячам настоящих американцев пронестись мимо нас такими, какими мы наблюдали их в пульмановских вагонах и холлах отелей; более близкое знакомство показывает, что, несмотря на отчетливые региональные отличия, они поразительно похожи друг на друга: ну не швейцарцы ли все они в лучшем смысле? Их любовь к родному городу, как бы он ни был молод, фанатична; все обычаи и установления для них священны; само собой разумеется, что «Америка — это лучшее место для американца», но все в ней, что далеко от родного дома и не похоже на него, оценивается как неполноценное. Все необычное — не говоря уже о том, что можно расценить как революционное, — подозрительно; чистый разум не представляет

* Искаженное *Schweizerdeutsch* — швейцарский немецкий (*нем.*).

никакой ценности, последней духовной инстанцией является «чувство народа». Еще выше оцениваются традиционные чувства, отношение к родной земле. Здесь не может ввести в заблуждение даже контрпример американцев, по-прежнему живущих в номадическом состоянии; такой тип очень часто кажется естественным в молодой стране, из года в год переполняемой все новыми и новыми пришельцами; решающим является то, что, несмотря на это, тип обитателя Среднего Запада доминирует уже в такой степени, что большинство американцев объявляют чужаку: подлинная Америка начинается лишь в долине Миссисипи. И никто не возразит, что американский провинциал не может представлять собой действительно истинный тип, ибо даже он редко проводит всю свою жизнь в каком-нибудь одном месте: основной вопрос заключается в том, что тоска по укорененности в душе американца столь сильна, что он может мгновенно переносить ее на что угодно, подобно тому как старая дева переносит свои материнские чувства с одной болонки на другую. Точно так же может сбить с толку и любовь Джорджа Бэббитта к прогрессу: «прогрессирование» в его понимании — это именно традиционно американский образ жизни; на американской почве этот вид прогресса представляет собой типичное выражение консервативного умонастроения. Олень, хоть он и бежит быстрее, чем черепаха, ничуть не менее консервативен в своих повадках.

Чтобы понять все значение этих фактов, мы должны уяснить себе, что представитель Среднего Запада во всех Соединенных Штатах представляет собой прототип сто процентного американца и что он, как правило, является потомком авантюристов-пионеров. Это доказывает, что в действительности он является превратившимся в сельского жителя номадом. Как же случилось, что он походит именно на швейцарца, когда Швейцария столь мала, а Америка столь громадна? Объяснение лежит на поверхности. Всякая автохтонная культура начинается как региональная. Всякая культура — дочь брака духа и земли. Тот, кто не является истинным сыном почвы, на которой живет, не способен к серьезному духовному покорению этой мате-

рии. Во всех случаях, когда происходит зарождение той или иной истории, мы можем наблюдать одно и то же. Поэтому когда М. П. Фоллетт (ср. ее книгу «The New State»*) ожидает, что следующим шагом прогресса демократии станет образование «союзов соседей», она заблуждается, полагая, что здесь речь идет о прогрессе; но она совершенно права в отношении к американской действительности: настоящая американская жизнь может развиваться лишь из тесных и узких истоков. Конечно, существует вопиющее противоречие между широтой и масштабностью американского номада, господствующего в этой стране сегодня, и крайним провинциализмом Бэббитта; однако это противоречие составляет своего рода контрапункт. А его необычный характер объясняется взаимодействием вполне конкретных причин. Прежде всего, дух американской земли столь мощен, что первоначально человек может совладать с ним лишь в самой малой степени, только полностью в нем растворившись. Следующая по важности причина ограниченности данного типа состоит в бездушности колонистов. Эта бездушность особенно ярко проявляется у американцев потому, что в их случае неизбежная утрата части эмоциональных сил совпала с невероятным развитием сил интеллекта более низкого порядка, необходимых для успехов в технической области; интеллектуализация без соответствующего душевного развития неизбежно ведет к варваризации. Пуританизм со своей стороны благоприятствовал бездушности, и, наоборот, человек, лишенный души, естественным образом склонялся к пуританизму: поскольку пуританская система не оставляла пространства для ценностей богатой внутренней жизни, колонист тем меньше ощущал опустошение своей собственной сущности, чем более решительным и истовым был его пуританизм. В Соединенных Штатах этот бездушный человеческий тип нашел поистине гигантское поле для своей деятельности. И тем больше он стремился к компенсирующей этот простор узости; типичная сентиментальность американца с самого начала была обращена на то, что наиболее

* Новое государство (англ.).

близко и знакомо маленькому человеку. Таким образом, готовый осесть номад находил естественный объект для приложения своей недоразвитой и нерастраченной энергии в узкорегionalном, провинциальном. Третья интересующая нас причина, приводящая к тому же самому результату, состоит в том, что большинство американцев ведут свое происхождение из бедных слоев населения и низких сословий; в силу такой наследственности ограниченная жизнь для них естественна. Всего сказанного достаточно для того, чтобы объяснить, почему кругозор типичного американца столь подчеркнуто провинциален. Он не просто равнодушен ко всему, что происходит за пределами Америки, — по-настоящему он принимает участие лишь в событиях, происходящих только в самой что ни на есть близости от него. И эта склонность год от года только возрастает. На Западе и Юге я встречал множество богатых людей, которые никогда не были в Нью-Йорке и не имели ни малейшего намерения когда-нибудь там побывать.

Конечно, Бэббитт репрезентирует самый низкий тип коренного американца. Но для демократии американского образца было неизбежным, что именно он оформился раньше всех остальных и начал задавать тон; лишь в аристократической общественной структуре подъем может начаться с высокой культуры. В Соединенных Штатах более высокие типы появятся позднее, как результат процесса дифференциации через определенное время. Однако американизация американца только-только началась; процесс ассимиляции может осуществляться лишь в течение весьма долгого периода, во-первых, из-за постоянного прилива чужой крови, а во-вторых, из-за того, что идеалы Америки как прибежища для всех и для каждого и как страны абсолютной свободы, не обремененной предрассудками, еще недостаточно распространены. Эти идеалы свободы со своей стороны обуславливают то, что вновь образующийся ограниченный человеческий тип еще более отчаянно замыкается в своей узости. Невозможно понять Ку-клукс-клан, фундаментализм, стопроцентный американизм и, шире, вездесущий самоуверенный провинциализм, не уяснив, что

в их психологии важную роль играет сопротивление существующему положению вещей.

Теперь в форме краткого очерка рассмотрим те разновидности партикуляризма, провинциализма и регионализма, проявления которых можно обнаружить в Соединенных Штатах уже сейчас. Здесь я, разумеется, ограничен узким кругом своего собственного опыта; но, поскольку в данном случае речь в большей степени идет о типах и символах, чем о фактах, я полагаю, что для общей ориентации этого будет достаточно. В ходе своего турне с курсом лекций, совершенного в 1928 году, я побывал во всех без исключения частях Соединенных Штатов. И повсюду моим даже не главным, а единственным стремлением было почувствовать *genius loci*^{*}. Отправляясь в путешествие, я, естественно, был наслышан о том однообразии этой страны, о котором сообщает каждый, кто ее посетил. Однако, к своему удивлению, я обнаружил, что, несмотря на краткое время, прошедшее с момента основания большинства городов, и несмотря на смешанный и номадический характер значительной части их населения, каждый город обладает ярко выраженной индивидуальной атмосферой; однообразие присутствует лишь на поверхности. Прежде всего, Америка уже сегодня кажется равномерно распределенной по большим провинциям относительно однородного характера; по провинциям, в которых в прежние времена и при иных обстоятельствах несомненно возникли бы различные самостоятельные культуры. Это Новая Англия, Восток, Север, Средний Запад, граничащий с ним Юг, Юг в истинном географическом смысле и Дальний Запад. Но внутри этих провинций почти каждый город обладает своим собственным духом, так что во время своего путешествия постоянно вспоминал о заре европейской культуры, когда германские номады начали селиться в таких центрах, как Кёльн, Вормс, Нюрнберг, Париж, Каркассон. Возьмем, например, Даллас в Техасе. Эту часть Америки можно охарактеризовать как самую молодую, поскольку она расцвела

^{*} Дух местности (лат.).

во многом после того, как было открыто истинное значение нефти, в то время, когда исчерпал себя первый прилив страсти к возведению небоскребов, многоэтажных домов и к голому темпу. С другой стороны, еще была жива романтика ковбоев и прерий, а совсем рядом начинался район древней мексиканской культуры. Это взаимодействие различных причин и традиций могло бы легко породить какую-нибудь в высшей степени неприятную *mixtum compositum**. На самом же деле Даллас уже сегодня обладает совершенно очаровательным *genius loci*. На материальном уровне здесь, разумеется, доминирует нефть. Но частная жизнь исполнена человеческого очарования, полностью созвучного восхитительному местному ландшафту. В душах здешних обитателей чувствуется что-то от мощного дыхания прерий, для них характерен врожденный визуальный вкус, какой, например, мы обнаруживаем у итальянцев, а также избыток жизненных сил, источником которого, по всей видимости, являются щедрое солнце юга и надежды на богатство как результат взаимодействия природы и человека. Будет удивительным, если через несколько столетий Техас не породит своеобразной жизнерадостной культуры, тем более что этот штат включает в себя фантастическую пустыню, прелестные дикие холмы и грандиозные прерии, и все это пронизано очарованием древнего духа мексиканской культуры.

Теперь, для контраста с Техасом, обратим свой взгляд на Миннесоту. Кажется, это судьба, что этот штат в такой большой степени был колонизован именно шведами, ведь его ландшафт, по существу, представляет собой словно оттиск со шведского. Поэтому шведам было проще всего здесь укорениться. Атмосфера Миннеаполиса совершенно чиста; она по своему существу — шведская и, однако, решительно американская. Это обстоятельство может открыть весьма многообещающие перспективы. Не стоит забывать, что Швеция и Финляндия во многих отношениях — самые современные (в американском понимании) и при этом культурные страны Европы.

* Сложная смесь (лат.).

Перенесемся еще на несколько сот миль и взглянем на штат Миссури. Этот штат представляет собой границу между Средним Западом и Югом. Но эта характеристика не затрагивает его сути. Миссуриец — это прежде всего миссуриец; а это означает не только, что он, как говорят в народе, хочет что-либо увидеть, прежде чем он в это поверит, что он подозрителен и обеими руками держится за то, что его корни — в Миссури; он — единственный известный мне американец, которому присущи качества хорошего крестьянина¹. Миссури не только один из богатейших, но и один из прекраснейших штатов Союза; осенью, когда деревья стоят в убранстве из пестрых листьев, пейзаж должен казаться просто волшебным. Поэтому уже сегодня психическая атмосфера миссурийских городов исполнена гармонии; она заставляет вспомнить Францию, а не Германию. Своеобразный веселый нрав Сент-Луиса обязан своей особенной привлекательностью именно этому обстоятельству.

Новой Англии свойственно великое и очень странное очарование умирающей культуры. К сожалению, совершенно невероятно, что она проживет еще хотя бы столетие; тем не менее с точки зрения земли она представляет собой нечто искусственное. Она — порождение почти исключительно одного духа; кажется, что своеобразной, словно плывущей, красоте этой земли может соответствовать лишь возвышенно-лирическое настроение. В последующие столетия важнейшую, ибо непреходящую, заслугу Новой Англии Америка, по всей вероят-

¹ Очень характерно, что этот тезис вызвал в Миссури взрыв негодования: в университетах прошли митинги протеста, прессы с негодованием требовала, чтобы я принес извинения. В чрезвычайно вежливом письме в газету «St. Louis Post Dispatch» я возражал, что меня сильно опечалило бы, если бы я был не прав, ведь крестьянин, по моему мнению, это почетный титул, и лишь укорененность хранит в себе прочность; на это я получил надменный ответ, что слово «крестьянин» не значится в лексиконе Соединенных Штатов; развитие страны, начавшееся после принятия бессмертной Декларации независимости, окончательно оставило крестьян в прошлом...

ности, будет видеть в том, что преимущественно ее сыны заселили Юг и Средний Запад. Все без исключения линии развития, которые американские историографы обычно проводят от прошлых культурных достижений Новой Англии до современного и будущего состояния Америки, по моему мнению, не имеют никакого отношения к действительности. Культура Новой Англии представляет собой нечто замкнутое в самом себе; она была прекрасна, но фактически бесплодна; и даже сегодня все, что в Америке живо, в большей степени воспринято из Афин, чем из Бостона; то, что кажется новоанглийским истоком, на самом деле происходит из общепуританской или европейской культуры. Меня не удивит, если Новая Англия превратится в, по сути дела, ирландскую страну, причем в меньшей степени из-за постоянно растущей доли выходцев из Ирландии, чем из-за удивительной гармонии ирландского темперамента и новоанглийского ландшафта.

А теперь пересечем континент и перенесемся на Дальний Запад. Калифорния столь юна, что, кажется, невозможно предполагать что-либо о ее будущем. Совершенно невероятно, чтобы ее главные сегодняшние особенности, например, что в ней сосредоточена львиная доля мирового производства не только апельсинов и томатов, но и спасителей мира, будут определяющими в течение долгого времени. Сегодня ее население вызывает примечательно многочисленные симптомы истерии; и это, поскольку климат здесь великолепный, может означать лишь то, что нынешние обитатели Калифорнии еще плохо адаптировались к своему окружающему миру. Этого переходного состояния, пожалуй, можно было бы избежать лишь в том случае, если бы эта земля была заселена выходцами из Южной Европы. Но немыслимо, чтобы под этим светлым, живительным небом, в этой единственной в своем роде электрической атмосфере рано или поздно не развился бы соответствующий тип человека. Этот человек должен будет заметно отличаться от уроженцев всех других частей Соединенных Штатов. Я не уверен, что этот тип когда-нибудь ста-

нет культурным типом; возможно, в солнечной атмосфере греческих островов и морей никогда не развилось бы никакой культуры, будь классическая эпоха эпохой господства природы, когда жизнь легка для всех и каждого, и, сверх того, демократической эпохой. Такие обстоятельства скорее вызвали бы к жизни тип, подобный гавайскому. Однако лишь очень немногие народы создают подлинные культуры, и это несмотря на то, что больших народов достаточно много. Если я смог что-то почувствовать в психической атмосфере Калифорнии, так это то, что она населена весьма примитивным людом: в калифорнийце больше маргинального духа, чем в любом другом американце. Но, с другой стороны, ему присуще врожденное чувство прекрасного. В его крови есть нечто, что сродни шампанскому. Возможно, когда-нибудь из него получится вино с совершенно иным букетом, чем из какой-либо другой американской лозы, которое как противоположность и контрапункт к буржуазному характеру жизни Востока, Севера и Среднего Запада при любых обстоятельствах будет благотворно на них воздействовать.

Сан-Франциско, разумеется, стоит особняком. Его атмосфера представляет собой удивительно удачное и привлекательное перекрещение Дальнего Запада и Дальнего Востока; это самый привлекательный морской порт, который я знаю; в будущие столетия, когда в Америке разовьется ее собственная культура, он, возможно, будет играть роль, подобную той, какую в римскую эпоху играла Александрия — в качестве египетской оболочки греческой Александрии здесь выступали бы китайцы и японцы. С самого начала это был город уюта, если не роскоши. Неистовый пуританин никогда не играл здесь заметной роли. Сначала это объяснялось тем, что эта роль досталась представителям тех народов, для которых жизнь была в первую очередь чем-то радостным, а именно латиноамериканцам. Но вскоре началось смешение различных рас, результатом которого стало возникновение атмосферы всеобщего уюта, веселья и беззаботности, короче говоря, атмосферы, совершенно противоположной той, что

ощущается в Бостоне, и в то же время Сан-Франциско не в меньшей степени истинно американский город.

Поэтому я должен дать краткое описание тех городов, чей *genius loci* является менее американским в смысле его соответствия общеамериканскому типу, но именно потому, подобно пряностям и приправам, оживляющим общую атмосферу, как, скажем, табаско — вид жгучего перца, чей огонь — настолько он жгуч — несомненно, доставлен прямиком из преисподней. Раз уж в данный момент мы находимся на Дальнем Западе, то и начнем с Лос-Анджелеса. Этому городу, как я его себе представляю (он полностью изменился с 1912 года, когда я его посетил, и, вполне возможно, будет изменяться и впредь), присуща самая нереальная атмосфера, какой я когда-либо дышал; вероятно, Голливуд был основан там именно с целью избавиться от нее: в силу математического закона, согласно которому сложение двух отрицательных величин дает в результате положительную, откровенная воля к нереальности, характерная для этого города кино, может наполнить реальностью то, что по своей сущности является фантаσμαгорией. Лос-Анджелес потому самый — прямо-таки зловеще — нереальный из известных мне городов, что его психическая атмосфера состоит из эманаций самого нереального, призрачного человеческого типа в мире: типа американца, ушедшего на покой. Современный американец, уйдя на покой, не может мечтать о приятной старости на какой-нибудь псевдо-Ривьере. На этом континенте еще не существует класса незанятых; безделье еще не признается здесь возможной формой жизни; прежде всего у класса людей, преобладающих среди тех, кто удалившись от дел, обосновался в Лос-Анджелесе, полностью отсутствуют культурные интересы, которые можно обнаружить у представителей любого более старого народа и которые осмысленно и не без изящества повсюду создают атмосферу своего рода курорта, являющуюся составной частью общественной атмосферы в целом. Подавляющее большинство жителей Лос-Анджелеса относится к типу Бэббитта. Они вбили себе в голову, что ушедший на покой джентльмен должен безудержно пре-

даваться разного рода развлечениям, и они воображают, что именно этим они и заняты, хотя фактически большинство из них проводит остаток своих дней в постоянной скуке. Они абсолютно не знают, что им делать со своим свободным временем.

Однако этот в высшей степени комический элемент, быть может, является необходимой и здоровой составной частью всей американской жизни в целом. Эта жизнь слишком серьезна в том смысле, что большинство американцев относятся к самим себе с невероятной серьезностью. Для них как для народа было бы полезным, если бы они решились взглянуть на Лос-Анджелес как на место, над которым можно добродушно посмеяться. Возможно, это поспособствует также и тому, чтобы у них развилось настоящее чувство юмора. Ведь его отсутствие у американцев тем более удивительно, что сами они только о юморе и думают. Разумеется, это слово можно употреблять в различных смыслах; но слово «юмор» должно означать то, что оно издавна означало во всех культурных мирах, а в таком случае то, что под юмором понимают американцы, это не что иное, как пристрастие к остротам и пассивное удовольствие от них; да и в этих шутках почти всегда отсутствует подлинное остроумие. Лишь тот обладает чувством юмора в истинном смысле, кто в состоянии, спустившись с высоты великодушного и сиятельного духа, выразить какое-нибудь глубокое и даже трагическое противоречие. Ему дарован божественный смех, доступный лишь тому, кто внутренне выше всех тех вещей, которые средний человек воспринимает с такой ужасающей серьезностью. Поэтому высокий юмор невозможен там, где не господствует духовное понимание. А потому высочайшим юмором всех времен следует признать древнекитайский. Подлинный юмор — это не только само по себе чувство пропорции, как то полагают англичане, — он есть чувство пропорции, которое сдерживается изнутри острым чутьем на духовные и интеллектуальные ценности. В том же, что юмором называют американцы, невозможно обнаружить даже намека на такое понимание. Они понимают под юмором лишь

средство игнорировать подлинные жизненные конфликты — подобно тому, как преступник на эшафоте тратит свои последние мгновения на то, чтобы изобразить равнодушие, — или же средство дать волю процессам вытеснения и удовлетворить чувство неполноценности. Вот еще одна цитата из книги «The American Mind in Action» (р. 33 — 35):

«Американский юмор — это то, что в науке называется "folkway"*». Он представляет собой потайной ход для вытесненных эмоций. В своей грубой форме он высвобождает подавленную ненависть, как, например, при злых шутках, которые причиняют своим жертвам определенный вред, но заставляют их самих смеяться над собственной неудачей, поскольку такие шутки рассматриваются как *"good sport"* **. Остроумие маскирует злое намерение, но такое намерение есть бессознательный повод для остроты, а жертва показывает, что ей понятен скрытый мотив, если она реагирует на шутку, подавляя свой гнев и враждебность. Американская карикатура — одна из форм такого жестокого юмора. В театре и кино он проявляется как комедия шлепков и затрещин. Популярная кинокомедия почти варварски жестока. А в гримерной цирка можно услышать жалобы усталого, изможденного клоуна: «Если я упаду и разобью себе затылок, эти парни лопнут от смеха». Причина того, что они его как будто ненавидят, что их смех звучит столь жестоко, — накопленная из-за присущих цивилизации моральных конвенций подавленная ненависть. Чем больше вытеснено, тем громче смех. Юмор потому составляет бросающуюся в глаза особенность американской жизни, что в ней вытеснение приобрело столь всеобщий характер. Марк Твен пробурлил в бессознательном своего поколения скважину ненависти и бунта, и она отплатила ему, подобно нефтяному источнику... Его чувство неполноценности заставляло его скрывать сатиру за шутовством:

* Народная манера (англ.).

** Отличная забава (англ.).

когда он хотел высмеять своего читателя, он высмеивал самого себя, и читатель смеялся над своей собственной смехотворностью, представлявшей ему смехотворностью Марка Твена. Его чувство неполноценности было тем, что позволяло его юмору выглядеть «добродушным». Насмешник в определенном смысле играет с самим собой злые шутки и радуется своим собственным неудачам. Смеясь над своими недостатками, он как бы возвышается над ними и уклоняется от того, чтобы самому выразить по их поводу свое неодобрение. Это — особенность американского юмора, на которую в своих строках о «циничном дьяволе» американца, «который золотит болото его отчаяния, но затемняет цель его стремлений», нападал Редьярд Киплинг. Реформатор энергично берется за осушение болота вместо того, чтобы над ним смеяться; а типичный американец постоянно жалуется, что у американских реформаторов нет никакого чувства юмора. Но будь у них это чувство, они, по всей вероятности, не были бы реформаторами.

Теперь — в Новый Орлеан. Нигде для меня не было столь очевидным превосходство истинной культуры, как там. Сегодня процент живущих в этом городе французов очень невелик. И все же он пропитан традицией XVIII столетия; всем своим очарованием и всем своим значением он все еще обязан духу старой Франции. Новый Орлеан — это единственный город Америки, где кухня считается искусством, и я полностью присоединяюсь к мнению Лэнгдона Митчелла, сказавшего, что плохая кухня и то, каким образом люди с ней мирятся, представляют собой самые мощные препятствия на пути к американской культуре. Лично я захожу столь далеко, что считаю изначальную кулинарную одаренность — или же воспитание, позволяющее понять ее ценность, — более важным для культуры, чем какое бы то ни было «воспитание» в обычном смысле слова. Ибо если голод и жажда — самые элементарные инстинкты человеческого существа, то их связь с эстетическими ценностями имеет в целом большее значение для духовного развития, чем любое интеллектуаль-

ное и моральное воспитание. Нет никакого сомнения, что высокая культура становится возможной лишь на определенном фундаменте простой жизни; но эта культура есть нечто, что еще предстоит, и с огромным трудом, достичь, — случай, аналогичный случаю простоты классического искусства. Пример питья, возможно, еще более показателен, чем пример пищи. Разумеется, культурный человек может в то же время пить одну лишь воду; в условиях аскетизма также может расцвести высокая культура. Но все чувство качества и способность различения, которым знаток вина посвящает годы, направляются на различение различных сортов воды. Это одно из тех чудес, которые восхищают нас в величайших представителях исламской культуры: они разбираются в водах и источниках, как европейцы в марках вина. Но тот, кто пьет исключительно ледяную воду и на этом основании ощущает свое превосходство над тем, кто пьет вино, впадает в достойное сожаления заблуждение; по своему душевному развитию он находится намного ниже типа Фальстафа, поскольку тот ценил в первую очередь качество, а не количество.

При помощи этого примера я хотел сделать совершенно ясным, в какой чудовищной степени американское общественное мнение заблуждается в том, что касается этих основополагающих вещей; «незагрязненность» и «чистота» почитаются им как альфа и омега качества. Несомненно, пища и питье должны быть чистыми, незагрязненными. Но принципиально эта чистота никоим образом не относится к искоренению бактерий; прафеноменом здесь является симбиоз, а вовсе не борьба между человеком и бактерией; большинство этих крошечных существ не только безвредны, но и необходимы для здорового обмена веществ; лишь в результате внешнего раздражения они становятся возбудителями болезней. Далее, никакой организм не подвержен болезни, к которой он не имеет предрасположенности. Очень многое из того, что обуславливает приятный вкус пищи, можно объяснить взаимодействием бактерий; достаточно вспомнить о различных процессах брожения. Таким образом, что мо-

жет быть следствием стерилизации всей пищи? По всей вероятности, утрата питательной ценности — все животные питаются сырой пищей — и, разумеется, потеря вкуса. Ныне в Калифорнии выращивают финики, ведущие свое происхождение от лучших африканских, арабских, сирийских и месопотамских сортов. Но эти финики, продающиеся в американских магазинах, почти безвкусны, то есть они либо таким образом стерилизованы, что создающие вкус бактерии полностью ликвидированы, либо труд этих бактерий уничтожен действием определенных химических процессов. Результат подобен тому, как если бы глупая уборщица начистила до блеска старые, покрытые патиной драгоценные вазы.

Однако вернемся в Новый Орлеан. Это единственное в Америке место с кулинарными традициями обязано своим характером французскому влиянию. Благодаря ему даже американизму в Новом Орлеане присущ ореол красоты. Я провел целую ночь, гуляя по рынкам и докам, где овощи и фрукты громоздятся в чудовищном, чисто американском количестве и продаются оптом и в розницу. Однако изысканное, свойственное французам чувство прекрасного победило и покорило даже эту чудовищную массу материала. Огромные горы редьки, фасоли, бананов, апельсинов и т. д. своим строением напоминают искусно составленные букеты цветов; ночной поход по рынкам Нового Орлеана, вероятно, может подарить самую потрясающую картину рукотворной красоты, какую только можно найти в Соединенных Штатах. Французы — самый упорный из всех народов. То, как они украсили американские рынки, доказывает, что французское чувство качества, возможно, подстегнутое американским массовым производством, кажется, живо и более решительно, чем когда-либо прежде. И разве не поразительно, что в Америке существует огромный город столь укорененной культуры? В скором времени он станет чисто американским, хотя, конечно, и с южным, совершенно тропическим своеобразием. Однако французское чувство качества будет ощущаться в нем и дальше, и не только как закваска, но как определяющее его облик влияние. Я

надеюсь, придет время, и Новый Орлеан станет обладать для американцев большей притягательной силой, чем Нью-Йорк. Если такое случится, то американцы будут отдавать ему предпочтение в том же самом смысле, в каком каждый культурный немец ценит Мюнхен, не говоря уже о Вене, куда выше, чем Берлин.

А теперь мы готовы отправиться в Чикаго — самый зловещий город на Земле. Если где-нибудь и существует «вещь в себе», то это — Чикаго. Это не Америка, это именно Чикаго. Но, с другой стороны, если он будет и далее распространяться с той же разумной энергией, то однажды поглотит все Соединенные Штаты целиком. Атмосфера города отнюдь не радостна; то, что я писал о ней в 1912 году под впечатлением всего лишь двух проведенных в нем дней, в течение которых не перекинулся словом ни с одной живой душой, остается истинным и сегодня даже более правдивым, чем тогда. *Genius loci* здесь создан не человеком и не окружающим миром, который в этих местах невысказанно красив; Lake Shore Drive* своей красотой могла бы сравниться с береговой линией в районе Неаполя. Насколько я смог установить, атмосфера Чикаго соткана преимущественно из следующих элементов: во-первых, из паразитического роста «вещи в себе», почти независимой от всякой американской традиции, не принадлежащей области технической экспансии. Это, в свою очередь, можно объяснить значительной плотностью чуждого в своем большинстве населения, наиболее дельные представители которого — немецкого происхождения. Отсюда — странное сходство между Чикаго и современным Берлином; типичные современные берлинцы больше походят на германоамериканцев, чем на немцев традиционной культуры. В Чикаго не ощущается ничего англосаксонского. В его своеобразной деловитости господствует немецкий дух, то же самое относится и к его особенной нереальности. Чикаго напоминает города 3000 года н. э., как они показаны в немецких кинофильмах. Ведь ирреальность духа, как я это показал в «Спектре

* Дорога вдоль берега озера (англ.).

Европы», составляет одну из главных особенностей немцев, тогда как у англосаксов дело обстоит прямо противоположным образом. В этом заключается бытийное основание той призрачности, которую нельзя не почувствовать в атмосфере Чикаго; некая призрачность заключена даже в механизированном массовом забое скота на *stockyards**. Чувствуется: если существует ад, то такое механическое обращение с таинством смерти будет так же осуждено на преисподнюю, как и всякого рода чудовищные злодеяния. Поэтому человек в Чикаго есть нечто нереальное; он более напоминает персонаж какого-нибудь фильма, чем существо из плоти и крови. И, наоборот, незримое присутствие чикагской преступности чрезвычайно подходит общей атмосфере города из кинофильма. Я вспоминаю, как на одном званом вечере некий господин внезапно стал прощаться. Мы спросили его, что случилось. Он ответил: «Несколько дней назад в десять часов утра в мое бюро (он был банкиром) ворвалась вооруженная револьверами банда и взяла все, что могла схватить. Естественно, обращаться в полицию было бесполезно. Сегодня я был уведомлен, что если в десять часов вечера я буду в указанном месте, то, возможно, нам удастся достичь некоего *gentlemen agreement*»**. Я полагаю, что основой преступной сущности Чикаго, которая намного авантюрнее, чем самые авантюрные романы, в большей степени является всеобщая атмосфера нереальности, нежели количество живущих там итальянцев. Пожалуй, Чикаго в определенной мере напоминает домуссолиниевские Неаполь или Палермо, но ведь и в других американских городах есть итальянцы, что, однако, не приводит к тому, чтобы в них наблюдалось нечто подобное. Дело, по всей видимости, в следующем: несмотря на всю механизацию, человек остается живым существом и, сверх того, человеческим существом, а не муравьем и не пчелой, и, когда его жизнь становится механизированной сверх определенной границы, он нуждается в своего рода предохранительном клапане; поэтому от гря-

* Скотопригонные дворы (англ.).

** Джентльменский договор (англ.).

душей «цивилизации» Соединенных Штатов я ожидаю скорее роста, чем сокращения преступности. Однако, как бы то ни было, мнимая смесь таких несоединимых стихий, как Берлин и Неаполь, очень хорошо соответствует характерной для Чикаго всеобщей атмосфере нереальности. Все, что по-настоящему бесспорно, весьма неутешительно. Таким образом, Чикаго — это единственное место в Союзе, где можно ощутить нечто такое, как мелочность, злоба и недоброжелательность. И все же Чикаго — это удивительная вещь. И именно потому, что он такой «берлинский», его, вне всякого сомнения, ждет большое будущее. Если же он останется лишь тем, чем он является сегодня, чудовищной силы «вещью в себе», которая, ко всему прочему, выполняет множество полезной работы, то его растущий контраст с остальной частью Союза неизбежно приведет к плодотворным напряжениям и поляризациям. Тем более что Чикаго — несмотря на то, что представляет собой нечто жуткое и нереальное, — как нарочно, является важнейшим городом и индустриальной метрополией Среднего Запада.

Ну а теперь в Нью-Йорк! Сегодня каждый интеллигентный американец при первом знакомстве скажет интеллигентному европейцу, что Нью-Йорк — не Америка. Фактически он более не репрезентирует ее, как это было в течение долгого времени, пока американцы думали исключительно о техническом прогрессе и пока истинные американцы не пробудились к сознательной жизни. И все же Нью-Йорк точно так же необходим Америке, как и любой другой город. Он — *Clearing-House* Америки. Сегодня он в большей степени приют для иностранцев, чем для граждан Америки. Кроме того, у него нет какой-либо единой атмосферы. Далее, в его жизни есть нечто лихорадочное; эта типичная особенность всякого делового центра, такого, как Уолл-стрит, усиливается прямо-таки омерзительным климатом. Он ни в коей мере не возбуждающ, он лишь непостоянен, переходя от одной крайности к другой: наэлектризованный, влажный, расслабляю-

* Расчетная палата (англ.).

щий и возбуждающий одновременно. Однако, сколько бы в нем ни было теневых сторон, Нью-Йорк имеет для Америки не меньшее значение, чем в свое время Петербург имел для России, а Вена для Ближнего Востока: он — ее окно в Европу. Здесь сталкиваются влияния Старого и Нового Света; здесь растет один из самых мощных интеллектуальных центров человечества. Ибо лучшие умы Америки концентрируются в Нью-Йорке. Отношение Нью-Йорка к остальной Америке весьма примечательно, его совершенно нельзя сравнить со взаимоотношениями Парижа и Франции. В Нью-Йорке никогда не произошло ни одного события общенационального значения; напротив, Нью-Йорк репрезентирует продолжение в Соединенных Штатах вненациональной жизни, которая естественным образом лучше всего подходит всем бизнесменам и недавним иммигрантам. Но именно потому, что становление подлинной Америки превращается в неудержимый процесс, наличие могущественного Нью-Йорка с его охватывающими весь мир интересами является для Соединенных Штатов чем-то куда более необходимым, чем для иных государств их столицы. Если бы могущественного Нью-Йорка не было, то легко могло бы случиться так, что Джордж Бэббитт стал бы сам определять внешнюю политику, что, принимая во внимание чудовищную мощь Соединенных Штатов, было бы весьма опасным.

В заключение этого краткого обзора американского многообразия следует сказать пару слов о Вашингтоне. Этот город также оставляет впечатление чего-то нереального. Причина в следующем: политический центр неполитической по своей сути страны (здесь я только намекаю то, что затем будет подробно рассмотрено в главе «Приватизм») должен выглядеть ирреальным. К тому же тон в здешней общественной жизни в значительной степени задают члены дипломатического корпуса. Благодаря этому в Вашингтоне, кажется, по-прежнему живет дух колониальной эпохи, поскольку важные господа продолжают и в Новом Свете вести традиционную жизнь XVIII столетия. Если в Белом доме некоторое время обитал такой человек, как Кельвин Кулидж, то это представляет

собой лишь частный случай некоего всеобщего парадокса, который на свой манер воплощал в себе, скажем, и Томас Джефферсон. Этот человек, который, насколько я знаю, являлся автором большинства лозунгов о равенстве и т. д., сам был типичным вельможей XVIII века. Как государственный деятель он выступал за равные права для всех. Однако это не помешало ему построить в своем доме туннель для незаметного перемещения собственных рабов — изобретение, которое привело бы в восторг какого-нибудь Тримальхиона.

Да, сегодня Америка — это целина, на которой глубокие корни пустили различного рода регионализмы, напоминающие Европу конца эпохи переселения народов. В этой книге я кратко описал лишь некоторые из этих регионализмов, однако, я полагаю, этого было достаточно, чтобы привлечь внимание читателей к этой весьма существенной стороне американского ландшафта, которую каждый из них может впоследствии более глубоко исследовать в соответствии со своими собственными знаниями. Я же должен обратиться теперь к новой теме. Ибо именно в этом самом пункте возможности для сравнения Америки и Европы исчерпываются. А именно: описанные нами региональные различия никогда не смогут стать настолько сильными, чтобы подорвать единство Союза. Чтобы понять это, мы обратим свое внимание на иную, еще более важную сторону американского ландшафта, которая логически противоречит той, что мы уже описали.

В «Спектре Европы» мы показали, что прообразом рассматривавшегося в этой книге континента является Балканский полуостров. Все хорошее — а не только все плохое — в Европе основывается на ее многообразии, на основополагающих различиях европейских народов и на их взаимном противоборстве. По сравнению с Европой Америка куда более однородный континент. Конечно, она могла бы стать страной многих языков, народов и государств; в ней есть географические рубежи, из которых получились бы идеальные «естественные» границы. Кро-

ме того, через североамериканский континент проходит одна пусть не «естественная», но тем в большей степени реальная граница: я имею в виду границу между Соединенными Штатами и Канадой. Здесь решающим является то обстоятельство, что соседи принадлежат различным культурным сферам и различие в типе, несмотря на длительное общение и большое сходство в образе жизни, скорее усиливается, чем ослабевает; этот факт лучше, чем большинство известных мне, доказывает гигантскую силу культурной традиции. И все же мне не кажется случайным, что территория Соединенных Штатов стала единой страной: ее подлинный дух — это дух простора. Он сходен с духом России и Центральной Азии и совершенно не похож на дух Европы.

В данный момент объяснить это почти невозможно. Но каждый проникательный путешественник как нечто само собой разумеющееся ощущает, что Америка должна быть единым целым. Наверное, она могла бы на время распасться на политически автономные части, как это происходило с Китаем и Россией. Но ее существенное единство все равно сохранится и будет так или иначе вновь и вновь восстанавливаться, точно так же как в Китае или России; это окончательно доказывает отсутствие духовного значения каждого отдельного штата Союза, как бы самостоятельны они ни были. Очевидно, что эта страна, включающая в себя области с арктическим, тропическим, северным, умеренным и южным климатом, побережья и пустыни, леса, горные хребты и прерии, не может не быть единой. Даже первопоселенцы, не обладавшие достаточными средствами для дальнейшей экспансии, ощущали себя виртуальными обладателями некоего целого. И движение на запад, осуществлявшееся вопреки всем трудностям, не было бы столь неукротимым без этого убеждения, что Америка, несмотря на свои громадные размеры, является и должна быть чем-то по своей сути единым. Здесь дух земли проявляет свою силу новым и еще более грандиозным образом, чем об этом можно было судить исходя из того, что было сказано ранее. Воздействием земли объясняется не только духовная ограниченность

становившихся оседлыми номадов — это воздействие было причиной и стремления к экспансии: если бы дело обстояло иначе, то иммигранты из Европы не располагали бы такой колоссальной кинетической энергией. Американский номадизм — первое и самое примитивное выражение внутреннего простора; то же самое с давних пор относилось и к номадам Центральной Азии. И то и другое явление представляет собой эквивалент чисто телесных движений, посредством которых страдающий идиотизмом младенец выражает ощущения, которые у взрослого сумасшедшего находят свое выражение в духовных симптомах.

Я лишь потому должен был столь — и, как я теперь сознаю, даже чересчур — настоятельно подчеркивать тот факт, что американская ограниченность есть результат творческого воздействия земли, что здесь речь идет о наименее понятном и наименее принимаемом во внимание аспекте проблемы Америки. Нет никакого сомнения, что по своей сути воздействие американской земли способствует расширению и распространению. То же, что суживает и ограничивает, зиждется на тех законах, которые определяют общий для любого народа процесс его укоренения в новой почве, если он не принадлежит к господствующему на ней типу. Однажды я в шутку сказал репортерам, что Америка показалась мне меньшей, чем гигантская Швейцария, примерно такой, как гигантский кантон Аппенцель. Однако акцент следует сделать на прилагательном «гигантский». Протяженность и простор благоприятствуют соответствующей внутренней масштабности, можно сказать, что они просто создают ее. Этот составляющий отличительную особенность континента и внушенный им человеку простор настолько явно выступает в качестве его определяющего свойства, что можно с уверенностью предсказать: если даже регионализм разовьется настолько сильно, насколько это вообще возможно, он все равно будет оставаться чем-то вторичным; образующиеся различия никогда не будут более значительными, чем различия между Северной и Южной Россией или Северным и Южным Китаем. Не стоит даже и ду-

мать о том, что это единство является всего лишь следствием стандартизации: напротив, последняя могла так далеко зайти лишь на основании объединяющей и способствующей расширению американской атмосферы. В ином случае она была чем-то совершенно поверхностным, что действительно характерно для того психологического равенства, которое, как представляется, является целью школьного образования и под влияние которого, как правило, попадают прежде всего дети бедных иммигрантов. Настоящее тождество в образе мышления основывается на общих эмоциях, а не на общеупотребительных лозунгах (более того, последние редко выражают так называемые «общие идеи»), а эмоции развиваются медленно, ибо они могут лишь постепенно созревать, подобно ребенку во чреве матери; в этом коренится типичная антипатия старинных американских семей ко всем чужакам, становящимся американцами. Американец, обоснованно претендующий на то, чтобы считаться истинным сыном американской земли, всегда относится к одному и тому же человеческому типу, в какой бы части континента он ни родился. Это ведет нас к осознанию новой важной истины. Соединенные Штаты, пожалуй, можно сравнивать с Китаем; Соединенные Штаты, пожалуй, можно сравнивать с Россией; но будет совершенно ошибочным и совершенно неоправданным сравнивать их в каком бы то ни было отношении с Европой.

Это вынуждает нас внести некоторые ограничения в то, что мы говорили об американской узости, а они со своей стороны обуславливают внесение некоторых ограничений в наш тезис, что житель Среднего Запада принадлежит к тому же типу, что и швейцарец. В России также существуют крайне ограниченные человеческие типы, например, сектанты; китайский крестьянин или мелкий торговец также не может рассматриваться как масштабный человеческий тип. Но и те и другие относятся к широкой и масштабной по своему существу человеческой породе, как части к целому; точно так же английский провинциал, чей кругозор не простирается дальше частных и локальных интересов, все же является состав-

ной частью имперской по своей сути нации. То, что американец также по своей сути широк и масштабен, даже когда он представлен в облике Бэббитта, наиболее отчетливо видно именно на примере самых ограниченных американцев. Тот способ, каким обычный американский бизнесмен зарабатывает и тратит свои деньги; то, что он всегда признает лишь кратчайший путь, ведущий его к той или иной его цели, и при этом исключает все незначительные точки зрения, кроме по-настоящему важной; его способность к совместной работе с другими людьми, несмотря на все различия и даже противоположности в частностях; его ежесекундная готовность порвать со своим прошлым — уже эти качества характеризуют изначально масштабный человеческий тип. Что же до всего прочего, то в каждом народе должны существовать узкие индивидуальные или сословные типы; величайший гений того, чтобы ходить, нуждается в самых обыкновенных ногах. Китайская философия с ее образным мифологическим языком предлагает лучшую из известных мне теорий истинной взаимосвязи; я хочу в общих чертах воспроизвести ее здесь, ибо крайне важно обладать полным пониманием положения вещей. По китайским представлениям, земля и небо, события мира и человеческая жизнь, мораль и нормальный ход природных явлений образуют единственное взаимосвязанное целое. Первым идет небо, за ним — император; он — связующее звено между небом и землей. Крестьянин же — звено, связывающее землю и человека. Человек — за исключением императора — «имеет дело с землей». Крестьянин — это человек, в наибольшей степени подчиненный земле. Если он не выполняет со всей строгостью своих обязанностей, то и небо, и земля начинают шататься¹. В Соединенных Штатах в силу особых обстоятельств нет — по крайней мере, пока — крестьянского сословия. Однако та роль, которую в мировом порядке играет крестьянин, исполняется тем ограниченным типом, которого мы сравнили со швейцарцем; и действительно, если дать крестьянину любой страны поверх-

¹ Ср. главы «Цзи Нань-фу» и «Пекин» в моем «Путевом дневнике».

ностно-либеральное воспитание и создать для него такие условия, чтобы во всем, что он говорит и делает, он апеллировал только к этому образованию, то он неизбежно превратится в совершенного Бэббитта. Бэббитт — это точный эквивалент того, что в эпоху, предшествовавшую обретению третьим сословием своего значения, придавало такую убедительную силу мольеровскому *Bourgeois Gentilhomme**.

Таким образом, неудивительно, что большинство тех, кто в свои зрелые годы оказался в Нью-Йорке, являются выходцами со Среднего Запада. Между Джорджем Ф. Бэббиттом с его узостью и ограниченностью и типом американца с его масштабными планами и мировыми перспективами существует не большее противоречие, чем между крестьянином и господином в Китае или России; они связаны друг с другом, взаимно дополняют друг друга и непрерывно друг в друга переходят. Их этого следует нечто чрезвычайно важное и одновременно утешительное: американцы не должны стыдиться своего Бэббитта. Сегодня Бэббитт — самый здоровый и самый достоверный представитель всего континента. Американцы стремятся к одному — к тому, чтобы та их разновидность, которая связана с землей, более не играла столь откровенным образом роль *Bourgeois Gentilhomme* французского XVII столетия; чтобы она лучше осознавала свою сословную роль и в соответствии с этим меньше занималась вещами, к пониманию которых она физиологически не способна. Далее, американцы, которые не являются Бэббитами, не должны более превозносить или, наоборот, поносить его как «американца» — они должны просто оставить его в покое, а большего он и не требует. Наконец, они должны по возможности способствовать развитию такого высокого, связанного с землей типа, который соответствовал бы поместному дворянству Старого Света. Поместный дворянин — это человек, в котором стихии духа и земли пребывают в равновесии; поэтому на протяжении истории он был прирожденным лиде-

* Мещанин во дворянстве (фр.).

ром. В Америке дело обстояло подобным же образом. Это доказывается тем фактом, что такое огромное количество выдающихся американцев являются уроженцами Юга, а в особенности Вирджинии.

Итак, американца можно сравнить с русским, китайцем и центральноазиатом, но никак не с европейцем. Это станет особенно понятным, если мы уясним себе, что не только швейцарцеподобный, но и масштабный тип американца по своей сути ограничен и замкнут как внутренне, так и внешне, пространственно. Так было у всех народов, большая часть которых жила в так называемом континентальном (в противоположность океаническому) климате. Морские народы, как правило, открыты, общительны; этим объясняется, почему все способные к экспансии, перемещению и колонизации культуры выросли на море. Но китайцы никогда не смотрели за пределы Китая. Точно так же и русский, как бы ни широка была его душа, всегда считал нерусских неискренними; если он говорил о человеке вообще, он тем не менее всегда имел в виду лишь русского. Что касается жителей Центральной Азии, то они часто выступали в качестве мировых завоевателей; однако именно способ, каким они завоевывали и господствовали, доказывает ту же типичную для всех обитателей территорий с континентальным климатом внутреннюю замкнутость. Подобным образом обстоит дело и с жителями Соединенных Штатов. Представитель типа истинного уроженца Америки инстинктивно оценивает все неамериканское как нечто неполноценное, если не как моральное уродство. Лозунг «Америка — подходящее место для американцев» предельно откровенен и означает нечто совсем иное, чем, скажем, любовь англичанина к своей родине. Но это же самое обстоятельство объясняет и то, почему американец, несмотря на всю свою многосторонность, по существу, не способен к адаптации. Он не умеет колонизировать, он может лишь завоевывать и абсорбировать. Как бы искренне он не верил в равноправие народов, его установка по отношению к соседям, таким, как мексиканцы и центральноамериканцы, — это установка учителя старой закалки, желающего испра-

вить характер озорного мальчишки. Он может не догадываться, что «демократия, как он ее понимает, возможно, всего лишь одна из форм устройства жизни среди других, полностью подходящая для американцев, но совершенно непригодная для других народов; по его мнению, его особенности непременно должны быть абсолютно лучшими качествами *in abstracto*. Наконец, все вышесказанное объясняет, почему у так называемой страны свободы практически нет понимания свободы мысли. Американец по своему существу догматичен. Правда, следует всячески отметить, что пока это остается без серьезных последствий. Но если силу обретает какое-либо духовное течение, не согласующееся с изначальными американскими тенденциями, тотчас в том или ином обличье поднимается дух Ку-клукс-клана. С самого начала мне бросилось в глаза, что американские радикалы — в европейском смысле слова — кажется, абсолютно не обладают чувством ответственности; как представляется, они в конечном счете не воспринимают всерьез ни свою критику ситуации, ни самих себя. Причина этого в том, что их положение чрезвычайно напоминает положение придворных шутов в средние века. Ведь самым главным в придворном шуте была не его глупость — зачастую он даже бывал мудрейшим человеком при дворе, — а то, что его мудрости не хватало какой бы то ни было силы. Пожалуй, наша картина американской ограниченности и замкнутости будет достаточно полной, если мы рассмотрим еще пару обстоятельств. Возможности стандартизации и массового внушения кажутся на американской почве неограниченными. Но, с другой стороны, их воздействие не выходит за географические и политические границы Соединенных Штатов; оно не пересекает даже канадской границы. Это означает, что подлинной душой этой стандартизации является инстинктивная вера каждого в то, что то, что хорошо для одного, должно быть хорошо и для всех. Одна эта мысль объясняет, почему все истинно американское, по сути дела, нельзя перенести за пределы Америки и пересадить на иную почву. Поэтому какая бы то ни было американизация мира полностью исключена.

Конечно, очень многие технические изобретения, методы ведения бизнеса и даже некоторые привычки, составляющие американский образ жизни, прочно войдут в жизнь очень многих стран, ибо они практичны. Но если под словом «американизация» понимается лишь это, то это означает, что у Америки нет никакой души. Либо нация — это некая душа, либо ее не существует. Позднее мы увидим, что об отсутствии души как о постоянном явлении не может быть и речи. Однако даже на основании того, что мы уже узнали, мы можем понять (тем самым мы переходим ко второму пункту, который мы в этой связи намеревались обсудить), что американская душа должна быть по своему существу чем-то замкнутым. По самой своей сути система Соединенных Штатов — это закрытая система. Поэтому доктрина Монро всем американцам кажется правильной; отсюда — архиконсервативный дух Америки: закрытая система по самой своей сути консервативна, ее основы должны быть неизменными. Китай никогда не думал о том, чтобы изменить конфуцианский закон; русское христианство (вплоть до революции можно было говорить о единстве религиозной природы России) никогда не признавало возможности какой бы то ни было эволюции. Точно так же Америка с невероятной силой держится не только за свою старую конституцию, но и за отдельные учреждения, которые, по мнению всех мыслящих американцев, являются устаревшими, недостаточными или даже противопоказанными самому духу цивилизации.

Поэтому мы видим, что различия между Европой и Америкой — это не просто различия в возрасте, уровне культуры или характере, речь действительно идет о различии самой сущности. Поскольку приток европейцев в Америку еще продолжается, этот факт еще не может проявиться с достаточной ясностью. Но тем более он уже сегодня относится к самому важному аспекту внутреннего опыта каждого истинного американца молодого поколения. Здесь мы достигли того пункта, находясь в котором можем оценить то поистине мощнейшее значение, которая имела для Соединенных Штатов мировая война:

вне всякого сомнения, для их истории она имеет гораздо большее значение, чем для истории Европы. И это не потому, что Америка из нации денежных реципиентов вдруг превратилась в нацию кредиторов; и не потому, что сегодня она является богатейшей страной мира; и не из-за огромного политического и морального влияния, которое она приобрела, — все эти завоевания в конечном счете могли бы оказаться лишь временными. Мировая война представляет собой важнейшее событие в истории Соединенных Штатов потому, что благодаря потрясению, причиной которого она была, Америка как нечто целое впервые осознала свою собственную душу. До мировой войны она, по сути дела, еще рассматривала себя как колонию Европы или, по крайней мере, как одну из многих частей единого западного мира. Но потрясение, вызванное мировой войной, принесло урожденному американцу сознание своего американства; оно позволило ему понять и почувствовать, что он обладает душой, присущей особому, исключительному народу. И это пробуждение было настолько мощным, что даже представители молодого поколения, чьи родители были иностранцами, сегодня чувствуют себя американцами, и никем иным, то есть неевропейцами. Именно потому, что эта новая душа пробудилась в сознании впервые, ее еще нельзя выразить в какой-либо завершенной форме. Однако если сегодня Бэббитт обладает силой убедительности мифологической фигуры, то это не что иное, как естественное следствие того, что по уже указанным причинам тип ограниченного американца способен ощущать себя только американцем, и никем другим. И Бэббитт потому смог достичь значения, которое в полной мере понятно лишь очень немногим сынам более древних культур, что в период возникновения Америки, как и любой другой нации, быть «американцем вообще» представляет собой основополагающую ценность. Таким образом, мы с уверенностью можем утверждать, что подлинная история Америки началась лишь с того рубежа, которым стала мировая война; то, что происходило прежде, было европейской колониальной историей или же относилось —

как, наверное, это ощущает американец, в котором живо прошлое, — к мифической доисторической эпохе Нового Света, подобно тому как гомеровская эпоха относится к эпохе исторических греков. Одно это соображение многое объясняет в послевоенной позиции Соединенных Штатов: отрицание вильсонизма, выход из Лиги Наций, долговую политику, законы об ограничении иммиграции. Сюда относится даже сухой закон.

Исходя из этого, мы можем понять также и внезапность и чрезмерность определенных явлений. Поскольку осознание себя американцами, в противоположность европейцам, возникло буквально вчера и в результате внезапного потрясения, то молодому поколению должно быть так же не по себе, как в свое время Адаму и Еве при их достопамятном столкновении с деревом познания. Только оно не сомневается, что найдет лучшее решение, и с порога отвергает возможность того, что оно будет изгнано из своего рая.

Мы уже в достаточной степени обозначили те координаты, которые позволяют определить сущность американского ландшафта в его главных чертах. Из тех черт, что мы обсудили ранее — повторение, пожалуй, будет излишним, — и в связи с тем, что уже было сказано, можно вывести еще одну новую его черту. Благодаря тому, что до мировой войны Америка даже коренным американцам, насколько позволяло их сознание, казалась страной свободы, убежищем для всех и каждого или плавильным котлом, в котором все, что в него попадало, неизбежно должно было измениться к лучшему в некоем абстрактном смысле, американское мышление практически полностью оторвалось от действительности и вследствие этого перестало обладать каким бы то ни было творческим воздействием. Еще и сегодня оно представляет собой нечто более абстрактное, чем мышление любого другого народа: оно мыслит в чисто абстрактных ценностных понятиях, будь то понятие демократии или морализма, свободы или идеализма и так далее. Очень быстро на американской почве в качестве противовеса и компенсации разви-

лась в равной степени трезвая и позитивистская манера судить о вещах и ценностях, словно они находятся где-то в другом месте. Общий знаменатель разнообразных явлений, которые я здесь имею в виду, можно с полным правом обозначить как «прагматизм», хотя я использую это слово в гораздо более широком смысле, чем название соответствующей школы. Решающий тезис этого направления состоит в том, что все духовное и интеллектуальное должно оцениваться в соответствии с так называемым «прагматическим тестом», понятие которого обычно рассматривается в единстве с понятием успеха. Именно эта крайность американской *matter-of-factness** лучше всего доказывает, что речь здесь идет о некоей идеологии контраста: поскольку американское мышление традиционно склоняется к чистой абстракции, оно тем более явно осознанно обращается к тому, что можно непосредственно пощупать руками. Но как много еще и сегодня значат в Америке абстракции! Еще и сегодня американская нация является самой идеалистической нацией в мире в смысле абстрактного идеализма; она так строго следует ему, так неуступчива и радикальна, словно какой-нибудь школьник. И этот идеализм постоянно усиливается благодаря идеологиям вновь прибывающих, которые ради собственного интереса должны вновь и вновь подчеркивать, что Соединенные Штаты — это не такая страна, как все остальные, а американский народ — не такой, как все другие народы; для них Америка — это просто обетованная земля осуществленных идеалов. Тем не менее абстрактные идеалы как таковые обладают лишь весьма незначительной силой. Тот, кто до мировой войны в этом сомневался, вероятно, с тех пор этому хорошо научен. То, к чему в действительности привели четырнадцать пунктов президента Вильсона, это разрушение Европы и угроза существованию всей белой расы. Они стали тем, что духовно вдохновило большевизм, ибо без идеи самоопределения народов и полнейшего вильсоновского презрения к историческим взаимосвязям большевикам бы никогда

* Сухость, прозаичность (англ.).

не удалось революционизировать весь Восток, а главное, им никогда бы не пришло в голову попытаться проделать то же самое с Европой. В конечном счете временное господство чисто абстрактных идеалов, никак не связанных с действительностью, привело лишь к следующему: оно предоставило иррациональным силам бессознательного уникальную в современной истории возможность действовать. Это касается и самой Америки. Если бы идеализм культурных классов был менее абстрактным, то дух земли не получил бы возможности столь мощно проявиться в первобытном облике Бэббитта.

В общем и целом сказанного выше достаточно. Однако у всего этого есть и другая сторона. Религии, учения которых находились вне всякой связи с господствующими жизненными силами, тем не менее покорили землю; лучшим примером является христианство. Ни один типичный представитель Запада ни в малейшей степени не походил на тот тип, который жил в представлении непосредственных последователей Иисуса как «христианин» будущего. И тем не менее христианские идеалы мощнейшим образом способствовали преобразованию нашего мира. Вероятно, если бы к христианству обратились народы Востока с их метафизическим и пассивным характером, это не вызвало бы в них сколько-нибудь значительных изменений. Но агрессивный, жадный до деятельности и полностью обращенный к миру человек Запада, вне всякого сомнения, был бы намного хуже, чем он есть, если бы в течение столетий не верил в христианские идеалы. Конечно, религия — это нечто совершенно иное, нежели абстрактный идеализм. Но отношение типичного американца к тому, чем для европейцев является абстракция, представляет собой нечто именно религиозное; он не убеждается в ее истине при помощи разума, он абсолютно иррационально верит в нее; это касается прежде всего демократии, морали и свободы. Разумеется, вера — это самое живое, что есть на свете. Хотя на эмпирическом уровне вера в какую-либо вещь не делает ее более действительной, чем она есть фактически; но вера оказывает обратное влияние на человека и преображает

его. Но таким образом мы подошли к определению полярной противоположности американской привязанности к земле. Китайцев нельзя назвать в подлинном смысле религиозными, ибо их традиционный тип воплощает прямо-таки полное равновесие между принципом духа и принципом земли, между Ян и Инь. Еще в меньшей степени таковыми являются европейцы. По своей сути они идеалисты; их господствующий принцип не пафос, а этос¹; прообразом их типа являются не земля и не Бог, а Икар и Люцифер. Русские же, наоборот, глубоко религиозный народ. Лишенные любого идеализма в европейском смысле, подобно индусам привязанные к земле (разве что земля их куда менее плодородна), они сознают действительность духа лишь в смысле своей полной противоположности ему. В подобном же смысле религиозны или, используя более общее выражение, духовны и урожденные американцы. То, что сегодня их духовность, как правило, проявляется достаточно примитивно, вполне естественно. Если примитивна Америка, связанная с землей, то же самое относится и к Америке духовной. Исходя из этого, можно *a priori* (поскольку речь идет о естественной необходимости) предвосхитить даже особенности американской религиозности. Поскольку американская жизнь, как никакая прежде, направлена на завоевание и покорение материи, то логично, что по-настоящему американская религия может быть только чем-то таким, как *Christian Science*, ибо эта Science полностью отрицает материю. А поскольку традиционные церкви все больше превращаются в разновидность успешного предпринимательства, то возникает логическая необходимость того, чтобы самые дикие и примитивные идеи официального христианства нашли удачливых покровителей. В этой связи я вспоминаю прежде всего о преподобном Билли Сандее (человеке, которым я просто восхищаюсь и которому я лично обязан, ибо он оказал мне высокую честь, прокляв меня на одном из своих грандиозных собраний как дьявола во

¹ Я отсылаю читателя к главам «Этическая проблема» и «Религиозная проблема» в моей книге «Возрождение».

плоти), который сообщает столь исчерпывающие сведения о преисподней, какими мог обладать разве что какой-нибудь примитивный живописец, и который незадолго до моего отъезда из Америки поведал газетам, что после его смерти сатане не стоит рассчитывать на успокоение, ибо он, преподобный, указал в своем завещании, чтобы его кожа была использована для создания некоего барабана, дробь которого будет досаждать лукавому столетиями.

Итак, мы достигли той точки зрения, находясь на которой уже не кажется невозможным предвидеть, во что превратится американский ландшафт, после того как дух человека и дух земли окончательно сольются воедино и народ достигнет зрелости. Однако для устранения последних препятствий, остающихся на пути, ведущем к правильному пониманию, представляется уместным и своевременным сделать еще четыре достаточно важных замечания. К сожалению, вследствие дурной наследственности и чрезвычайной плодовитости иммигрантов, прибывавших в Америку в течение последнего столетия, существует возможность, что в дальнейшем нация не сможет развиваться в соответствии со своими наилучшими способностями: эту возможность я просто оставляю без рассмотрения, поскольку, если она реализуется, это будет означать такое стечение обстоятельств, которое неизбежно приведет к абсолютному концу. Равным образом существует возможность, что население Америки никогда не сможет соединиться в подлинную нацию: ее я также не стану рассматривать, ибо в таком случае будущее Америки не будет представлять никакого интереса. Кроме того, прогресс Америки может ограничиться исключительно областью техники и финансов. Эту возможность я также не буду принимать во внимание. Все те несущественные вещи, которыми так гордится Америка, в конечном счете имеют денежный эквивалент; это означает, что они не обладают какой-либо собственной ценностью; их может заполнить и использовать каждый. Даже если однажды Соединенные Штаты станут в этой сфере образцом немыслимого прогресса, это не

гарантирует им не только культурного, но даже и национального существования. Будущие поколения будут видеть в них в лучшем случае лишь образцовую экономику или образцовую фабрику, лишенную какой бы то ни было самостоятельной жизненной ценности. В таком случае будущее Америки само по себе не будет обладать никаким значением. Лично я убежден, что перспектива столь безнадежного будущего, какое сулит Америке каждая из этих возможностей развития, лишена всякой вероятности. Хотя бы потому, что настоящая жизнь национальной души уже началась. Но прежде всего здесь следует подумать вот над чем: чем больше выделяется какая-либо сторона духовной или душевной жизни, тем выше вероятность того, что рано или поздно развитие пройдет определенный момент нестабильности, после чего его дальнейший ход получит некое новое направление. Противостояние христианства и языческого мира было вызвано тем, что античность, если судить психологически, верила лишь в духовно-этические ценности, в силу чего эмоциональная и, шире, страстная сторона человеческой природы оставалась недоразвитой. В качестве компенсации христианство презирало всякую духовность, полностью сосредоточившись на любви. Момент нестабильности, который я ожидаю в развитии Соединенных Штатов, аналогичен. Сегодняшняя американская жизнь сверхрациональна; стандартизация заходит так далеко, что симпатии к различному, исключительному, нерациональному едва теплятся. Это неизбежно должно привести к накоплению неизрасходованной энергии, которая рано или поздно прорвется, прорыв себе свои собственные каналы. Уже сегодня американец в глубине души кажется мне более иррациональным человеком, чем европеец. Все, что связано с эмоциональной стороной, характерная для него быстрая смена настроений и страсть к сенсациям, не говоря уже о его сентиментальности, является выражением этого. Когда американский провинциал заявляет о своих «чувствах» как о последней инстанции, даже самый умный слушатель, руководствующийся критериями разума, вынужден ка-

питулировать. Точно так же и американское пристрастие к преувеличениям не стоит объяснять неким присущим разуму уважением к количеству, а не простой склонностью использовать количество в качестве символа, ибо для этого американцы — слишком практичный народ: наоборот, оно представляет собой компенсаторное бегство в царство фантазии от той точности, которую требует деловая жизнь. Я часто погружался в бессознательное людей, они впадали в самые дикие преувеличения: хотя никогда не думали так, как говорили, но, с другой стороны, они вынуждены были преувеличивать. Точно так же и американская способность воодушевляться, как бы привлекательна она ни была, не представляет собой ничего существенного; на самом деле этот народ серьезен и расчетлив. Воодушевление выступает лишь в качестве необходимой компенсации в жизни, в которой слишком много расчетов. То же самое относится и к типично американскому религиозному возрождению, в котором разум вообще не играет никакой роли *last not least**. Поскольку американская жизнь кажется излишне рационализированной, механизированной и подчиненной различным нормам, то компенсаторный размах нарушений закона, диких авантур и кровопролития просто неизбежен. То, что действительно для синхронного измерения, действительно и для последовательного. Человеческая природа не способна к бесконечному развитию, направленному в одну какую-либо сторону. В Европе эра непрерывного прогресса завершилась мировой войной — самым иррациональным и варварским событием всех времен.

Поэтому я убежден, что Соединенные Штаты не смогут слишком долго развиваться в том направлении, в котором они развиваются в настоящий момент. Скоро вступит в действие закон энантиодромии, превращения в свою противоположность. Конечно, это означает не то, что я предвижу некое аннулирование всех прежних событий, а лишь то, что на их фундаменте дальнейшее развитие примет какое-то иное, новое направление.

* Последнее по счету, но не по важности (англ).

Я полагаю, что благодаря нашим последним рассуждениям мы устранили важнейшие препятствия, стоявшие на пути правильной оценки тех возможностей, которые открывает перед Америкой будущее. Теперь я могу попытаться материализовать свое видение того, во что превратится американский ландшафт, когда человек и земля соединятся и народ достигнет зрелости.

Само собой разумеется, что будущее Америки невозможно предсказать, основываясь на ее институтах как таковых. Всегда рискованно «объяснять» явления жизни какими-либо внешними причинами. Если история и доказала какую-либо аксиому, то лишь ту, которую впервые сформулировал Гюстав Ле Бон: «*Le peuples ne sont pas gouvernés leur institutions, mais leur caractère*». То есть: если институты соответствуют национальному характеру, то они репрезентативны и, следовательно, определенно долговечны; если такая гармония между формой и смыслом отсутствует, то самые лучшие институты лишены внутренней силы. Возможно, сегодняшние институты Соединенных Штатов соответствуют внутреннему состоянию нации, но столь же возможно, что дело обстоит прямо противоположным образом. Ведь нация все еще пребывает в становлении; первоначальная конституция была разработана и принята большинством, которое очень сильно отличается от нынешнего; когда нация созреет, она, возможно, кардинально изменится по своему расовому составу и т. д. Существующие институты не могут считаться неким окончательным состоянием хотя бы по следующей решающей причине: они совершенно не принимают во внимание действительного (внутреннего) человека; их творческим фундаментом является либо абстрактный идеал внутреннего человека, который никогда не был и не будет достигнут, либо нечто чисто внешнее, например, эффективность, комфорт или продуктивность; и, быть может, когда-нибудь наступит время, когда американцы поймут, что такой идеал не выражает того, что в конечном счете им требуется. То, что большинство американцев считают свои учреждения абсолютно лучшими, служит лишь еще одним доказательством провинци-

ализма Джорджа Бэббитта; как я показал в главе «Италия» своей книги «Спектр Европы», вообще не существует таких институтов, которые можно было бы считать абсолютно лучшими. Следовательно, чтобы точно предугадать национальное и культурное будущее Соединенных Штатов, их институты следует принимать во внимание лишь в той мере, в какой они ясно и непосредственно выражают душу Америки.

Но что же такое душа нации?¹ И — раз уж мы сказали, что по своей сути нация, в той мере, в какой она вообще является нацией, представляет собой некую душу — в чем состоит нация? Она — не раса, не окружающая среда, не история как таковая. Какой-либо коллектив является нацией или не является ею в зависимости от того, представляет ли он собой определенное стилевое единство или нет. В общем биологический материал везде и всегда был одним и тем же. То, формировались ли из него нации и культуры, и если да, то какие, зависело исключительно от того, были ли они наполнены духом, и если да, то каким. Точно так же дело обстоит и с искусством живописца. Краски и формы, а также законы, которым они подчиняются, доступны каждому; однако Рембрандт с их помощью создает нечто уникальное. Возникновение значительной национальной сущности полностью зависит от такого же рода уникальности. Тысячи и тысячи народов, возникших из одинакового или сходного праматериала, прошли по земле, но лишь немногие обрели собственный облик, а из них лишь единицы смогли прочно утвердиться. Эти последние в каждом отдельном случае относились к другим народам так же, как произведение Рембрандта относится к работе менее выдающегося живописца. Несомненно, дух, создающий стиль, в своем проявлении в большей или меньшей степени связан с определенной кровью. Но будет полнейшим искажением

¹ Подробное развитие последующего хода мыслей читатель найдет в «Спектре» (с. 358 четвертого издания), в главе «Духовное детство» книги «Возрождение» и в эссе «Иисус-маг» из книги «Люди как символы».

действительности придавать этой связи решающее значение. И именно Соединенные Штаты наиболее убедительно доказывают, что нацию создают не первобытные инстинкты, а то, что из них и при их помощи формирует тот или иной дух. Тип европейца, от которого типичный американец, пусть он будет даже чисто англосаксонского происхождения, отличается в наибольшей степени, это англичанин. Различие между ними настолько бросается в глаза, что тот факт, что они говорят на одном и том же языке, можно счесть просто-напросто какой-то игрой природы. Достаточно вспомнить о крайней несдержанности американцев и том необычайном значении, которое в Англии придается самообладанию; об американской публичности и прямо-таки святости частной жизни у англичан; о высокоразвитом политическом сознании британцев и его почти полном отсутствии у американцев; о характерном английском индивидуализме и столь же характерном социальном образе мыслей в Соединенных Штатах; об определяющем чувстве иерархии, касты и качества в островной империи, в противоположность которому Америка демократична в том смысле, что там равенство, единомыслие и стандартизация почитаются за высочайшие ценности; о расположенности англичан к уюту и скромности и типичной неспособности американцев понять, что ценность не зависит от количества и размера. Различия между норвежцем и неаполитанцем и то менее значительны. Одни эти рассуждения должны излечить от их заблуждений всех тех, кто полагает, что в жизни можно хоть что-нибудь объяснить посредством категорий внешней причинности. Подавляющее большинство потомков тех, кто поселился в Америке уже давно (а они фактически отцы страны), в том, что касается крови, традиций, культуры и даже основополагающих институтов, являются сыновьями Британских островов, и все же... Эти общие размышления вплотную подвели нас к осознанию того, что может однажды получиться из американской нации и чем она, по всей вероятности, когда-нибудь станет. Говорить о различии рас населения Америки как о помехе национальному единству означает совершен-

но не понимать истинного положения вещей. Все великие нации возникли в результате смешения крови. Важно лишь то, будет ли когда-нибудь имеющийся материал одухотворен каким-нибудь оригинальным стилем и получит ли он оригинальную форму для своего выражения.

Рассмотрим теперь точное значение слова «стиль» применительно к нациям и культурам. У индивида стиль — это результат полного воплощения индивидуального духа в материи в соответствии с ее законами — тем не менее главенствует именно дух. Но, с другой стороны, всякое великое искусство, признававшееся или признаваемое таковым нацией или человечеством, имеет сверхиндивидуальное происхождение, причем не только в сверхъестественно-духовном, но и в расово-племенном смысле. Коллективная память образует фон, на котором действует каждый отдельный человек. Он обладает определенным коллективным фоном, которым является его не только физическое, но и духовное детство. Поэтому уникальность духовного человека, составляющая его сущность, всегда выражается посредством форм, заимствованных у коллективного бессознательного. И это объясняет, каким образом все великие культуры были основаны великими индивидуумами и почему каждая культура представляет собой некую вещь в себе. Соответственно и коллективное также может выразить один-единственный индивид. И это еще не все. Духовное есть нечто специфически иное, нежели коллективное; в принципе, всякий дух может выразить себя посредством любого коллективного бессознательного подобно тому, как это происходит в представлении тех, кто верит в реинкарнацию. При любых обстоятельствах мы имеем дело с неким непредсказуемым фактором: если не родятся великие люди, то нация никогда не найдет своего полного выражения. Но даже какой бы то ни было бог, воплощаясь на земле, подходит к своим родителям; он возвещает свое вечное знание в понятных его пастве словах и понятиях. Кроме того, всегда можно обнаружить его предшественников, причем не только на уровне коллективного бессознательного, но и на уровне духа; так, возможность пришествия и

облик Иисуса Христа были предвосхищены самыми ранними еврейскими пророками. Но из этого следует, что стиль той или иной нации, если он когда-нибудь сформируется, может быть с большой уверенностью определен еще прежде, чем обретет четкий облик. Своей завершенной формы он достигнет лишь после того, как родятся великие гении; но до того, как они сделают свое дело, всегда существует возможность, что нация никогда не достигнет своей кульминации. Однако определению души народа способствуют и менее значительные стили — в той мере, в какой они могут считаться типичными. Но общие черты заранее обусловлены в равной степени постоянными факторами земли и коллективного бессознательного. Поэтому такое, по сути, необъятное явление, как душа нации, в его главных чертах можно определить заранее, даже если она еще не родилась или вообще никогда не родится.

Каковы же существенные свойства американской нации, и какова будет ее культура, когда она вырастет? Начнем с того, что переведем наше знание характерных американских свойств, обусловленных самим американским континентом, на уровень возможного стиля.

В своих главных чертах американский ландшафт очень напоминает азиатский или русский. Уже на этом основании здешний будущий тип должен быть столь же широким и масштабным, как русский, и в корне отличаться от европейского. С другой стороны, в результате взаимодействия двух причин он должен быть особенно привязан к земле: первой из этих причин является гигантская преобразующая сила американской земли, другой — многовековая сутубая экстравертность американских интересов, неизбежно вызывавшая соответствующий душевный регресс и опустошение — опустошение, которое со своей стороны предоставило первобытным силам земли единственную в современной истории возможность сыграть решающую роль в формировании психической атмосферы. В период своего неоспоримого господства эти силы внушили человеку его свойства и способности, ко-

торые должны остаться доминирующими в течение всего обозримого будущего. Сюда относятся одаренность в области механики и техники, а также организационные способности, то есть то, что сделало Америку тем, чем она ныне является. То же самое можно сказать и о глубоко укорененном в ней социальном чувстве. Будет глубокой ошибкой приписывать социальным достижениям какую-либо духовную ценность: социальное и духовное развития относятся к различным измерениям. Все учение Христа доказывает, что Ему это было известно. Поскольку Он обращался исключительно к духу, Его образ мыслей был абсолютно антисоциальным. Только поэтому Он мог сказать Своей матери: «Женщина, какое я имею к тебе отношение?», а Своим ученикам приказать оставить семьи и друзей. И, превознося ценность любви, Он никогда не имел в виду какой-либо «филантропии». Когда в Нагорной проповеди иудейскому закону Он противопоставил Свой (а Я говорю вам), Он обращался не к человечеству вообще, а к тем, кто принадлежал к тому же типу, что и Он сам, к детям духа; ударение падает на «вам», на его непосредственных учеников¹. Равным образом, когда кальвинизм отличал избранных от неизбранных, это в полной мере соответствовало изначальному христианскому духу. Духовное развитие принимает в расчет лишь то, что в человеке уникально, неповторимо, поэтому категория количества никоим образом не может быть применена к духовным проблемам. Но зато она применима к социальным проблемам и их решению. Это проблемы не духовного, а именно земного человека. Поэтому высокое развитие социальных инстинктов предполагает соответствующую привязанность к земле и, как следствие, недостаток индивидуальности и понимания ценности уникального. Это объясняет, почему примитивные народы в социальном отношении кажутся более близкими к совершенству, чем культурные сообщества. Конечно, встречаются случаи почти

¹ До настоящего времени самым ясным выражением этой истины остается то, которое в своей «Нагорной проповеди» (издательство К. Х. Бека) дал Иоганнес Мюллер.

полного равновесия между индивидуальным и социальным принципом. Примером этого служит Англия. С другой стороны, Древний Китай воплощал собой принцип равновесия, в котором социальный принцип хотя и господствовал, но уникальное все же оставалось достаточно мощным фактором, чтобы породить великую художественную культуру. С Соединенными Штатами дело обстоит примерно так же, как с Россией. Здесь социальные ценности всегда выступали в роли последней инстанции, хотя странная структура этой нации делает невозможным осуществление идеалов демократии. Так, в обеих странах обыкновенный человек ценится выше, чем неординарный, — еще одно следствие господства принципа земли. Само собой понятно, что средний человек ближе земле, чем гений. Развитие Америки в направлении, подобном русскому, началось еще тогда, когда на горизонте не наблюдалось никакого современного «социализма»: этим объясняется, каким образом уже такие люди, как Эмерсон или Уильям Джемс, смогли выработать такие идеологии, которые настолько же контрастируют друг с другом, насколько учение Иисуса противоречило ортодоксальному иудаизму: я говорю об учении Эмерсона, согласно которому ценность человека целиком зависит от его отказа приспособляться (*that he does not conform*), и об учении Уильяма Джемса, согласно которому человечество состоит из уникальных индивидуумов (*Eaches*). Все это без труда можно перевести на язык сегодняшних норм американской жизни.

Итак, мы, пожалуй, определили важнейшие порожденные землей компоненты будущего стилевого единства Соединенных Штатов. Интеллектуальные, моральные и духовные компоненты очевидны. На первом месте находятся идеалы XVIII столетия; они лежат в основании всех без исключения уже сформировавшихся американских нравов и институтов. Традиции Bill of Rights* и Common Law** принадлежат духу этого столетия. То же относится и к американскому морализму. Однако последний вопло-

* Билль о правах (англ.).

** Обычное право (англ.).

щает собой духовные силы, которые он никогда не воплощал в Европе и которые придают ему совершенно индивидуальные черты. В Америке морализм XVIII столетия является опорой пуританизма; поэтому у него религиозные, даже очень глубокие религиозные основы, тогда как европейский морализм был иррелигиозен; для нас он был новым воплощением духа Стои, как тот проявился в фигуре Сенеки. Поэтому американцы по своей сущности, а не лишь по случаю (как это эпизодически случалось даже с французами) представляют собой моральную нацию. Кроме того, американский морализм в особенности усилился благодаря своей направленности исключительно на земной успех, что был порождением изначального духа пионеров. Любая торговля первоначально была бесчестной профессией; однако чем больший объем она приобретала, тем более честной она становилась на практике. Она начиналась прежде всего как попытка максимально обмануть других; но современные возможности массовых продаж — следствие массового потребления — вскорости привели всех разумных торговцев к пониманию того, что гигантские прибыли достижимы лишь там, где правит идея «служения клиенту». И здесь мы оказываемся перед еще одним примечательным и специфически американским слиянием двух изначально независимых друг от друга духовных направлений, двух различных традиций. Американский протестантизм очень скоро развился в особенное направление специфически американского кальвинизма (сам Кальвин никогда не был кальвинистом в этом смысле) — направление, которое потому смогло стать главным в американской жизни, что в нем воедино слились три различных духа, которыми были исполнены первопоселенцы: дух пионера, дух пуританина и дух предпринимателя. Все эти главные, хотя и столь различные формы американского христианства сходятся в одном пункте: в том, что материальный успех на земле является достаточно надежным доказательством милости Божьей. Угодный Богу человек должен стать богатым. С другой стороны, тот, кто не хочет быть богатым, кто не пользуется своими талантами, тот не работает по-настоящему во славу Божью. Сколь

мощный импульс должно было передать простым религиозным душам, каковыми были души первых англосаксов, такого рода убеждение, нетрудно догадаться, тем более что у него был весьма реальный задний план в виде банков: они были, так сказать, застрахованы религиозным исповеданием. Критерием для величины предоставляемых ими кредитов была религиозная секта, к которой принадлежали их клиенты, и ее религиозное рвение. Все эти духовные, моральные и интеллектуальные элементы, взятые вместе, образуют чрезвычайно сильную традицию.

Однако она должна была утвердиться в противостоянии с двумя противоположными силами. Первой был традиционный идеал той Америки, который жил в фантазиях большинства иммигрантов, когда они решались покинуть родину. Кроме того, этот идеал вновь и вновь защищали самые представительные люди Америки от Джорджа Вашингтона до Вудро Вильсона и Кельвина Кулиджа; Джон Дьюи сказал даже: «Особенностью нашего национализма является его интернационализм». Бесполезно утверждать, как это с удовольствием делают стопроцентные американцы, что то или иное явление — «неамериканское», если именно оно знаменует собой тот идеал Америки, который признается таковым как лидерами страны, так и в самом серьезном смысле той частью населения, которая родилась за границей, особенно учитывая тот факт, что эти уроженцы других стран и дети наполовину американизированных иммигрантов составляют по меньшей мере половину населения. Случай Соединенных Штатов потому действительно уникален, что их население состоит из двух различных и приблизительно равных групп людей, которые смотрят на страну и оценивают ее абсолютно по-разному и для каждой из которых она представляет собой нечто принципиально иное. Поэтому Соединенным Штатам совершенно не грозит опасность того, что значительное количество их граждан останутся верными традициям своей исторической родины: так обстояло дело даже с англосаксонскими поселенцами, традициям которых стопроцентный американец обязан своим появлением. Но опасность, пожалуй, могла бы воз-

никнуть из-за того, что существует чрезвычайно сильная традиция прямо противоположного понимания значения Америки потомками первопоселенцев и недавними иммигрантами. Одно лишь выдвижение Эла Смита в качестве кандидата в президенты представляется мне самой важной проблемой во внутренней жизни американской нации со времен Авраама Линкольна. Все те, кто относительно недавно поселился в Америке, исповедуют тот ее идеал, который совершенно чужд стопроцентным американцам. И этот идеал тем более становится мощным, что в склонности ко всеобщему уравниванию и к мышлению количественными, а не качественными различиями он находит самую благодатную почву¹.

Поэтому к тому представлению об Америке, которое присуще ее вновь прибывшим гражданам, мы должны отнестись со всем вниманием, как к мощной традиции, противостоящей традиции стопроцентных американцев. Нет сомнений, что воспоминания о гражданской войне, не говоря уже о войне за независимость, ничего не значат для почти половины американцев просто потому, что эти воспоминания не являются частью их коллективного бессознательного. В сердцах же этой половины живут чрезвычайно мощные американские идеалы, которые, однако, не восходят, в противоположность американской свободе, к несвободе прошлого, а имеют свой исток в бедности современной Европы. И этот новый идеализм, как это ни странно звучит, находится в большем созвучии с величественным духом континента и новой ролью Америки как мировой державы, чем старый американс-

¹ Разве так уж невероятно, что республиканская и демократическая партии, члены которых до недавнего времени (борьба между Гувером и Смитом была, по сути дела, первой выборной битвой, в основе которой лежали витальные принципы, пусть даже этот факт и не нашел никакого выражения в официальных программах) преследовали одинаковые цели и идеалы, в конце концов превратятся в инструменты, выражающие интересы двух противоположных основных типов американцев, о которых мы говорили выше?

кий идеализм. Далее, примитивизация типа старых американцев открывает перед уроженцами других стран и теми, кто живет в Америке в течение всего лишь нескольких поколений, возможность со временем приобрести для нее непропорционально большое значение. И, наконец, присущий им образ Америки лучше всего гармонирует с послевоенным духом. Поэтому вряд ли события будущего опровергнут наше предположение, что будущий «стиль» Америки в значительной степени вберет в себя дух этих недавних иммигрантов.

И все же коренным американцам не стоит отчаиваться, в конце концов они выиграют гонку. Почему? По той простой причине, что с течением времени все иммигранты станут коренными жителями и получившийся в итоге тип коренного американца, все равно какой крови, будет в чрезвычайно высокой степени определен землей, а следовательно, неизбежно будет значительно больше походить на тип сегодняшнего коренного американца, чем на его европейских предков. Но шансы «уроженцев» хороши и еще в одном, более благоприятном для нынешних коренных американцев смысле: по крайней мере, некоторые из них в будущем обретут еще большую власть, чем сейчас. Только это относится не к Бэббитту, а к типу американского аристократа, то есть к лучшим представителям Юга. Во время моего путешествия по Соединенным Штатам мне с самого начала бросилось в глаза то огромное превосходство типа, который воплощают собой лучшие уроженцы штата Виргиния, над всеми остальными американскими типами, в особенности над жителями Севера и Востока. Позднее я обнаружил, что непропорционально высокий процент выдающихся людей, игравших и продолжающих играть важную роль в жизни Союза, составляют сыны Виргинии и соседних штатов. Затем я сам посетил эти штаты и понял, что Виргиния не просто одно из прекраснейших и самых восхитительных мест в мире — она также и единственная область Союза, чья атмосфера культурна в самом широком смысле слова. Атмосфера Новой Англии также культурна; однако, даже не говоря о том, что она находится в процессе исчезнове-

ния, следует отметить ее бескровность и духовную узость. В Виргинии же сохранилась именно роялистская традиция. Это — аристократическая традиция, а это означает, что в ней акцент делается на уникальность человека. Поскольку человек по своей сути уникален, лишь внутренняя установка аристократического толка может вести к подлинной гуманности, не зависящей от политического и социального статуса человека, а тем более от степени его известности; в наше время все хорошее без разбора обозначается как «демократическое». Несомненно, превосходство виргинцев отчасти объясняется той замечательной человеческой породой, которая составила костяк этой группы американцев. К сожалению, иммигранты, прибывшие в Новый Свет в последующие столетия, не привезли с собой столь великолепной наследственности, как самые первые поселенцы. Тем не менее превосходство, о котором мы говорим, в большей степени является следствием все еще живой традиции; она столь сильна, что даже чужак стремительно подпадает под ее влияние. При таких обстоятельствах время неотвратимо работает на тип виргинца. Согласно всеобщему закону жизни, первоначальное равенство постепенно дифференцируется. Но если признать это, то в таком случае качество неизбежно будет все в большей и большей степени брать верх над количеством. А такое направление развития неизбежно приведет к прочному господству более высокого по своим человеческим качествам типа. Но сегодня такой тип среди уроженцев Америки можно обнаружить лишь на Юге.

Но как же может Юг иметь такое значение для будущего Америки, если все американцы в один голос указывают на его «отсталость», а рационализация и индустриализация, как представляется, будут и впредь неотвратимо прогрессировать? Кроме того, в Виргинии остались нанесенные гражданской войной раны, которые и по сию пору не излечены. Этот район беден, относительно мало индустриализирован, а южане как будто бы от природы медлительны. Но, как бы странно это ни звучало, именно это обстоятельство дает мне основание ожидать будущего господства Юга.

На самом деле *a priori* исключено, что северный тип навсегда останется господствующим. Северо-восточный тип американца чересчур динамичен; он по своей сути номад, ему не свойственна оседлость. Если же его движение остановится, он как тип прекратит свое существование. А он неизбежно прекратит свое существование еще быстрее, чем это было в случае номадических племен прошлого, из-за его религии труда и успеха. Он полагает: если он продолжает трудиться, то каждый год должен быть лучше, чем предыдущий; мировой моральный порядок, как он думает, гарантирует постоянный подъем. Но такого не может быть. Всегда есть хорошие и плохие годы, эпохи прогресса и упадка, зависящие от планетарных условий, над которыми человек не властен. Поэтому можно с математической точностью предсказать, что мировоззрение американцев, относящихся к северному типу, не выдержит длительного испытания практикой. А поскольку все американцы верят в практику, результатом будет неизбежный и полный крах этого воззрения. Это — одно из тех будущих событий, которые я имел в виду, когда говорил, что убежден в том, что скоро Америка пройдет через определенный пункт нестабильности. Мать-земля существовала миллионы лет, прежде чем человек начал ей докучать. Даже сегодня она сильнее его, и человек остается в первую очередь ее дитем, хотя он и покорил ее. Ни при каких обстоятельствах для него не может быть прочного счастья, если он не созвучен ее ритму. Но это означает, что для него существует лишь один род стабильного позитивного состояния — относительно статичное. Конечно, это привилегия человека — жить духовной инициативой, одновременно от нее зависит его человеческое достоинство. Однако существует различие между утверждением свободы как таковой и чрезмерной подвижностью. Если человек правильным образом ориентирован во вселенной, его динамический и статический полюса находятся в равновесии. Если его жизнь исключительно статична, он не прогрессирует: он в большей или меньшей степени остается на уровне животного, но тогда он, по крайней мере, не вымирает. Если же он, напротив, лишь

динамичен, то между человеком и природой отсутствует равновесие, и неизбежным результатом становится преждевременная смерть. Это относится не только к трагическим героям, таким, как Александр Великий или Наполеон, но в не меньшей степени и к сугубо динамичным народам. Гунны вымерли в мгновение ока. Норманны опустошали и грабили в течение нескольких столетий всю Европу, они даже основали несколько королевств. Однако их тип просуществовал недолго. В большинстве своем они полностью вымерли. В некоторых случаях они смешались со статическими типами, из какового смешения произошли впоследствии высокие культуры, например, в Англии, во Франции, на Сицилии. Впрочем, для нашей проблемы решающим является то, что норманны как таковые не сохранились, а если бы такое произошло, то это противоречило бы закону природы; в постоянном по своей сущности, а потому статичном мире односторонняя подвижность никогда не может сохраняться дольше, чем в течение довольно краткого промежутка времени. Сегодняшний же проворный, деятельный и предприимчивый американец имеет с норманном наибольшее сходство, чем любой из известных мне типов. Эти американцы точно так же нападают, захватывают и эксплуатируют. У них так же отсутствует любое из свойств, которые гарантируют длительное существование. Наверное, они завоюют всю Америку, они уже завоевывают Юг. Однако поэтому он и не воспримет северный характер. Американец Севера в такой степени организует, индустриализирует, коммерциализирует и социализирует всю территорию Союза, в какой это позволяют разум и природа вещей. Но затем он исчезнет, подобно тому как исчезли норманны. То есть у выживших произойдет смена типа, в результате которой появится лучший тип, находящийся в большем равновесии с природой. А поскольку природа жестокосердна, она покарает смертью всех тех, кто слишком далеко зашел в отречении от земли, своей матери. Уже сегодня у потомков тех жителей Севера и Востока, которые в прошлом были чрезмерно энергичны, ярко выражен странный дефицит витальности; высокий темп у них, как прави-

ло, является уже не выражением силы, а свидетельством невротического беспокойства. Чем дальше на юг — разумеется, до известного предела, до тех мест, где климат становится слишком жарким для представителей белой нордической расы, — тем полнокровнее в смысле всей человеческой жизни выглядит американец. Конечно, северный тип будет существовать и далее, но в будущем он будет считаться самым убогим, низшим типом. Вероятно также, что Средний Запад и в дальнейшем останется национальным базисом Америки. Однако если когда-либо в ней расцветет истинная культура и акцент будет сделан именно на культуре, то гегемония неизбежно перейдет к Югу. Причина этого та же, что и та, по которой французская культура кажется более совершенной и одновременно более стойкой, чем немецкая. Когда я впервые столкнулся с тем чудесным женским типом, который в Америке именуется «Southern girl*», мне в первую очередь бросилось в глаза, что она относится к своей северной сестре примерно так же, как француженка к немке. Если последняя обладает не слишком тонким чувством пропорции, а вследствие этого и небольшой внутренней силой, француженка от природы видит все в правильном соотношении; ее ориентация внутри жизненной целостности точно так же основывается на врожденном чувстве истинных взаимоотношений между всеми ее возможностями и аспектами. Отсюда ее чувство прекрасного, ее вкус, но также и ее моральная сила, ее *tenue*** и ее прирожденное чувство естественного порядка. Немногие женщины в мире лучше нее понимают значение семьи. Совершенно незаслуженно к ней пристало обвинение в аморальности: просто она знает, что мимолетное нарушение супружеской верности — грех вполне прощительный по сравнению с юридически оформленным разводом, разрушающим домашний очаг и наносящим вред душам детей. Она умеет различать между временным и постоянным; ей ведомо различие между влюбленностью и настоящей любовью.

* Девушка с Юга (англ).

** Манера вести себя (фр.).

То же самое можно сказать и о девушках Юга. Этим наряду с прочим объясняется и их редкая красота.

Но блестящим перспективам Юга со своей стороны способствует и закон исторического контрапункта. Именно потому, что в течение стольких событий Америка была исключительно динамична, она, если переживет неизбежный кризис, рано или поздно перейдет на длительное время в такое состояние, которое будет характеризоваться значительно большей статичностью. Предвидеть такой поворот событий позволяют явления, наблюдающиеся уже сегодня: например, то обстоятельство, что американец, в сущности, медлителен и консервативен. Если американская нация не выродится и не произойдет какой-либо катастрофы, следствием которой будет полное обезлюдение, то в будущем определяющий американский тип в любом случае будет выглядеть совершенно иначе, чем нынешний репрезентативный тип. Стремительная и неутомимая предприимчивость исчезнет, ни в коем случае она более не будет составлять предмет гордости американцев. Никто не будет считать небоскребы, темп жизни и методы ведения бизнеса чем-то таким, что характеризует сущность американцев. Такие люди, как Рокфеллер, Форд или Карнеги, перестанут воплощать репрезентативный тип американца. Те явления, символом которых сегодня являются Соединенные Штаты, возможно, вообще исчезнут — отчасти потому, что они действительно прекратят свое существование, отчасти потому, что эта «Американа» станет достоянием всего человечества.

Итак, мы уже достаточно сказали о частных аспектах занимающих нас проблем, насколько их можно установить, не став при этом жертвой каких-либо предрассудков; теперь мы можем решиться на попытку их обобщения в некоем всеобщем синтезе. Какого же рода будет стиль американской культуры после того, как она достигнет зрелости? Стиль — это не абстракция, это нечто совершенно конкретное. Поэтому, чтобы предвидеть факты, не имеет смысла выискивать репрезентативные идеи и теории. Следует обращаться исключительно к живым

типам. А поскольку все культуры прошлого в качестве своих предшественников имели нескольких конкретных людей, то *a priori* несомненно, что должны существовать такие американцы, которые уже сегодня воплощают собой будущий стиль нации.

В течение долгого времени я высматривал таких американцев. Вскоре для меня стало несомненным, что ни один из тех американцев, что почитаются общественным мнением репрезентативными, в действительности таковым не является. Такие люди, как Рокфеллер или даже Генри Форд, в принципе, могли бы принадлежать к любому народу. То, чего они добились, следует приписать внешним возможностям нового континента. Это, по всей вероятности, верно даже в том единственном отношении, в котором некоторые из них кажутся «неамериканскими»; я имею в виду склонность к *Social Service**: именно в их отношении я совершенно не уверен, что эта склонность является для них чем-то первичным. Великие представители новоанглийского типа в любом случае не более репрезентативны. То же самое, разумеется, относится к таким фигурам, как Франклин, Вашингтон и даже Томас Джефферсон; любой европейский аристократ больше похож на них, чем сегодняшней средний американец. Конечно, есть миллионы граждан, которые в полной мере репрезентативны для типа американского бизнесмена или общественного деятеля, клубной дамы или деревенского увальня; однако во всех этих случаях речь не может идти о каком-либо внутреннем содержании. Нацию составляет ее душа, а все эти типы представляют собой нечто поверхностное. В течение некоторого времени я действительно полагал, что истинная душа Америки — черная, ибо вплоть до настоящего времени лишь черные сформировали убедительный собственный стиль, который был бы по своей сути американским. Но затем я внезапно понял, что именно потому, что американская жизнь внешне такая шумная, публичная и поверхностная, ее глубины в соответствии с законом компенсации должны быть не-

* Общественная деятельность (англ.).

броскими и даже совсем невидимыми. Между тем я уже открыл для себя, что американец по своей сути в высшей степени чувствителен, застенчив, молчалив и скромн. Как следствие, я обратил внимание на фигуры, которые, как мне казалось, наиболее значимы для самых добросовестных и идеалистически настроенных слоев населения. Спустя некоторое время я обнаружил — и это повергло меня в изумление, — что самым репрезентативным и значимым из живущих ныне американцев является Джон Дьюи.

Всякий раз, когда мне удавалось проникнуть в творческую сферу американского бессознательного, я обнаруживал, что Джон Дьюи играет роль своего рода прасимвола. Это было одним из самых значительных открытий в моей жизни. Несколько раз я встречался с Дьюи лично: по сути дела, он не произвел на меня никакого впечатления. Его философия также ничего для меня не значила: для европейца она никогда не имела значения и вряд ли когда-нибудь его получит. Но в то самое время, когда для меня стало ясным, какое значение имеет Дьюи для Америки, я благодаря счастливому случаю узнал, что и в современном Китае, для которого он разработал систему образования, он почитается, как, возможно, ни один мудрец со времен Мен-цзы; я узнал также, что он пользуется большим авторитетом в большевистской России и что он как раз только что предложил план реорганизации системы образования Турции, а вслед за тем и Мексики. Эти примеры столь далеко идущего влияния позволили мне многое понять. Очевидно, что Америка на всех уровнях принадлежит к тому же самому новому миру, что и Россия, Китай и Турция, а потому относится к совершенно иному порядку, чем европейский. Пусть Джон Дьюи репрезентативен не совсем в том смысле, в каком Гёте репрезентативен для Германии, а Толстой для России. Но у наций, находящихся в начале своего становления, речь и не может идти о репрезентативных личностях в классическом смысле, и меньше всего у народа, который с самого начала представлял собой демократию, а потому у него и не развился отличающийся от всех остальных высший тип, который выступал бы в качестве своего рода образ-

ца. Абсолютно точно, что Дьюи не играет роли мозга американской нации, потому что в ином случае он был бы куда заметнее. Но нет никакого сомнения, что он — важнейшая эндокринная железа Америки. Он репрезентирует внутреннее стремление и лучшие способности нации. Поэтому мы можем предположить, что тот, кто понимает Дьюи как тип, тот понимает и американца в той мере, в какой американцы отличаются от остальных народов.

Мы можем предположить это с большой долей уверенности, поскольку Дьюи по своей сути относится к роду Бэббиттов. Разумеется, он — Анти-Бэббитт, но такой вариант возможен лишь на уровне Бэббитта. Что же характерного в Дьюи? Говоря всего в четырех словах: направленная на воспитание психология. Дьюи не верит в метафизическое, во всех своих устремлениях он полностью привязан к земле. Хотя, пожалуй, он верит в возможность бесконечного прогресса отдельного человека как члена определенной группы. Он по своей природе социально ориентирован. Он верит в демократию как жизненную форму, которая не допускает бытийных различий, а признает лишь различия в знаниях и навыках; его идеал — организация, которая всем предоставила бы одинаковые возможности. Все это делает его конгениальным китайцам и русским, ибо они также являются позитивистами, демократичными и социально ориентированными; но они не верят в равенство в том безумном смысле, что неспособность и слабость следует приравнивать к компетентности и знаниям. Дьюи признает лишь практическую постановку проблем и экспериментальную проверку. И это также делает его духовно близким китайцам и русским. Русская *интеллигенция* (*Intelligentsia*) никогда не верила в интеллектуальные ценности, независимые от их социальной значимости, а китайцы всегда были ориентированы сугубо практически; они всегда требовали своего рода равенства между осмысленностью (как ее определяет моя философия) и результатом. Наконец, Дьюи по своей сути — моралист. Он не разворачивает его в явном виде и не является приверженцем какой-либо из признанных ныне моральных систем, но морализм состав-

ляет его глубинную сущность. В этом отношении он не похож на русских, но более чем кто-либо напоминает китайцев.

Когда я все это понял, я оставил уровень абстракций и увидел конкретный образ того, что значит в Америке Джон Дьюи. Он представляет собой эквивалент цензоров Древнего Китая. Там даже император должен был выслушивать критику незнатного и бедного мудреца, которого общественное мнение признавало хранителем истины, и смиряться, когда тот уличал его в несправедливости; цензоры были материализованной совестью Китая. Подобное можно сказать и о Джоне Дьюи в отношении Америки. Но то же самое относится и к доктору Элиоту из Гарварда и в большей или меньшей степени ко всем людям, имевшим наибольшее значение для сознания Америки, таким, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн. Это уводит нас с уровня Анти-Баббитта и демонстрирует нам, в каком смысле Джон Дьюи воплощал в себе самые идеальные устремления Америки и в каком смысле эти устремления уникальны — несравнимы ни с чем не только европейским, но и ни с чем китайским или русским. Никогда еще не существовало столь практической всеобщей установки, ибо, хотя и евреи, и китайцы, и русские, и даже англичане сконцентрированы на этой посясторонней жизни, они никогда не считали результат тем единственным, что имеет значение, и он никогда не становился для них символом духовных ценностей. Кроме того, никогда еще в истории практическая установка не была в такой степени связана с кинетической энергией, находящей свое применение в труде. Далее, еще никогда и не у кого не существовало такой большой и такой всеобщей страсти к образованию. Позднее мы увидим, что этот страстный интерес по большей части носит весьма поверхностный характер. Однако если подумать, что он означает в случае Джона Дьюи, то станет ясно, что он укоренен очень глубоко. Мы говорили, что самое существенное для Джона Дьюи охватывается формулой — направленная на воспитание психология. Психология здесь играет ту же роль, какую в Индии и Германии играет метафизика; воспита-

ние же означает нечто столь же глубокое, как «семя» у евреев или культура у китайцев. Это — нечто абсолютно новое. В «Путевом дневнике» я отмечал, что, хотя китайцы мыслят менее глубоко, нежели индусы, их реальная жизнь выражает такую же глубину; то же самое можно сказать и о патриотизме в японском понимании, который для европейцев не может иметь значения некоей предельной глубины, а у древнего японского типа действительно выражал ее. Точно так же и философия Джона Дьюи в качестве репрезентативной для Америки не является поверхностной, даже несмотря на то, что по европейским меркам она и выглядит таковой. Возможно, что истинная глубина в сфере социальной организации и воспитания на основании психологии выражается неким нерелексивным, практическим, простым и непосредственным образом.

Но мы должны рассмотреть и другие уникальные черты американского стиля. Американский морализм в корне отличается от китайского. Он есть по своей сути морализм протестантский, что означает не то, что вся жизнь выстраивается в соответствии с моральной точкой зрения, а то, что моральное представляет собой некую независимую сущность, которой соответствует совершенно особая сфера. Если мы сложим все вышеприведенные факты в конкретную картину, то получим контуры совершенно определенного человеческого типа. Его основные черты — те же, что и черты Бэббитта; только Бэббитт представляет собой его низшее выражение и его негативный аспект. Чтобы понять, что та же самая фундаментальная установка может найти и весьма высокое выражение, вспомним, что для Платона идея блага в практическом смысле возвышалась над идеями прекрасного и истины. Точно так же и протестантский морализм и прагматизм, пожалуй, могли бы однажды привести к какому-либо истинно культурному состоянию. Во всяком случае, они не будут серьезным препятствием его возникновению. То, что на заре становления нации понималось поверхностно, может, когда она достигнет зрелости, пониматься глубоко. Когда односторонность морализма исчез-

нет, растаяв под лучами познания, когда религия голого результата однажды сама себя сведет *ad absurdum*^{*}, тогда появится возможность того, что тот же самый сорт людей, истинным представителем которого до сих пор был Бэббитт, создаст социальную и моральную культуру в самом подлинном смысле этого слова. Пока же мы постоянно сталкиваемся с Бэббиттом и Анти-Бэббиттом, причем последний соответствует позитивному аспекту того же самого типа. Если бы человеческий тип можно было уподобить атому, а каждую нацию определенному химическому соединению, то тип Джона Дьюи следовало бы рассматривать как самый важный атом будущей американской народности.

Но в ней присутствуют и другие атомы; эти атомы соединяются в молекулы, и различные в количественном отношении соединения порождают различные качества. Следовательно, в системе американской культуры возможно существование самых различных сложных типов; тем более что основной тип никогда не является единственно характерным. В России образ нации определяют три сущностных типа. Один из них можно сравнить с большим куском масла, а другой — с маленьким, но очень острым ножом. Но, кроме них, существует еще и третий национальный тип — тип святого, человека чистой духовности. В Китае также существуют, по меньшей мере, три сущностных типа: человек практического образа жизни, тип, включающий в себя все такого рода типы — от крестьянина до торговца, — художник и мудрец. Американский тип кажется более однородным, чем тип, характерный для любой другой страны. Однако именно по этой причине его прямая противоположность также может быть репрезентативной. Чистому практику противостоит чистый идеалист; демократу, чьим идеалом является человек с улицы, — самый исключительный аристократ. Моралист находит свою компенсаторную противоположность в самом фанатичном адепте свободы, каких только видел свет. И *last not least* тип среднего человека, верующего в факты

^{*} К абсурду (лат.).

и реальные вещи, компенсируется типом человека, который верит исключительно в дух и отказывает материи в какой бы то ни было действительности.

Когда нация достигнет зрелости, это должно привести к в высшей степени интересному синтезу. Естественно, что в различных частях страны главенствующее значение приобретут различные типы. Новая Англия, по всей вероятности, останется моралистической; Средний Запад — социально ориентированным; Дальний Запад в будущем будет репрезентировать широту американской души, а Юг — культуру Америки. Чем более активно будет развиваться транспорт, тем выше шансы сохранения регионализмов и тем более высоким будет их значение. Ибо развитие транспорта противодействует взаимному влиянию. Чем чаще человек взаимодействует с человеком иного, нежели он сам, типа, тем в большей степени он осознает свою уникальность.

Какой же тип культуры, какой культурный стиль разовьется со временем на территории Соединенных Штатов? Ни при каких условиях он не будет иметь ничего общего с культурным типом современной Европы. С одной стороны, он может походить на русский тип; разве что в нем будет отсутствовать сильнейшее напряжение между сосуществующими в человеке животным и дитем Божьим — главная характерная черта русского. В нем может развиваться также и определенное сходство с культурой Древнего Китая. Но это сходство не может быть очень сильным, поскольку у Америки не слишком большие шансы на возникновение в ней художественной культуры и поскольку мораль для ее жителей означает нечто совершенно иное, чем для жителей Китая. Кроме того, у американцев отсутствует изначальное чувство всеобщей взаимосвязи всех вещей. Несмотря на свое решительное отличие от европейцев, они в своем тотальном динамизме, и в особенности в своей потребности в светской власти, все же остаются типичными представителями Запада. Более того, благодаря обновлению, явившемуся результатом воздействия Нового Света, и особо энергичному складу людей, первоначально его заселивших, амери-

канцы даже в большей степени похожи на нордических предков европейцев, чем сами нынешние жители Европы. Мы уже установили, что американская цивилизация, по всей вероятности, перейдет в статическое состояние. Но ее статика никогда не станет статикой Китая. И все это доказывает только одно: американская культура будет представлять собой нечто совершенно оригинальное. И это лучшее, что можно о ней сказать. Мир нуждается в создании новых ценностей. Повторение, даже если это повторение лучшего, противоречит закону жизни, сущностью которой является неповторимость, как в смысле индивидуальной уникальности, так и в смысле «однажды и никогда вновь».

И все же новое демонстрирует определенное сходство с тем, что уже было. Поэтому в заключение, *pour fixer les idées*^{*}, я хочу обозначить две совершенно различные координаты, которые помогут читателям, обладающим наиболее богатой фантазией, предугадать то, чего в действительности предвидеть невозможно. Поскольку американцы — народ европейского происхождения, они, разумеется, сохраняют некоторые европейские свойства, подобно тому как индусы сохранили определенные черты своих нордических пращуров. А в случае американцев те свойства, которые должны были бы у них сохраниться, — это черты, более всего напоминающие основные качества древних римлян, за исключением их политического инстинкта и военного склада ума. Американцы, вероятно, навсегда останутся практическим, обращенным к земным вещам народом, а ни для какого другого народа это не было столь характерным, как для римлян. Другая координата, которую я имею в виду — и она, по всей вероятности, является более важной, а в конечном счете решающей, — отсылает нас к явлению, совершенно уникальному для американской почвы. Я говорю о культуре инков. Она также была социальной по своей сущности. Тамошние граждане были чрезвычайно добросовестными и самозабвенными в труде людей.

^{*} Чтобы обратить внимание на эти мысли (фр.).

ми. Инки также были, с одной стороны, практичны, а с другой — религиозны. Они также не слишком заботились о свободе. Ибо свободе в истинном индивидуальном смысле американец придает меньшее значение, чем любой другой человек.

Итак, многое можно предсказать с высокой долей вероятности. Однако многие направления развития относятся к области возможного; с точки зрения сущности нации они могут показаться случайными, и тем не менее они в состоянии существенно изменить складывающуюся картину. Если Юг действительно станет доминирующим регионом, то в Америке разовьется истинная культура, несмотря на характерные для нее римские — в противоположность греческим — тенденции. Но если этого не произойдет или произойдет в недостаточной степени и культура и впредь будет столь же мало цениться, как сегодня, то культурному аспекту никогда не будет придано большого значения. Если то иррациональное, что есть в американской душе, вырвется наружу, то это может привести к таким творческим напряжениям, которые смягчат и ослабят всеобщую монотонность большим разнообразием частных. Если же дело дойдет до многочисленных войн с другими континентами, то весьма возможно, что американцы, несмотря на свое прирожденное миролюбие, превратятся в народ воинов и завоевателей, что в свою очередь изменит их национальный тип. Ибо народы в куда большей степени дети своих поражений, нежели их родители. Многие зависят также и от конечного равновесия между различными наследственными признаками. Преимущественно ирландская и немецкая Америка с некоторой славянской и еврейской примесью была бы, вероятно, менее социально ориентирована, чем нынешняя, но зато более богата индивидуальными талантами в других, нежели чисто деловая, областях. Далее, многое зависит от того, как американская душа будет реагировать на последствия конфликтов с неамериканским миром. Поскольку Америка — это по своей сути замкнутая система, ее жизнь в мире невероятной внутренней и внешней широты неизбежно должна привести к большим на-

пряжениям, чем когда-либо в истории была способна выдержать какая бы то ни было замкнутая система. Это повлечет за собой два следствия. Во-первых, отступление к все более изолированному американизму, который приведет к унификации нации в том смысле, в каком она имела место в Японии в эпоху сёгунов. Но, с другой стороны, эта изоляция в любом случае не сможет сохраниться в нашем современном, столь масштабном и всесторонне взаимосвязанном мире. Поэтому результатом должно стать углубление и развертывание американской души. Но это, в свою очередь, должно было бы пойти на пользу потенциальной культуре. И действительно, только в том случае, если американская нация, которая до сих пор, как никакая другая, была озабочена лишь внешней экспансией, будет вынуждена обратить внимание на свои глубины, появятся шансы на возникновение внутренней организации, которая выдвинула бы на первый план все то лучшее, что у нее есть. С другой стороны, лишь тогда, когда такая внутренняя организация действительно возникнет, Америка созреет для своей, быть может, великой мировой миссии. Разумно решать задачи мирового значения провинциальный тип не в состоянии. В качестве *arbiter mundi** Бэббитт совершенно неприемлем. Но столь же неприемлем в этом отношении и сугубо культурный тип, вечным примером которого служит президент Вильсон. Но в Америке есть и подлинные аристократы. Их следует отмечать и высоко ценить, хотя бы ради американской веры в эффективность: ведь только этот тип способен справиться со всемирными проблемами. И в самом деле, международные осложнения и вызванные ими разочарования, которые неизбежно последуют (ибо даже в случае материальной победы все излюбленные иллюзии американских провинциалов развеются при первом столкновении с остальным миром), по всей вероятности, моментально поставят Бэббитта на надлежащее место и откроют нации глаза на человеческие ценности более высокого порядка. Я не думаю, что общая картина будущего аме-

* Вершитель судеб мира (лат.).

риканского стиля, которую я здесь набросал, когда-нибудь будет опровергнута какими бы то ни было фактами. Нации — дети континентов и коллективно-психологических сил. Никогда поражение не изменяло судьбу внутренне сильного народа, если только он не был полностью уничтожен. Никогда победа, которая не основывалась на духовном и моральном превосходстве, не была прочной и долговечной. Впрочем, существует возможность, что американская нация в своей основе вовсе не является сильной. Многие весьма разумные наблюдатели сомневаются в витальности американского континента — и, вне всякого сомнения, сегодняшний американец менее витален, чем европеец. Однако лично я убежден, что причина этого заключается исключительно в ложной установке. Насколько я могу судить, дело обстоит совсем наоборот: именно на американском континенте действуют более изначальные, а следовательно, способные передать человеку большую витальность силы, чем на любом другом. Их правильное использование зависит от инициативы человека не только в смысле материальной эксплуатации, но и в качестве того, что может наилучшим образом способствовать его душевному росту.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКИ

ПРИМИТИВНОСТЬ

Америка не всегда выглядела так молодо.

Независимо от фактического возраста каждому человеку присущ еще и некий сущностной возраст. Отражаемая же самосознанием самость есть нечто вневременное; если бы не было никакого окружающего мира (к которому принадлежит и тело человека), никто не заметил бы, что он стареет. Но именно это вневременное и кажется в той или иной степени молодым, среднего возраста или старым, вне зависимости от фактического количества лет, прожитых на земле тем или иным человеком. Разумеется, этот образ вневременной сущности не более чем определенный символ. Но именно поэтому он не менее реален: на уровне внутреннего опыта символ представляет собой столь же адекватное выражение действительности, каким на внешнем уровне является тело; или, вернее, он манифестирует один наиболее существенный фрагмент всей действительности в целом. Тот, кто представляет себе Александра Великого юношей, Гёте — патриархом, а Шекспира — пятидесятитрехлетним человеком, тот демонстрирует более глубокое понимание, чем тот, кто настаивает на том факте, что они менялись с течением времени.

То, что относится к отдельному человеку, тем более действительно для целых народов. Образ, который в глазах других воплощает собой сущность того или иного народа, есть не что иное, как ключ к его истинному характеру. Но кто в прошлом выступал в качестве самого репрезентативного символа Америки? Дядя Сэм, пожилой джентльмен. А если мы обратимся к фактам, то обнаружим, что этот символ соотносится с действительностью

во всех репрезентативных случаях. Можно представить себе отца пилигрима за пятьдесят и истого пуританина старше сорока пяти. Своеобразная стерильность лучшего новоанглийского культурного типа в точности соответствует образу мышления мужчины, удалившегося на покой. Дэниэл Бун, прототип куперовского Кожаного Чулка, совершенно неправдоподобен, когда его представляют моложе шестидесяти; а его характерные черты, кажется, повторяются и в новейших пионерах большой индустрии. Томас Эдисон, с тех пор, как я узнал о нем, представляется мне в образе старого колдуна; сущностной возраст Джона Д. Рокфеллера составляет по меньшей мере восемьдесят лет; а когда я мысленно представляю пергаментное лицо Генри Форда, я всякий раз удивляюсь, отдавая себе отчет, что в действительности он вовсе не какой-нибудь древний патриарх. Далее: почему репрезентативные американцы так часто невероятно долго живут? Не вызвано ли это тем, что этого требует их сущностной возраст? Во всяком случае легче найти аргументы в пользу теории, что североамериканский континент порождает человека преклонного сущностного возраста, чем в пользу общепринятой точки зрения, что он омолаживает. Сущностной возраст индейцев также редко бывает меньше сорока пяти лет. Поэтому тот, кто превозносит юность Америки, как правило, заблуждается. Примитивность в культурном или историческом смысле и сущностная молодость отнюдь не одно и то же. Во многих районах мира живут дикари, которые не только с точки зрения времени старше иного культурного народа, но и являются старыми и в смысле сущностного возраста. Тяжелая жизнь, которую пришлось вести в Америке европейским поселенцам, вернула их к первобытному состоянию; она не сделала их моложе.

Однако современное поколение в Соединенных Штатах действительно юно. Для него символ дяди Сэма лишен какой бы то ни было убедительной силы. Самые ответственные посты в деловой жизни в последнее время лишь в исключительных случаях доверяются мужчинам и женщинам старше сорока пяти; сегодня молодежь задает

в Америке тон в беспримерной во всей мировой истории степени. Это — симптомы, обладающие непосредственной доказательной силой. В дореволюционном Китае тот, кто объявлял очаровательной молодой даме: «Вы выглядите на шестьдесят», на самом деле ей льстил. Возраст по меньшей мере сорока лет был бессознательным идеалом всех юношей времен доминирования Новой Англии; тогда мужчинами и женщинами считались лишь те, кто уже достиг сорока, что вообще характерно для всех зрелых культур. Сегодня же молодежь играет в Америке приблизительно ту же роль, какую играли старцы во все эпохи Древнего Китая. Поэтому теперь каждый стремится к тому, чтобы выглядеть как можно моложе, все равно при помощи каких средств. Молодые не выказывают старшим ни малейшего почтения, наоборот, старшие стараются хоть как-то оправдать свое существование, целиком посвящая себя благополучию молодых. Как нам истолковать это превращение, которое так радикально и так внезапно, что представляет собой почти что *solution de continuité*?* <...> Чтобы решить какую-нибудь специальную американскую проблему, мы должны сначала рассмотреть ее как особое выражение некоей более общей проблемы.

Тот, кто верит в непрерывный и в известной степени неизбежный прогресс, наряду с другими важными фактами забывает и то, что всякое конкретное выражение жизни по своей сущности конечно; оно есть своего рода мелодия, у которой есть начало и конец¹. Лучшей метафорой для его начальной стадии является молодой зеленый побег: гибкий, податливый, способный к росту, изменению и регенерации; лучшей метафорой для его конечной стадии является старое, покрытое жесткой корой, более не способное к какому-либо росту и изменению дерево. Эта метафора в той же степени применима к идеям и культурам, что и к отдельным существам. В первом

* Нарушение связи (*фр.*).

¹ Ср. подробное развитие этой мысли в главе «Возникновение и исчезновение» в «Возрождении».

случае идея ценности может легко подтолкнуть к ложному суждению: лежащая в основании идеи вечная истина и воплощенная в определенной культуре вечная ценность, к сожалению, не имеют никакой власти над законами жизни и смерти, которым подчиняются проявления этих истин и ценностей в пространстве и времени. Каждое без исключения конкретное проявление жизни есть в первую очередь определенный организм, существование которого следует ритму, типичному для всех организмов; вечная душа, которую он, возможно, воплощает, не может ничего изменить в том, что он рожден как определенное и ограниченное существо, как носитель определенной наследственности, и в том, что он не может развиваться дальше определенной точки, представляющей собой его специфическое завершение; если же он ее перейдет, он начнет клониться к упадку и в конце концов умрет. После того, как мелодия жизни затихла, его вечная душа может проявиться лишь в форме нового воплощения, а это подразумевает смену индивидуальности. Лишь один пример: в течение нескольких столетий удивительно быстрого роста греческая культура достигла своей кульминации. После этого она постепенно застывает в своем развитии; место подлинного творчества занимает рутина. В конце концов как индивидуальная форма жизни она умирает. Однако сохранилась не только ее вечная сущность — продолжает жить и ее подвластный времени побег: христианская церковь, учение которой на добрую половину имеет греческое происхождение и находится в таком же отношении к античной культуре, как сын к отцу.

И здесь мы получаем ключ к пониманию того феномена обновления, не более чем частный случай которого мы можем наблюдать на примере Америки. Если каждая конкретная форма жизни представляет собой конечную мелодию, то всю ее пронизывает еще одна, более протяженная мелодия, по отношению к которой первая является всего лишь отдельным тактом. Но это на всех уровнях происходит таким образом, что юная жизнь продолжает старую в том же самом смысле, в каком сын продолжает жизнь отца. Сын никогда не бывает идентичен

отцу; в нем живет лишь отцовское семя. Нельзя сказать и того, что сын начинается там, где заканчивается отец; он всегда начинается точно так же, как начинался первый человек, то есть как беспомощное дитя. Но благодаря этому возвращению к праначалу в каждом новом рождении жизнь всякий раз начинается заново. В эпохи постоянного развития этот закон природы проявляется лишь в том, что новые индивиды в основном следуют путями, предначертанными их предками. Однако если *solution de continuité*, характеризующее отношения двух поколений, совпадает с *solution de continuité*, имеющим место на других уровнях и направлениях, — я полагаю, что это происходит, когда определенные линии религиозного, философского или политического развития одновременно приходят к своему естественному концу, — то отцы и сыновья становятся так далеки друг от друга, словно между ними пролегают столетия. В таком случае нормальный процесс обновления принимает форму, названную де Врие «мутацией»: появляется форма жизни, которой прежде еще никогда не было. И поскольку ее прежде еще никогда не было, то и ее молодость также должна казаться преувеличенной, ибо не существует всех тех традиционных моделей поведения, благодаря приспособлению к которым юность могла бы, хотя бы внешне, избавиться от присущего ей варварства. Так было в начале нашего летоисчисления. Образ мыслей первых христиан *toto genere** отличался от образа мыслей их языческих родителей. А поскольку он представлял собой нечто совершенно новое, только-только зародившееся, он чуть ли не во всех решающих отношениях должен был оказаться примитивным, какой бы высокой культурой ни отличались его предки, — достаточно вспомнить архаический характер раннехристианского искусства. Новое поколение не только в физическом, но и в культурном отношении подобно новорожденному ребенку. Конечно, не так-то легко понять, каким образом явления, относящиеся к сфере культуры, располагаются точно таким же образом, что и явления физической сфе-

* Во всем (лат.).

ры; однако и физические процессы возникновения, исчезновения и возрождения также необъяснимы по своей сути. Для того, чтобы прояснить чрезвычайно сложный для понимания характер жизненных ритмов различных культур, можно отметить лишь следующее: в качестве физического существа человек почти так же непостоянен и способен менять свой облик, как образы сновидений, мгновенно переходящие от одной формы к другой, словно по волшебству, сливающиеся воедино и вновь распадающиеся. Далее, на психическом уровне ребенок никогда, до самой смерти не становится взрослым. Он все-сторонне развивается, усложняется, но в его глубинах продолжает жить его первоначальная сущность. Поэтому возвращение к детству не только в любой момент возможно — оно представляет собой нормальное состояние, при котором развитая форма достигает своего естественного конца, прежде чем исчерпывает себя жизненная форма сама по себе. Но, с другой стороны, каждый новый витальный импульс, достаточно глубоко проникающий в бессознательное, приводит в движение процесс регенерации. Психоанализ доказывает, что в царстве сновидений творческую сущность увиденных образов составляет их смысл. Точно так же и во всей сфере жизни именно смысл создает фактические обстоятельства. Когда какая-либо новая идея дает ростки, она пробуждает все творческие силы детства. Но все первоначала представляют собой нечто безобразное и варварское.

Но прежде чем мы обратим наше внимание на специфическую проблему Соединенных Штатов, надо рассмотреть еще одну сторону данной проблемы в целом. Обновление никогда не означает прогресса в обычном смысле слова — с точки зрения культурного отца новорожденное дитя представляет собой все что угодно, только не прогресс. И менее чем когда-либо обновление может означать прогресс как раз в наше время, ибо именно сейчас эпоха прогресса безвозвратно уходит. Не позволим ввести себя в заблуждение абстрактным выражением: то, что каждый понимает под прогрессом, — это совершенно определенная идея, впервые в истории вызван-

ная к жизни в XVII столетии. До этого о прогрессе в современном понимании не могло быть и речи. Почему? Потому что прежде важным было либо религиозное развитие, либо философское понимание, либо художественное, моральное или культурное совершенство — а в отношении этих целей идея прогресса лишена всякого смысла. Она имеет смысл только в отношении интеллектуального развития, а следовательно, в отношении науки (в самом широком смысле этого понятия) и ее использования. Ибо только применительно к этой области можно говорить об имеющих всеобщее значение достижениях, о безграничных обобщениях и о ценностях, которые обладают тотальной применимостью, поскольку каждый работник может начать работу в том месте, где ее прекратил его предшественник. Поэтому ситуация каждого искателя Бога и истины, каждого художника, каждого человека, стремящегося к моральному или культурному совершенству, по своей сути уникальна. Возьмем, например, искусство: сущее безумие протягивать «линию прогресса» от Баха к Бетховену и далее к Стравинскому. Если какая-то эпоха видит высшую ценность в прогрессе, то это предполагает, что весь центр тяжести душевной жизни переносится на интеллект.

Сегодня эта предпосылка, которую я подробно рассматривал в своей книге «Новый мир», уже лишилась своей жизненной силы. Одно это доказывает сверхмеханизированный характер той сферы западной жизни, которая все еще продолжает традиции XVII века. Мы уже говорили, что состарившуюся цивилизацию в противоположность юному гибкому побегу можно сравнить с деревом, кора которого затвердела. Точно так же и механистичность, понятая как жизнь, представляющая собой сплошную рутину, есть всеобщий симптом старости. По своей сути жизнь есть нечто творческое и свободное; пока она доминирует, законы материи, которые все без исключения суть законы рутины, играют в ее проявлении не большую роль, чем, скажем, законы гармонии и контрапункта в творчестве Баха. Но когда витальный импульс ослабевает, законы материи одерживают верх; жизнь ста-

новится механической, каким бы ни был ее специфический характер: режим китайских мандаринов, византийский бюрократизм, католическая схоластика, прусский милитаризм, — все они представляют собой нечто настолько же механическое, насколько в высшей степени механизированной является современная жизнь. Сегодня тот особый тип механизации, который характерен для нас, детей машин, свидетельствует о преклонном возрасте эпохи; когда эпоха прогресса была еще юна, о какой бы то ни было сверхмеханизации не могло быть и речи.

Чего же при таких обстоятельствах следует ожидать от ближайшего будущего? Не дальнейшего прогресса, а примитивизации. Это означает не то, что за эрой прогресса последует эпоха упадка, а то, что наступил период совершенно иного рода, чем эпоха, простиравшаяся от Ренессанса до мировой войны: эпоха не исполнения, а подготовки; темные века или времена ночи в том самом смысле, в каком таковыми были средние века. Такие эпохи представляют собой своего рода периоды беременности. Отнюдь не только времена света, как бы их не называли, являются единственно истинными и важными — они лишь периоды зрелости и завершения. В действительности такие темные времена не являются на протяжении истории чем-то исключительным, скорее наоборот, они составляют правило. В первой части этой книги мы видели, что стилевое единство образует нацию как культуру. Сколько великих стилей существовало на Земле? Можно указать множество приближений к единому стилю, однако в большинстве своем они сходили на нет, прежде чем цель была достигнута. Но даже если такой стиль и складывался, он затем, как правило, преждевременно впадал в застой. И тогда начинался новый инкубационный период.

В этом смысле можно говорить об очевидных симптомах наступления темной эпохи. Сегодня, точно так же как и в начале средневековья, молодое поколение совершенно равнодушно к идеалам и целям старших поколений. То, что в «Новом мире» я назвал типом шофера,

стало повсеместным образцом и идеалом. Этот тип страстен, примитивен, полон жизненной силы и высокомерия юности. Конечно, невозможно предсказать события будущего, это под силу разве что пророкам в оккультном смысле слова. Но общее направление развития, пожалуй, предвидеть можно. И здесь прояснению того, что мы переживаем и что нам предстоит, мог бы помочь один пример из прошлого. Поэтому, прежде чем перейти к связанной со всем вышесказанным проблемой Соединенных Штатов, я хотел бы посвятить несколько слов тому времени, когда окончательно иссякла сила римского духа.

Послеантичная темная эпоха продолжалась почти тысячу лет. Культурная традиция оборвалась даже там, где варвары максимально романизировались. Причина этой неудачи в следующем: можно перенять у других все что угодно, но уподобиться им можно только, если ты одного с ними духа. По всем внешним признакам некоторые готы жили вполне римской жизнью, но внутренне римское воспитание лишь углубило пропасть между душой гота и римлянина. Арминий Херуск был высокообразованным римлянином; именно это помогло ему сформулировать идею германского государства, совершенно непонятную большинству германцев его времени. Но что могли думать про себя древние римляне об этих варварах, которые жили, как они, и все же не были такими, как они? Наверное, они видели в них жалких подражателей, которые никогда и близко не смогут сравниться с ними самими. И, однако, эти германцы стали наследниками римлян, а позднее и властелинами мира. Они самостоятельно создали новую, невыводимую из античных предпосылок культуру.

Одной этой параллели достаточно, если серьезно поразмыслить, чтобы каждому стало ясно, что никакую эволюцию невозможно понять, исходя из понятия прогресса. Несмотря на всю сознательную романизацию, римский характер германских завоевателей улетучивался с каждым новым поколением. В этом отношении особенно поучительным представляется пример Франции. Ко времени франкского завоевания Франция была насквозь

романизирована; к тому же завоеватели, сравнительно немногочисленные, уничтожили из старого порядка лишь немного. Однако после завоевания душа Франции стала иной. Приблизительно к 1000 году н. э. Франция стала совершенно германской; и лишь в последние столетия латинский характер французской культуры взял верх. Причина этого в том, что французская культура со своей стороны стареет; поэтому современная Франция больше похожа на Римскую империю периода упадка, чем на империю тех столетий, которые следовали непосредственно за царствованием Августа. Уже эти краткие замечания доказывают, что решающим фактором является не «раса» и еще менее «воспитание», а живой дух, изнутри господствующий над кровью и осознанной традицией. Этот живой дух находится в таком же отношении к внешним фактам, в каком смысл фразы к словам и буквам, в которых он выражен. Живой дух Египта нельзя вывести из техники строительства пирамид: дело как раз обстоит обратным образом. Греческий дух представляет собой некое новое местоположение, откуда средиземноморские народы смотрели на мир. Таков и христианский дух по сравнению с языческой античностью. Какое значение имеют наследственность и воспитание, то есть какой дух будет выражать высший расовый тип, чему будет служить наилучшее воспитание, можно с определенной уверенностью предполагать, лишь пока жив дух данной культуры. Если же он мертв, слово «прогресс» не значит ничего, кроме рождения новой души со всеми ее непредсказуемыми свойствами.

В ходе мировой истории культура и дух претерпевали многочисленные превращения. Однако лишь в случае нашего средневековья мы говорим о «темной» эпохе. Каковы же основания, позволяющие мне предсказывать наступление теперь уже всемирной новой темной эпохи? Основание следующее: происходящее в наши дни превращение столь же радикально, что и превращение, произошедшее две тысячи лет назад; и в обоих случаях темная эпоха следует за эпохой по-настоящему светлой. Слово «радикальный» означает «в корне». На закате антич-

ности произошел абсолютный разрыв непрерывной связи между старым и вновь возникающим мирами, ибо то, что сохранилось от первого, служило лишь тому, чтобы в качестве части некоего общего тела воплотить в себя новую — как в смысле принципиальной новизны, так и в смысле юного возраста — душу. Этим обстоятельством объясняется то, каким образом за столь утонченной культурой, как античная, могла следовать эпоха столь чистого варварства. А она была не только фактически, но и умышленно варварской: естественная реакция жестокого и дикого на недостижимую для него культуру куда больше стремится подчеркнуть его варварство, нежели какое-нибудь позитивное свойство.

Все вышесказанное подводит нас к частной проблеме обновления Америки. Предварительно я должен был показать, что эта проблема не представляет собой чего-то уникального. Она не уникальна как пример исторического обновления вообще. Но во всем остальном она уникальна, как и всякая индивидуальная жизненная проблема. Даже особый ритм ее развития совершенно иной, нежели ритм всего прочего Запада. Ее история началась позднее, чем история Европы. Во время кризиса мировой войны американцы были единственной нацией Запада, которая смогла сохранить и консолидировать результаты прежнего развития. Тем не менее по обе стороны Атлантики мы в той степени имеем дело с одним и тем же ритмом развития, в какой в обоих случаях творческие идеи XVIII столетия — назовем лишь последние, ибо благодаря им сформировалась современная жизнь Запада — достигли своего естественного завершения. Однако именно тогда, когда специальную проблему Соединенных Штатов мы рассматриваем как частный аспект проблемы, затрагивающей весь Запад в целом, ее своеобразие проявляется наиболее отчетливо. Это связано прежде всего с тем обстоятельством, которое я особенно подчеркивал в своем «Путевом дневнике», а именно с тем, что американцы суть наиболее типичные представители Запада. Нигде *solution de continuité*, разделяющее старое и новое поколение, не проявляется столь радикально. Причина этого зак-

лючается в том, что нигде более идеи XVIII века не ощущались во всей своей чистоте в течение столь долгого времени. Если иметь в виду внутреннее переживание, в Америке никогда не было XIX столетия. Встречаясь с мыслящими представителями старшего поколения, я обнаруживал, что для большинства из них определяющим все еще является дух Джона Локка и прочих духовных лидеров эпохи Просвещения. Отличительный оптимизм Америки коренится в образе мышления XVIII века, а то, что он проявился лишь много позднее, объясняется тем, что прежде должны были во всей полноте проявить себя идеи XVII века. Отсутствие всякой веры в личное превосходство — вместе с ее коррелятом — чрезмерно высокой оценкой общественных ценностей (достаточно вспомнить об изобретенной борцами Французской революции шкале ценностей, в соответствии с которой высшей целью являлся *honnête homme**), равным образом присуще XVIII столетию. То же самое относится и к американскому морализму, педагогизму и институционализму. Все, что отстаивает последний, привело бы в восторг рядового прогрессиста эпохи Просвещения. Ведь именно XVIII столетие отбросило даже саму мысль, что люди могут отличаться друг от друга в бытийном отношении; именно XVIII век признавал исключительно «умение, навык»; XVIII век впервые возвестил веру в то, что благодаря воспитанию и институтам можно достичь всего что угодно. Таким образом, в этом отношении типичный прогрессивный американец старшего поколения принадлежит не к новому, развитому, а к старому типу; и даже намного более старому, чем тот, который воплощает в себе какой-нибудь европейский аристократ. Ибо последний, хотя и сохранил многочисленные традиции, идеалы и характерные особенности, которые значительно старше XVIII века, после развивался в соответствии с новым опытом XIX века, внесшим значительные коррективы в некоторые восходящие к XVIII веку идеи. Благодаря своему уникальному положению Соединенные Штаты не нуждались в такого рода

* Честный человек (*фр.*).

коррективах. Более того, идеи XVIII столетия могли и дальше расти и развиваться в них, словно в некоем вакууме, достигая поистине гигантских форм.

Сюда, а не в какую бы то ни было новизну уходят корни рутины и механистичности американской жизни. Конечно, без относящихся к XIX веку и более поздних изобретений не было бы большей части того, что составляет современную американскую жизнь. Однако дух, который их использует, принадлежит XVIII столетию; это — старый, а не молодой дух. Институты не были бы сильнее живых людей, идеал Генри Форда, превращающий человека в деталь механизма, не смог бы сохраниться, если бы не были живы идеалы XVIII столетия. Когда они были молоды, их позитивная сторона была более заметна, чем негативная; впрочем, тогда вообще не представлялось возможным вообразить себе их воплощение в конкретных механизмах. Не является ли один лишь этот пример окончательным доказательством того, что механизация, доходящая до господства машин, всегда знаменует собой старческую дряхлость? А теперь бросим один только взгляд на тот довоенный тип, который пребывает в совершенной гармонии с миром машин. Редко доводилось мне встречать кого-либо, относящегося к этому типу, кто не представал бы перед внутренним взором как столетний старец. А о чем говорят люди такого сорта? От них никогда не услышишь новой мысли — только вечную жвачку лозунгов, корни которых в XVIII веке, — о более высоком жизненном стандарте, о лучших институтах, о здоровой общественной жизни и т. д. Что это как не признак старческой дряхлости? Кроме того, эта дряхлость является одной из причин кризиса американского брака: значительное количество американских мужчин во всех отношениях стары, ибо источник их жизни остался далеко позади — ему целых двести лет. Человек как духовное по своей сути существо в любом смысле стареет именно тогда, когда стара его мысль, и, лишь когда он молод духом, он молод и внешне. Американец данного типа духовно стар, тогда как женщины постоянно меняются в соответствии с духом времени. Впрочем, в Америке лишь жен-

щины располагают достаточным досугом, чтобы заметить, что после XVIII века в области возможного внутреннего переживания вообще что-то произошло.

Теперь, пожалуй, должно стать очевидным, что революция американской молодежи должна была принять гораздо более радикальные формы, чем революция в Европе, что, однако, обуславливает ее определенное сходство с русской революцией. Русские революционеры, используя изобретенное Тургеневым слово, называли себя нигилистами; поскольку существующий политико-социальный порядок ничего для них не значил, они просто хотели его уничтожить, а что касается построения чего-либо нового, то это уж как получится. «Пламенная молодежь» Америки почти точно так же безответственна. И если на первый взгляд она восстает лишь против морального порядка, то это в равной мере означает и тотальное восстание против всей традиции, ибо последняя была именно моралистической.

Однако сходство между большевиками и американской молодежью идет гораздо дальше, чем можно было заключить из всего вышесказанного. То, что после разрушения традиционного порядка остается в качестве душевной основы жизни, в обоих случаях примитивно. Национальное сознание России в одночасье откатилось из XX столетия в XV. Как я подробно показал в «Новом мире», в этом была действительная причина победы большевизма. Он соответствует не современному, а архаическому состоянию, в этой связи его социалистический фасон означает не больше чем какая-нибудь новинка женской моды. Большинство полагает, что американцу присущи все те же самые скрытые душевные стороны, что и нам, европейцам. Но это не так. Передается только физическая, но не психическая наследственность. История американского бессознательного начинается в XVII веке, не ранее. Этим объясняется экстремизм американского протеста против протестантской морали, которому в Европе не найти параллелей, какой бы деморализованной она подчас не казалась. Решающим здесь послужило то, что американцы никогда не были язычниками; они вступили

в историю христианами, более того — пуританами. Поэтому развитие более свободных взглядов на вопросы пола не натывается в их бессознательном на какую-либо упорядочивающую и указывающую направление структуру. В результате, как только американцы избавились от оков пуританизма, они совершенно примитизировались, минув какое бы то ни было переходное состояние. Я сомневаюсь, что в каком-нибудь так называемом диком народе сыскалась бы девушка из приличной семьи, таскающая в своей сумочке упаковку презервативов «на всякий случай» (я цитирую одну из книг Бена Линдсея), или что у какого-нибудь примитивного народа было мыслимым, чтобы молодые люди обоих полов (цитирую того же автора) совместно покупали презервативы, чтобы затем использовать их в минуту сладострастия — не потому, что дикарям неизвестны презервативы, а потому, что все известные нам дикари верят в какой-либо моральный порядок и испытывают в вопросах пола определенные затруднения, исходящие из сознания того, что в этих вопросах речь идет о некоем таинстве. Но таинству, и именно с научной точки зрения, подобает благоговение, а не сугубо позитивистски-трезвое отношение.

Я начал с самого крайнего проявления революции современной молодежи, и я хорошо сознаю, что из разоблачений судьи Линдсея не стоит делать радикальных обобщений. Тем не менее несомненно, что отношение значительной части американской молодежи к сексуальным вопросам, по крайней мере в теории, весьма сходно с большевистским. Но это означает, что она находится на примитивной стадии. Что же это за примитивная душа, родившаяся или вновь пробудившаяся в самом юном поколении? На этот вопрос невозможно ответить прямо и определенно. Однако, как его ни ставь, он в любом случае есть вопрос специфически американский. Зарождается совершенно новый человеческий тип, столь же далекий от типа отцов-пилигримов, сколь современные европейские социал-демократы далеки от средневековых рыцарей.

Такова эта сторона проблемы. Прежде всего я стре-

мился к тому, чтобы прояснить, о каком примитивизме идет речь, когда мы говорим о новом американском человеке. Если тип, который еще и сегодня продолжает традиции XVIII века, по своей сущности стар, то новый тип инфантилен. У него нет какой бы то ни было культурной основы.

Однако мы говорили, что, хотя в современной американской жизни господствует молодежь, эта жизнь тем не менее кажется в высшей степени цивилизованной. Чем же это объясняется? В том, что касается жизни, всегда и везде важны не факты, а то, что они означают. В любых внешних рамках человек может быть как прогрессивным, так и примитивным, как варваром, так и культурным человеком. А в данном случае мы обнаруживаем, что как раз господствующие идеи и идеалы современной цивилизованной Америки в той мере, в какой они не являются выражением все еще живого духа XVIII столетия, соответствуют не прогрессивному, а примитивному состоянию.

Высшим проявлением человеческой жизни является полностью раскрывшая свой потенциал личность, осознающая свою уникальность, а также ценность этой уникальности. И я понимаю это не только в том смысле, в каком об этом говорил Христос, провозглашавший бесконечную ценность каждой души перед лицом Бога и не придававший ни малейшего значения мнению большинства, а в том всеобщем смысле, что всякая человеческая ценность, в отличие от ценности чисто животной, заключается в собственной уникальности¹. Не было бы никакой причины не убивать и не поедать людей, пока позволено умерщвление и поедание животных, если бы каждый индивидуум не обладал уникальной ценностью. Но, с другой стороны, человек не рождается индивидуализированным. Он рождается как отпрыск двух родителей, первичное сознание ребенка представляет собой разновидность неотчетливого группового сознания. Таким обра-

¹ Эта проблема может быть исчерпывающим образом рассмотрена лишь в трех последних главах.

зом, всякое самосознание и на социальном уровне вырастает из господствующего группового сознания. В этих обстоятельствах господствующее групповое сознание при любых условиях выказывает примитивность. Именно это господство группы характеризует сегодняшнюю Америку. Отцы-пилигримы, жители Новой Англии, все великие деятели XIX столетия еще представляли собой истинные индивидуальности. Они и не думали, что в группе можно видеть нечто более высокое, чем в личности. С новой Америкой дело обстоит прямо противоположным образом.

На первом месте стоит идеал *Social Service*. Отношение к другим — как таковое, представляющее собой абстракцию, — не могло бы считаться чем-то более ценным, чем уникальность личности, если бы однажды к господству вновь не пришло групповое сознание. И здесь мы вновь открываем для себя еще одно сходство Америки и России: «коллективный человек», идеал коммунистической партии, человек, представляющий собой не что иное, как социальный орган, отличается от американского *social worker** лишь в той степени, в какой кажутся различными выражения одной и той же идеи на различных языках. Разумеется, против достижений, появившихся благодаря идеалу *Social Service*, ничего не возразишь, но они ничего не меняют в примитивном характере этого идеала. Идеалы нормальности (*normalcy*) и единомыслия (*likemindedness*) соответствуют примитивному состоянию. Как только человек достигает культурной зрелости, доминирующим в нем становится чувство различия и его ценности; действительно, невозможно даже представить себе какое бы то ни было культурное состояние, основывающееся на равенстве: когда в наличии есть лишь одинаковые инструменты или когда все играют одну и ту же мелодию, то музыка более высокого рода просто невозможна. Пожалуй, в истории можно обнаружить культуры, основывавшиеся на некоем не индивидуализированном всеобщем состоянии; такие культуры существовали в Египте, Индии, Древнем Китае. Но в те времена само-

* Общественный работник (англ.). .

сознание в современном понимании еще не зародилось, а потому духовное могло выражаться посредством коллективных импульсов, тогда как *normalcy* и *likemindedness* в Америке представляют собой деградацию, падение с более высокой на более низкую стадию. И даже в культурах прошлого, коренившихся в не индивидуализированном всеобщем состоянии, идеал все же был воплощен в фигуре великого мужа, тогда как те, кто в Америке отдает предпочтение нормальному, делают это из отвращения к какому бы то ни было превосходству.

Точно так же, как с *normalcy* и *likemindedness*, обстоит дело и с сегодняшней бездомностью и склонностью к беспочвенности. Здесь речь также не идет о каком-либо новом состоянии, а лишь о новом выражении старого номадизма; ведь в том, пользуется ли номад верблюдом или автомобилем, переносит ли он посредством самой современной техники с одного места на другое роскошную виллу или же ежедневно снимает и вновь ставит свой шатер, не содержится никакого психологического различия. Речь идет здесь не о каком-либо более высоком состоянии по сравнению с оседлостью, а, наоборот, о падении с более высокого уровня на более низкий.

В конечном счете, хотя и не в полной мере, точно так же дело обстоит и с кризисом в американской половой жизни. Конечно, важную причину неудовлетворенности замужних американских женщин можно увидеть в том, что их мужья и в сексуальном плане действуют тем же простым, непосредственным способом, который во многих других отношениях выглядит столь привлекательно. Естественно, что для тонко чувствующих женщин это невыносимо. Однако в этом отношении точно такой же повод для жалоб есть и у способных к тонким чувствам мужчин. Поскольку мужчина как чувственное и эмоциональное существо не слишком разнообразен, он нуждается в тонкой женской чувствительности как в своего рода жизненно необходимой компенсации. Он хочет, чтобы она была со всех сторон красива по тем же самым физиологическим основаниям, по которым женщина ценит в мужчине в первую очередь силу — физическую, духов-

ную или финансовую — и не слишком большое значение придает его внешности (исключение составляют эпохи перемены ролей, каковую мы нынче можем наблюдать в различных кругах). Если же женщина становится непосредственной или даже грубой и агрессивной, мужчина лишается именно того, что он находит в ней наилучшим, вне зависимости от того, что по этому поводу думает она сама. В любом случае среди сегодняшних американских мужчин «пресыщение изобилием» на психологическом уровне распространено в той же самой степени, что и на материальном, — я говорю: «пресыщение», ибо сексуальное удовлетворение еще никогда не было столь доступно. Но описанная выше американская женщина вовсе не представляет собой какого-то проявления декаданса — напротив, она знаменует собой возврат к типу, характерному для прежней эпохи, когда еще ни один пол не был психологически разнообразен. То же самое относится и к нынешнему промискуитету — все равно, проявляется ли он в форме добрачной свободы или постоянных разводов, — и к новейшему идеалу «неофициального брака». Тщетны попытки завуалировать истинное психологическое значение этой идеи (что было характерно даже для судьи Линдсея) при помощи утверждений, что ее смысл якобы состоит не более чем в легализации использования средств контрацепции, а также в разводе по взаимному согласию. В Америке никто ничего не может поделать с *bootlegging** — главной забавой американской жизни, — а те, кто хочет, не испытывая осуждения или упрека, порвать с партнером по браку, уже нашли способ и средство добиваться разводов по взаимному согласию. Столь значительную привлекательность идее неофициального брака придает то обстоятельство, что он соответствует примитивному состоянию. Неофициальный брак, точно такой, как его описывает судья Линдсей, существует тысячи лет и еще встречается у многочисленных примитивных народов, даже у многих европейских крестьян, со-

* Бутлегерство, торговля контрабандными спиртными напитками (англ.).

хранивших обычаи прежних эпох. Совместная жизнь юношей и девушек представляет собой один из признаков примитивной жизни, причем эта жизнь ведется не для проверки отношений — эту мотивировку осуществляющие данную практику племена отвергли бы точно так же, как и Линдсей, — они просто живут как товарищи, между которыми существуют сексуальные отношения, точно так же как это предусматривает современный идеал; и несмотря на то, что им неизвестно использование противозачаточных средств, как правило, в течение долгого времени у них нет детей. Но если возникает перспектива рождения ребенка, жизнь становится серьезной, развод превращается в нечто затруднительное, если не невозможное.

Существует и много других выражений одной и той же примитивности: например, можно вспомнить, что американец хочет нечто увидеть и пощупать, прежде чем он в него поверит. То же касается и склонности американских мужчин флиртовать в большей степени при помощи рук, чем при помощи глаз, а также примечательной особенностью организации книжной торговли, предусматривающей повсеместное использование пробных экземпляров (*dummy copies*): издатели должны продемонстрировать книжным торговцам внешний вид книги, предназначенной для продажи, представив ее в виде переплетенной бумаги с несколькими страницами будущего текста, — а иначе те ее не купят. Фактически подавляющее большинство явлений американской жизни, вызывающих критику чувствительных американцев (не говоря уже об иностранцах), относятся к той же самой категории. Атмосфера обновления на американском континенте сегодня столь сильна, что даже старые американцы и люди среднего возраста, индивидуально не имеющие с ней ничего общего, проникаются ею, подобно тому как любой человек, становясь частью возбужденной массы, утрачивает все то лучшее, что присуще его самости. Я видел, как убежденные седины, действительно заслуженные американцы, даже те, что абсолютно справедливо пользовались всемирной известностью, в застольных речах пре-

возносили друг друга в манере, подобающей разве что пятилетним детям: все так хорошо относятся к мистеру имярек, у него такие прелестные дети — здесь дети должны встать, чтобы все могли воочию в этом убедиться, — он так хорошо относится ко своим родителям и т. д.

Большая часть того, что в американской общественной жизни кажется столь привлекательным, впрочем, как и большая часть того, что представителю более старой культуры кажется в ней почти невыносимым, происходит из этой атмосферы детской комнаты. К ней относятся также и то, что в Соединенных Штатах редко прибегают к какому-либо иному критерию, кроме количественного. Количественный критерий — это критерий дикаря. Американская нация мыслит главным образом в количественных понятиях, поскольку для нее они являются символом качества; так, примитивный художник, изображая то, что он считает более возвышенным, наделяет его большими размерами. Подтверждением той же самой примитивности являются также специфическое своеобразие американского игрового инстинкта, огромное значение, которое придается таким понятиям, как удача и неудача (*the breaks*), особая американская разновидность депрессии, которая столь метко передается словом «*the blues*», и прежде всего удивительная непоследовательность и переменчивость американского общественного мнения. В американской душе еще не существует никакой определенной иерархии ценностей, которая в качестве нейтральной инстанции возвышалась бы над сиюминутными настроениями. Наиболее надежными критериями культурного уровня какого-нибудь народа или класса являются его добросовестность и последовательность. На англичанина можно положиться с большей уверенностью, чем на любого другого европейца, ибо его душа насквозь пронизана идеалом самоконтроля; сиюминутные импульсы никогда не увлекают его настолько, чтобы он утратил равновесие. Француз почти столь же надежен, хотя и иным образом. Он самый верный друг, при том условии, что он друг; отчасти еще античная структура его души очень часто позволяет ему проводить отнюдь не христианское

различие между другом и врагом; с другой стороны, он является просто образцом в сфере того, что он называет *probité intellectuelle*^{*}: он никогда не позволяет моде или тем или иным настроениям исказить его четкое суждение, если оно уже определилось. Немцы, как более молодая нация, менее надежны; сегодняшний друг завтра «из внутренней необходимости», как он говорит, может изменить — решающим является то, что у истинно культурного человека никогда не возникает даже вопроса о такой «необходимости». Скажем, у русских вообще еще нет никакого базиса, на котором можно было бы строить национальный характер. В американской же психике сиюминутные настроения играют гораздо большую роль, чем у любого другого из известных мне народов белой расы. И, естественно, тот, кто живет в Соединенных Штатах, должен считаться с этими настроениями. И все же в отношении этой страны была бы допущена огромная несправедливость, если бы настроения были всерьез восприняты в том смысле, что их следует понимать как выражение реальных ценностных суждений. Это ни в коей мере не так: они представляют собой не что иное, как настроения.

Все вышеизложенное иллюстрируется одним великолепным примером — американской прессой. Поскольку она представляет собой чистой воды бизнес, она, если хочет преуспеть, должна отражать общественное мнение во всех его оттенках и колебаниях. А эти повороты и оттенки всегда соответствуют типичным процессам, характерным для примитивного духа. В особенности это относится к такой его фундаментальной характеристике, как любопытство. То, что многие европейцы столь сурово осуждают, — убеждение американских газетчиков, что «новость есть новость»; что у публичности не может быть никаких границ; что в частной жизни нет ничего святого; что пресса вправе опубликовать любое письмо, попавшее в ее распоряжение, если только из этого можно состряпать захватывающую историю, — все это проявления

^{*} Безукоризненной честностью интеллектуала (*фр.*).

любопытства, ничуть не более порочного, чем любопытство дикаря, с каковым оно психологически идентично. Разумеется, такая пресса может принести несчастье, но она чрезвычайно редко держит в уме нечто действительно злое. В худшем случае она действует как маленький ребенок, который отрывает голову своей любимой канарейке, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Однажды одна юная симпатичная репортерша сыграла со мной действительно неприятную шутку, опубликовав интервью, в котором мои высказывания искажались сверх привычной для меня меры, под прямо-таки оскорбительным для публики заголовком. Вскоре после этого она как ни в чем не бывало появилась в моем номере и с лучезарной улыбкой спросила меня, много ли уже последовало телефонных звонков с ответными оскорблениями (поскольку сама она приняла массу таких звонков, хотя и обращенных в мой адрес). Я успокоил ее, и мы расстались в добром согласии. Я не понимаю, как тот, кто имеет хотя бы минимальное представление о человеческой душе, может обижаться на шалости американской прессы. Лично я испытал их более чем достаточно; но хотя я достаточно темпераментен, они ни разу не смогли по-настоящему рассердить меня. Кроме их примитивности, существует еще одна причина, в силу которой даже самые жестокие нападки американской прессы следует расценивать как по своей сути безобидные. Если ее лейтмотивом является мысль, что «новость есть новость», то решающим фактором оказывается именно новизна, сенсация как таковая; то же, какой именно факт становится причиной сенсации, не имеет значения. Как-то я заметил одному репортеру, который никак не мог понять, почему нападки прессы несколько меня не расстраивают, а казалось, наоборот, даже доставляют мне удовольствие: «Если завтра вы напишете, что я съел своего отца, да еще был настолько отвратительно бессердечен, что утверждал, что он невкусный, то через день ко мне подойдет дюжина незнакомых мне американцев и будет жать мне руку со словами: "Очень рад с вами познакомиться, я прочел ваше имя в газете"».

Разумеется, чрезмерное пристрастие американцев к

публичности не стоит оценивать столь же снисходительно. Ибо здесь речь идет не о естественном стремлении к новому или хорошему бизнесу — мотивом является самореклама любой ценой. В этой связи мне приходилось слышать о столь бестактных поступках, которые в более старой стране безоговорочно дискредитировали бы того, кто был бы за них ответствен: например, о случаях, когда письма сугубо личного содержания, которые могли быть написаны только при том условии, что с частным сообщением поступят именно как с частным, совершенно спокойно передавались адресатом прессе, благодаря чему он или она становились известными всей стране, хотя и за счет отправителя. Даже такие *faux pas*, хотя они и непростительны, могут быть справедливо расценены лишь как проявления примитивной психологии. Эксгибиционизм есть не что иное, как корень самого неумеренного честолюбия. А его первое воплощение всегда крайне непривлекательно: оно заключается в склонности выставлять напоказ именно то, что ощущается непосредственно как нечто непристойное. Непристойность, в слишком многих случаях являющаяся существенной характеристикой американской саморекламы, психологически означает то же самое, что и эксгибиционизм маленького ребенка. И разумеется, когда нация вырастает из этого состояния, она, как и любой ребенок, очень скоро обучается пристойному поведению.

Еще несколько слов по поводу этого аспекта американской проблемы. Я имею в виду негритянское влияние. Мы уже нашли объяснение тому, почему негры занимают господствующее положение в сфере искусства. На основании наших последних рассуждений мы можем дополнить его тем наблюдением, что негр не мог бы быть столь репрезентативен для современной Америки, если бы современные американцы не были бы примитивным народом. Поскольку же негры не просто примитивны в более высокой степени, а примитивны изначально, они естественным образом лучше и убедительнее выражают примитивное, чем лишь совсем недавно вернувшийся к примитивному состоянию народ.

Если психологический фон рассмотренных выше проявлений американского духа понят, их более невозможно оценивать враждебно. Однако это обращает нас к другой стороне вопроса. Разве в высшей степени не превосходно, что великая, богатая, могущественная нация, в распоряжении которой находятся все новейшие достижения науки и техники, столь молода? Один этот факт таит в себе обещание великого будущего. Всякая новая жизнь, все равно на каком уровне, начинается со стадии, соответствующей стадии маленького ребенка; не существует никакого иного обновления, кроме того, которое с точки зрения завершения культуры представляет собой варваризацию. И здесь мы можем опровергнуть еще один распространенный предрассудок: что американцы — материалисты. В начале этой главы я попытался показать, что механизация есть типичное проявление старости. Я мог бы тогда сразу же добавить, ибо это, по сути дела, то же самое, что и материализм есть признак старости. Однако эти положения не содержат в себе всей истины. Жизнь представляет собой биполярный феномен; как старческая дряхлость всегда приближается к инфантилизму, так всегда существует некая точка, в которой соприкасаются противоположности. В этом смысле не только старик, но и грудной ребенок материалистичен. Еще ни один ребенок не заслужил упрека, что он также проявляет к духовному лишь минимальный интерес; обыкновенный грудной ребенок не думает ни о чем, кроме как о молоке. Но отсюда следует, что «материализм» как таковой вообще не представляет собой проблемы. Он означает либо упадок, либо, наоборот, первоначало. В Соединенных Штатах можно наблюдать оба эти аспекта. Одна часть американского материализма является следствием отжившего типа XVIII столетия; другая восходит к самой ранней юности. Но юность неизбежно одерживает верх. А она никогда не остается материалистичной. В действительности таковой она является лишь в самом раннем детстве; позднее нормой становится крайний и радикальный идеализм. И не является ли такой радикальный идеализм намного более характерным для американского духа,

чем его материализм? Мне кажется, что это так. Старик, по складу личности принадлежащие почившему в бозе XVIII столетию, не действовали бы так часто исходя из идеалистических мотивов (все равно, являются ли они их истинными мотивами, или же они лишь следуют за общественным мнением), если бы эти мотивы не представляли бы собой столь чрезвычайно мощных факторов в жизни нации. Впрочем, амбивалентный характер жизни в случае идеализма сказывается точно так же, как и в случае материализма. По складу своей личности Вудро Вильсон был моралистом XVIII века, не имевшим никакого представления о вновь возникающем мире. Но его идеи «случайно» оказались взрывчатым веществом, не годившимся ни для чего иного, кроме как для разрушения старого порядка (вне всякого сомнения, Вильсон, и никто другой, должен рассматриваться в этой связи как отец большевизма и фашизма, а также революции во всем западном мире, исходным пунктом которой было провозглашение права на самоопределение всех народов). По этой причине молодая Америка и приняла их на некоторое время: ей показалось, что идеализм двухсотлетней давности мог бы способствовать осуществлению ее собственных идеалов.

Но чем объясняется грандиозный и чрезмерный характер большинства форм проявления американского примитивизма? Это логическое следствие того факта, что речь идет здесь о современной нации, в высшей степени развитой в техническом отношении, особенно талантливей в сфере публичности и рекламы, а также того обстоятельства, что ее интуитивные задатки подталкивают ее к тому, чтобы мыслить посредством лозунгов и газетных заголовков. Это не может не способствовать усилению свойственного всем молодым народам господства массовой психологии. Подавляющий, прямо-таки пугающий объем массового внушения постоянно наличествует в повседневной реальности Соединенных Штатов; со своей стороны это должно способствовать примитивизации жизни, а следовательно, и росту уровня уже существующей примитивности. В силу своей примитивности амери-

канский рекламист почти никогда не пытается создать спрос на товар посредством приучения публики к чему-то более высокому, нежели то, к чему она привыкла, а, наоборот, сам приспособливается к автоматическому ходу жизни. Разумеется, это самый надежный способ достичь фантастических торговых оборотов. Однако поскольку внушение всегда обладает творческим воздействием, приспособление к человеку с улицы удерживает его на той же самой ступени, на которой тот и находится, одновременно ухудшая качество продавца, — что делает практически невозможным какой бы то ни было прогресс. Я встречал очень интеллигентных людей, которые после нескольких лет занятий рекламной деятельностью уже просто не могли понять, что существует какой-либо более высокий критерий, чем критерий актуальных предпочтений публики.

Но все-таки какие перспективы! Если бы американцы должны были оставаться такими, какие они сегодня, то ситуация для них, несомненно, была бы чрезвычайно серьезной. Однако о такой судьбе не может быть и речи уже потому, что подавляющее большинство проникательных американцев скептически оценивают свое современное состояние.

А теперь вновь обратимся к размышлениям, составившим начало этой главы; их основная мысль заключалась в том, что символический образ, в котором один народ предстает перед другим, куда более истинно выражает его глубинную действительность, чем любой могущий быть доказанным факт. Символом старого американского типа был Дядя Сэм. Для нового типа иностранцы еще не нашли образа. Однако для себя молодая Америка уже решила, кто репрезентативен для ее глубинной сущности и подлинных стремлений, — это Чарльз Линдберг. Бесконечное восхищение, возбуждаемое этим человеком, невозможно объяснить никакими фактами. Он обладает превосходными личными качествами; он — блестящий летчик; он — джентльмен милостью Божьей. Но когда недавно большинство студентов одного большого университета решило, что Линдберг более велик, чем Муссоли-

ни, а другие молодые люди видят в нем своего рода Христа, то это просто невозможно объяснить фактическими качествами Линдберга. Просто Линдберг — символ молодой Америки; он представляет собой то, чем хотело быть новое поколение; он — национальный герой. Если теперь мы рассмотрим фактические качества Линдберга под этим углом зрения, то поймем все значение этого символа. Линдберг также очевидно примитивен. В нем есть значительное сходство с героями германских саг — Зигфридом, например. Он не мог бы быть символом и образцом для современных европейцев, ибо он воплощает действительность, которая перестала быть живой еще до начала их истории. Он в подлинном смысле доисторический образ. Но именно этот доисторический образ, по всей видимости, наиболее удачно репрезентирует зарю новой исторической эпохи. Я едва ли смог бы представить себе лучший и символ и образец для нации, еще находящейся в процессе зарождения. Линдберг — чистый, невинный мальчик, чистый и невинный телом, душой и духом.

Однако вернемся к нашей основной теме. Америка — и в не меньшей степени в превратном смысле американизирующийся мир — должны понять, что все, что мы рассматривали в этой главе, связано с проявлениями не прогресса, а примитивности, а примитивное состояние не может быть вечным. Если бы оно переживало свой естественный век, то с эстетической точки зрения результатом была бы карикатура, а с моральной и культурной — катастрофа. Пока идеалами самого молодого поколения американцев являются истинные проявления витальных тенденций, эти идеалы точно соответствуют состоянию молодости. С другой стороны, из этого следует, что ни в коем случае не следует отказываться от соответствующих идеалов: раз Америка представляет собой нечто новое и оригинальное, они должны прорасти изнутри. Если все идет хорошо, то на более поздних стадиях развития из них получатся зрелые, прочные и, возможно, образцовые идеалы. Впрочем, существует принципиальное основание, в силу которого идеалы, которые детям и

юношам представляются общезначимыми, никогда не смогут восприниматься всерьез: идеализм юности есть по своей сути идеализм без предмета. Поскольку человек в состоянии видеть лишь то, что находится у него перед глазами, он с необходимостью пытается материализовать в наглядной картине тот внутренний порыв, власть которого он ощущает в себе самом. Это — бытийное основание всех ясно выраженных идеалов, ибо все они суть либо проявления внутренних сил, либо же голые абстракции, лишенные собственной жизни. Зрелый человек рано или поздно создает адекватный образ для своего внутреннего порыва. Слишком юному же человеку это, напротив, может не удастся, ведь он стремится к чему-то такому, что еще не имеет какого бы то ни было определенного облика. Поэтому свои сугубо личные устремления он отождествляет с тем, чем он по какой-либо причине восхищается, чтобы впоследствии, в свою очередь, от него отказаться. Так, Ницше первоначально видел чаемый образ своего собственного бытия в Шопенгауэре и Вагнере, что, однако, объясняет то, почему позднее он должен был отвернуться от них обоих; то, что это произошло с такой силой, лишь отчасти объясняется его болезненным состоянием: главная причина этого заключалась в том, что он слишком сильно любил обоих. Таким образом, каждый молодой человек в течение определенного времени отождествляет себя с уважаемым и возносимым до уровня идеала учителем. Иногда этот характерный для всякой молодости «беспредметный идеализм» проявляется в чрезвычайно забавных формах. В лихорадке послевоенного времени одна группа немецкого молодежного движения видела общечеловеческий идеал в возрасте семнадцати лет как таковом — естественно, этот идеал прекращал свое существование, как только эти мальчики и девочки достигали восемнадцатилетия. Самая молодая и воистину самая значительная часть современной Америки с точки зрения сущностного возраста еще далеко не достигла семнадцати лет. Поэтому весьма неблагоприятно рассматривать нечто из того, что представляешь в качестве чего-то окончательного.

А теперь сопоставим предыдущие рассуждения с неко-

торыми идеями, высказанными в первой части этой книги. В ней я попытался показать, что истинная история Америки только начинается, что она лишь сейчас выходит из своего золотого века. Рассмотренных выше специфических фактов вполне достаточно для объяснения, почему Европа все более четко осознает свое отличие от Америки и свою дистанцию по отношению к ней и почему американизация всего мира становится все менее вероятной. Каждый следующий год, встречаясь с американцами, мы, европейцы, будем все сильнее ощущать наш преклонный возраст. То, что происходит ныне в Соединенных Штатах, есть точный эквивалент того, что происходило в Индии в период индианизации арийских завоевателей. Но именно поэтому я и верю в великое американское будущее. Великая культура Индии была результатом сплава нордического идеализма, нордической энергии и отваги с мистическим духом Индии. Конечно, культура Соединенных Штатов будет значительно отличаться от европейских культур. Пожалуй, она будет их ребенком, но очень оригинальным ребенком, и мы будем испытывать большие трудности в его понимании и обращении с ним. Прежняя история Америки была не чем иным, как европейской колониальной историей. То, что я называю «шоферским миром», смогло исторически сформироваться в Америке прежде, чем в Европе, потому, что каждый иммигрант, несмотря на все свои бессознательные связи с традицией, начинал новую жизнь, а ее дух был противоположен духу той страны, которую он покинул в своем стремлении к свободе. Американская нация действительно еще не обрела своего собственного облика. Пожалуй, еще пройдет некоторое время, прежде чем она сможет оглянуться на период господства Новой Англии так же, как Россия оглядывается на эпоху царизма. Тогда даже Эмерсон будет выглядеть европейским колонистом, подобно тому как жившие на Сицилии греческие философы считались греческими колонистами. А Уолт Уитмен, быть может, будет объявлен Иоанном Крестителем нового благовещения, которое, как и почти всякое благовещение, не превратится в какую-либо историческую действительность.

ЖИВОТНЫЙ ИДЕАЛ

В предыдущей главе мы провели четкое различие между механизированной и «технизированной» жизнью, то есть жизнью, которая развивается в технической цивилизации того или иного рода, — без того, однако, чтобы более глубоко проникнуть в эту проблему. Сделать это — наша ближайшая задача. Ибо ни одна цивилизация не является столь подчеркнуто технической, как цивилизация Соединенных Штатов.

Чтобы в полной мере понять все значение современной технической цивилизации, необходимо подняться над обычной точкой зрения на историю человечества и рассмотреть эту историю с точки зрения геолога, то есть человека, для которого эта история представляет собой лишь одну главу в истории Земли. После своего появления на нашей остывающей планете жизнь прошла через многие формы, фазы и метаморфозы. Эти фазы, каждая из которых придавала всей жизни в целом определенный, резко отличающийся от всякого прежнего или последующего всеобщий характер, могут рассматриваться как части некоего целого и в качестве таковых называются геологическими формациями; важнейшими из них, начиная с самого древнего, являются: архейская эра, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский, юрский и меловой периоды; в свою очередь, их можно отнести к трем главным периодам: палеозойской, мезозойской и кайнозойской эрам. Каждая формация характеризуется определенными «ведущими ископаемыми», то есть в течение каждого периода на Земле господствовали определенные животные и растения, в результате чего их наличие в каком-либо слое делает возможной его абсолютно надежную датировку. Существуют характерные ведущие ископаемые для каждой фазы развития жизни на Земле. Однако если взглянуть на них с наивысшей точки, с кото-

рой видны лишь самые общие очертания, то можно увидеть, как сменяли друг друга периоды господства хрящекостных рыб, амфибий, пресмыкающихся, сумчатых и, наконец, млекопитающих.

То, что я здесь коротко изложил, — элементарные основы палеонтологии. Но действительно ли соответствует истине то, что последняя известная нам эпоха — это эпоха млекопитающих? Применим испытанные понятия геологических формаций и ведущих ископаемых непосредственно к современной эпохе. В таком случае мы не можем не признать, что мы живем уже не в период господства млекопитающих вообще, а в геологическую эпоху человека. Если когда-либо и существовало творение, обладающее всеми свойствами ведущего ископаемого, то это современный человек. Никакой гигантский ящер даже отдаленно не накладывал на свое время такой отпечаток, как тот, кто изменяет течение рек и прорубает туннели в горных цепях, не говоря уже о подчинении себе всех других живых существ. Но, с другой стороны, это относится лишь к современному человеку. Если верить Библии, то человек уже в раю стал господином всего тварного мира. Однако еще два коротких столетия назад он никоим образом не был таковым. С точки зрения природы он был не более чем просто существом среди других, хотя и превосходил их разумом, но во всех иных отношениях так слаб и так малочислен, особенно в своих наиболее одаренных разновидностях, что лишь слепая гордыня могла уверить его, что он — господин Земли. И действительно, те новаторы в сфере религии и философии, чьи идеи задавали основной тон всей предшествовавшей современности жизни, никогда не имели о человеке столь высокого мнения, что он — господин Земли. Согласно мировоззрению древних индийцев, естественный человек был лишь животным среди других, а его душа могла без каких-либо трудностей переселяться из человеческого тела в тело животного. В китайской системе культурная история человека принадлежала той же сфере, что и смена времен года. А в истинно христианскую эпоху (которая сегодня уже прошла) человек считался не могуществен-

ным, а, наоборот, бессильным существом, чье развитие целиком зависело от милости Божьей. Но сегодня человек завоевал положение, которое подобало ему, когда он был в раю. Сегодня он господин всего тварного мира. Именно прежде всего это объясняет то, почему религии и философии, основные представления которых не признавали за человеком господства над всеми прочими творениями, неудержимо теряют свою власть над душой и духом.

Итак, мы живем уже не в эпоху млекопитающих вообще, а в эпоху человека. Если мы это поняли, то сразу поймем и точное значение технической эпохи: она представляет собой не только фазу человеческого развития — она имеет гораздо более глубокое значение, говоря языком геологии, ее значение состоит в том, что человек с дочеловеческой ступени поднялся на собственно человеческую; между дотехнической и технической эпохами существует такое же гигантское *solution de continuité*, как и между двумя любыми геологическими периодами. Ибо только наука, причем наука, нашедшая свое применение, есть то, что в течение последних столетий сделало человека господином всего сотворенного в естественном или земном смысле. Но, с другой стороны, именно возможность развития, которое как раз сейчас подошло к своему завершению, с давних пор отличала человека как животное от остальных животных; на этом основании обладавшие пророческим даром умы еще в доавилонскую эпоху предвидели его господство над миром. С наступлением технической эпохи человек достиг своей подлинной цели. Ибо этим объясняется, почему эпоха так называемого прогресса характеризовалась столь беспримерной витализацией всех тех, кто был его пионером: они ощущали, что им дана привилегия первыми достигнуть той цели, к которой столетиями стремилось все человечество. Этим объясняется также и беспримерный темп этого времени. Человек чувствовал себя как всадник в конце долгой скачки. После того как в течение долгого времени, чтобы преждевременно не исчерпать силы своей лошади, этот всадник скакал с более или менее оди-

наковой скоростью, он, увидев перед собой конечную цель, прищпорил коня, развив максимально возможную скорость.

Но этим объясняется также и многое другое. Например, почему техническая цивилизация неодолимо завоевывает всю нашу планету. Земной человек есть животное среди других животных; в этом состоит смысл выражения, гласящего, что человеческая природа неизменна (что и в самом деле соответствует действительности). Элементарные влечения к власти, удовольствию и экспансии точно так же определяют его поведение, как и поведение животного; если нет ничего, что бы их сдерживало, они полностью охватывают его. А на уровне технического развития нет ничего, что могло бы их сдерживать; ведь никакая религия или философия дочеловеческой эры (я вновь использую это слово в геологическом смысле) не предвидели такого развития. Следовательно, технизированный человек столь же беспощаден в своем завоевании Земли, как и какой-нибудь ящер, и так же безжалостно, как какой-нибудь гигантский ящер, топтал стоявших на его пути собратьев, технизированный человек завоевывал, поработал или уничтожал все народы, не достигшие его технической стадии. Между тем это была лишь первая фаза процесса. Вскоре все расы — черная, желтая, коричневая и белая — поняли, что техническая цивилизация в действительности представляет собой то, что осталось от человека как человека; и она является таковой куда в большей мере, чем политическая свобода, ибо последняя приносила откровенно немного пользы, если не сочеталась с политической властью. Этим же объясняется то бурное стремление к «технизации», которое мы наблюдаем на земном шаре после великой войны, ослабившей европейские народы и тем самым давшей остальным их первый большой шанс. Ибо, как я показал в «Новом мире», истинная душа большевизма — это не определенная форма правления, а евангелие технизации без эксплуатации. То же самое, *mutatis mutandis*, относится и ко всем освободительным движениям Востока. То же составляет и истинную движущую силу всех радикальных социальных

программ. Эти движения неудержимы по следующей причине: человек как таковой уже не позволяет отказывать ему в том, что причитается ему как ведущему ископаемому геологической эпохи человека. Поэтому нельзя и думать о том, чтобы ограничить или сдержать технический прогресс, как того желают многие идеалисты. Сколь прекрасная форма культуры не стояла бы на пути порыва человеческого животного, она будет просто уничтожена, как это уже произошло с традиционными формами жизни китайцев, турок и русских; и животные импульсы будут тем сильнее, чем примитивней народ. И тут мы понимаем также и то, почему именно примитивные народы с такой страстью обратились к техническому прогрессу: поскольку он представляет собой этап животного развития, примитивные народы получают преимущество. Если же мы представим себе, что подавляющее большинство человечества относится к угнетаемым слоям, то сможем полностью оценить, что должна означать для человечества как целого одна только возможность технического прогресса. Здесь речь идет о вещах совершенно иной глубины и значения, чем «демократия». Ведь демократическая эпоха также была эпохой привилегированных каст. Это была эпоха привилегий белых вообще и англосаксов в частности. Отныне все человечество хочет жить полнокровной жизнью. Со всеми привилегиями должно быть навсегда покончено.

Все вышесказанное объясняет то чудовищное высвобождение энергии, которое мы наблюдаем на всем земном шаре. Но оно объясняет также и ту чрезвычайную степень обновления, которому способствовали новые перспективы. Каждая новая идея, придающая жизни новый смысл или обещающая достижение новой, достойной стремления цели, обновляет. Человечество как таковое не стареет, лишь каждая определенная линия развития конечна. Самый старый тип, пока он сам по себе способен к изменению, может двинуться в новом направлении — и в нем расцветут все признаки юности. Но как обстоит дело, если соответствующий идеал обладает животным характером? Такое совпадение должно способствовать

воистину чудовищному подъему сил земли. Вспомним наш вывод, что техническая эпоха открывает новую геологическую эру: при таких обстоятельствах человек действительно начинает подлинно новое животное поприще. Это же окончательно объясняет и варварский характер вновь возникающего мира. Подобно природной катастрофе, уничтожение всех прежних культурных состояний открывает новую геологическую эру.

Само собой разумеется, своеобразие новой геологической эпохи наиболее отчетливо должно проявиться тогда, когда в ее начале или спустя совсем короткое время человек открывает некое новое историческое бытие. В этом корни фундаментального различия между Америкой и Европой. Но тем же самым объясняется и то, почему так похожи Америка и большевистская Россия. Россия силой сбросила все оковы своего прошлого, и хотя русская душа не имеет ничего общего с американской, то обстоятельство, что новый идеал — идеал, заключающийся в новом положении человека внутри природного целого, соответствующий его роли как господина мира, — стал ее движущей силой, сразу вплотную приблизило Россию к Соединенным Штатам. И то же произойдет со всеми испытавшими обновление народами, которые сочли необходимым отряхнуть со своих ног прах прошлого, чтобы начать новую жизнь. Вскоре они устремятся к центру, символом которого является либо Америка, либо Россия. Впоследствии мы еще увидим, каково точное взаимоотношение этих полюсов будущей исторической жизни.

А теперь самое время объяснить, почему американский идеал я называю животным идеалом. Разве по своей сущности он не человеческий идеал? Разве он не ведет к лучшему жизненному устройству, к тому, что американцы называют словом «демократия», к более высокой цивилизации? Несомненно, это так. Но лишь для человека, понятого как животное, а не для человека как духовного существа.

Самым существенным и репрезентативным идеалом Америки является высокий жизненный стандарт. Бессмыс-

ленно спорить о понятиях или выдвигать новые, пусть даже и лучшие дефиниции, когда речь идет о проблемах национальной психологии; здесь имеют значение лишь самое обычное словопотребление и самый обычный смысл слов. Вне всякого сомнения, в данный момент идеал более высокого жизненного стандарта представляет собой буквально душу американизма. Против этого идеала как такового действительно возразить нечего. Несмотря на то, что так называемый материализм вообще не составляет действительной проблемы, комфортная жизнь, разумеется, предпочтительней некомфортной. Окончательно и бесповоротно это доказывает лишь всеобщее благосостояние, отсутствие в Соединенных Штатах какой бы то ни было ревности, всякой зависти и мстительности, которые мы видим во всех обедневших странах, где бедность действительно ведет к утрате всего того, что составляет радость жизни (в тропиках, например, этого не происходит). Но, с другой стороны, какое бы животное, умей оно мыслить, не встало бы под знамена идеала максимально высокого жизненного стандарта? Принципиально «жизненный стандарт», понятый как идеал, означает следующее, и только следующее: организму предоставлен окружающий мир и такое положение внутри него, которые предлагают его внутренним возможностям полную свободу раскрытия. Поэтому каждому организму нужен какой-то иной жизненный стандарт, нежели тот, что ему сопутствует. И пока он не достиг этого стандарта, естественное равновесие между ним и окружающим миром еще не установлено, кругом царят неудовлетворенность, беспокойство, а в крайнем случае — война или какой-либо ее эквивалент. Человек всегда стремился к удовольствию, как и всякое другое существо. Однако лишь в редких случаях ему улыбалась удача достичь чаемого комфорта, и, как правило, это происходило за счет других, что доказывает, что о действительно здоровом состоянии равновесия никогда не могло быть и речи. Для бедно живущего человека действительно существует основополагающее несоответствие между воображаемым идеалом и достижимой реальностью, несоответствие, кото-

рое отсутствует у низших животных. Их большую часть, пожалуй, можно было бы назвать бедной, однако их бедность не составляет проблемы, ибо в этом случае окончательное приспособление внутреннего ко внешнему при любых обстоятельствах относится к области вероятного. Для человека же бедность действительно представляет проблему. В дотехническую эпоху эта проблема не поддавалась решению. Почему? Потому что лишь в техническую эпоху человек как животное достиг того уровня, на котором изначально находится всякое животное; только о технизированном человеке можно сказать, что он создал себе внешнюю среду и положение в ней, которые предоставляют свободное пространство для всех его внутренних сил. Но геологическая эпоха человека лишь только началась; человек еще только должен завоевать себе новое положение внутри целостности природы. И разве не естественно, что соответствующий жизненный стандарт стал его главным идеалом? Так должно быть; так, по-видимому, и будет в течение определенного времени. Присущие ищущей природе человека особенности, делающие невозможным его окончательное приспособление, в данном отношении для нас не важны.

Однако почему все-таки я столь настоятельно подчеркиваю, что идеал высокого жизненного стандарта есть животный идеал? Причина в том, что почти все типичные явления сегодняшней американской жизни являются не только выражением идеала более высокого жизненного стандарта — они фактически исходят из той предпосылки, что человек есть лишь животное среди других животных и в соответствии с этим с ним следует обращаться.

Чтобы с самого начала полностью разъяснить, что я имею в виду и к чему клоню, я должен вставить несколько общих замечаний по поводу различия между человеком и всеми прочими животными. Поскольку я лишен возможности осветить здесь эту тему более подробно, то хочу отослать тех, кто не удовлетворится изложенным (надеюсь, таких будет немало), к моим главным трудам «Творческое познание» и «Возрождение». Итак, с одной

стороны, каждый организм есть по своей сути отвечающее существо; его жизнь разворачивается в реакции на раздражение и поэтому обусловлена внешним миром. Но, с другой стороны, каждый организм автономен и самостоятелен. Невозможно понять какое-либо явление жизни, не учитывая оба эти фактора, которые безусловно независимы друг от друга¹. Но автономная жизненная сила растений и животных в целом представляет собой постоянный фактор; она проявляет не большую инициативу, чем у человека, скажем, наследственность. Проблема же человека совершенно иная. В человеке автономная жизненная сила посредством одаренного свободной фантазией сознания собирается словно в некоем фокусе. И хотя то, что я говорил о животном организме, а именно: то, что направление его жизни определяется раздражением, на которое он реагирует, относится и к человеку; в его жизни личная инициатива играет решающую роль. Разумеется, не в сфере его животной жизни, но, пожалуй, везде, где ставятся специфически человеческие проблемы — там, где смысл фактов представляется более важным, чем сами факты (как это обстоит со всеми собственно человеческими вопросами), в конечном счете решающей является инициатива духа, а не давление внешнего мира. И чем выше возносится человек как человек, тем более решающее значение приобретает его способность к истолкованию смысла. Мудрец почти независим от внешних событий, для него они значат только то, что он из них извлекает. Не только в субъективном, но и в объективном смысле, как это доказывает жизнь всех истинно великих людей, терпевших и преодолевавших выпадавшие на их долю превратности судьбы.

Для американского мировоззрения характерно, что оно почти совершенно упускает из виду исключительно человеческую сторону человека. Естественно, есть и исключения из этого правила, даже более того, существуют

¹ В начале второй главы «Нового мира» я поясняю, что жизнь нельзя определить менее чем двумя координатами, а в случае человека вводится и третья.

чрезвычайно мощные противоположные примеры. Но именно то преувеличение, с которым в этих случаях подчеркивается автономия духа — я имею в виду, естественно, *Christian Science, New Thought** и тому подобное, — доказывает власть господствующей точки зрения. Разумеется, проходит долгое время, прежде чем какая-либо оригинальная установка осознает свой собственный смысл, долгое время она ищет свое выражение в какой-нибудь основанной на компромиссе с традиционными представлениями интеллектуальной конструкции. Здесь — корни прагматизма, отцам и лидерам которого никогда не удавалось полностью освободиться от неосознаваемого ими влияния европейской философии. Но сегодня мы можем сказать, что типично американское мировоззрение нашло подобающее ему теоретическое выражение. Это мировоззрение обозначается термином «бихевиоризм». Каждый сегодняшний репрезентативный американец (за исключением, естественно, уже упомянутой оппозиции) внутренне является бихевиористом, независимо от того, знает и признает он это или нет. Даже Джон Дьюи, по своей сути бихевиорист, разве что он слишком много знает о душе, чтобы быть им в чистом виде. В Джоне Б. Уотсоне типичная американская установка обрела полное осознание самой себя, в нем она выражается со всей исключительностью и односторонностью, каких только требуют стиль и нацеленность на результат. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь Джон Б. Уотсон будет рассматриваться как один из главных репрезентантов того, что представляли собой в XX веке Соединенные Штаты.

В чем же состоит сущность бихевиоризма? В том, что человек — это такое же животное, как и всякое другое. В том, что духовная инициатива и свободная воля почти не играют роли в его структуре и поведении. В том, что всю человеческую деятельность можно подвести под всеобщее понятие конкретной «привычки», нет никакого «по ту сторону привычки» в смысле возможной метафизи-

* Новая мысль (англ.).

ческой или какой-либо иной духовной действительности. И в том, что «привычку» можно полностью объяснить, определить, подчинить или изменить извне или при помощи внешнего воздействия.

Самое интересное в какой бы то ни было истории едва ли заключается в ее внутренней истине — большинство теорий прискорбно односторонни и близоруки, — оно находится в ее психологическом значении. В этом смысле самым интересным аспектом бихевиоризма являются сама возможность его существования и его репрезентативность. То, что нечто такое, как бихевиоризм, вообще могло возникнуть и добиться такого успеха, то, что все репрезентативные американцы, по сути дела, бихевиористы, доказывает тот факт, что американцы действительно рассматривают самих себя как животных; они не видят в себе самих ничего, что требовало бы какой-либо иной теории. И то, что я здесь утверждаю, вовсе не поспешное обобщение: это доказывают все важные факты американской жизни.

Однажды во время пребывания в Соединенных Штатах я был вынужден обратиться к врачу в связи с симптомами беспокойства, возможно, связанными с переутомлением. Он сказал мне: «Вам не следует прекращать ваш умственный труд, спокойно продолжайте его. Ваш мозг привык к нему. Мой — почти такой же, как ваш, только у него никогда не было привычки мышления». Это звучит довольно грубо. Однако если воспроизвести при помощи обычных выражений среднего американца, мыслящего посредством лозунгов и газетных заголовков, то, что Джон Дьюи может сказать — а последней инстанцией для него является общество — о вопросах воспитания, о формировании правильных привычек, кроме которых он не признает никакой метафизической действительности, то я сомневаюсь, придут ли кому-либо в голову фразы, которые столь же кратко и метко схватили бы всю ситуацию, как она есть. Не существует никакой принципиальной разницы между человеком и любым животным. Отчасти поэтому для американцев столь убедительна демократия как учение о том, что все люди изначально равны. У че-

ловека нет никакой уникальной души, ибо последняя, несомненно, отсутствует у животного; все различия зависят от окружающей среды, к которой относится и воспитание. Последней инстанцией является общество, высшие ценности — это социальные ценности. Читатель, возможно, заметит, что здесь американизм вновь сходится с большевизмом. То, что большевизм подчеркнуто материалистичен, а бихевиоризм — нет, ничего не меняет в сути дела.

Сходство, в той мере, в какой оно нас интересует, естественно, в первую очередь восходит к тому, что современная Россия, как и новая Америка, испытала полное обновление на новом базисе геологического периода человека. Однако именно здесь, где дух естественным образом настроен на негативные аспекты обсуждаемой нами проблемы, было бы неплохо рассмотреть и ее позитивную сторону. А в ее двойственном характере можно не сомневаться. Во-первых, животную природу человека действительно можно наилучшим образом усовершенствовать посредством обращенного на нее извне воздействия; производимые в течение длительного времени определенные раздражения неизбежно вызывают соответствующие реакции. Во-вторых, намного легче достичь удовлетворительного результата, если исходить из природы, а не из духа. Дух по своей сути свободен; он либо действует как свободная воля, либо не действует вовсе. В соответствии с этим порожденному духом прогрессу лишь тогда может сопутствовать успех, когда свобода духа достигла высокого уровня развития и когда духовные и моральные силы человека достаточно сильны, чтобы он был способен к ясному пониманию стоящей перед ним цели и к преодолению инерции животной природы. Это — причина того, почему до наступления научной эпохи уровень человеческого существования вообще никогда не повышался. Лишь наука сделала возможным такое регулирование внешних условий, что механизм реакции двинулся в желаемом направлении. До наступления научной эпохи лишь единицам, обладавшим чрезвычайным духовным и моральным даром, крайне редко удавалось значительно перера-

сти свое изначальное состояние; и будет безусловно обманом утверждать, что упражнения в йоге помогли кому-либо, кроме того, кто, по всей вероятности, и без систематической тренировки достиг бы желаемых результатов. С другой стороны, в прошлом высшие слои общества присущим их типу более высоким уровнем существования были обязаны исключительно тому обстоятельству, что более благоприятная окружающая среда в каждом из представителей этих слоев с раннего детства вызывала и культивировала характерные для этого типа реакции; поэтому воспитание любых аристократов издавна осуществлялось в соответствии с бихевиористскими принципами. Идея более высокого сословия обязательно требует того, чтобы более высокий уровень индивида не зависел от каких-либо чрезвычайных индивидуальных талантов. Поэтому в прошлом лишь высшие сословия воспитывались в соответствии с научной точкой зрения. Следовательно, в идеях, лежащих в основании современного массового воспитания, нет ничего нового. Однако специальное массовое воспитание, практикуемое в Соединенных Штатах и России, действительно представляет собой нечто новое. Эта новизна состоит в том, что с человеком осознанно обращаются как с животным. Из идеи подобающей окружающей среды исключено все то, что относится к понятию традиции, а в эпоху донаучного воспитания традиция составляла суть всего окружающего мира. Предполагается, что человек изначально не что иное, как животное; то, во что он разовьется, есть лишь результат естественного импульса, в том смысле, в каком лягушка на специфическое раздражение неизбежно реагирует специфическим образом. Воспитывать таким образом — значит «прививать» человеку желательные привычки и «избавлять» его от нежелательных, подобно тому как можно синтезировать и разлагать химические соединения.

Человеку, в котором жива старая традиция, этот способ производства желаемого человеческого типа посредством механических манипуляций покажется абсурдным, и действительно было бы почти бесстыдным заблуждением полагать, что его тип может быть создан подобным

образом. Однако у типов, лишенных культурного прошлого, все обстоит иначе. Однажды на завтрак у прусского министра культуры я встретился с его русским коллегой товарищем Луначарским и спросил его, как же большевикам удалось привлечь такое удивительное количество одаренных людей для их пропагандистской деятельности на Востоке. Его ответ был чрезвычайно поучителен. Он сказал: «Речь вовсе не идет о каких-то исключительно одаренных людях. Просто возникает впечатление, что образование в духе марксизма даже дураков Востока делает умными». Чтобы быть совершенно уверенным, что я его правильно понял, я спросил Луначарского, согласен ли он с тем, что марксизм совершенно не развивает духовные таланты европейцев; он радостно согласился с этим. Тут я понял, в чем дело. Чисто животный идеал марксизма необходимо пробуждает все духовные силы, которыми располагают примитивные народы Востока, точно так же как всякая мать становится умной, когда ее ребенку грозит смертельная опасность. Для этих бедняг, традиционно пребывающих в полуголодном состоянии и, кроме того, издавна привыкших к угнетению и эксплуатации, вероятное экономическое освобождение едва ли может иметь меньшее значение, чем то, которое для первых христиан имело вечное спасение. Как представляется, благая весть большевиков заключается в том, что материальные ценности могут создаваться из ничего. А поскольку марксизм излагает им это евангелие в столь простой форме, что его может понять даже круглый дурак, то его живительное воздействие должно быть огромным. Еще один пример, взятый из русской жизни. До революции Россия, несомненно, была в научном отношении отсталой страной, несмотря на то что в ней работало множество отдельных ученых высшего ранга. Сегодня, несмотря на бедность и невозможность должным образом оборудовать лаборатории, Россия играет ведущую роль в различных областях фундаментальной и прикладной науки, и на этот раз речь очевидным образом идет о национальном достижении. Как такое возможно? Причина опять же заключается в том, что не обремененная традициями

чисто научная установка высвобождает новые энергии. В Америке обстоятельства складываются точно таким же образом, здесь дело тоже обстоит так, что целая нация начинает свою историческую жизнь на новом бытийном уровне геологической эпохи человека. Здесь также встречаются примитивность и научно-техническое знание. Это — нечто совершенно новое, неслыханное.

Однако пойдем дальше в нашем исследовании позитивной стороны такого хода событий. Как мы уже говорили, в прошлом высшие сословия, хотя и бессознательно, воспитывались исходя из бихевиористских предпосылок. Общий бытийный уровень может быть поднят лишь посредством достаточно долгого воздействия на большинство населения с помощью надлежащих раздражений, исходящих от соответствующей окружающей среды. И именно к этому стремится воспитание нового типа, нашевшее наибольшее распространение в Соединенных Штатах и России. Понятно теперь, почему именно Джон Дьюи в качестве педагогического советника встречает такое же сочувствие в Турции, России и Мексике, как и в Америке, тогда как в Европе, его имя почти ничего не значит? Несомненно, высшие духовные ценности по-прежнему воплощены в традиционной культуре; в новом воспитании вообще нет никаких духовных ценностей; в нем в качестве таковых признаются ценности социальные; и это, повторим, логично, ибо с точки зрения животного не существует никакой метафизической действительности. Однако даже с точки зрения метафизического сознания обстоятельства складываются для Америки благоприятнее, чем кто-то может подумать. Сегодня мы знаем, что большинство плохих привычек, понимаемых в самом широком бихевиористическом смысле, объясняются вредными внешними воздействиями; далее, мы знаем, что появлению большинства комплексов в психоаналитическом смысле, проявляющихся в зрелом возрасте, можно посредством правильного воспитания помешать в юности в момент их зарождения. Наконец, мы знаем, что огромное множество желаний и действий, которые человек принимает за результат своей сугубо внутренней необходимости

ти, в действительности являются результатом комбинации мотивов и обстоятельств, вызванных социальными условиями. Поэтому следует использовать каждую возможность для внешнего и осуществляемого при помощи научных методов воздействия на жизнь. Отсюда становится ясным также и то, почему со временем такие молодые страны, как Америка и Россия, должны занять лидирующие позиции: страны, в которых еще жива традиционная культура, не могут рассматривать человека лишь как животное; для этого они слишком много знают о его духовной природе. Поэтому они не умрут, наоборот, их роль в будущем может стать более важной, чем когда-либо. Однако это ничего не изменит в том факте, что в период господства новой установки на животную природу человека естественными лидерами будут молодые народы.

В общем всего вышесказанного достаточно. Огромный прогресс Соединенных Штатов не только в деловом, техническом и общематериальном отношении, но и в области воспитания и научных исследований является в первую очередь результатом их примитивности. Американец мог отвлечься от другой, духовной, стороны проблемы потому, что в процессе обновления он уже не имел возможности осознать ее действительность. Благодаря этому обстоятельству он с самоуверенностью, на которую не решится ни один сознающий свою духовную природу человек, смог в качестве животного двигаться вперед. Разумеется, у американца есть духовные потребности; но он удовлетворяет их в соответствии со своим истинным состоянием, посредством примитивных форм религии и философии. С научной точки зрения *Christian Science* представляет собой шаманистскую форму религии; фундаментализм — одно из грубейших из известных мне выражений табуизма; а преподобный Билли Сандей совершенно виртуозно играет на инструменте механизма страха, присущего примитивной душе. Я говорю об этих формах религии потому, что мне кажется, что нормальные церкви уже не играют какой-либо достойной

упоминания роли в духовной жизни Америки: для этого они слишком успешны и слишком сильно развиты как большие бизнес-предприятия. А что касается их членов, то большинство американцев, несомненно, принадлежат своим церквям в том же самом смысле, в каком они являются членами своих гольф-, ленч- и ротари-клубов.

Таким образом, о прогрессивности в абсолютном смысле можно говорить тогда, когда речь идет об основной массе действий и достижений, психологическим фоном которых является бихевиоризм того или иного толка. Однако здесь, как и всюду, слишком большой успех грозит опасностью. Чем примитивней человек, тем больше он склонен к обобщениям; в этом — корень всех суеверий. И если благодаря тому, что в *homo sapiens* он видит лишь животное, он, к своему удовлетворению, может решить столько проблем, то, естественно, затем склоняется к мнению, что все проблемы можно решить одним и тем же способом. В этом мы усмотрели живые корни институционализма и педагогизма, явлений, более характерных для нынешнего состояния Америки, чем что-либо иное¹. Я говорю: «живые корни», поскольку у этих явлений есть еще и другие, восходящие к XVIII столетию корни, которые, пожалуй, еще живы, но совсем одряхлели от старости. Душой американского институционализма и педагогизма, а в наше время и движущей силой всей нации является вера в то, что все можно изменить и улучшить извне; что все решает окружающая среда; что автономия жизни и свободная инициатива творческого духа не заслуживают никакого внимания. Во многих солидных изданиях я встречал блестящий пример весьма искусной рекламы, смысл которой был примерно таков: муж и жена возвращаются домой с вечеринки. «Ты была поистине великолепна, — говорит он, — так остроумна, так умна, каждая твоя мысль была оригинальна». — «Но ты тоже можешь быть оригинальным, дорогой, — отвечает она, — просто купи себе книжку за два доллара — название вы-

¹ В английском оригинале я придумал и использовал слово *educationalism*, однако оно неважно звучит по-немецки.

пало у меня из памяти, — она содержит столько оригинальных мыслей, сколько тебе только может понадобиться...» Если и существует различие мнений по поводу, существуют ли такие вещи, как свобода, дух и метафизическая действительность, то практика во всех репрезентативных случаях одинакова. В этом Америка также похожа на большевистскую Россию: каждый большевик согласен с тем, что тип, в который развивается человек, зависит исключительно от внешней среды. В этом причина того, почему Россия вслед за Америкой является страной, уделяющей самое большое внимание воспитанию.

Чтобы получить по-настоящему точную дефиницию американского институционализма, будет полезно сравнить его не только с русским, но и с немецким эквивалентом. Это будет тем более поучительно, что многое из того, что в Америке может рассматриваться как система, ведет свое происхождение из Германии. Немцы также, в отличие от англичан, верят в институты и организации. Как же произошло, что немецкий и американский институционализмы столь фундаментально отличаются друг от друга, тогда как американский и русский кажутся принадлежащими одной и той же разновидности? Мы обнаружим причину этого, если вспомним, что американцы, в отличие от немцев, не верят в системы и абстракции. Бытийное основание немецкого систематического духа заключается в том, что немцы как народ мыслящих интровертов не обретут никакого отношения к какой бы то ни было отдельной проблеме, пока им не удастся рассмотреть ее как частное проявление какого-нибудь всеобщего, как можно более универсального принципа. Крайним проявлением этого было учение Гегеля, согласно которому воля государства представляет собой исполнение всех индивидуальных волей. Из этого следует, что немецкий институционализм нельзя понять на основании бихевиористских предпосылок, поскольку немецким организациям и институтам недостаточно быть средой, вызывающей витальные реакции: они должны быть непосредственным выражением некоего внутреннего принципа. Но в реальности так не случается; этим можно объяснить

безжизненность и недостаток оригинальности, которые характерны для столь многих проявлений немецкого систематического духа. Но, с другой стороны, смысл последнего никогда не заключался в том, что «окружающая среда» решает все, а совсем наоборот: он состоял в том, что присущий внутреннему миру человека дух, понимаемый как абстрактный дух, являет собой независимую от окружающего мира и превосходящую его силу.

Теперь нам будет легко понять своеобразие американского институционализма. В качестве введения можно привести один забавный анекдот. Однажды некая прихожанка, жизнь которой не была вполне безупречна, спросила аббата Мунье, одного из немногих известных мне французов, в ком еще жив лучший дух XVIII века, полностью ли он уверен в существовании преисподней. Его ответ был таков: *«Ma chère enfant, évidemment il y a un enfer, puisque notre très-sainte Eglise l'enseigne; mais la miséricorde de Dieu étant infinie, je suis à peu près sûr qu'il n'y a personne dedans»**. Когда современные американцы хотят, чтобы их нация была музыкальной, они полагают, что для этого достаточно создать какой-нибудь гигантский институт и выделить ему миллионы долларов. То, что бытие и ценность музыки целиком зависят от таланта нескольких очень немногих личностей, что институционализм совершенно не обращает внимание на обстоятельства, связанные с духовными ценностями, едва ли придет им в голову. По этой причине столь многие американские образовательные и даже научные институты напоминают ад Мунье. Тем более что лишь очень немногие американские меценаты понимают, что в стране, где идеалом является высокий жизненный стандарт, ситуация, когда ученые и художники оплачиваются хуже, чем железнодорожные начальники, неизбежно ведет к тому, что в науке и искусстве воцаряется посредственность. То же самое относится и к государственному и административному таланту; он в Соединен-

* «Мое дорогое дитя, конечно, ад существует, как учит наша святая церковь. Но поскольку милосердие Господа бесконечно, я почти уверен, что там никого нет» (фр.).

ных Штатах также очень плохо оплачивается, и этим в основном и объясняется существующий там дефицит одаренных людей в сфере политики. В Европе способный государственный деятель, ученый или художник мог и может плохо оплачиваться, ибо в глазах общественного мнения он ценился и ценится настолько выше того, чьи способности ограничиваются умением зарабатывать деньги, что недостаток материальных благ на самом деле лишь компенсирует огромные преимущества, заключенные в его общественном статусе. В общественном мнении Америки нет эквивалента такой точке зрения. Оно не верит во внутреннюю ценность таланта и гения. Оно по-настоящему не верит в него даже в области бизнеса, хотя в ней, как нигде, ценится и признается особая одаренность. Чрезвычайно высокая заработная плата выплачивается здесь лишь потому, что она оказалась выгодной и доходной для того, кто ее выплачивает; ни один работодатель не думает и не считает, что одаренность имеет какую-либо ценность как таковая.

А теперь рассмотрим великолепную организацию американской жизни под другим углом зрения. Одним из глубочайших заблуждений идеи прогресса в ее применении к биологическим аспектам была вера в то, что организм тем лучше приспосабливается к своему окружающему миру, чем в большей степени он продвигается в том направлении, которое человек инстинктивно оценивает как прогрессивное. Духовный и интеллектуальный прогресс никоим образом не проецируется на уровень материального успеха. Закон материального мира — это закон рутины. С первого дня творения атомы, подобно звездам, в одном и том же порядке двигались вокруг предназначенных им центров гравитации, и так будет вплоть до скончания века. Поэтому чем в большей степени жизнь организма, раз и навсегда приспособившегося к цикличности мирового процесса, подвержена рутине, тем для него лучше. И наши телесные процессы, к которым относятся все вышесказанное, несомненно, представляют собой нечто более успешное, чем все душевные и духовные достижения; ведь смерть принадлежит нормальному при-

родному ритму, болезнь является ее нормальным порогом, а внутри этих границ тело удивительно стойко противостоит всем опасностям, не только с тех пор, как ему на помощь пришла наука, но даже и при самых неблагоприятных условиях. Телесные процессы происходят в одном и том же установившемся ритме, который раз и навсегда приспособлен ко всеобщему ритму природы. Именно поэтому любое животное гораздо лучше приспособлено к универсуму, чем человек: его вновь и вновь губят капризы и озарения его свободной фантазии. Для него рутина никак не является последней инстанцией. Чем выше он как человек возносится, тем в более исключительных и необычных условиях жизни он нуждается, — но тот, кто в них нуждается, вместо того чтобы уметь жить при любых обстоятельствах, очевидным образом хуже приспособлен к космосу, чем тот, кто может обойтись без этих условий. Именно поэтому вся прежняя культура была культурой привилегированных сословий. Теперь же технический прогресс сделал доступными всем те преимущества, которые прежде были привилегией немногих. Но именно поэтому отныне они подвластны духу рутины; более высокий жизненный стандарт уже не служит, как у привилегированных сословий прошлого, базисом более высокой духовной культуры, свидетельством которой является более высокая степень творческой свободы: суверенным господином является животный идеал. Это окончательно доказывает своеобразное сходство людей с муравьями, пчелами и термитами, которые, если быть точными, достигли даже еще более высокого уровня технической цивилизации, чем мы. Термиты во всяком случае достигли даже большего: их достижение соответствует вполне возможно присущей нам способности жить на земле, после того как солнце перестанет дарить ей свое тепло, или столь же вероятной способности посредством соответствующих манипуляций с железами выращивать любой желаемый человеческий тип, сразу же оснащенный нужными техническими средствами. Вся жизнь этих насекомых протекает в соответствии с раз и навсегда предначертанным планом. Этим же объясняет-

ся и удивительный успех американизма. Американская цивилизация — самая однообразная из всех когда-либо существовавших; все сюрпризы, которые она может предложить (не считая пустые сенсации, живущие не более нескольких часов и служащие своего рода предохранительным клапаном для одаренного фантазией организма), связаны с дальнейшим движением в направлении животного развития и потому без труда могут быть классифицированы как составные части существующей рутинной системы.

Человек в конечном счете все-таки представляет собой творческий дух, как бы сильно он ни уподоблялся животному. Поэтому иллюзия, состоящая в том, что новая стадия животного развития — это более высокая стадия культуры, ведет к разрушительным результатам. *Рациональный* аспект этой истины лучше всех поняла и использовала *Christian Science*. Однако ее фактическую сторону лучше всех и с ясностью, которую можно только пожелать, иллюстрирует американская техника рекламы. Американский рекламист зачастую сам верит, что он лишь предлагает своим покупателем то, чего они желают, — на самом же деле он сам создает спрос там, где его прежде не было; если бы дело обстояло иначе, то дорогостоящая реклама была бы просто не нужна. Если директор автомобильного завода может объявить своему дилеру (как это часто происходит): «В следующем году вы продадите на двести тысяч машин больше, иначе я вас уволю», — и в результате в следующем году действительно продается на двести тысяч автомобилей больше, то это доказывает, какой чудовищной творческой силой обладает внушение. Но если это так, то и вера в то, что человек может полностью направляться и формироваться извне, также должна обладать творческой силой. Человеческая масса должна становиться все пассивнее, а внушение все доступнее; с другой стороны, инициаторы внушения, коль скоро они полагают, что они не создают спрос, а лишь идут ему навстречу, должны все больше утрачивать всякую веру в возможность инициативы. А то, во что человек верит, неотвратимо становится реальностью. Уже сегодня в Со-

единенных Штатах инициатива редко распространяется дальше изобретения того, что лучше всего соответствует существующему спросу. Речь уже не идет о том, чтобы превратить человека во что-то более высокое, чем он был прежде. Ибо в том, что касается духовной стороны человека, дело ограничивается приведением его к некоему чисто статическому и одинаковому для всех состоянию. Результатом является неотвратно прогрессирующая анимализация американца.

Как же возможно, что эти свойства не вызывают у иностранцев всеобщего недовольства или ненависти? Иногда такие проявления действительно имеют место, но гораздо чаще указанные свойства пробуждают потребность в американизации. Причина этого понятна: кажется, что проблема животной жизни на новом уровне геологической эпохи человека разрешена в Америке лучше, чем где бы то ни было. Ведь там, в принципе, буквально каждый может жить в комфорте, что где-либо еще невозможно не только фактически, но и принципиально. Во время моего пребывания в Соединенных Штатах меня посетили несколько индусов и других представителей Востока. Они жили там уже несколько лет. Я спросил их, почему они здесь остались, несмотря на то, что, по их словам, они чувствовали отвращение к американскому материализму. Они ответили, что не знают; так произошло; они приехали сюда для нескольких лекций, да так и остались. Очевидно, причина была той же самой, что и та, на которую указал Менкен, когда его спросили, почему он продолжает жить в Америке, которую он столь остро критикует: «Здесь чертовски комфортабельно». Это действительно так. Если человек приспосабливается к ритму американской жизни, о нем начинает заботиться вся существующая цивилизация, подобно тому как о каждом животном заботится мать-природа. Однообразие и рутинность, соединенные со всеобщим прогрессирующим американским жизненным ритмом, неизбежно принесут удовлетворение всякому, кто к ним полностью приспособится, точно так же как каждый организм, живущий в своей естественной окружающей среде и следующий сво-

им инстинктам, чувствует себя удовлетворенным. Этим отчасти объясняется и присущий американцам оптимизм. Однако прежде всего этим объясняется то, почему каждое движение к успеху в Америке, если сравнивать ее с Европой, выглядит как геометрическая прогрессия по сравнению с арифметической. Здесь учитываются лишь всеобщие, но не индивидуальные потребности. Те, кто знает законы массовой психологии, могут легко создать соответствующий этим потребностям спрос. Появление этого спроса, в свою очередь, провоцирует столь мощное массовое внушение, что избежать его очень сложно даже самому завзятому индивидуалисту. Со своей стороны покорное восприятие внушения обуславливает деиндивидуализацию. Конечным результатом является воцарение такого унифицированного духа, какого не знала ни одна армия и какого не встретишь и среди иезуитов. Большинство американцев хотят такого повиновения, какого до сих пор не знал ни один солдат. Одно это объясняет тот вид, какой имеют приводящие в ужас любого европейца американские «караваны» (какое невероятно символическое слово!) — передвижные дома на колесах. Здесь практически исключены любые индивидуальные особенности. На любой суггестивный импульс американцы реагируют как единая кооперативная организация. Но поскольку речь здесь идет не о принуждении, а о добровольно принимаемом, ведущем к деиндивидуализации внушении, то для умного суггестивного воздействия вообще не существует никаких границ. Ибо здесь начинается действие день и ночь поддерживаемой внушением веры — веры, что любой человек может материально и социально развиваться, если только он того желает. Сама по себе эта вера абсолютно иррациональна. Однако она творит чудеса. Достаточно правильным образом провозгласить, что тот или иной «прогресс» способствует всеобщему «движению вперед», как все начинают носить свой вклад в его успех. Достаточно вспомнить невероятный успех листерина — одного из отвратительнейших и неприятнейших средств дезинфекции, которое мне когда-либо попало: мне рассказывали, что этот успех целиком осно-

вывался на рекламе, утверждавшей, что большинство юношей и девушек безнадежно осуждены на то, что они так и не вступят в брак по причине неприятного запаха изо рта, и только использование листерина позволит им полностью избавиться от этой беды. Так образуется круговорот вещей, который можно было бы назвать *circulus vitiosus*^{*}, ибо он не идет на пользу подавляющему большинству людей. Фактически оказывается истиной, что Америка является страной безграничных возможностей не только для самих по себе массовых продаж, но и для неслыханного количества индивидов, извлекающих из них прибыль. Поелику огромное число американцев живет благодаря торговле, истиной также является и то, что *sound business*^{**} в Америке, как уже говорилось, представляет собой *Social Service*. Однако повторим, при таких обстоятельствах исключено какое бы то ни было повышение культурного уровня индивида. Еще один пример, дополняющий пример с листеринем. В течение некоторого времени автомобильный бизнес благодаря слогану, гласившему, что машина должна быть у каждого, был невероятно прибылен. Но в конце концов автомобиль действительно появился у каждого. Продажи пошли на убыль. Дилеры всех производителей провели совещание. Прозвучало множество разумных предложений по поводу того, как побудить клиентов к дальнейшим покупкам. Внезапно поднялся один совершенно простой человек и сказал: «Давайте распространим по всей стране лозунг: у каждого должно быть две машины!» Сказано — сделано. После этого бизнес вновь расцвел. Ведь у многих граждан Соединенных Штатах еще нет двух автомобилей.

Я хотел бы еще раз повторить, что для меня безусловно положительным является тот факт, что в Америке животный человек достигает столь всесторонней удовлетворенности. А тот факт, что там так невероятно мало недоброжелательности, мстительности, зависти, тщеславия

* Порочный круг (лат.).

** Крепкий бизнес (англ.).

и мелочности, по моему мнению, окончательно доказывает, что это хорошо не только с телесной, но и с душевной точки зрения. Против однообразия и стандартизации тоже, в общем-то, возразить нечего. Если все люди должны жить комфортно, то значительная степень однообразия и стандартизации материальной жизни неизбежна: создать в равной степени комфортную жизнь для миллионов можно лишь в том случае, если их потребности в значительной степени одинаковы, а недостатки такой необходимости, вне всякого сомнения, менее значительны, чем вытекающие из нее преимущества. Однако негативный аспект тотчас становится преобладающим, если животную природу начинают оценивать как неживотную и если духовные потребности начинают удовлетворяться способами, подобающими лишь животным. В этом и заключается главный недостаток американской цивилизации: она все ставит с ног на голову. Лафкадио Хирн и Бэзил Холл Чемберлен показали, что японское решение жизненных проблем представляет собой с европейской точки зрения переворот всего вверх ногами. И все же этот переворот — ничто по сравнению с американским. Присущее ему извращение состоит в том, что он почти к каждой жизненной проблеме подходит не с той стороны.

Если хочешь, чтобы брак был удачным, то, очевидно, следует начать с того, чтобы жениться на подходящем человеке. По-видимому, американцы не разделяют этого мнения, плохие отношения в браке они пытаются ликвидировать посредством повышения возможности развода. Если им представляется желательным пробудить чувство прекрасного, то американцы создают то, что они называют «прекрасной средой», совершенно не понимая, что не существует никакой красоты, если человек не вкладывает в вещи свою собственную идею прекрасного; если прежним культурам природа открывалась как нечто прекрасное, то потому, что ее проявления рассматривались как божественное воплощение. Американская нация должна стать музыкальной: ради этого основываются самые великолепные институты в мире — неважно, есть ли те, кто должен их заполнить. После моих первых американских

лекций меня вновь и вновь приводил в замешательство постоянно задававшийся мне вопрос: «Не правда ли, грандиозная аудитория?» В Европе восхваление достоинств аудитории перед лицом докладчика, отдавшего ей все свое лучшее — неважно, обладает ли это лучшее какой-либо самостоятельной ценностью, — было бы расценено как его оскорбление. Но вскоре я понял, в чем дело. Ход мысли был обезоруживающе прост: если этот человек смог привлечь столь значительную аудиторию и если эта аудитория в течение часа ему внимала, то он должен быть очень хорошим оратором. Точно так же «бестселлер» должен быть хорошей книгой, а ценность великого искусства, как недавно заявил один американский меценат, можно выразить при помощи долларов и центов. Отсюда один шаг до точки зрения, согласно которой книга недорого или не является «бестселлером» или человек, не умеющий зарабатывать деньги, не обладают никакой ценностью, а деньги в любой ситуации являются подходящим критерием. Это обстоятельство не связано с помешательством на долларах: оно лишь демонстрирует то искажение всего и вся, которое является отличительной чертой нынешней Америки. Американская нация столь последовательно воспитывалась в вере, что дух не может быть причиной, а представляет собой только следствие (в том смысле, что он лишь реагирует на внешние раздражения, а сам по себе ни на что не способен), что она даже в тех вещах, в которых она хорошо разбирается, произвольно мыслит и действует таким образом, словно следствие является причиной. В этом истинные корни той национальной веры, которую большинство американцев просто называют словом «демократия», а именно веры в то, что суждение человека с улицы задает абсолютно правильный критерий. На самом деле эта вера означает, что никакого автономного духа, который обладал бы правом выдвигать собственные требования, вообще не существует, так же как и какого-либо мерила, независимого от «прагматического испытания» материальным успехом. Если же нечто не нравится общественному мнению, то это значит, что именно это нечто дурно, неправильно или непри-

годно. Если же, наоборот, оно этому мнению нравится, то «с его помощью можно заработать деньги». Этот типичный ход мыслей повышает популярность того представления, что денежная стоимость в любой ситуации является истинным критерием. Кроме того, деньги всегда способствуют комфорту. И если они зарабатываются при том условии, что решающим является вкус человека с улицы, то тот факт, что их загребают кто-то один или какая-то немногочисленная группа, на самом деле пойдет на пользу всем. Если мы еще раз вспомним, что американский идеал — это животный идеал, то мы поймем, что обсуждаемое нами переворачивание-всего-с-ног-на-голову чрезвычайно трудно устранить. Ведь оно так хорошо выдерживает *pragmatic test*! А его недостатки заметны немногим, но отнюдь не массе. Да и даже для этих немногих оно ущербно отнюдь не в материальном отношении; ибо благодаря хорошей рекламе высшее имеет в Соединенных Штатах более высокую рыночную стоимость, чем где бы то ни было еще. Это невозможно оспорить. Но не менее верно и то, что это извращение всего и вся именно потому, что оно во всех материальных отношениях приводит к хорошим результатам, атрофирует орган для восприятия духовной действительности и присущих ей законов. Типичный американец не в состоянии понять, почему осознающий значение духа человек скорее предпочтет быть всеми ненавидимым, чем следовать массовым предрассудкам. Он не может постигнуть, почему желание «нравиться» не может стать достойной стремления целью.

И все же, несмотря на все вышеуказанные препятствия, тот, в ком дух действительно силен, может добиться в Америке успеха, и именно благодаря невероятной внушаемости американской нации. Однако лишь немногие обладают достаточной силой внушения. Еще хуже следующее: поскольку человеческая натура слаба, большинство творческих умов ради семьи или под каким-либо иным предлогом отказываются от того, что является в них лучшим, как только достигнут успеха. Во всяком случае, с каждым новым успешным годом нация все больше развивается в направлении духовной слепоты. Точка зрения

торговца во все большей степени становится доминирующей. Многие американцы, когда я говорил с ними о той удивительной книге, в которой Христос был представлен как образец хорошего торговца, объясняли мне, что она ничего собой не представляет и что ее автор просто дурак. Мне так не кажется. Америка действительно так думает. То, что следует понимать как следствие, расценивается как первейшая причина. Главная идея той книги состоит в том, что христианизация мира удалась Иисусу Христу не потому, что он смог провозгласить великую и истинную весть, которая впоследствии неизбежно должна была стать *good publicity*^{*}, то есть первоклассным рекламным материалом, но потому, что он об этом думал с самого начала. Весь мой личный опыт склоняет меня к выводу, что это истинная, ибо непроизвольная, общеамериканская точка зрения. Если бы дело обстояло иначе, разве руководствовались бы газеты и издательские дома почти исключительно лишь желаниями публики? Разве придерживались бы они того мнения, что чисто коммерческая точка зрения оправданна для того человека, который, вне всякого сомнения, способен руководить и управлять общественным мнением? Если бы дело обстояло иначе, разве торговец играл бы в американской деловой жизни более важную роль, чем ум изобретателя? Последний должен идти навстречу потребностям масс; это — основной принцип. Его положение — это положение «служанки», каким в средние века было положение философии по отношению к теологии. С точки зрения духа как творческой эссенции жизни такое мировоззрение представляет собой абсолютный переворот всех вещей и ценностей. Однако это вполне приемлемое мировоззрение, если человек — это всего лишь животное.

Теперь читателю, пожалуй, совершенно ясно, насколько американский институционализм со своей стороны есть выражение животного идеала вообще и с ног на голову поставленного мышления в частности. Если бы это мышление функционировало нормально, то от институтов не

^{*} Хорошая реклама (англ.).

ожидали бы того, что является исключительной прерогативой творческого духа. Но, с другой стороны, американец действительно становится продуктом существующих институтов именно потому, что он верит в их безграничную власть. Поэтому *likemindedness* и *normalcy* с каждым годом проявляются все сильнее и сильнее. А в результате, в свою очередь, неизбежно растет склонность приспособливать свое бытие к существующим институтам. И, естественно, появляется внешняя, относящаяся к какому-то иному уровню причина, объясняющая эту склонность приспособляться к тому, что по своей сути безжизненно: поскольку в Америке нет единства крови, традиций и эмоций, ее жители инстинктивно стремятся к тому, чтобы построить некое единство на тех основаниях, которые у них есть. Как это выразил Бенджамин Франклин: «Их нужно связать друг с другом, иначе каждый замкнется в самом себе». Другой причиной является демократический предрассудок: поскольку все люди якобы одинаковы (каждый разумный человек знает, что это не так), то все должны быть равны; идея долженствования или долга неизбежно возникает там, где человек бессознательно знает, что истина, в которую он как будто бы верит, на самом деле не истинна. Но самой глубинной причиной американского однообразия и стандартизации является приспособление к стандартизированному жизненному порядку, основанному на признании того принципа, что все объясняется внешними причинами. Если вера в него достаточно сильна, то им действительно можно объяснить все. В этом заключается главная причина американской подверженности воздействию извне. Американцы не были бы более доступны внушению, чем остальные люди, а реклама в Америке не была настолько невероятно более эффективной, чем где-либо, если бы там не господствовала бихевиористская вера в то, что человеческая жизнь представляет собой лишь привычку, а каждая привычка есть лишь результат неких внешних воздействий. В этом отношении жизнь Соединенных Штатов являет нам образ некоего уникального и колоссального *circulus vitiosus*.

Сделаем еще один шаг дальше. Если господствует представление, что «среда» объясняет все, если в соответствии с этим она настолько влиятельна, насколько это позволяет природа вещей, если, с другой стороны, стандартизация является фактом, а однообразие идеалом, то жизнь человека должна быть чрезвычайно похожа на жизнь муравьев или пчел. Часто говорят, что муравьи и пчелы — «самые человеческие» животные. Так же верно и обратное: если цивилизованный человек регрессирует к животному, он становится не обезьяной или собакой, а муравьем или пчелой. Ведь именно насекомые — самые социальные и одновременно самые трудолюбивые животные; кроме того, они в наибольшей степени специализированы и наиболее тверды в своей рутинной жизни. Они ни в малейшей степени не походят на примитивного, дикого или культурного человека: их аналогами в животном мире являются, смотря по обстоятельствам, лев, лисица или скаковая лошадь. Но, пожалуй, они напоминают технизированного человека. Для него характерно, что в его жизни главную роль играет рутинная работа. А рутинная жизнь муравья, и в особенности термита, почти абсолютно приспособлена к ритму универсума. Технизированный человек также мог бы дойти до этого. Однако если это ему удастся, то это произойдет за счет всякой свободной инициативы. Факты позволяют полагать, что большинство написанных в последнее время и основанных на американских реалиях утопий предполагают наличие в будущем состояния абсолютного рабства; свободная воля в таких обстоятельствах практически не будет играть никакой роли вообще. И так действительно произойдет, если безжизненность сможет навязать свои законы любой жизни. Произойдет тем вернее, чем более совершенной будет становится совместная работа всех. Если человеческая жизнь станет, по сути, рутиной, чей ритм подчинен ритму всего мира, то результатом должно возникнуть состояние невероятной стабильности. Ибо такая жизнь абсолютно неизбежно выдержит прагматическую проверку. Она не сможет не быть полностью и совершенно успешной. С каждым шагом к дальнейшей стандартизации

она должна становиться все успешнее. Все и вся будет развиваться, кроме человеческого духа. Он будет становиться все слабее. Я говорю: будет, ибо это также неизбежно. Дух живет исключительно в условиях свободной инициативы. А она должна неотвратимо терять силу и способность действовать пропорционально тому, как Америка движется в своем сегодняшнем направлении. С другой стороны, животное начало должно так же неотвратимо все больше и больше прибавлять в могуществе и объеме. Подобные факты должны постепенно становиться тем единственным, что заслуживает внимания. Ведь тем самым мы обнаружили бы высшее проявление присущего Америке переворота всего и вся. Когда в 1928 году я приехал в Америку, моим первым вопросом был: какие суеверные представления здесь наиболее широко распространены? Когда я хочу понять какой-нибудь народ, я прежде всего исследую его суеверия, ибо для бессознательного они намного более репрезентативны, чем все разумное. И здесь, к своему изумлению, я обнаружил, что американцы верят в факты — везде и во всякой связи. Никогда мне не встречалось столь же забавное суеверие. В том, что касается жизни, факты никогда не являются чем-то первичным; с одной стороны, их создает смысл, а с другой — вся их ценность заключается в смысле, который они воплощают, но смысл никогда не содержится в самих фактах. Исток всякого института заключен в каком-то изобретении, которое первоначально не было никаким фактом. Власть правительства коренится в его авторитете — а даже он не является фактом: он зависит от веры. И то же самое относится к ценности самой объективной ценности мира — золоту; если бы люди в него не верили, его «фактичность» не означала бы ничего. Фактически, с точки зрения духовного человека, вера в факты представляет собой самое причудливое и в то же время самое дикое из всех возможных суеверий. Ее можно объяснить единственно и исключительно исходя из присущего американскому мышлению переворота всего и вся. Между тем поскольку смысл создает факты, а не наоборот, извращенная вера порождает реальный мир по свое-

му образу и подобию. Так, животное начало все больше берет в человеке верх по сравнению с собственно человеческим; смысл фактов, каковой только и делает их человеческими, неудержимо теряет свое значение. Конечный результат: человек регрессирует к чистому, настоящему высшему животному.

Не находимся ли мы уже сейчас в ужасающей близости к этому состоянию? Любовь уже сейчас понимается как чисто биологическая функция, здоровье уже является высшим идеалом. Американец все больше забывает, что именно недостаток равновесия отличает человека от животного; ибо именно он делает человека способным вновь и вновь выходить за собственные пределы. Здоровье представляет собой стабилизированное равновесие — но таковое существует лишь там, где нет никакого изменения. Чем более в человеке доминирует представляющий собой вечное движение дух, тем более неустойчивым должно быть его равновесие. Кроме того, дух воздействует на землю только посредством эмпирических напряжений. И в той степени, в какой идеал здоровья способствует анимализации американца, он связан и с американским идеалом воспитания, которое не представляет собой ничего лучшего, чем подобающую скорее животному дрессировку. Если же идти дальше, то в конечном счете общим знаменателем всех идеалов окажется идеал высокого жизненного стандарта. При его помощи человек бежит от приключения подлинно человеческой жизни и возвращается к простому, надежному и безопасному животному существованию...

Прежде чем я закончу, следует указать на некоторые другие опасности. Ставший властелином мира человек — самое опасное животное, какое только видел свет. Не только для других, но и для самого себя. Он разоряет и уничтожает все, чего не может использовать. Природа для него не больше чем сырье. Америка и в этом отношении являет собой наилучший пример. В ней нет чувства прекрасного как национальной движущей силы. Такое положение чрезвычайно опасно. Красота — это как ре-

зультат, так и выражение правильных пропорций. Уродство всегда означает, что правильное равновесие не достигнуто или же нарушено. Но человек, как бы он ни был могуществен, всегда остается дитем природы; если он, отрекаясь от своего детства, действует лишь как ее тиран, то рано или поздно она ему сполна отомстит. Мы, европейцы, осознали, что чистый интеллект, если он развертывается за счет жизни, неизбежно становится ее врагом, уничтожающим ее сначала как ценность, а в конце концов как фактичность. Творческие силы иссякают. Но американский техницизм таит в себе еще большую опасность. Если действителен лишь бизнес — понимаемый максимально широко, — то нет никаких возможностей для роста подлинно человеческих, в противоположность животным, сил. А поскольку источником человеческой жизни является духовное начало, то это должно привести к физической девитализации. Поэтому американец, несмотря на гигантскую энергию, демонстрируемую им в различных специфических областях, менее витален, чем европеец. Мы говорили выше, что возможной целью американской цивилизации является некое термитоподобное состояние. Термиты — самые древние твари на Земле. Однако когда они живут своей термитовой жизнью, они полностью проявляют всю свою природу. Живущий же, как термит, человек на такое способен не будет. Все его человеческие силы будут проявляться во все меньшей степени. А поскольку его истинная сущность все-таки человеческая, то, по всей вероятности, он просто вымрет. Жизнь, которая неверна своему собственному смыслу, никогда не может быть длительной. Данное обстоятельство в значительной степени объясняет то невротическое состояние, в котором пребывает подавляющее большинство американских бизнесменов. По сути дела, многие из них совершенно уподобились муравьям. Они не в состоянии принять какую-либо иную точку зрения, кроме своей собственной. Они быстро и уверенно овладевают каким-нибудь специфическим бизнесом, но, кроме него, не способны ни на что. В привычной им сфере деятельности они, в точности как насекомые, чрезвы-

чайно проворны, во всем же остальном — невероятно неповоротливы. Превратятся ли американцы в конце концов в муравьев? Мы уже говорили, что это невозможно, ибо, скорее всего, они вымрут еще до этого. Но существует и более благоприятная альтернатива, изложением которой я и хочу завершить эту главу. Весьма вероятно, что животный идеал высокого жизненного стандарта автоматически сведется *ad absurdum* и успеет освободить место для чего-либо более высокого. Чем выше будет жизненный стандарт, тем труднее станет найти людей для выполнения более низменных, но тем не менее совершенно необходимых жизненных задач. В таком случае должна быть реализована одна из двух возможностей: либо импортируются рабы, либо же нации станет ясно, что далее нельзя продолжать свое существование, пребывая в постоянной убежденности в возможности неограниченного материального прогресса. И в обоих случаях существует лишь одно позитивное решение, состоящее в том, чтобы вернуть духу подобающий ему суверенный статус. Над рабами можно господствовать лишь тогда, когда человек как таковой рассматривается как нечто большее, чем «вещь», а инициатива — как нечто большее, чем приспособление. Далее, человек как целеустремленное, по своей сути, существо лишь тогда способен вынести статичные и, сверх того, не удовлетворяющие его состояния, когда он ищет и находит удовлетворение для своей целеустремленной натуры в тех сферах, в которых и речи быть не может о комфорте и успехе, ибо их чистое представление есть само по себе нечто абсурдное. А отсюда в качестве возможной цели вытекает нечто безусловно позитивное: если дух одержит в Америке победу, то эта победа будет иметь для прогресса человечества большее значение, чем любая прежняя победа духа. Ибо в таком случае жизнь духа впервые основывалась бы на надежном базисе устойчивого равновесия, достигнутого в рамках природы.

СОЦИАЛИЗМ

Досадно, что выражение «социализм» оказалось связанным с наименее социальной из всех систем. Дети также редко получают то имя, которое бы действительно им подходило. Ведь лежащая в основании личного имени идея состоит в том, что каждый, кроме своего семейного имени, фамилии, титула и т. д., символизирующих его отношение к другим, должен обладать и обозначением, выражающим его уникальность, а потому я нахожу чудовищным, что новорожденный гражданин мира, как это часто бывает, получает имя «в честь» какого-либо другого человека. Но, несомненно, еще никогда прежде обозначение не устанавливалось, говоря словами Бергсона, менее «соотносительно», чем название «социализм» применительно к тому, что оно представляет. Психологическая природа человека состоит из первичноиндивидуальных и столь же первичносоциальных элементов. В естественном развитии социальное предшествует индивидуальному. На физиологическом уровне это выражается в том, что каждый индивид, как бы он ни был уникален, является не только ребенком двух родителей, но и составной частью определенной группы. Но то же самое находит свое выражение и на уровне психологической действительности. В каждом живут изначальные импульсы, исходящие не от индивидуального, но от первичносоциального сознания, — я употребляю это слово в самом широком, охватывающем всю область социального, от ее сексуального аспекта до этического, смысле. На самом деле посредством одного лишь мышления постичь факт существования таких первичносоциальных импульсов невозможно, и причина этого проста и естественна: первой и последней предпосылкой всякого мышления является индивид, ибо мышление есть процесс чисто индивидуальный. Однако наличие первичносоциальных импульсов можно установить

экспериментальным путем. Не только опосредованно, мол, чисто эгоистичная жизнь всегда приводит к несчастью — с точки зрения внутреннего переживания внешнее несчастье ничего не значит, — а на основании самого этого внутреннего переживания, то есть непосредственно. Тот, кто отвергает или презирает деятельность, источником которой является первичносоциальный инстинкт, тот или заболевает, или вырождается, или живет в состоянии длительного несчастья, в аду, выхода из которого нет. Здесь — корни общечеловеческой идеи греха. Однако прежние эпохи истолковывали эту ситуацию исходя из религиозных и метафизических предпосылок, корректность коих сомнительна. Современная же психология доказала, что она объяснима и без апелляции к какому бы то ни было «потустороннему». Доказательство того, что социальные импульсы являются столь же реальными и изначальными элементами человеческой природы, как и индивидуальные, является заслугой прежде всего венского психоаналитика Альфреда Адлера и его школы. Они доказали, что человеку как индивидууму присущи вне- и сверхличностные ощущения, эмоции и импульсы; невзирая на уникальность каждого отдельного человека, они принадлежат его сущности в том же самом смысле, в каком каждый человек наряду с другими является в первую очередь выражением рода «человек» со всеми его типичными признаками. Существование психологического соответствия этому факту полностью доказывается используемыми во всех религиях и везде доказавшими свою эффективность методами обучения. Чтобы способствовать индивидуальному прогрессу, все они используют в целях медитации символические образы, о которых мы сегодня знаем, что они являются выражением коллективного бессознательного. Как таковые они относятся к родовому, а не к индивидуальному. Однако если индивид хочет расти, он должен использовать это родовое, ибо процесс роста может быть начат и завершен только при помощи родовых сил.

Итак, человек во всех отношениях является как социальным, так и индивидуальным существом. Поэтому, как представляется, идеал заключается в гармониза-

ции социального и индивидуального. Очевидно, что такая гармонизация возможна на основании самых различных взаимоотношений обоих этих элементов; о патологии же можно говорить лишь тогда, когда либо индивидуальная, либо социальная сторона настолько недоразвита или, наоборот, развита настолько чрезмерно, что гармонизация становится невозможной. Часто утверждалось, что любой святой потенциально является преступником. Так оно и есть, а причин тому две: во-первых, сущностью духовной действительности является уникальность; поэтому одновременно с растущей духовностью должно расти и сознание собственной уникальности, что со своей стороны должно стимулировать индивидуальные импульсы в противовес социальным. Вторая причина состоит в том, что в соответствии с законом поляризации, которому подчиняется всякая жизнь, естественные основания крайней самоотверженности и крайнего эгоизма находятся между собой в близком родстве, даже если фактически они и не совпадают. В любом случае каждый чрезвычайно индивидуально одаренный человек физиологически является как духовным, так и естественным эгоистом, ибо его индивидуальная сторона развита таким образом, что он неизбежно в первую очередь осознает самого себя, а не свое внутреннее отношение к ближнему. Однако сама по себе даже самая сильная гипертрофия индивидуального или социального не может нарушить внутреннего равновесия: кто-то может быть крайним индивидуалистом и в то же время отдавать все силы своей индивидуальной инициативы службе всеобщему; в таком случае эта особая взаимосвязь представляет собой состояние равновесия духовного и природного. Точно так же и тот, чьи социальные инстинкты столь сильны, что он вообще не испытывает интереса к своему личному совершенствованию, а охотнее всего пожертвовал бы всей своей жизнью ради блага других, не может расцениваться как патологический случай, пока его готовность к самопожертвованию не способствует эгоизму других людей. Отсюда строгость Христа и большинства святых. Их любовь к ближнему никогда не была добродушием в смысле потакания

его слабостям. Они никогда не были похожи на тех русских аристократов, которые не могли вынести чувства своего привилегированного положения, а потому раздвигали все свое имущество и растворялись в темной массе, вместо того чтобы использовать свое положение для содействия ее подъему.

Итак, каждый род равновесия между социальной и индивидуальной стороной человека, пока это равновесие вообще сохраняется, можно расценивать как нормальный, тогда как каждый случай отсутствия такого равновесия является патологическим. Но из всего сказанного следует, что каждое данное состояние равновесия благоприятствует развитию одних функций и исключает другие. Прототип этого ограничения дают психологические взаимоотношения мужчины и женщины. Под углом зрения психологии элементарных инстинктов и импульсов мужчины предстают как индивидуалистическая и в соответствии с этим эгоистичная и корыстная половина человечества, тогда как женщина, напротив, существо альтруистичное, самоотверженное и социально ориентированное. Любая инициатива, любое изобретение или модификация предполагают примат акцента на самом себе; с другой стороны, предпосылкой любого сохранения и любой непрерывности в обоих измерениях — одновременности и последовательности — является примат альтруистического инстинкта. Оба эти инстинкта — и влечение к сохранению жизни, и влечение к прогрессу — в равной мере необходимы. Без акцента на самом себе человек не смог бы утвердиться на Земле, не было бы и никакого прогресса какого бы то ни было рода. С другой стороны, если бы не было самоотверженности как господствующей силы, то единственными нормальными отношениями между людьми было бы состояние войны. В абсолютном смысле альтруизм так же мало превосходит эгоизм, как женщина мужчину. Непонимание этого было одним из самых роковых заблуждений христианства. Христианская эпоха придавала основное значение ценностям женской жизни именно потому, что языческая древность практически не обращала на них никакого внимания; это был

случай психологической компенсации. Но поскольку в действительности исторические протагонисты христианства были чрезвычайно мужественны, сознательный акцент на женском идеале вел к тем более подчеркнутому бессознательному и произвольному эгоизму, а сверх того, к наихудшей разновидности лицемерия. Может быть, христианские народы в целом выказали меньшую жестокость, чем многие азиатские, однако это относилось к ним и до того, как они крестились. Что же касается эгоизма в смысле эксплуатации ближнего, то тут, разумеется, любому племени человеческому далеко до того, сознательная вера которого главное значение придавала ценности самоотверженной любви. Таким образом, к сожалению, и в благотворительности можно обнаружить максимальную долю эгоизма, и это, в свою очередь, имеет место и там, где тон задают женские организации: здесь совершенно беспрепятственно царит воля к власти, поскольку все, что здесь происходит, подается под этикеткой «самоотверженной любви». Решение этой дилеммы заключается в том, что альтруизм и эгоизм представляют собой коррелятивные естественные установки. Ни одна из них сама по себе не воплощает в себе какой-нибудь духовной ценности, но обе вместе могут ее создать. А что в любом случае действительно необходимо, так это правильное отношение между действием обеих этих установок, которые естественным образом компенсируют друг друга. Но, несомненно, у мужчины и женщины на Земле различные задачи.

Это возвращает нас к теме социализма и нашему тезису, что социальная система, названная «социализмом», в наименьшей степени заслуживает это обозначение. Многие возможные нормальные состояния равновесия между индивидуальным и социальным, существующие в человеческой душе, имеют своей границей, с одной стороны, состояние абсолютного господства индивидуального, а с другой — состояние столь же абсолютного господства социального. Последний тезис означает, что центр активности действительной жизни (которая всегда индивидуальна) в первом из этих крайних случаев целиком нахо-

дится в индивидуальных импульсах, а во втором — столь же исключительным образом в социальных. Этот последний пункт весьма важен: здесь речь идет не о подчинении индивида как такового, а о социальных инстинктах, которые господствуют внутри него, так что в последнем случае жизнь предстает точно таким же проявлением свободы, как и в первом.

Таким образом, в соответствии с доводами разума слово «социализм» должно применяться только к той жизненной установке, которая как теоретически, так и практически выражает состояние, при котором господствующими являются социальные импульсы; а это, в свою очередь, обуславливает то, что социалистическая система должна по самой своей сути точно так же основываться на свободе, как и крайне индивидуалистическая; социалистическая система, основанная на социальных инстинктах и являющаяся при этом системой принуждения, представляла бы собой *contradictio in adjecto**. Но фактически все социалистические теории и всякая практика, носящая это имя, покоятся на принуждении. Поверхностность такого положения вещей объясняется тем обстоятельством, что социализм в качестве решающих сил рассматривает силы экономические, то есть внешние; на этом уровне, естественно, нет никакой свободы, а человек таким образом к ним приспособляется, что он неизбежно вынужден принимать присущий им бытийный модус; поэтому рабочие, работающие на идеально организованной фабрике, неизбежно также становятся колесами некоей машины. Но главную причину следует искать в ином направлении. Все так называемые социалистические теории были созданы представителями индивидуалистических народов с целью сделать эти народы социалистическими. Это объясняет, почему то, что официально называется «социализмом», смогло стать влиятельной силой только у двух народов, психологическая структура которых ставит величайшие трудности перед социальной жизнью, основывающейся на изначально свободных социальных

* Противоречие в определении (лат.).

инстинктах, — у немцев и русских. Немец как тип, как я показал в «Спектре Европы», не имеет никакого непосредственного контакта со своим ближним; он, согласно номенклатуре Беатрис Хинкль¹, представляет собой крайний случай типа объективного интроверта. Если Лейбниц назвал человека «монадой без окон», то это, хотя и не истинно в отношении человека вообще, но, пожалуй, правильно в отношении немца. Русский же, хотя и не является «монадой без окон», зато воплощает в своей душе чудовищное напряжение между полярными противоположностями крайней пассивности и безграничной энергии, а также между полюсами недвусмысленного зверства и сверхчеловеческой духовности. Поскольку же это напряжение, разумеется, выражается и в психологической структуре всего народа в целом, то это целое невозможно унифицировать в соответствии с идеалами равенства и демократии. Нация в таком случае всегда состоит из двух дополняющих друг типов, один из которых я уже выше сравнил с маленьким, но очень острым ножом, а другой — с большим куском масла. Поскольку же любой русский властитель очевидно должен принадлежать к первому типу — типу ножа, то «господство вообще» не может не оказаться деспотичным, неважно, кто является властителем: царь или рабочий. Единственный вид социально-политического равновесия, при котором воля народа вообще могла бы в России выступать в качестве власти, соответствует идее советской системы. Разумеется, она не останется такой, как сегодня, со всеми ее типичными фактическими обстоятельствами: террор закончится, коммунизм, возможно, перестанет быть государственной религией; но как идея советская система полностью соответствует русским в том же самом смысле, в каком британцам соответствует парламентаризм.

Но как Германия, так и Россия хотели бы быть соци-

¹ Я настоятельно советую прочесть ее блестящий обзор европейских наций с точки зрения того психологического типа, к которому они принадлежат, в книге *The Recreation of the Individual* (New York, Harcourt, Brace & Co.).

альными именно в том смысле, в каком благодаря координации и взаимодействию свободных волей таковыми являются изначально социально ориентированные народы. Это вытекает из окончательного объяснения и оправдания выдвинутого в начале этой главы парадокса: выражение «социализм» связано с наименее социальной из всех социальных систем. Социализм никоим образом не считается с реальным наличием изначально социальных импульсов; напротив, он исходит из их видимого отсутствия, а затем пытается извне насильно навязать свой идеал. Если он полагает, как это делает даже большевизм, что принудительные меры впоследствии станут излишними, то это следствие его бихевиористского заблуждения, состоящего в том, что новый экономический порядок создаст нового, свободного от проклятия индивидуализма человека. Но фактический результат будет следующим: либо гармония между индивидуальным и социальным инстинктами, там, где она есть, окажется разрушенной, либо ее возникновение будет затруднено; разворачивание же индивидуального начала всюду будет задержано. Однако не в пользу действительно живущей в каждом коллективной души, а в пользу мертвого принципа организации. По этой причине немецкие социалисты являются наименее витальными немцами; одновременно они больше всех исполнены недоброжелательности, мстительности и зависти: вытесненные импульсы всегда проявляются в форме ненависти. А когда критерии задают закон и гармония мертвой материи, то вполне естественно, что главным идеалом немецких социалистов является надежность в противоположность риску, — тогда как любовь к нему есть первый признак внутренней свободы. Подлинный идеал немецких социалистов — государство, подобное часовому механизму, в котором каждый занимает предназначенное ему положение, не требующее никакого самостоятельного мышления, и в котором никакой бездарности не грозит увольнение. Но идеалом социалистической России является, как уже было указано, «коллективный человек», понимаемый как механический аппарат. Здесь место живой общности занимает абстрактное

классовое понятие, индивидуальности быть не должно, желания и стремления уникальной души полностью исключаются. В этом — бытийное основание ненависти большевиков ко всякого рода чувству, в школах оно систематически истребляется в детях. Даже сущность фигуры вождя объясняется при помощи предпосылки несуществования индивидуальности. Покровский, официальный историк советской России, объясняя пролетарским массам значение Ленина для мирового революционного движения, писал: «Мы, марксисты, не видим в личности творца истории, ибо для нас она лишь аппарат, посредством которого действует история. Возможно, наступит время, когда мы сможем искусственно создать этот аппарат, подобно тому как сегодня мы производим наши электрические аккумуляторы. Пока же мы еще недостаточно развиты и вынуждены примитивным образом рожать и воспитывать инструменты, посредством которых действует история, эти аккумуляторы социальных процессов».

Это ведет нас к пониманию условий, определяющих единственную возможность «социалистического» состояния в истинном смысле слова: социальные инстинкты и импульсы должны господствовать по-настоящему, то есть органично; это означает: социалистическая жизнь, достойная этого имени, должна в той же мере быть выражением свободы в противоположность принуждению, как и жизнь, основывающаяся на чисто индивидуальных инстинктах. В своих истоках социализм действительно, хотя и имплицитно, представлял такую жизнь. Он действительно был законным дитем либерализма. Он вышел из либерализма как следствие того осознания, что в тесных обстоятельствах европейской жизни девиз *laissez faire, laissez passer** отнюдь не каждому, как того ожидал либерализм, предлагал возможность для бурного развития. А его первоначальный акцент на количестве объясняется главным образом тем, что он осознал, что в странах с определенной иерархической культурной традицией, чтобы в них правили законность и справедливость, «челове-

* Как будет, так и будет (фр.).

ку как таковому», независимо от любых ценностных соображений, должны быть гарантированы определенные неотчуждаемые права¹. Эту идею высказывал еще Руссо; она была основополагающей как для американской, так и для французской революции. Поэтому в старых социально одаренных странах Запада социализм развился в особое проявление либерализма. Во Франции *радикал-социалистом* можно назвать не одного лишь Аристиде Бриана — такого титула, не слишком погрешив против истины, можно удостоить даже Пуанкаре. Аналогичным образом обстоит дело и в Англии. Партия как политическая корпорация с нелиберальной программой, подобная тем, что созданы в Германии или России, никогда не смогла бы стать в Англии или Франции чем-то большим, нежели оппозирующим меньшинством, время от времени выполняющим определенную полезную работу. При всей своей социальной одаренности Англия и Франция в конечном счете страны индивидуалистические. Совершенно невозможно построить всю жизнь этих стран на базисе их общественных инстинктов. Однако есть такая населенная белыми людьми земля, где это могло бы получиться и уже получилось. Эта земля — территория Соединенных Штатов. Среди всех народов Запада американцы — единственные известные мне социалисты в истинном смысле слова.

Американский социализм отчасти является результатом действия трех причин, одну из которых мы уже исследовали, а другие подробно рассмотрим в следующих главах: американской примитивности, господства женского духа и моралистического умонастроения. Здесь же я хочу рассмотреть лишь побочные причины возникновения американского социализма, о которых мы ни прежде не говорили, ни в дальнейшем говорить не будем. В Аме-

¹ Эта мысль наиболее ясно была рассмотрена в лучшем, на мой взгляд, изложении лежащей в основании социализма идеи в книжке баронессы Леони Унгерн-Штернберг «Смысл социализма» (Otto Rechl, Verlag).

рике еще жив дух революционного XVIII столетия, сущность которого состояла в отрицании всякой иерархии ценностей. Из-за особенно благоприятных для него условий изобилующего природными богатствами и свободно от влияния противодействующих ему традиций Нового Света он смог распространиться и усилиться в нем, как ни в одной другой стране. Кроме того, душа Америки и сегодня — это прежде всего душа пионера. А это означает, что в Америке господствуют силы, необходимые для примитивной борьбы за жизнь, — обстоятельство, всегда способствующее социализму, как мы его здесь понимаем; так, любая армия есть социалистическое образование. Наконец, большинство иммигрантов были бедными крестьянами и рабочими, а в низших слоях народа господство социальных импульсов абсолютно естественно, ибо здесь внешняя жизнь предоставляет слишком мало простора для индивидуального развития и автономии личности. С другой стороны, дружба и товарищество являются весьма важными вещами в примитивной жизни; характерное для диких народов гостеприимство у современных масс находит свой эквивалент в социальном образе мыслей. У американского социализма есть множество и иных «побочных» причин. Однако его истинные корни в том, что в американской нации социальные тенденции превалируют над индивидуальными. В этом причина того, почему Америка кажется надежно застрахованной от социализма в европейском смысле слова. Для него нет никакого бытийного основания. Во время своего пребывания в Соединенных Штатах я имел возможность изучить нескольких «радикалов» (в европейском смысле этого слова): я обнаружил, что они (в той мере, в какой они были честны, а не изображали мучеников, желая подзаработать) были чрезвычайно далеки от реальности, поскольку национальная действительность, которую они могли бы представлять, просто-напросто отсутствовала; они принадлежат типу, представляющему собой нечто среднее между Терситом и придворным шутком, типу безответственного критика, который может позволить себе говорить все что угодно, поскольку он вообще не имеет

никакого влияния, и его даже побуждают к самой задиристой критике, компенсирующей чрезмерное, а потому вызывающее беспокойство чувство безопасности в душах власть предержащих. И все же почему у Соединенных Штатов есть иммунитет против социализма в европейском понимании? Все очень просто: проблема, которую стремились решить европейские социалисты, была разрешена там с самого начала. С самого начала индивидуальное не претендовало там на законную область владения социалистов. Я уже устал постоянно подчеркивать то, что является для послевоенного европейца самым впечатляющим и одновременно вызывающим наибольшее изумление фактом американской жизни, — полное (если говорить о всей нации в целом) отсутствие зависти, ревности, недоброжелательности и мстительности. Это нельзя объяснить внешними обстоятельствами. «Безграничные возможности» индивидуального прогресса возможны лишь теоретически; на практике их не существует уже хотя бы потому, что главное значение придается качеству труда, что изначально исключает подъем лишенного способностей индивида выше определенного уровня, а американская деловая жизнь лишена всякой сентиментальности. Основой американской жизни является конкуренция. Поэтому она представляет собой непрерывную смену побед и поражений; она, говоря принципиально, предлагает куда больше риска, чем безопасности. Европейский же социализм ни с чем не борется так истово, как с социальным устройством, основывающемся на конкуренции; он не признает того, что большее умение заслуживает большего вознаграждения. Поэтому если бы внешние причины играли хоть какую-то роль, то в Америке должно было бы быть еще больше социалистов, чем у нас. Кроме того, там чрезвычайно велики различия в жизненном уровне, доходах, социальном положении и влиянии; если бы там пробудились зависть и мстительность, то они не испытывали бы недостатка в пище. Наконец, социальная и административная система Америки представляет собой все что угодно, только не совершенство; по всей вероятности, в Со-

единенных Штатах больше «грабителей», расхищающих общественное достояние, чем где бы то ни было в Европе; нельзя отрицать, что такое явление, как «*graft*»*, то есть обогащение за счет государства или благодаря занимаемому положению, распространены там повсеместно. Тем не менее в целом в Америке отсутствует всякое недовольство, которое при таких условиях царило бы в любом другом месте. И это также нельзя объяснить всеобщим высоким жизненным стандартом — сознание человека направлено в первую очередь на различия, из-за чего то, что есть у всех, не воспринимается как преимущество. При подобных обстоятельствах большинство немцев, русских, даже французов, вне всякого сомнения, начало бы охоту на тех, кто благодаря своему богатству обладает привилегиями, и всеми силами постаралось бы испортить им жизнь. Таким образом, отсутствие в Америке зависти и ревности объясняется только внутренними причинами.

Прежде чем продолжить, я хотел бы попросить читателей воскресить в памяти то, что в своей книге «Спектр Европы», и в первую очередь в главе «Венгрия», я писал о независтливости истинных аристократов: таким образом читатели быстрее всего поймут уникальность господствующего в Америке образа мыслей. Истинный аристократ по самой своей природе не способен испытывать чувство зависти и тому подобные чувства, поскольку его сознание сконцентрировано на его неповторимости. То, что по своей сути уникально, нельзя сравнить ни с чем другим в мире; следовательно, отсутствует всякая причина для зависти. В контексте данной главы я могу продолжить такой ход мысли в несколько ином направлении. Истинный аристократ выше зависти, поскольку индивидуальное в его сущности настолько доминирует, что отсутствие у него чего-либо, что относится к сфере неиндивидуального, почти ничего для него не значит. Чтобы посредством четкого поставленных акцентов полностью прояснить данный пункт, представим себе следующее: предположим, суще-

* Взятничество, система подкупа (англ.).

ствуется небо, каким его рисовал в своем воображении средневековый христианский мир, и предположим, что в конце времен оно, как предвидели христиане той эпохи, оказалось переполнено: несмотря на это, ревность среди спасенных была бы исключена, независимо от того, какое место каждый из них занял бы у Бога, ибо после смерти продолжает жить лишь то уникальное, что есть в каждом отдельном человеке, а значит, отсутствуют те пункты, согласно которым можно произвести какое бы то ни было сравнение. Подобный свободный от негативных эмоций мир может осуществиться и по прямо противоположным причинам: если в нем социальная сторона будет доминировать столь же абсолютно, как в психологической структуре истинных аристократов доминирует сторона индивидуальная. Именно это имеет место в Соединенных Штатах.

Более того, то, что является определяющим для атмосферы всеобщей доброжелательности, в действительности почти не зависит от совершенства существующих институтов — оно почти исключительно зависит от указанного выше психологического обстоятельства. И раз уж такова природа человека, то добрая воля, всеобщее отсутствие зависти, мстительности, ревности и ненависти может иметь место лишь при двух условиях: либо при господстве осознания собственной уникальности, высшего проявления индивидуального сознания, либо при столь же абсолютном доминировании осознания социальной действительности. В последнем случае происходит «процесс отождествления индивида с группой», который со своей стороны способствует доминированию чувства солидарности с ближним, противоположного чувствам, соответствующим естественной необходимости борьбы за существование. Однако это еще не все. В отличие от всех прежних социалистических построений, американское все же оставляет простор для индивидуальной инициативы с условием, что она будет функционировать в рамках сообщества и для его пользы. Это опять-таки доказывает, что случай Америки представляет собой нечто совершенно новое, в истории не виданное.

Для полного понимания этого необходимо рассмотреть несколько частных. Общеупотребительные обороты речи всегда обладают глубоким значением — я говорю «глубоким», ибо они лучше чем что-либо еще раскрывают глубины души. В Америке же немногие слова можно услышать чаще, чем «гражданин» (в смысле римского *civis*), «сообщество» и «группа». Когда средний американец говорит о каком-нибудь выдающемся деятеле, он произвольно называет его не великим человеком, а великим гражданином. А если он учитель, хорошо знакомый с культурной традицией, то в какой-либо момент беседы он почти безапелляционно заявляет, что прогресс наконец-то привел к пониманию той истины, что человек приходит к своей исполненности и завершенности, совершенствуясь не как индивид, а как часть группы. В этой связи самыми значительными известными мне теоретическими книгами (не важно, какова их внутренняя ценность и что они значат для самих американцев) являются «Creative Experience»* и «The New State»** мисс Фоллетт из Бостона. Если резюмировать, то она видит цель человеческого существования не в полном выражении индивидуальной уникальности, а в участии в жизни как можно большего количества различных групп; для нее индивидуальность означает не более чем математическую точку — точку, в которой пересекаются многочисленные различные социальные отношения. Если же мы рассмотрим эти факты в свете абстрактной теории, то нам тотчас бросится в глаза сходство американской точки зрения с точкой зрения римской и греческой древности; для греков и римлян человек также был в первую очередь гражданином. Однако нам, кроме того, одновременно вновь станет очевидным существенное сходство Америки и России: для большевиков также человек есть не что иное, как лишь член группы; только в таком качестве он может достигнуть своего завершения.

В то же время именно в этом пункте становится со-

* Творческий опыт (англ.).

** Новое государство (англ.).

вершенно ясно, что только американская система, а отнюдь не большевистская заслуживает названия социалистической. В России индивид как таковой должен умереть во благо сообщества. Ничего подобного мы не видим в Америке. То, чего русский социализм хочет добиться террором и принуждением в Америке, происходит без всякого насилия и само собой. Поэтому там бессмысленно обуздывать частную инициативу и стремление к наживе: поскольку в психологической структуре американца в действительности доминируют социальные тенденции, его стремление к частной собственности принципиально не противоречит всеобщим интересам. Этим и объясняется то кажущееся бескорыстие американских богачей, которое едва ли в силах понять европеец. Этим объясняется и то, почему в Америке частная инициатива во многих случаях уже осуществила самые далекие идеалы европейского социализма: например, бизнес-магнаты основали и до сих пор поддерживают рабочий банк, целью деятельности которого является накопление капитала для подлинно социальных институтов. Американские миллионеры гордятся учреждением общественных фондов; как правило, они завещают им львиную долю своих состояний. Частные пожертвования сделали большое количество образовательных учреждений столь богатыми, что они полностью перестали зависеть от платы за обучение. Но, с другой стороны, американские меценаты всегда одаривали лишь институты или коллективные организации, они редко оказывают поддержку отдельным людям. Объяснение этого следует искать (в целом, не вдаваясь в частности) не там, где его ищут многие европейцы, а именно в желании миллионеров перестраховаться: оно просто-напросто заключается в изначальном доминировании социальных инстинктов. То, что это так, лучше всего объясняет устав общества «Rotary International». Согласно статуту этого объединения, его целью является поощрение и поддержка: 1) идеала служения как основы всякого почтенного предпринимательства; 2) высоких этических стандартов в бизнесе и профессиональной деятельности; 3) претворения каждым членом объединения

идеала служения в его личной, профессиональной и общественной жизни; 4) развития и использования личных знакомств во благо идеала служения; 5) признания почтенности всякой полезной деятельности и стремления каждого члена объединения использовать любую возможность послужить обществу; 6) содействия взаимопониманию, всеобщей доброжелательности и международному миру, достигаемым при помощи всемирного содружества бизнесменов и профессионалов, объединенных идеалом служения.

Европейцу покажется, что многие из этих целей продиктованы скорее духом ловких бизнесменов, чем желанием общего блага. И все же вера в идеал служения есть вера искренняя, ибо именно социальное, а не индивидуальное начало является высшей личной предпосылкой каждого отдельного человека.

Правильное понимание этого пункта настолько важно, что я хотел бы еще более подробно остановиться на этой стороне вопроса, хотя и понимаю, что пишу для американцев, которые, естественно, знают обо всем этом гораздо больше меня. Прежде всего мы подробнее рассмотрим, в какой удивительной степени американская система ведет к осуществлению целей именно европейского социализма и даже выявляет характерные для него всеобщие феномены. Европейский социализм учит, что лишь трудящийся имеет право на жизнь; общественная польза является основанием индивидуального права. В этом же состоит и вера всякого типичного американца. Обычное выражение этого принципа: каждый должен до последнего зарабатывать деньги. В Америке деньги являются символом всякой выполняемой задачи. Далее, адекватное вознаграждение за любой труд составляет основное требование социализма. Лежащая в основании американской жизни идея в действительности сводится к тому, что жизнь, не приносящая пользы обществу, есть нечто вызывающее. Эту идею дополняет мысль, что товарное производство в первую очередь есть не что иное, как Social Service. Чтобы это правильно понять, основное

внимание следует обратить на идеал служения (Service-Ideal) как таковой, а не на средства, при помощи которых сегодня осуществляется служение; эти средства могут постоянно меняться, что, однако, не приводит к существенным изменениям в положении вещей. Впрочем, разве и ортодоксальный социализм не столь же материалистичен? Однако сходство социалистической точки зрения, с одной стороны, и американской, с другой, идет еще дальше. Одна из важнейших целей социализма заключается в том, чтобы сделать невозможной эксплуатацию человека капиталом. С точки зрения абстрактных и теоретических возможностей нигде на Земле капитал не может столь же беспрепятственно заниматься эксплуатацией, как в Соединенных Штатах; и за границей американский капитал в этом отношении оставляет желать много лучшего. Но внутри страны теоретической возможности оказывают мощнейшее противодействие силы органического социализма. Естественно, каждый стремится заработать как можно больше, а очень многие даже стремятся к тому, чтобы как можно больше надуть ближнего. Тем не менее здесь следует подумать о том, что внутреннюю силу живой тенденции, которая не имеет ничего общего с механическим процессом, всегда лучше оценивать по множеству исключений, которые подтверждают правило. В аристократическом обществе чувство собственной уникальности господствовало, если вспомнить Руссо, не в смысле *volonté de tous*^{*}, но, пожалуй, в смысле *volonté générale*^{**}, которое единственно и важно. Ибо тогда душа определенной группы руководила всеми индивидуальными действиями изнутри, посредством некоего кодекса чести, моральных воззрений и идеалов веры. Поэтому все, что, опираясь на разоблачения или личные наблюдения Эптона Синклера, думают европейцы, по существу, ложно, даже тогда, когда соответствует фактам, ибо для них ничего не значит то, во что верит (или заявляет, что верит) Синклер. Американские капиталисты чисто грабительского типа

^{*} Воля всех (фр.).

^{**} Общая воля (фр.).

и социалисты русского образца для Америки суть то же самое и ничуть не большее чем преступники для таких законопослушных стран, как Германия и Англия. В то же время можно сказать, что в Америке благодаря ее пограничным традициям индивидуальное ограбление прямо-таки восторженно приветствуется как игра и приключение, составляющие неотъемлемую принадлежность жизни, — игра, которая с самого начала рассматривается как всеобщая, наподобие казаков-разбойников у детей.

С развитием же прогресса то, что издавна было истинным в качестве «смысла», все больше выражается в фактах. Хозяин все еще может уволить негодного работника. Но, с другой стороны, сегодня считается аморальным не платить дельному работнику максимально возможное жалованье и не способствовать его максимально быстрому продвижению по служебной лестнице как в плане денежного содержания, так и в плане партнерского участия в делах компании; и считается уж совсем неприличным не учитывать, разумеется, в разумных пределах, интересов потребителя. Конечно, поступать так в высшей степени разумно; такой образ действий оказывается гораздо более доходным, чем любой другой. «Провидцы», что создали «апельсиновое сознание» или «радиосознание», не говоря уже об «автомобильном сознании», были теми редкими людьми, для которых идеал социального служения стоял на первом месте. Но если бы образ действий американского бизнеса был исключительно или в первую очередь делом разума, то европейские бизнесмены, все еще намного превосходящие американских по общему уровню, уже давно использовали бы те же самые средства. Они бы предотвратили натиск социалистической волны, как это произошло в Америке. Жизнь же от начала и до конца направляется первичными импульсами; человек добивается успеха лишь в том, где он действует произвольно; лишь только тот успешный бизнесмен, кто произвольно воспринимает жизнь в координатах предпринимательской деятельности, подобно тому как является философом по призванию лишь тот, кто смотрит на жизнь сквозь призму своей духовной проблемати-

ки. Сугубо сознательная концентрация никогда не приведет к по-настоящему значительным результатам. Американские капиталисты в глубине души остаются социалистами, даже если они действуют как разбойники. Забавная история, которую мне рассказало одно важное лицо с Юга, надеюсь поможет нам понять: «На земле не существует, — сказал он, — сотрудничества, приносящего большее удовлетворение его участникам, чем сотрудничество между контрабандистами и полицией моего штата. Если кто-нибудь из контрабандистов попадется, он тотчас находит теплое местечко в полиции; если же кто-то из полицейских на чем-нибудь проколется, он сразу переходит к контрабандистам, и, таким образом, его жена и детки не знают голода».

Однако почему ни один европеец не пришел к мысли, чтобы не частное лицо платило за радио в своем доме, а те, кто использует его в рекламных целях? По какой причине еще ни одна европейская фирма всерьез не позаботилась о том, чтобы сделать своих клиентов своими акционерами? И почему всевозможные группы, которые в Европе никогда не договорятся по поводу своих непреодолимых различий, в Америке совершенно естественно работают рука об руку, так что даже открытые противники сотрудничают по определенным направлениям? Отчего вообще принцип кооперации в Америке воплощается куда успешнее, чем в Европе? Почему даже для величайших американских бизнесменов вполне естественно — исключения встречаются, но их немного — вести свой бизнес не авторитарно, а во взаимодействии с содиректорами? Как случилось, что в американском рекламном бизнесе гораздо меньше неискренности, чем в европейском? Почему он действительно построен на принципе Social Service? Ведь не потому же, что это в первую очередь выгодно, — в таком случае, уже давно бы скопировали все. А все потому, что в американской душе действительно господствуют социальные тенденции. В этом отношении нет ничего поучительнее, чем книга Клода К. Хопкинса «My Life in Advertising»* (Harpers & Bros). Эта

* Моя жизнь в рекламе (англ.).

книга, — в которой автор, с одной стороны, так убежденно пишет о значении своих личных достижений, как Цезарь в «De bello gallico»*, а с другой — так уверен в их благотворном воздействии, как какой-нибудь генерал Бут, — кажется абсолютно искренней.

Однако двинемся дальше. Почему в Америке бедные не завидуют богатым? Отчасти это естественное следствие иррациональной веры человека с улицы в то, что он также сможет разбогатеть, если только всерьез этого захочет. Но главная причина состоит в том, что он замечает, что богатый, в сущности, чувствует себя точно так же, как и он, а это, в свою очередь, объясняется доминированием социальных тенденций. Люди редко обижаются на отдельные факты, если согласны с господствующими принципами. Почему та идея, что работники из своего труда должны извлекать не как можно меньшие, а как можно большие материальные преимущества и при первой возможности становиться акционерами, американцу кажется чрезвычайно разумной, а европейцу утопичной? Также не по разумным основаниям, а в силу специфики изначальной психологической структуры. Если бы дело обстояло иначе, то не Америка, а Германия была бы страной самого крепкого социального мира, так как нигде столько людей не думает и не пишет о том, что «должно» быть. Но, к сожалению, расчеты чистого разума ничего не значат. В демократической Германии гражданином командуют куда больше, чем когда-либо в эпоху империи, и вследствие этого еще менее ощутима та всеобщая атмосфера взаимной благожелательности, которая так характерна для Америки, даже там, где пышным цветом расцвели «graft» и «putting over»**. Генри Форд, самый известный из поборников высокой зарплаты, на самом деле является наименее социально ориентированным среди всех королей бизнеса. Разумеется, он платит высокую зарплату, разумеется, он стремится к тому, чтобы повысить жизненный стандарт своих служащих, разумеется,

* «Записки о галльской войне» (лат.).

** Обман, надувательство (англ.).

он строит свой бизнес на той идее, что следует идти навстречу потребностям публики в максимально низких ценах. Однако именно он больше, чем какой-либо другой американец, работающий в соответствии с теми же самыми принципами (а их тысячи), способствовал тому, чтобы у меня сложилось вполне определенное впечатление, что здесь мы имеем дело с четко осознаваемыми интересами. Истинный характер живой действительности всегда сказывается в ее живых проявлениях. Несмотря на все теории, убеждение, что человек, подобно рабочим на заводах Форда, работающий в неделю относительно небольшое количество часов и при этом много зарабатывающий, в часы своего досуга естественным образом разовьется в культурную личность, вне всякого сомнения, не соответствует истине. Тот, кто, как это требуется в его производственной деятельности, в течение восьми часов в день играет роль зубца в колесе некоего механизма, неизбежно превратится в подобное колесико. Идеал Форда, по сути дела, состоит в том, что человек должен превратиться в термита. А это, в свою очередь, должно доказать тому, кто имеет хотя бы минимальное представление о человеческой душе, что Форд вовсе не хочет видеть людей свободными. В глубине души он автократ, чей идеал — управление (естественно, ради их же блага) миллионами полностью механизированных людей-муравьев.

Но существуют и еще большие сходства между изначально американской установкой и социалистическим идеалом. Социализм требует одинакового жизненного уклада для всех. В Соединенных Штатах он имеет место *de facto*. Как бы ни были велики различия в доходах и богатстве, все американцы живут примерно одинаково. Сохранить свой жизненный стиль, качественно отличающийся от стиля большинства, столь непросто, что богатые американцы, которым еще присуща индивидуальная идиосинкразия, чтобы иметь возможность проявить свою индивидуальность во всей полноте, по несколько месяцев в году проводят в Европе. В этой связи фактическое отличие Америки от большевистской России лишь в уровне благосостояния; стандарт различен, но стандартизация

одинаковая. То же самое относится и к решению в Америке и России жилищного вопроса: если самые богатые люди в Нью-Йорке вынуждены жить в многоэтажных домах, тогда как еще пятнадцать лет назад они обитали во дворцах, то это означает — если учитывать имеющиеся в распоряжении обеих стран средства — еще больший переворот, чем русский закон о том, что ни одна семья не может жить больше чем в одной комнате. Это удивительное сходство между большевистской Россией и Америкой — одно из самых поучительных явлений, которые мне когда-либо приходилось наблюдать. Различие между ними в конечном счете сводится лишь к различию в языке: дух же одинаков, какими бы ни были причины, вызвавшие его к жизни. Обе эти страны в своей основе — социалистические. Но в Америке социализм проявляется в форме всеобщего благосостояния, а в России — в форме всеобщей бедности. Америка — социалистическая страна благодаря свободному сотрудничеству всех, Россия — благодаря классовому господству. Можно ли еще сомневаться, что мы вступили в социалистическую эпоху? Нет, ведь социалистические тенденции благодаря сопутствующим явлениям обновления, господства животного идеала и всеобщего подъема масс усиливаются во всем мире.

Теперь же рассмотрим будущие перспективы американского социализма, как позитивные, так и негативные.

Объединим наши уже обоснованные и объясненные тезисы, что американская система представляет собой нечто уникальное и прежде невиданное и что культура, в которой она может найти свое завершение, будет являть собой полярную противоположность культуре, основывающейся на идеале истинных аристократов. Это культура, в которой все в равной степени ощущали бы себя свободными, а господствующим духом по причине, противоположной той, в силу которой душа истинного аристократа не способна к зависти, был бы дух великодушия, — культура, в которой положение всех приблизилось бы к положению привилегированных слоев населения Старого Света. Такая культура представляла бы собой нечто абсолют-

но новое. Социальная жизнь муравьев и пчел совершенна и, по всей вероятности, счастлива — но только потому, что и муравьи, и пчелы лишены индивидуальности. Столь же совершенной и счастливой была социальная жизнь древних перуанцев и, возможно, египтян. Но все «совершенные» социальные системы прошлого основывались на той предпосылке, что большинство населения не предъявляло к жизни больших требований, чем те, что характерны для бедных крестьян или арендаторов. Поэтому в этих системах не могло быть никакого великодушия, не мог развиваться какой-либо более широкий и внутренне свободный общечеловеческий тип. А именно такой тип возрастает на североамериканском континенте. В Европе же ничего сравнимого с ним нет. Но он, пожалуй, близок господствующему большевистскому типу с его так называемой пролетарской «гордостью»; он также относится к типу свободного человека. Но, с другой стороны, предметом гордости американца также является непризнание определенных культурных и духовных ценностей; он также презирает понимаемые как формализм приличия; он также полагает, что один американец, в принципе, почти таков же, как и всякий другой, — что равнозначно русскому представлению о равенстве всех товарищей; ибо в Америке нация уже соответствует тому, что в России еще остается классом. И поэтому американец внутренне точно так же нетерпим по отношению ко всем неамериканцам, как большевик по отношению к буржуа. Однако здесь все же есть одно основополагающее различие. Россия по своей сущности страна, где господствует классовое сознание; кроме того, в ней низший человеческий тип был решительно объявлен более ценным, если не единственно ценным типом. Русской натуре присуще пристрастие к низшему, высшее проявление которого соответствует раннехристианскому образу мыслей; но чаще это пристрастие ведет к воспеванию всего уродливого, неполноценного и даже подлого, чем во многом объясняются беспрецедентные зверства русской революции. Разумеется, истинный американец не аристократ, но он и не плебей. Он представляет собой именно новый историчес-

кий тип. Если мы хотим поискать что-нибудь, что хоть как-то можно с ним сравнить, мы должны еще раз вернуться к античности. Как древний грек, так и древний римлянин телом и душой принадлежал полису; о свободе в индивидуалистическом понимании не могло быть и речи: аристократии этих стран и эпох представляли собой социалистические сообщества, в которых всю черную работу выполняли рабы. А в современной Америке разве дело обстоит не так, что большая часть того труда, которым в античности занимались рабы, поручена машинам? Поэтому американский социализм можно было бы назвать аристократическим. И в этом узком смысле он год от года становится все более аристократическим. Убеждение, что в Америке не должно быть непрестижного физического труда, получило всеобщее распространение. Его сила растет и благодаря тому, что его разделяют даже негры — даже они, по сути дела, преисполнены самоуважения. Естественно, машины никогда не смогут выполнять то, чем некогда занимались рабы. Поэтому, поскольку институт прислуги неумолимо вымирает, все больше бытовой физической работы придется выполнять каждому — еще одна тенденция, свидетельствующая о сходстве Америки и России. Но в Америке преодолению внутреннего сопротивления этой тенденции способствует влияние еще одной сугубо американской идеи, которой угрожает исчезновение — идеи, что всякий труд в равной мере почетен. А определенный прилив сил эта идея испытывает благодаря другой идее, которая еще жива и даже, с тех пор как каждый стал владельцем автомобиля, прибавляет в своей жизненной мощи, а именно — идее, что в физическом труде нет ничего зазорного. Современные молодые американцы даже испытывают гордость от того, что они в бытовом отношении ни от кого не зависят.

Здесь речь идет о действительно уникальном достижении. Если оно будет развито в верном направлении и надлежащим образом углублено, то американская культура, как и любая другая великая культура, когда-нибудь станет образцом для подражания. Все, что может быть достигнуто на основе социалистических принципов, на-

ходится в сфере возможностей Америки, а эта сфера весьма обширна: она охватывает буквально все, что относится к коллективному бытию человека и не относится к его уникальности. Историческое значение Америки в нынешний переломный момент начала «геологической эпохи человека» едва ли можно переоценить. Какими бы негативными последствиями для культуры не обернулась американизация, проблемы, стоящие сегодня на первом месте, именно таковы, что к их решению в наибольшей степени способна нация типа американской. Сегодня каждый народ, который, не заботясь о традиции, решительно основывает свое бытие на технике, занимает предпочтительное положение в том, что касается его силы и значения. То же самое относится и ко всем молодым и примитивным народам. Наконец, гегемонии Америки будет способствовать то обстоятельство, что одной из первейших задач этой эпохи является эмансипация масс. Поэтому равенство просто обязано стать ее ближайшей целью. Новые разделения, новые горы и долины появятся позже, сначала должен быть поднят общий уровень, а это невозможно без временной нивелировки всего и вся. В этом великий исторический шанс Америке. Если не произойдет ничего экстраординарного, то в обозримом будущем Соединенные Штаты станут такой социалистической страной, в которой отдельный человек будет в максимальной степени свободен и одновременно достигнет высшей степени жизненного комфорта.

В следующей главе о проблеме, обсуждавшейся в предыдущем разделе, будет сказано несколько больше. Здесь же я должен лишь довести до конца ту картину, которая была в нем намечена. А это означает, что после описания позитивных возможностей я должен заняться и негативными.

Разумеется, и речи не может быть о том, чтобы существовала какая-нибудь цивилизация, идеальная во всех отношениях: всякое совершенство односторонне. А в случае Соединенных Штатов такая односторонность проявляется в тем большей степени, что они зиждутся на соци-

альных импульсах. В принципе, отдельный человек может вести жизнь по нраву; он даже может в любой произвольный момент взять и, как говорится, начать новую жизнь; он — носитель принципа инициативы и вариативности. Группа же, наоборот, по своей сути консервативна, статична и замкнута. Я не знаю примера более извращенного мышления, чем план охватывающего все человечество социалистического интернационала. Конечно, человечество в целом, несмотря на присущие ему контрасты, могло бы стать единой корпорацией, наподобие средневекового христианского мира; но это могло бы произойти только в том случае, если бы каждый отдельный человек достиг полной индивидуализации; однако то уникальное, что есть в человеке, способно ко всесторонним, а не эксклюзивным отношениям; поэтому во все времена лишь аристократ мог быть истинным космополитом, «человеком мира» во всеобъемлющем смысле; лишь он, открываясь миру, не терял при этом самого себя. Если же, наоборот, доминирует группа как таковая, что предполагает господство социальных инстинктов, то неизбежным результатом будет замкнутая в себе система, ибо таков неизменный характер группы. Каждая семья по своей сути замкнута, как и любая армия, нация, политическая партия, производственная или потребительская кооперация. Семья, хотя внутри ее границ царит максимальный альтруизм, в отношении ко всему внешнему представляет собой самое эгоистичное образование: когда речь заходит о детях, самая самоотверженная мать становится такой же божественно эгоистичной, как самая дикая тигрица. Этим объясняется то, что, хотя сегодня нет более свободной жизни, чем жизнь американцев (или приглашенных ими гостей) на американской земле, американская внешняя политика более чем какая-либо другая склонна к тому, чтобы оставлять без внимания интересы других. Это уже сегодня бросающееся в глаза обстоятельство пока еще завуалировано дожившими до наших дней идеалами XVIII столетия. Однако если после Версаля Соединенные Штаты отступили с тех идеальных позиций, которые они заняли во время войны, то в будущем, как только они по-

чувствуют, что отстаивание этих позиций противоречит их интересам, они сделают это с еще большей уверенностью. Замкнутая система просто не может быть бескорыстной. Все более энергично материализующейся доктрине Монро существует лишь одна альтернатива — борьба за мировое господство. Пчелиный улей теоретически может расширяться до пчелиного улья размером с весь мир, но он никогда не сможет открыться для кого-то другого, кроме пчел. По тем же органическим причинам исключено, что какое-либо исключительное целое станет в то же время и всемирным; судьба всех стремившихся быть всемирными мировых империй и церковей окончательно это доказала. Они никогда не могли в течение долгого времени оставаться всемирными, прежде всего потому, что в значительной степени основывались на насилии более могущественной власти; ибо лишь внутренние силы могут надежно удерживать вместе различные группы, а эти силы либо присутствуют в организме империи, либо нет. Это обстоятельство может многое объяснить в истории человечества. В своей начальной стадии все небольшие племенные союзы представляли собой нормальные единства, которые полностью абсорбировали индивидов по причине имеющего место внутри каждого индивида органического господства социального над индивидуальным и по причине отсутствия каких-либо универсальных индивидуальных основ. Пропорционально развитию индивидуальности и интеллекта группа, становясь больше, одновременно становилась и менее враждебной индивидуальной инициативе, но она теряла в органической сплоченности. По существу, каждая нация — это социальная структура, в рассматриваемом отношении сходная с племенным союзом; ее жизненная форма также, по сути дела, непередаваема и иррациональна. Это объясняет, почему господство интернационального идеала в России сделало ее более националистической и более замкнутой, чем когда-либо прежде. То же самое относится и к Соединенным Штатам. В современном мире нет более неспособного к адаптации человека, чем американец, — точно так же как какой-нибудь дикарь, все неамериканское он оце-

нивает просто как «неправильное». По той же самой причине он не способен и к колонизации; он мог бы осуществлять ее лишь в той же форме, в какой это делали греки, колонии которых были новыми образованиями в том же смысле, в каком таковыми является пчелиный рой, покидающий свой родной улей ради основания нового.

Из этих наблюдений следует (мы это уже обозначили, но не обосновали более подробно), что о какой-либо «американизации» мира не может быть и речи. Дело обстоит прямо противоположным образом: поскольку американец — самый склонный к изоляции представитель вновь возникающего мира, то и Соединенные Штаты не могут не развиваться в направлении все большей и большей изоляции. То, что характеризовало любую культуру — каждая была исключительна, неповторима как в отношении времени, так и в отношении места, уникальна, — в той же мере относится и к будущей Америке. Никакой народ не сможет ей подражать, если не считать всех экономических обстоятельств, которые приводят к одинаковым результатам. Здесь мы, пожалуй, достигли важнейшего как в историческом, так и в политическом отношении пункта: поскольку Америка представляет собой единственное основанное на благосостоянии социалистическое общество и поскольку она почти так же замкнута, как древнегреческий город-государство (в этом заключается подлинное основание полностью иррациональной, но тем более жизненной идеи ограничения иммиграции), она неизбежно должна находиться в перманентной оппозиции всем другим государствам. И это только зарождающееся отношение уже очень отчетливо проявляется в чувствах различных народов по обеим сторонам Атлантики и Тихого океана, и даже тех, что обитают к югу от Панамского перешейка.

Еще одно следствие американского социализма. Существует лишь индивидуальная инициатива; только индивид является носителем принципа вариативности; лишь он воплощает принцип ускорения развития. При таких обстоятельствах социалистическая Америка не сможет в течение долгого времени оставаться тем, чем она являет-

ся сегодня, — прогрессирующей страной. Если никакой новый причинный ряд не вмешается в ее современное развитие, она неизбежно станет столь консервативной, столь статичной и традиционалистской, какой прежде была разве что семья. Это развитие в его нынешнем направлении неизбежно будет стимулироваться столь же неизбежным ростом женского влияния, ибо женщина консервативна и склонна к рутине. Таким образом, современную подвижность и динамику американской жизни с высокой долей вероятности можно расценить как подвижность спор, которая представляет собой не что иное, как прелюдию к неподвижному существованию мха. Уже сегодня укоренившиеся американцы в душе неповоротливы, консервативны и привержены традиции.

Таковы границы, обуславливающие особую структуру Америки. Другие, возможно, еще важнее. В высшей степени маловероятно, что Америка когда-нибудь достигнет чего-либо значимого в культурном отношении в тех областях, для которых решающее значение имеет уникальность сознания. Социальное начало всегда представляет собой нечто индивидуально недифференцированное. Если все американцы, несмотря на различия в происхождении, с удивительной скоростью сливаются в один-единственный тип (или их крайне незначительное количество), то это зависит от того, что рост социальных тенденций неумолимо опережает рост индивидуальных, которые только и могут способствовать дифференциации. Всюду, где доминируют социальные тенденции, различия между группами носят подчеркнуто ярко выраженный характер; но различия между индивидами внутри каждой группы едва заметны. Поэтому американский тип тем больше деиндивидуализируется, чем ближе он к концу пути, когда-то ведущего к успеху. В конечном счете он может стать неиндивидуальным прямо-таки в патологическом смысле. Естественно, что вследствие господства в Соединенных Штатах конкуренции там имеют место и случаи, аналогичные тем, что были описаны Альфредом Адлером. Как известно, Адлер открыл, что многие неврозы объясняются гипертрофированной волей к власти, которая всегда возра-

стает за счет изначальных социальных импульсов. Но, разумеется, в Америке намного больше распространены другие случаи, для которых пока не существует медицинского обозначения, но которые, пожалуй, заслуживают наименования «антиадлеровских» случаев: они характеризуются гипертрофией социальных инстинктов за счет индивидуальных. В них воля к власти — сама по себе вещь очень хорошая, если только она развивается в правильном направлении, — кажется вытесненной в пользу воли к служению. Кроме того, поскольку американский социализм представляет собой образ мыслей наследников изначальности в высшей степени индивидуалистической расы, вполне естественно, что он должен демонстрировать многочисленные патологические симптомы, ибо расовые особенности исчезают не так быстро. Пожалуй, этим можно объяснить значительную часть суеты и нервозности американской жизни. Во всяком случае, этим лучше всего объясняется то чувство неполноценности, которое выказывает большинство типичных американцев при контакте с представителями более индивидуализированных типов. Однако оставим патологию в стороне: в любом случае факт заключается в том, что даже самое естественное господство социальных инстинктов, если в каких-то отношениях и обуславливает чувство абсолютного превосходства, в других имеет своим следствием чувство столь же абсолютной неполноценности. Если для общественного мнения значение имеет лишь отношение «Я-Ты», а не уникальность «Я», то многие ценности могут стать неосуществимыми.

Социализм действительно слишком легко может сделать человека слепым в отношении ценностей. Особенно поучительный пример этого дают сочинения судьи Линдсея. Это очень хороший человек, у него неоспоримые заслуги, и он действительно один из главных борцов за свободу в Америке, которой грозит потеря ее изначальной свободы. Но и он не способен признать, что существуют безусловные ценности. Он отвергает идеалы, которые считает устаревшими. Однако на их место он не ставит никаких новых, столь же высоких идеалов — он совер-

шенно не понимает того, что истинная задача состоит в том, чтобы дать вечным истинам соответствующую новой психологической ситуации формулировку. В принципе, он говорит следующее: если мне что-то приятно, то почему я не должен этого делать, раз это делает меня счастливым и здоровым. Здесь мы обнаруживаем исчерпывающее объяснение привычки американцев все и вся связывать в своем мышлении с долларом. Деньги действительно являются единственным общим знаменателем для понимаемого как животное человека, которого можно представить себе в нашу эпоху. В самом деле, так понятый культ доллара есть выражение не индивидуальной жадности, а господствующего инстинкта социального служения (Social Service Instinkts). И то же самое, *mutatis mutandis*, относится к современному американскому идеалу воспитания. Колледжи и университеты должны «выпускать» образованных людей, как заводы автомобили. А как может у воспитания быть иной идеал, если группа, а не индивид является последней инстанцией?

Идея, что отношение «Я-Ты» имеет большее значение, чем индивид, есть в действительности крайне опасный идеал. Он неизбежно приводит к верховенству вещей, а не живого существа; неизбежно приводит к жизни, в которой правит рутина. Здесь мы хотим напомнить основную мысль предыдущей главы, в которой рассматривалась опасность того, что Америка может превратиться в гигантский муравейник. Этой опасности не существовало бы, как бы ни развивалась техника и сколь долго ни господствовал бы животный идеал, если бы американцы не были по своей сущности социалистами. К счастью, у них сохранились многие черты, характерные для эпохи пионеров: жажда приключений, азарт конкуренции и *last not least* здоровое недоверие ко всякой голой учености. Типичный коренной американец испытывает врожденное отвращение к специалистам. На Дальнем Западе иногда еще можно услышать поговорку: «Сначала идет лжец, потом отъявленный лжец, а уж потом специалист». Лучшее в духе американского предпринимательства основывается на оправдавшей себя в эпоху пионе-

ров вере в то, что надежнее всего полагаться на творческие силы человека и его индивидуальную инициативу, что, в свою очередь, опиралось на веру в то, что при необходимости каждый может добиться всего, чего пожелает. Это причина того, почему в Америке все присущие социализму недостатки, а именно — угрожающая жизни потеря инициативы, пока что куда менее заметны, чем, скажем, в Германии. Однако существует опасность, что развитие не остановится на своей нынешней стадии, ибо всякое развитие имеет свою собственную логику и свою собственную траекторию. И хотя американцы не рутинеры в немецком смысле, один лишь тот факт, что они придают такое значение тому, что называется словами *enterprise* и *promotion*, свидетельствует о неотвратимой и все возрастающей инсектизации их социальной жизни. В своем лучшем, написанном незадолго до смерти сочинении «Положение человека в космосе» — письменном изложении прочитанного на седьмой ежегодной конференции Школы мудрости в Дармштадте — Макс Шелер указывал на то, человек есть единственное открытое миру животное; всем открыт лишь небольшой сегмент универсума. Но если свести его к его американской разновидности, то он утратит эту свою открытость миру. Американскую жизнь можно уподобить если не однократному повторению, то, пожалуй, чему-то такому, как кинокадр: она постоянно меняется, но не по внутренним, жизненным, причинам, а по внешним механическим.

Однако спешу заявить, что описываемая здесь судьба Америки не является чем-то неизбежным. Первым шагом к мудрости является признание, что все позитивные возможности имеют свои границы и органически с ними связаны. Совершенная в социальном и экономическом плане цивилизация возможна лишь тогда, когда индивидуальная сторона человека остается недоразвитой. И какими бы ни были его недостатки, направление развития Америки может, повторюсь, привести к такому результату, что Соединенные Штаты когда-нибудь явят один из величайших примеров социального и экономического порядка.

ПРИВАТИЗМ

Томас Пейн сказал: «Почти все, что относится к национальному бытию, поглощалось и приводилось в беспорядок тем, что стоит за таинственным общим понятием «правительство». Хотя оно отказывается брать на себя ответственность за свои ошибки и за те беды, что оно причиняет, оно, однако, торопится предъявить свои претензии на все, что производит впечатление счастья или успеха. Оно бесчестит человеческое усердие, педантично объявляя себя причиной достижений, и присваивает себе заслуги, принадлежащие человеку как социальному существу». Это краткое высказывание в самой сжатой форме определяет главную причину одной из самых оригинальных особенностей Соединенных Штатов — примат и господство точки зрения частной жизни. В Соединенных Штатах на первом месте стоит не государство, не закон, не еще что-либо связанное с античным понятием «форума», а частное лицо с его врожденными правами.

Такая ситуация противоположна той, что характерна для Европы. Поскольку человек обделен духом изобретателя, ему редко приходит на ум что-нибудь новое, разве только он обрекается на него законом «ассоциации посредством контраста». Всякий презируемый, преследуемый или угнетаемый народ быстро приходит к убеждению, что он избранный народ или должен исполнить некую мессианскую миссию, последнюю иллюстрацию этого естественного закона представляют собой поляки. Каждая новая культура обращает особое внимание на те ценности, которым ее предшественница придавала минимальное значение, полностью разрушая тем самым всю их прежнюю шкалу. Так, раннее христианство ни во что не ставило мудрость и светскую власть, вознося исключительно одну лишь любовь, которая в свою очередь не слишком ценилась античностью. Так, иерархия средневековья

представляла собой полную противоположность равенства, господствовавшего среди племен эпохи переселения народов. В свою очередь демократия была самой первой идеей, которая приходила в голову всякому, не слишком развитому в интеллектуальном отношении человеку, если у него были основания питать антипатию к аристократическому порядку. Трудно сказать, что и Руссо обязан своим творчеством лишь оригинальным идеям, то есть тем, которые возникли независимо от внешних обстоятельств его свободной натуры; почти все его учение было следствием рессентимента и личной антипатии. Но именно по этой причине Руссо имел и до сих пор имеет такое значение; лишь то, что убедительно для многих, может дорасти до определяющей исторической силы — и оно всегда есть то, что автоматически попадает в поле зрения сознания благодаря закону ассоциации посредством контраста. В Европе же, как и во всякой старой стране, новое никогда не может полностью вытеснить старое; рано или поздно всякая эволюция, какой бы радикальной она ни была, приходит к компромиссу между старым и новым; и чем в большей степени он с самого начала был ее целью, тем реальнее и необратимее оказывались достигаемые в результате изменения: ведь в таком случае исчезала всякая возможность того, что старое когда-либо можно будет восстановить в его первоначальном состоянии (кроме того, это объясняет, почему по своей конституции — это слово следует понимать как в психологическом, так и в политическом смысле — англичане изменились намного сильнее, чем французы с их порожденным разумом радикализмом). В Соединенных же Штатах, наоборот, благодаря уникальным историческим обстоятельствам смог образоваться такой резкий разрыв между старым и новым, какого, насколько я знаю, нет нигде более. После преодоления критической точки развитие сразу же пошло в направлении исключительно нового. Это обстоятельство есть подлинное основание почти всего того, что является оригинальным в политической и социальной структурах Соединенных Штатов. Ведь в этом отношении для народов характерно то же самое, что и для от-

дельных людей: различия, заметные уже у детей, с возрастом проявляются все сильнее и сильнее.

Мы уже многократно указывали на то, что в Соединенных Штатах продолжают господствовать идеалы XVIII века, тогда как в Старом Свете они уступили место новым. Причина этого такова: чем моложе, а следовательно, хаотичнее и недифференцированнее живой организм, тем больше он цепляется за ту малость закона и порядка, которая есть в его распоряжении. Отсюда жесткость всех прежних религиозных и социальных систем, отсюда присущий всем детям конформизм. Бессознательно они так сильно чувствуют свое хаотическое состояние, что малейшая возможность перемены повергает их в ужас. В первую очередь благодаря этому естественному закону — что чрезвычайно интересно — существует народ, чья основная структура образовалась в результате противостояния тем обстоятельствам, от которых первые поселенцы бежали из Европы. Если мы хотим определить их *in abstracto* или подвести под общий знаменатель, то обозначим их в общем как форму, а в частности как правительство. Невозможно правильно оценить прямоту американца, его инстинктивное недоверие к любой изысканной вежливости, каковая по своей сути есть форма, а не просто доброжелательность, его неспособность понять истину, лежащую в основании иерархического порядка, не вспомнив, что самые сильные инстинкты, живущие в американском коллективном бессознательном, восходят ко времени, когда природа противопоставлялась культуре в том же смысле, что истина неистине, и когда «добрый гурон» ценился выше любого важного господина. Проблему формы мы еще рассмотрим позднее. А что нас интересует сейчас, так это то в корне отличное от европейского понимание американцами идеи правительства, а также тех последствий, к которым это уже привело и еще приведет в будущем.

Старый Свет, из которого бежали первые поселенцы, был совершенно деперсонализированным миром. Пусть он и не был в современном смысле «объективирован» и институты и «вещи» не господствовали в нем без-

раздельно, человек не рассматривался в нем как уникальная и неповторимая личность — он значил нечто лишь в соответствии с тем, что воплощал в духовной иерархии. В первую очередь он всегда что-то представлял: церковь, государственную власть, свое сословие, цех, к которому он принадлежал; даже чисто природные отношения рассматривались как укорененные в жизни духовного мира; поэтому индивид значил меньше чем семья. Собственно, человек как индивид, как частное лицо имел непосредственные отношения лишь с Богом. Вследствие этого все надежды на жизнь, в которой частные дела стояли бы на первом месте, были связаны с небом. Такое положение было всеобщим вплоть до того времени, когда началось независимое существование Америки. С этого момента связанные с небом надежды и представления, в том виде, в каком они сохранились простыми и примитивными душами, стали материализовываться в формах и ситуациях земной жизни; прежде всего этим обстоятельством объясняется то странное представление, что Америка — это земля обетованная. Отныне человек отказывался продолжать играть роль репрезентанта; он хотел быть просто человеком и полностью реализовывать частные интересы своей личности. Это же направление развития неизбежно вело к жизни, с одной стороны, религиозной, а с другой — решительно ориентированной на успех. И как это всегда происходит, с течением времени изначальные тенденции становились более акцентированными и сложными. В Америке XVIII и даже первой половины XIX столетия в качестве противовеса идеям, главным провозвестником которых был Руссо, важную роль играла роялистская традиция XVII века. То же самое относится и к пуританской традиции патрицианского характера, которая в своем роде была столь же «культурной», что и традиция роялистов. Ибо с пуританской точки зрения богатство вовсе не было частным делом — оно расценивалось как истинный знак божественной милости. Но чем больше оба этих типа, первоначально господствовавших, вытеснялись на задний план или теряли престиж; чем больше прибывало из Европы иммигрантов, принадлежавших к

иным традициям, тем более авторитетной становилась точка зрения частной личности. В представлении иммигрантов Америка по-прежнему оставалась воплощением освобождения от всякого рода государственной власти, кастовой системы и иерархии. Однако со временем чувство оппозиции по отношению к правительствам, иерархиям и кастам перешло на другие правительства, иерархии и касты; каждое новое поколение иммигрантов жаждало более радикальной свободы, раз уж они пересекли столь громадное водное пространство. Свобода же, которую имели в виду борцы за независимость, была лишь освобождением от произвола государственной власти и от всех классовых, сословных и корпоративных ограничений. Поэтому «чужак» (*alien*) внес большой вклад в формирование изначального духа Америки, чем происходивший из старого рода тамошний уроженец, ибо вечные идеалы могут продолжать жить на Земле лишь благодаря постоянной новой инкарнации в непрерывно обновляющемся духе времени. Я не сомневаюсь даже, что в этом отношении новые иммигранты имели куда большее значение, чем пионеры фронта, так как последние вообще не интересовались никакими идеалами: они жили с самого начала в конгениальном им мире и были ориентированы исключительно на практические вещи. Но зато обитатели пограничья более ответственны за рост престижа и влияния частного мировоззрения, поскольку именно они довели до конца развитие, начатое в XVIII столетии в оппозиции к европейским порядкам¹. Это господство част-

¹ Истинное значение пограничников, насколько я знаю, лучше всего было раскрыто Фредериком Дж. Тернером. В своей остроумной книжке он показал, что развитие Америки было «возвращением к примитивному состоянию на постоянно продвигавшейся вперед пограничной линии и исходящим из этих областей новым развитием. Социальное развитие Америки постоянно начиналось на границе заново. Из этого беспрестанного возрождения, из этой размытости американской жизни, из этой экспансии на Запад с его новыми возможностями, из их длительных контактов с простотой примитивного общества исходят силы, определяющие американский характер».

ной точки зрения крепло пропорционально оживлению и росту значения современной деловой жизни. Бизнес по своей сути есть частное дело, даже если им занимается государство. Общей равнодействующей всех этих компонентов является, по-видимому, бессознательный, но во всех американцах глубоко укорененный образ мыслей, подобного которому на Земле еще не было. Поскольку у системы, в которой он выражается, еще нет названия, я придумал его сам: я назвал ее приватизмом. Сущность ее духа — господствующее положение частных интересов по отношению ко всему, что нельзя к ним причислить, а также склонность все и вся понимать и трактовать как частные интересы.

Теперь от меня, пожалуй, ожидают, что я приведу множество «фактов» американской конституции (это слово следует понимать как в политическом, так и в физиологическом смысле). Но я не думаю об этом. Читатель может вернуться к тезису Густава Ле Бона, в соответствии с которым народы управляются не своими институтами, а своим особым характером. Жизнь всегда оказывается сильнее любой внешней конструкции, какую только можно выдумать. Даже если у нее не всегда есть силы и желание изменить эту конструкцию, тот способ, каким она ее интерпретирует и использует, сам по себе ведет к изменениям, которым испытывающий внутреннее преображение консерватизм, в отличие от всего внешнего, зачастую даже способствует — достаточно вспомнить Англию. Поэтому мы сделали бы грубую ошибку, если бы приписали институтам как таковым жизненно важное значение в американской жизни. Конечно, некоторые учреждения, зародившиеся в XVIII столетии, еще сохранили свою жизненную энергию, но причина тому не их внутренние силы, а то, что еще жив дух этого столетия. Однако большинство институтов уже давно фактически утратили свое значение. Чтобы специально сослаться на американский авторитет, процитирую профессора Карла Беккера:

«На основании народного суверенитета и национальной независимости, первоначально выражавших протест

против всемогущества королей, возникло учение о всемогуществе государства и абсолютной власти большинства. Сегодня эта абсолютная власть находится в руках капиталистов, завтра она может оказаться у пролетариев».

И другой американец, профессор Поллард, пишет то же самое:

«Безответственность монархов по отношению к своим народам ничто в сравнении с безответственностью государства. Если государство может делать все, что ему заблагорассудится, истолковывать свой собственный кодекс международного поведения и диктовать свои собственные представления об истине и морали, то тем, кто от этого страдает, все равно, исходит этот диктат от деспота или от демократии...»

В самом деле, лишь живой смысл наделяет институты властью. Поэтому мы рассмотрим лишь те факты, которые имеют жизненное значение, а в них лишь то, что кажется безусловно необходимым для понимания смысла. И для лучшего понимания этого смысла я не остановлюсь даже перед способствующими этому упрощениями и преувеличениями.

В этой связи первостепенным значением действительно обладают лишь немногие факты. Я хочу начать с того, что больше всего бросается в глаза, — американского отношения к закону. Становится просто смешно, когда американцы говорят о «величии закона» (что они, должен признаться, делают редко). Это выражение полностью подходит для ситуации в Англии. Но для Соединенных Штатов оно не подходит никоим образом. Судья там воспринимается в первую очередь как исполнитель воли народа, которая лишь иногда и случайно совпадает с его благом. Конституция туда, конституция сюда: в психологическом отношении тип американского судьи развился из типа шерифа эпохи фронта; его задачей была защита общины от всего, что угрожало ее жизни и имуществу. Поэтому американское правосознание куда больше похоже на правосознание большевистской России (еще одно сходство!), чем на европейское. Первоначально юстиция представляла в Америке точку зрения одной конкретной

группы поселенцев. Затем она более или менее развилась в своего рода партийную юстицию. И она в любой момент могла бы, как в России, превратиться в юстицию классовую, если бы в Америке существовали соответствующие классы; идея-то та же самая! И не стоит обращать против моего тезиса «факты» конституции или такие примеры, как апелляционные суды или даже Верховный суд, который, судя по всему тому, что я слышал, является своего рода образцом для всех остальных. Конечно, в правовой системе Соединенных Штатов можно проследить линию развития, которая непосредственно продолжает английскую правовую традицию; конечно, иные институты могут функционировать без оглядки на то, что думают люди; ведь любой институт как самостоятельную сущность можно перенести куда угодно. Наконец, именно тот факт, что Америка иначе понимает право, чем наследница Древнего Рима — Европа, порой ведет к определенной гуманизации правовой системы и правовой практики, что в большей степени соответствует истинному духу справедливости, чем какой-либо их эквивалент в Старом Свете. Но решающим в этой связи является то представление о праве, которое американец инстинктивно оберегает. Система писаных конституций признается здесь ровно настолько, насколько она не включает в себя ничего, что могло бы помешать общественному мнению осуществлять то, что оно считает нужным. Если однажды ему вздумается равномерно поделить все национальное богатство или ввести подлинную социал-демократию, то у общественного порядка не нашлось бы никакой власти помешать этому¹.

То же самое относится и ко всей правовой системе в целом, даже там, где речь идет о чистой справедливости. Закон — это не то, что возвышается над частными желаниями; он лишь тогда внутренне поддерживается и одобряется, когда идет им навстречу. Если же, как это неред-

¹ Ср. книгу профессора Карла Беккера «Наш великий демократический эксперимент» («Our Great Experiment in Democracy», New York, Harpers & Brothers).

ко происходит, закон поддерживается и тогда, когда он всеми воспринимается как плохой, то это, несмотря на постоянный страх перед избирателями или другими мощными корпорациями — достаточно вспомнить о сухом законе! — можно объяснить свойственным всем молодым обществам традиционализмом и изначальным уважением, которое испытывает внутренне хаотичная жизнь к любого рода форме.

Итак, закон рассматривается в Соединенных Штатах прежде всего как выражение воли народа, каковая воля понимается не как нечто возвышающееся над частными волями в том смысле, в котором Руссо противопоставлял *volonté de tous* à *volonté générale*, но лишь как последняя. В теоретическом плане это ведет к той точке зрения, что воля большинства священна. Но на практике ни один американец не признает, что воля кого-либо другого есть нечто более значительное, чем его собственная. А это неизбежно ведет к тому, что, когда интересы государства и юстиции сталкиваются с интересами отдельного американца, они в его глазах ничем не отличаются от интересов его деловых конкурентов. Это во многом объясняет явление, именуемое по-английски словом «graft», — под последним в Америке понимается нечто совершенно иное, чем в других странах простая нечестность. Этим же объясняется и отношение американцев к сухому закону. Государство — это такой же частный трест, как и всякий другой. Как и всякий трест, оно, разумеется, делает все возможное, чтобы добиться своих специфических целей, это его полное право. Но не существует ни малейших причин для того, чтобы отдельное частное лицо со своей стороны не могло делать всего того, что позволит ему исполнить свои личные желания. То, что такая точка зрения не разрушает всякий порядок, объясняется не правовым сознанием или политической добродетелью, а врожденной американской моральностью и пуританизмом. Однако в свою очередь не следует забывать, что первоначальные пуритане в деловых вопросах были совершенно беззастенчивы и считали, что они вправе использовать любые имевшиеся в их распоряжении «средства».

Все вышесказанное, как мне представляется, объясняет большую часть того, что европейцу видится особенно странным в американской правовой жизни. Судья не является независимым: он избирается и может быть отрешен от должности, если станет неутроен народу, он в значительной мере вынужден считаться с желаниями своей партии. Зачастую он даже обладает не слишком значительными правовыми познаниями. Присяжные играют роль, которая непосредственно противоречит здравому смыслу. Самые бессмысленные законы могут обрести правовую силу, если того захочет народ. Поэтому даже линчевание может считаться законным деянием. Пожизненное лишение свободы применяется редко, поскольку это удовлетворяет существующим в общественном мнении сильным настроениям в пользу его отмены. С другой стороны, такая ситуация приводит к тому, что адвокат получает неслыханную власть. Поскольку речь в данном случае идет не о праве и справедливости в европейском смысле, а некоей существующей форме, которая в любой момент может быть изменена волей народа, который, разумеется, немного смыслит в ее хитросплетениях, то все зависит, с одной стороны, от тонкости и остроумия, с которыми используются юридические формы и формулы, а с другой — от ловкости, с которой играют на инструменте массовых настроений. По меркам европейского идеала это положение свидетельствует едва ли не о самой крайней отсталости во всем цивилизованном мире. Однако все станет ясно, как только мы поймем, что для американца право есть форма духовной действительности, которая не представляет собой чего-то такого, что находится «по ту сторону» его самого. Для него решительно не существует ничего «по ту сторону» частных интересов. Почему же при таких обстоятельствах судья должен быть беспристрастным и независимым? Разумеется, в Америке также существует нечто «по ту сторону» индивидуальных желаний. Но этим «по ту сторону» как раз является община. А в соответствии с точкой зрения этой общины, органы власти есть нечто совсем иное, нежели то, что под ними понимают европейцы, — эти орга-

ны суть не более чем исполнители ее воли. Этим же объясняется и своеобразный характер американской полиции. Пожалуй, она обладает большей властью, чем полиция какой-либо другой страны, она действует более бесцеремонно и беспощадно: она призвана защищать интересы именно общины. Но поскольку все интересы принципиально равнозначны, то нет ничего удивительного в том, что вновь и вновь слышно о компромиссах или даже сотрудничестве полицейских и преступных банд. И те и другие суть группы людей, и те и другие имеют свои законные интересы.

Такое положение вещей может вести как к торжеству справедливости, так и к беззаконию. Очень часто воля народа согласуется с духом справедливости. Если это происходит, то благодарить надо то простейшее чувство права и справедливости, которое присуще каждому подлинному групповому сознанию; а поскольку в структуре американской души господствуют социальные тенденции, такое чувство достигает в ней особенно высокого уровня развития. Но, в принципе, воля народа и истинная справедливость не согласуются, ибо естественное чувство права и справедливости, присущее групповому сознанию, не простирается дальше границ группы. В конечном счете оно воплощает лишь то, что связывает ее воедино; то, что это чувство понимает под правом, — это просто своего рода отделочные работы, происходящие внутри группы и для ее блага. Но как только одна группа вступает в конфликт с другой, те же самые фактические обстоятельства, которые царят внутри каждого отдельного права и понятия о справедливости, приводят к этике войны. В этом причина того, почему решающий шаг к правовому состоянию, гарантирующему справедливость каждому отдельному человеку, состоял в том, что судье предоставлялась абсолютная независимость даже от государства, а для него делом чести становилось никогда не уступать общественному мнению. Хотя формально и официально этот шаг был сделан и в Соединенных Штатах, в психологическом плане этого не произошло, хотя формы правовой системы американцев ведут свое происхождение от правовой

системы англичан, наиболее сознательной в правовом отношении современной нации. Это в высшей степени знаменательно. Исключительно психологическими обстоятельствами можно объяснить то, что американцы не признают ничего «по ту сторону» интересов частной жизни.

То, что можно сказать о правовой стороне общественной жизни, относится и ко всему государственному аппарату в целом. Государство и правительство не рассматриваются в Америке как нечто стоящее выше частного человека. Напротив, в них видят исполнителей его воли. Здесь кроется главная причина, почему столь немногие американцы стремятся к тому, чтобы места в правительстве или конгрессе заняли действительно выдающиеся люди. По всей видимости — и это постоянно подтверждается, — государственная жизнь рассматривается американцами как наименее важная часть их жизни. Конечно, она должна существовать, и, поскольку воля государства есть манифестация воли народа, ей следует оказывать определенное уважение. Но в целом государство воспринимается как обыкновенное учреждение — например, почта. Никому не придет в голову назначить гениального человека главным почтмейстером (не знаю, существует ли в Соединенных Штатах такая должность). И поскольку лишь государство в глазах народа, по существу, не имеет никакой важности, в распоряжение президента нации, которая, как никакая другая на Земле, не доверяет власти правительства, вручается власть куда более истинная, чем власть любого из королей современной эпохи. Если рассмотреть эту ситуацию с другой стороны, результат будет тот же. Лучшие не идут на государственную службу, ибо даже самый высший правительственный пост дает его обладателю меньшее влияние и меньше истинной власти, чем руководящие позиции в частном бизнесе. Картину довершают низкие оклады правительственных служащих, и это в стране, в которой платить высокую зарплату считается не только единственно справедливой, но и единственно выгодной политикой работодателя.

Истинное положение вещей маскируется тем, что сегодня Соединенные Штаты именно как государство воплощают собой сильную власть и играют чрезвычайно активную роль в большой политике. Кроме того, его маскирует и то, что американцы очень гордятся своей нацией, в своей гордости очень ранимы и, как и всякий другой народ, готовы в случае необходимости за нее сражаться. Несмотря на это, дело обстоит именно так, как мы показали. В том, что касается жизни, смысл творит факты. Даже если бы федеральное правительство Соединенных Штатов представляло собой самую мощную силу на Земле — до тех пор, пока оно имеет для американцев не большее значение, чем сейчас, — национальный облик не будет соответствовать национальной действительности. Кроме того, мы всегда должны делать различие между тем, каким значением обладает тот или иной институт дома и за границей. Каждый американский гражданин испытывает радость от нынешней гигантской мощи Союза и делает все возможное для сохранения его престижа за границей. Но сам по себе, как самостоятельная личность, он смотрит на него совершенно другими глазами. Дома он в первую и последнюю очередь приватист.

Приватизм — это единственное дитя эпохи Просвещения, которое проявляет черты исключительно своих непосредственных родителей. Америка должна быть свободной страной, в которой во главу угла ставятся свободные люди, что в психологическом плане означает (неважно, что написано в конституции), что никакая государственная власть не может вмешиваться в частную жизнь отдельного человека, пока последний уважает права общества. Это идеал, которому было легко следовать, пока Америка была практически пустым континентом. Трапперы и просто охотники для своего благополучия не нуждаются в государстве. Не нуждается ни в каких подчиненных воле народа органах власти и общество, пока оно небольшое и рассредоточенное. Позднее и по различным причинам в ходе рождения нации в обычном смысле слова возникли определенные затруднения. Они удерживали процесс в его изначальном направлении. Важнейшими

из этих затруднений были следующие: постоянное передвижение границы, которое завершилось лишь в 1880 году и результатом которого было то, что те, кто принимали в нем участие, сохранили свое примитивное состояние; постоянный приток иммигрантов; наконец, индустриальная революция с открытыми ею новыми и огромными возможностями безграничного прогресса, который привел к некоей свободной «пограничной жизни» нового типа. Но тому же самому результату способствовало и еще несколько причин. Когда новая жизнь начала пускать корни на американской земле, локальный и провинциальный образ мыслей с его узким горизонтом сделал восприятие средним гражданином столь мощного явления, как великая федеративная нация, в качестве чего-то действительно практически невозможным. Она смогла сохраниться потому, что внешнее вторжение в американскую жизнь было невозможно, и, таким образом, вся нация была защищена от политических конфликтов, а, следовательно, ее граждане могли вести сугубо частную жизнь. Поэтому, несмотря на всю свою мощь и влияние, Соединенные Штаты и сегодня в психологическом плане представляют собой своего рода гигантский кантон Аппенцель — самую провинциальную из швейцарских провинций.

Этим объясняется, почему с политической точки зрения Америке можно предъявить столь огромное количество претензий. То, что сами американцы понимают это редко, объясняется причиной, которая со своей стороны является результатом тех же самых обстоятельств: они относятся к своей конституции как историки; они думают лишь о том, что было или должно было бы быть теоретически, и совершенно упускают из вида то, что есть сегодня. Кроме того, каждый из них думает в первую очередь о своем собственном штате, а не о Союзе. Однако в этом месте я вынужден свои утверждения общего порядка ограничить одним специальным аспектом: отдельные штаты очень часто чрезвычайно хорошо управляются. Но на самом деле они суть муниципалитеты, политических вопросов они никоим образом не касаются. Лишь Союз является политическим единством в европейском пони-

мании, но как раз в этом отношении все, что мы сказали, сохраняет свое значение. Англичане с их острым политическим чувством просто приходят в ужас от того, что представляет собой Америка как политическое единство. Для иллюстрации я процитирую несколько фрагментов одной статьи Гарольда Ласки, профессора Лондонского университета:

«Никакая политическая система никогда не вызывала столь ожесточенные нападки, как система Соединенных Штатов; и нет другой такой, на которую критика оказала бы столь незначительное воздействие. Для иностранного наблюдателя незаметно даже малейших признаков массового желания перемен. Столь немногие политики обладают даже минимальным общенациональным значением; столь многие являются политиками только потому, что они потерпели крах на других поприщах, что житель *Main Street** может легко поддаться искушению предпочесть то, что не стоит даже элементарного внимания, ибо оно было бы для него экстравагантной роскошью. А ведь — поскольку мы рассматриваем демократическую форму правления как желательную — едва ли найдется хоть один канон институциональной пригодности, против которого не погрешила бы американская система. Желательно, чтобы источник ответственности за ошибки и упущения правительства был обозначен ясно и отчетливо: американская система так распределяет ответственность, что обнаружить этот источник практически невозможно. Чрезвычайно важно, чтобы институты функционировали в атмосфере дискуссии, которая воспитывала бы и просвещала общественность, но в Америке важнейшие задачи, а также их решения почти целиком скрыты от глаз общественности. Необходимо, чтобы люди назначались на высокие правительственные посты на основании своих способностей или своего опыта, однако президент и его кабинет выбираются в ходе процесса, который напоминает, если ему вообще можно найти аналогию, рискованную лотерею. Далее, правительственная систе-

* Главная улица (англ.).

ма должна быть чувствительна к настроениям избирателей и использовать любой повод для материализации единых умонастроений и правовых представлений в виде статутов и конституций. Тем не менее возникает впечатление, что непосредственная цель американских институтов, наоборот, состоит в преднамеренном устранении этой тонкой чувствительности и в препятствовании осуществлению любой единой политики... Критически настроенному, знакомому с законодательным опытом Англии или Франции наблюдателю *House of Representatives** неизбежно должна показаться недостойным великого народа. В большинстве своем конгрессмены — это неудавшиеся адвокаты... Законодательной власти не хватает исполнительной, которая ее бы устраивала, исполнительная не может рассчитывать на то, что когда-нибудь появится приемлемая для нее законодательная власть. Каждая из них заинтересована в неудаче другой... Невозможно добиться решения народа именно тогда, когда оно необходимо и своевременно; когда же приходит время нести ответственность, то оказывается, что произошло уже достаточно много событий для того, чтобы материал, который подлежит оценке, либо стал бы совершенно непонятным, либо и вовсе полностью утратил бы свою актуальность».

И так далее. Действительно, и речи не может быть, что политические учреждения Америки совершенны; если же их вновь и вновь прославляют, то причина этого в незнании или в лицемерии. Но все объясняет то соображение, что в Америке политическая система не играет сколько-нибудь важной роли. Англия дольше чем любая европейская страна позволяла себе сохранять невероятно плохую систему народного образования, ибо ей эта проблема была совершенно безразлична. По той же самой причине Америка терпит свою политическую систему. И если она в самой идее изменения видит святотатство, то причина этого опять-таки та же самая.

Итак, Америка не является политическим единством

* Палата представителей (конгресса США) (англ.).

в обычном смысле слова. И все же нельзя, как это делал один знаменитый француз, утверждать, что она вообще не представляет собой нации. Она есть нечто исторически новое. И чтобы в полной мере объяснить это, я должен на некоторое время придать ходу наших мыслей несколько иное направление и осветить проблему с другой стороны. Анализируя ход истории в целом, попытаюсь показать, почему во всем мире государство неизбежно будет утрачивать свое значение. То, что первоначально было и на первый взгляд и сегодня остается американской отсталостью или провинциализмом, на самом деле представляет собой начало становления нового, будущего порядка.

Для греков не зависящее от человека течение естественных событий было мойрой, или судьбой; у них не было силы, которая могла бы с ним справиться, поэтому оно господствовало над ними. Наполеон утверждал, что политика — это судьба, и в его время так оно и было на самом деле, поскольку этот могущественный человек таким образом овладевал любой политической ситуацией — направлял ли он ее, или же, наоборот, она его вела, — что его политическая воля становилась для человечества судьбой. Но как обстоит дело в наше время? Сегодня, вне всякого сомнения, судьбой в том же самом смысле является экономика, ибо экономические отношения во всем мире выросли в столь мощные и совершенно независимые силы, что отныне подчинить их не сможет никакая воля.

Было время, когда государство немного значило по сравнению с религиозной общиной; в средние века христианство в Европе воплощало собой нечто гораздо более важное, нежели любая политическая надстройка. С тех пор, в отличие от религиозной общины, государство неутомимо прибавляло в мощи, такой процесс особенно энергично осуществлялся во Франции, начиная с Людовика XI, но наиболее ярко проявился в протестантских государствах Европы, в которых религия, став предметом попечения самостоятельной в каждом государстве церк-

ви, лишилась своей изначальной независимости. И пропорционально ее упадку вплоть до последнего времени продолжается неуклонный рост значения государства¹. В самое же последнее время в историческом развитии словно бы достигнут некий водораздел. Отныне значение государства будет неуклонно снижаться в пользу роста значения экономических объединений. Сдвиг акцента в их значении впервые наметился еще до мировой войны. Одним из главных факторов величия Англии была ее отсталость в политическом развитии, поскольку идею империи в ней воплощал наряду с государством также ряд других независимых объединений. А истинная мощь кайзеровской Германии, которая была неизмерима большей, чем подозревало большинство немцев, основывалась не на сугубо континентальной армии, а на тонкой, как паутина, сети, которой ее экономика опутала всю планету. Разрушить эту мощь удалось лишь потому, что немцы не проводили политику, которая соответствовала бы интересам ее экономики. После мировой войны эта траектория утраты государством его значения стала очевидной — в первую очередь, естественно, у побежденных народов. Пока государство имело относительно небольшое значение, то же самое относилось и к военному поражению; человеческие потери не превышали уровня, который нация могла вынести, частное имущество оставалось практически нетронутым; власть победителя также не была безграничной. Сегодня же он обладает властью большей, чем даже в ассирийскую эпоху, ибо в общественном мнении главная роль отводится экономике. Следствием этого является неслыханный с тех пор, как в Лету кануло рабство, принцип, состоящий в том, что все граждане отвечают за свое государство принадлежащим им частным имуществом. Сегодня в отношении наций считается морально допустимым своего рода долговое рабство, одну лишь идею которого применительно к отдельному чело-

¹ Этот раздел представляет собой окончательную редакцию изложения моих размышлений, впервые опубликованных в 1922 году в книге «Политика, наука, мудрость».

веку мировое общественное мнение заклеило бы как преступную. Сегодня даже военные субсидии трактуются как деловые пассивы. Сегодня крупные капиталисты представляют собой закулисных серых кардиналов; пусть они еще не часто становятся творящими политику лидерами — для этого они в большинстве своем еще слишком наивны или же неправильно оценивают политические императивы, — но, пожалуй, они выступают как репрезентанты всемирных экономических интересов. А эти интересы приобрели столь громадное значение, что рядом с ними политические соображения в традиционном смысле уже практически не заслуживают внимания. После промышленной революции численность человечества выросла настолько, что невнимание к экономическим нуждам легко может привести к катастрофе, сравнимой со всемирным потопом.

Речь в данном случае идет о совершенно новом историческом явлении. Испокон века первейший интерес человека, несомненно, состоял в том, чтобы жить, а материальная жизнь зависела от материальных возможностей существования. Однако пока Земля была слабо заселена, вопрос голодной смерти не ставился как в подлинном смысле экономическая проблема; он, в принципе, всегда решался при помощи переселения или завоевания. С другой стороны, там, где это было невозможно, речь всегда шла о неотвратимом роке; в таком случае люди сталкивались с превосходящей силой либо природы, либо человека, которая делала невозможным изменение к лучшему. Кроме того, пока наука не стала признанным лидером и вдохновителем жизни, экономические ценности как таковые вообще не могли быть созданы. А в таком объеме, чтобы изменить общее положение человечества, они не могли быть созданы вплоть до самого недавнего времени. Сокровище можно было лишь отнять, унаследовать или обнаружить благодаря счастливому случаю, процентов оно не приносило. Прежде чем богатства стали «капиталом», получение процентов всегда представляло собой ростовщичество. Но, с другой стороны, процент всегда был столь высок, что практически приравнивался к грабежу, ибо у

жизни еще отсутствовали какие бы то ни было общие основания, которые гарантировали бы денежному обороту признание и безопасность. Еще двести лет назад торговцы были «честными» — в том же самом смысле, что и завоеватели. Таким образом, все великие торговые народы прошлого были в первую очередь грабителями и завоевателями. Отвага, жажда приключений и способность безжалостно эксплуатировать побежденных — именно от этих качеств, а не от экономических талантов в действительности зависел их успех. А таланты не давали никаких гарантий свободного существования. «Экономический человек» прошлого был либо завоевателем и властителем, извлекавшим из своей власти материальные блага, либо же рабом, если не чем-то худшим, чем раб.

Все стало меняться, после того как богатство все в большей и большей степени стало рассматриваться как капитал, а научные открытия предоставили субъектам хозяйственной жизни все возрастающие возможности самостоятельного функционирования. Однако после того, как начало пробуждаться научное и экономическое сознание масс — именно тех масс, расовая память которых не хранит ничего о завоеваниях, господстве и эксплуатации других, а содержит воспоминания лишь о труде и работе, — господствующей становится точка зрения, для которой война, а следовательно, и политика уже не является последней инстанцией. Теперь ее разделяет уже большинство населения земного шара. Повсюду человек с улицы искренне убежден, что экономика как таковая действительно в состоянии обеспечить хорошую жизнь всем и каждому; не в меньшей степени он убежден и в том, что война может лишь уничтожать, но никоим образом не создавать материальные ценности, и в том, что политика лишь использует или разбазаривает экономические возможности. Вследствие этого все более укрепляется, хотя, как правило, бессознательно, внутреннее отчуждение человека от государства; отчуждение, пока изменившаяся ситуация еще не осмыслена, находит свое выражение преимущественно в нечестности — нечестность в этих вопросах (а в остальном честных людей) есть всегда след-

ствие недостаточной адаптации, а она зависит в большинстве случаев не от людей, а от обстоятельств. Однако, несмотря на вышеприведенные соображения, у каждого организма своя судьба — общая органическая судьба, в которой можно выделить периоды юности, расцвета, кульминации, заката и упадка. Так, государственный организм, прошедший вершину своей жизни, разумеется, продолжает жить, но он уже никогда не сможет представлять собой нечто столь же позитивное, как прежде. Здесь же берет начало еще один причинный ряд. Никакой аппарат не руководит и не управляет самим собой, он всегда служит либо какому-либо отдельному человеку, либо какой-либо группе. Следовательно, государство первоначально было вассалом индивидов и каст. Затем оно стало органом более крупных объединений; достигнув своего зенита, оно стало нормальным средством выражения хорошо организованного сообщества. Но после того как массы *de facto* завоевали политическую власть, государство во все большей степени становится органом масс и служит их потребностям. А отсюда следует, что вскоре этот орган — в точности согласно точке зрения Бентама — станет служить исключительно максимальному счастью максимального количества людей. Поскольку государство к этому движется, его существование, несомненно, оправданно. Положение масс становится все лучше и лучше; приличный жизненный стандарт так скоро, как только это возможно, должен стать доступен каждому. И лишь закон и правительственный аппарат, который достаточно силен, чтобы исполнять этот закон при любых обстоятельствах, являются гарантией того, что в такой гигантской и в тоже время чрезвычайно сложной сфере соблюдалась справедливость. Но если государство становится, по сути дела, контрольным аппаратом, стоящим на страже благополучия своих граждан, то как оно может и дальше преследовать свои собственные цели? Как может оно и дальше воплощать принцип инициативы? Оно неизбежно должно все в большей и большей степени репрезентировать статические, а не динамические ценности. Конечный результат такого развития ясен. Государство, по всей веро-

ятности, станет более «полезным», чем когда-либо прежде; однако его высокий статус будет все более съезжаться, становясь подобным статусу такого института, как, например, почта. Его ждет судьба, подобная судьбе его главы, который первоначально считался «помазанником Божиим», а в конечном счете стал должностным лицом, то есть обыкновенным человеком, в качестве такового занимающим свой пост в течение определенного срока.

Итак, мы, вне всякого сомнения, живем в эпоху снижения значения государства. Тем самым я вовсе не утверждаю, что какой-нибудь народ откажется или же должен отказаться от своего государства. Или что государство вскоре утратит всякую власть и значимость — наоборот, все указывает на то, что оно во многих странах достигнет даже излишней мощи и само сведет себя *ad absurdum*; к сожалению, разумное на земле часто осуществляется не благодаря предвосхищению смысла, а лишь как следствие воплотившейся в факты бессмыслицы. Именно это относится к большевистскому или фашистскому этатизму. Конечное состояние, эмбриональную фазу которого сегодня воплощают русская и итальянская системы, будет, по всей видимости, синдикалистским: ведь в обоих случаях идея состоит в том, что лишь производитель может обладать политическим статусом. Но и в России, и в Италии в тот момент, когда я это пишу, правит революционное меньшинство; и оно — не только чтобы осуществить свою программу, но и чтобы укрепить свое положение — не может не преувеличивать власть и авторитет доставшегося ему от прошлого аппарата. Точно так же дело обстоит и с другими диктатурами нашей эпохи, как это с окончательной ясностью показал в своей книге «Las dictaduras»* (Мадрид, 1929) Франсиско Камбо. Утверждение, что мы живем в эпоху снижения значения государства, означает лишь то, что государство теряет в своем значении, а поскольку на историческом уровне смысл создает факты, это должно все больше и больше проявляться в характере этих фактов. Точно так же, как

* Диктатуры (исп.).

когда-то суверенная религиозная община постепенно стала составной частью растущего государства, государство в конце концов превратится в связующий орган более высокого порядка, к которому впоследствии перейдет прежний престиж государства. Сегодня мы еще очень далеки от этого конечного состояния. Однако несомненно следующее: все конструктивные идеи нашего времени касаются не политического начала, а экономического. Сегодня нефть почти так же определяет концентрацию власти, как прежде религия. Как бы ни было велико число исключительно политически ориентированных народов, достаточно одного взгляда на биржевой бюллетень, торговый баланс и статистику безработицы, чтобы понять, что никакое государство уже не является по-настоящему независимым, а все национальные радости и горести зависят от наднациональных всеобщих условий, из которых решающей важностью обладают именно экономические. И, по всей видимости, так будет продолжаться еще в течение долгого времени. Вероятно, ситуация развивается в том же направлении, которое некогда привело к формированию средневекового порядка. Фюстель де Куланж показал, что французское ленное право произошло из гражданского провинциального права Римской империи. Когда римский государственный аппарат развалился, старая экономическая система стала основой новой политической. Точно так же все указывает на то, что будущий политический порядок западного мира произойдет из нынешнего нового экономического порядка. Не следует забывать, что Немецкий таможенный союз был в свое время зародышем новой Германской империи.

Но если мы вспомним главный аспект «животного идеала» и мысленно свяжем его с нашими последними размышлениями, то обнаружим, что историческое развитие, картину которого мы здесь в общих чертах набросали, указывает на частный аспект всеобщего поворота, явившегося результатом того, что человек как «ведущее ископаемое геологической эпохи человека» стал наконец властелином мира. Однако если ставший суверенным в научном и техническом плане человек действительно яв-

ляется человеком, каким его с самого начала видел библейский Бог, то очевидно, что именно экономика как господство природы должна иметь большее значение, чем политика. Действительно, все животные живут благодаря войне и политике; если один род сильнее другого, он оказывается совершенно безжалостным; если симбиоз не представляет собой предустановленной гармонии, он всегда является плодом неохотно заключаемого компромисса. Если же человек достигает некоего всеобщего состояния, которое каждому индивиду гарантирует сносное существование, то происходит это, естественно, за счет других организмов, поэтому человек ничуть не лучше других ведущих ископаемых. Но он создаст некое человеческое — в противоположность прежним животным — основание для своей жизни, а это будет означать, что разум одержал победу над дикой силой, а чувство солидарности удержало инстинкт борьбы в подходящих ему границах. Что же касается этого инстинкта, то он никогда не исчезнет. Природа человека никогда не изменится, и каждая потеря в элементарной силе будет обуславливать общую потерю витальности. Но имеет большое значение, господствуют эти элементарные силы или служат. Аристотель был прав, назвав человека политическим животным: политика действительно принадлежит еще животной сфере. Естественно, то же самое относится и к экономике, если только она определяется как деятельность, смысл которой в добыче пропитания. Но иначе обстоит дело с научно обоснованным хозяйством, ибо в этом случае главное значение придается разуму и духовной инициативе, а конечной целью является общее благо всего человечества.

В ходе размышлений, ставших содержанием последнего раздела, я не могу обнаружить ни одной логической ошибки, я также не думаю, что неверно осветил излагаемые мной факты. Если сегодня кажется, что политика имеет большее значение, чем когда-либо прежде, то это объясняется тем естественным законом, что пламя, перед тем как погаснуть, еще раз ярко вспыхивает. Разумеется, я не думаю, что новое равновесие сил между по-

литикой и экономикой будет достигнуто без долгой борьбы, а может быть, и новых войн. Особенно вероятным представляется то, что многие народы должны будут бороться за свою экономическую независимость. Однако здесь следует подумать о том, что борьба сама по себе не является предпосылкой господства политики или милитаризма: она есть естественное средство, с помощью которого один отбирает у другого то, что тот не хотел отдать добровольно. Однако уже в то время, когда я пишу эти строки, в 1928 году от Рождества Христова, об отношениях между Францией и Германией можно судить не по речам в парламентах, а лишь по соглашениям по поводу руды и угля, добываемым по обе стороны Рейна. С другой стороны, если бы в течение почти десяти лет, прошедших после окончания мировой войны, из которой победившие народы вышли более воинственными, чем когда-то была Пруссия, могло быть подписано соглашение о запрещении войны, самосознание народов не было бы в значительной степени разрушено гордостью за свою силу и свое государство.

Но вернемся к ситуации в Америке. Не является ли современное состояние Америки предвосхищением — пусть предварительным или рудиментарным — цели как раз европейского развития? Это действительно так. И этот факт есть основание подлинного престижа Соединенных Штатов.

Он коренится не в их гигантской экономической мощи как таковой, но в том, что на ее основании возникает общественная жизнь нового типа. С точки зрения осязаемых фактов Соединенные Штаты, вне всякого сомнения, представляют собой в первую очередь экономическое единство; а столь репрезентативный человек, как Генри Форд, даже зашел столь далеко, что утверждает, что нация по своей сути не что иное, как такое единство. Однако, оставив в стороне ложность этого утверждения относительно других народов, заметим, что Соединенные Штаты не были бы для человечества тем, чем они являются, если бы утверждение Форда было бы истинным и в их отношении. Чтобы это доказать достаточно одного-един-

ственного соображения. В области экономических интересов чистый эгоизм представляет собой прямо-таки душу жизни; бизнес, который не окупается, в своей особой сфере есть нечто столь же искаженное и дурное, как и преступление в сфере морали или безобразное явление в сфере прекрасного. Поэтому в Соединенных Штатах бизнес не может быть всем и вся. Тут самое время вспомнить, что и в политических обществах политика также не заполняет собой всю их жизнь. Душой политики является воля к власти, кроме того, она воплощает чисто эгоистическую сторону жизни. Впрочем, из этого не следует, что в каждом государстве воля к власти подчиняет себе все; ведь если бы дело обстояло таким образом, «Государь» Макиавелли почитался бы как Библия всей общественной жизни. На самом деле для хорошо организованной политической нации политическая форма представляет собой лишь базис или основание. Таким же образом обстоит дело и с экономикой в Соединенных Штатах. Если проанализировать американскую ситуацию, то выяснится, что почти все без исключения экономические отношения являют собой самое первое нередуцируемое начало. Но жизнь в целом содержит и огромное количество других элементов. Здесь вновь становится ясным, какое существенное значение имеет для Америки ее органический социализм. Если бы только экономический принцип был решающим, то американская жизнь должна была бы быть самой индивидуалистической и эгоцентрической жизнью в мире. В той мере, в какой дело касается бизнеса, это действительно так. Здесь американцы — попробуем максимально точно воспроизвести меткое американское выражение — «играют в более жесткую игру», чем все остальные народы. Никакие эмоции никогда не смогут помешать логике бизнеса; если бы кто-нибудь в Америке пожелал буквально подражать идеальному *государю* Макиавелли, то в этом ему бы не помешал ни один параграф «*Comments*»*, или Кодекса американского бизнеса. Таких макиавеллистов от бизнеса в Соединенных

* Толкования, комментарии, примечания (англ.).

Штатах действительно было особенно много, и причина этого та же самая, по которой политические макиавеллисты чаще всего встречаются в Италии: нигде более принцип исключительной воли к прибыли — как в Италии принцип исключительной воли к власти — не встретил столь же благоприятной среды для своего тотального господства. Однако решающим является то, что эта среда с каждым годом становится все более неблагоприятной. С каждым годом врсжденный американский социализм становится сильнее, так что конфликты, например, между трудом и капиталом, едва ли смогут когда-нибудь обостриться — не потому, что эта проблема решена, потому, что с ней с самого начала было покончено¹. Разве теперь не ясно, почему господство экономического принципа не только могло, но даже должно было совпадать с господством принципа социалистического? Общество, в котором экономика составляет основу жизни, лишь тогда может сохранить свою целостность, если в нем господствуют социальные тенденции. С другой стороны, социалистическую систему любого толка можно построить лишь на экономической основе, ибо лишь экономика обеспечивает существование масс.

А теперь мы без лишних слов перейдем к тому абсолютному преимуществу, которым Соединенные Штаты обладают перед всем остальным миром. Разве не странно, что после «войны, которая должна была означать конец всех войн», все те, кто по-прежнему видит последнюю инстанцию в политике, совершенно откровенно стремятся к еще более жестокой войне? Это сразу же станет понятным, если принять во внимание, что решающее значение перешло от политики к иным силам. Ибо отныне любая нация может надеяться на убедительную победу над какой-нибудь другой лишь в том случае, если

¹ Ср. главу «Напряжение и ритм» в «Возрождении», где подробно объясняется, что живые конфликты невозможно разрешить, с ними можно лишь покончить, подняв жизнь на более высокий уровень, на котором проблемы более низкого уровня уже не стоят.

она ее полностью уничтожит. Если же эта цель не достигается, то война себя не окупает; поскольку ныне решающая сила за экономикой, политическое поражение может быть в кратчайшие сроки превращено в победу, если экономические силы побежденного остаются невредимыми или способными к быстрому восстановлению или же если эти силы поддерживают экономические силы какого-нибудь другого народа — всему этому решительно можно помешать, лишь буквально уничтожив своего противника. Действительно, традиционная политическая точка зрения может сохраниться лишь в том случае, если безусловно оправданными будут считаться газовые атаки, топление торговых судов, массовые убийства женщин и детей и порабощение побежденных.

Соединенные же Штаты по самой сути государства не испытывают в войне никакой внутренней необходимости. Война лишь тогда неизбежна, когда государство как величина, которой подчинены его граждане, ведет собственную независимую жизнь; когда дело обстоит именно так, упразднение войн логически невозможно. Точно так же логически невозможна политика, которая была бы основана на справедливости, ибо политика относится к биологической сфере, а справедливость — нет. Но если последней инстанцией считается частная жизнь, то на самом деле ничто не мешает нахождению такого компромисса между противоречащими друг другу интересами, который соответствовал бы новой геологической эпохе; тем более что самые воинственные человеческие типы — государственный деятель и солдат — уже не имеют права решающего голоса. Если сегодня они выглядят столь плачевно бестолковыми и не приспособленными к реальности, то отчасти это является результатом той установки на рутину, которой неизбежно руководствуется большая часть правительственного аппарата, но главным образом результатом установки на насилие как на последнюю инстанцию. Возможность применять насилие и прежде всего естественная обязанность видеть в нем последнюю инстанцию всегда действуют на дух отупляюще. В экономике же в силу самой природы вещей насилие

никогда не может оказаться решающим. При правильном руководстве экономика приспосабливается к любой конъюнктуре, подобно тому как любой пластичный организм адаптируется к своей окружающей среде. Естественно, из-за мировой войны Соединенные Штаты в определенной степени милитаризировались. Но есть громадное отличие между здоровым, готовым к самообороне духом и империалистическим милитаризмом. Есть непосредственное существенное различие между духом того, как понимают безопасность и мир во Франции, и духом пакта Келлога. Америка по-настоящему серьезно относится к упразднению войн, ибо там, где основы жизни народа не политические, а частные, война представляет собой нечто абсурдное. Для Соединенных Штатов, несмотря на все вышесказанное, война могла бы стать внутренней необходимостью, если бы вечные инстинкты борьбы не могли бы найти иных возможностей выражения. Но американская жизнь предоставляет такие возможности. Эти инстинкты не переживаются в Америке как вытесненные, ибо именно они составляют основу американской деловой жизни. Американцы принципиально «играют» и борются «жестко». Выражение *all is fair and love in war*^{*} относится прежде всего к бизнесу. Этим объясняется широкое распространение практики, которая европейцам кажется нечестной. Но в еще большей степени этим объясняется *fairness*^{**} американского бизнеса. В Америке соперники в бизнесе столь же часто и в том же смысле благородны, что и противники в довоенной Европе. Проведя весь день в битвах не на жизнь, а на смерть, после шести вечера они с удовольствием встречаются как друзья. Именно это когда-то было характерно для принадлежавших к враждебным лагерям воинов и для дуэлянтов. Те же самые импульсы, которые сказывались в боевых традициях рыцарской Европы, в Америке проявляются в том, что американцы в бизнесе играют жестко и в то же время справедливо.

^{*} В любви и войне все справедливо (англ.).

^{**} Справедливость (англ.).

То, что такое перенесение области действия одного и того же импульса стало возможно, в высшей степени примечательно; но сомневаться в этом факте не приходится. Конечно, человек, ставящий свою жизнь на карту, более благороден, чем тот, кто борется за деньги. Но здесь нужно представить себе, что современная война уже не благородна, а отвратительна; она сводится к массовому уничтожению людей, словно речь идет о мышах или вшах; и война уже никогда не будет прежним благородным спортом. Кроме того, вспомним, что наша эпоха уже есть эпоха экономическая, и в этом ничего нельзя изменить; поэтому признание или непризнание этого факта или попытки восстановить господство военного образа мыслей лишены всякого смысла. Проблема же состоит единственно в том, дает ли экономика выход боевым инстинктам, и в том, может ли какой-либо кодекс чести облагородить их проявление и в этом случае.

Здесь мы, пожалуй, достигли того пункта, где мы сможем оценить по достоинству величайшее преимущество внутреннего состояния Соединенных Штатов. В послевоенной Европе истинная основа жизни также экономическая. Однако господствующие идеалы и предрассудки не дают ей возможности признать этот факт. Поэтому в Европе господствует, хотя и затаенная, но тем более неимоверная жажда материальных благ, сопровождаемая постоянными стенаниями о материализме и осуждением от имени идеализма самого различного толка всех тех, кто стремится к высокому жизненному стандарту. Результатом этого являются неискренность и ханжество, а прежде всего — поистине пугающий уровень злобы, мстительности, зависти, недружелюбия и постоянные взаимные обвинения. Эти явления чаще всего наблюдаются у тех, кто *ex officio** именуются идеалистами. В общественной атмосфере Соединенных Штатов, где заинтересованность в экономическом преуспевании осознанно признается оправданным, такие безобразные, объясняющиеся вытеснением и неискренностью явления совершенно отсутству-

* Официально (лат.).

ют. По другим поводам я уже приводил различные основания такого отсутствия. Но первейшее и глубочайшее из них припас напоследок. Всякий нормальный человек, мужчина или женщина, хотел бы иметь удовлетворяющий его доход, хотел бы быть, насколько это возможно, богатым; это совершенно естественно, ибо высокий материальный стандарт — это нормальный идеал животного человека. Исключение составляют лишь очень немногие люди, в которых правит дух и которые, кроме того, принадлежат к аскетическому типу. В Америке каждый честно сознается в этом как перед самим собой, так и перед другими, поэтому и отсутствуют соответствующие вытеснения. В результате не рост алчности, не помешательство на долларе, которое представляет собой проекцию на Америку бессознательного европейца, а господство великодушного образа мыслей, всеобщее желание давать и тратить, произвольное повсеместное применение принципа «живи и дай жить другим». В Соединенных Штатах практически не встретишь скупердя, почти каждый щедро, на русский манер, тратит свой заработок. Тот, кто богат, без всякого давления извне делает для общества все, что может. Причина этого в том, что тратить свои деньги — единственно нормальное поведение, ибо давать — это суть всякой нестесненной жизни; кроме того, деньги по своей сущности есть нечто текучее, они прямо-таки жаждут перейти из одних рук в другие, так что природа человека и сущность денег взаимно усиливают друг друга. Наконец, воля к мамоне никогда не бывает неограниченной — ни в смысле количества, ни в смысле времени; как только она в степени, необходимой для внутреннего равновесия того или иного человека, исполнена, начинает все более сильно проявляться влечение к тому, чтобы отдавать, ничего не беря взамен. Здесь дело обстоит точно так же, как во Франции с тем, что касается эроса. В довоенной Европе лишь во Франции люди открыто соглашались с его притязаниями, что привело к тому, что только там чувственная атмосфера была чиста, а ее порождения не безобразны, но прекрасны. Когда я покинул Соединенные Штаты, я объявил своим

друзьям, что у меня впечатление, словно я прошел курс санаторного лечения. Конечно, там далеко не все обстоит так, как следует. Но моральная атмосфера в общем и целом чище, чем в современной Европе.

Теперь мы можем возобновить наши размышления о возможности по-настоящему миролюбивой американской цивилизации. Этому переходу может помочь взгляд на историю Древнего Китая. Китай также столетиями жил мирно и поразительно спокойно, там также полностью господствовала атмосфера доброй воли. Причины же этого частично отличались от тех, что определяют ситуацию в Америке: там господствовало то, чего нет в Америке, — глубоко укорененное чувство гармонии, которое покоилось на единственном в истории примере развития эстетического ощущения в некий инструмент для восприятия универсальных взаимосвязей. Несмотря на это, китаец и американец демонстрируют бросающиеся в глаза сходства. Китайцы также обладают врожденным чувством изначального равенства; для них характерно ярко выраженное предпочтение нормального в противовес исключительному; им свойственно сильное моральное чувство. Кроме того, у них также чрезвычайно сильно развиты социальные инстинкты, торговля пользуется большим уважением, а воспитание служит прямо-таки предметом культа; наконец, правительство в Китае также расценивается в большей степени как необходимое зло, чем как наивысшее благо. Если китайский порядок в целом лучше выдержал *pragmatic test*, чем европейский, то из этого следует, что пребывающий в стадии становления американский порядок в любом случае ждет великое будущее. Но когда дело касается приватизма, речь идет о чем-то совершенно оригинальном, чего еще никогда не было, и теперь мы можем в полной мере постичь его сущность. Его понятие провозглашает примат частного в противоположность общественной жизни. Частная жизнь есть, по сути, жизнь всего человека целиком, ибо ее ядром является его исключительная и неделимая уникальность. Всякая жизнь, центр которой заключается в какой-либо

обретшей самостоятельность проекции, такой, как государство, армия, не говоря уже об официальных лицах типа императора или папы, представляет собой фрагментарную или остаточную жизнь, в большей или меньшей степени оторванную от своих корней, тем более, она кажется отчужденной от многих своих человеческих свойств. История в достаточной мере доказала, куда приводит ситуация, когда последней инстанцией считаются государственные резоны или когда правитель может сказать: *l'état c'est moi**. Но, кроме того, она показала, что, по меньшей мере, столь же опасно, когда правительственный аппарат, который должен быть правительством народа и для народа, живет самостоятельной жизнью; сегодня это относится к большинству парламентов. С исторической точки зрения самые ранние эпохи всегда были и самыми великими. Это объясняется тем, что тогда вождями были цельные люди, а не частичные проекции, субстантивации и объективации внутреннего бытия. К этому состоянию возвращается и приватизм; точнее, не возвращается туда, прокладывает путь к аналогичному состоянию на более высоком уровне. Частный человек, по крайней мере *in potentia*** , всегда есть цельный человек. Достаточно подумать о жизни типичной женщины, которая в самых скромных условиях, кроме своих чисто личных задач, должна выполнять обязанности королевы, министра внутренних и иностранных дел, финансов, религии и просвещения. Если же благодаря фундаментальной приватистской установке частичные проекции, субстантивации и объективации перестанут считаться более важными, чем та или иная персональная или национальная цельная жизнь, то все нечеловеческое, подлинное основание которого заключается в господстве короля, государства, формального права или даже в могуществе экономики, утратит свою моральную основу. Тогда к господству действительно может прийти христианский образ мыслей. И это без всякого ущерба для тех добродетелей, которые до сих пор

* Государство — это я (*фр.*).

** Потенциально (*лат.*).

отличали человека, живущего ради государства, армии, права и закона, как более высокое и благородное существо; только отныне эти добродетели будут проявляться в рамках нового, соответствующего более высокому уровню интеграции состояния. Мы говорили ранее по другому поводу, что американец ближе аристократу, чем буржуа. К приведенным в свое время причинам следует добавить еще одну, и решающую. Ценность аристократа как объективно, так и субъективно заключается в самом его бытии, поэтому целостность его существования значит для него гораздо больше, чем какая бы то ни было должность, которую он занимает. Это так, потому что аристократ тоже приватист. Для каждого великого короля или государственного деятеля народ и государство были в подлинном смысле его частным делом; он не выполнял свои «обязанности» лишь какой-то частью своего существа, о котором он тотчас забывал в свободное от своей деятельности время. Точно так же ни один великий законодатель в истории не относился к типу современного судьи или адвоката, все они были заняты только истинной справедливостью. Никогда ни один из них не был беспристрастным, нейтральным или безучастным человеком, ибо быть справедливым — значит иметь мужество брать сторону более ценного. Приватистами были даже все безусловно великие полководцы. Александр Великий и Юлий Цезарь не являлись специалистами; кроме того, они никогда не жили и не действовали исходя из милитаристских предпосылок: и тот и другой ощущали внутреннее влечение, оставаясь цельными людьми, выполнить свою земную миссию.

То, что никакое интеллектуальное или художественное произведение не создается иначе, чем в силу внутреннего, чисто субъективного влечения, понятно само собой. А отношение к Богу и вовсе не может иметь иную природу, кроме частной. Я думаю, этих примеров достаточно. Персонально и субъективно обусловленная жизнь выше любой, подчиненной каким-то особым внешним обстоятельствам. Разумеется, частная жизнь может чрезвычайно различаться по ценности. Там, где отсутствует

духовное сознание, приватист ближе к животному, чем самый завзятый представитель общественности. Поэтому в качестве первой исторической стадии процесса дифференциации господство частичных проекций и объективаций было не только оправданным, но и необходимым. Первобытная девственная цельность не может сохраниться в ходе прогрессирующего развития. Но здесь, как и всюду, после того как достигнута определенная степень дифференциации, спасение заключается исключительно в интеграции. Эту новую интеграцию на более высоком уровне и воплощает принцип приватизма.

Эта новая интеграция, и ничто иное, является истинной целью американского развития. На нынешнем этапе ее нельзя назвать достаточно полной. И все же уже сегодня акцент на целостность жизни является типичной чертой американской сущности. Конечно, со временем ложно понятый идеал демократии приведет к господству частной жизни в банальном смысле и к оценке бытия не согласно критерию духовных и человеческих ценностей, а в соответствии с мерой животного удовлетворения. Но главные предпосылки приватизма не содержат ничего, что исключало бы поворот к лучшему. То, что развитие истинной культуры на приватистском фундаменте возможно, окончательно доказывается тем соображением, что все, что затрагивает человека по-настоящему глубоко, является по своей сущности частным делом: будь то отношение к Богу, любовь, личное мужество или индивидуальное познание.

Историческим исходным пунктом всего этого вероятного хода развития является сдвиг акцента в национальной жизни с политики на экономику. Лишь когда на Земле станет меньше причин для столкновений, мстительности и недоброжелательности и больше материального достатка, в геологическую эпоху человека сможет расцвести духовно ориентированная культура. Однако именно в этом месте следует, к сожалению, несколько умерить пробужденные было надежды на будущее. К несчастью, совершенно исключено, что все человечество целиком сможет в лучшем приватистском смысле американизиро-

ваться. Почему? Вспомним, что мы говорили о существенном сходстве между американизмом и большевизмом. В конечном счете и тот и другой одного духа. Но в Америке этот дух изъясняется на языке благосостояния, а в России на языке бедности. Как Россия, так и Америка являются социалистическими странами. Только в одной социализм есть система принуждения, а в другой — система свободы. Наш общий вывод состоял в том, что в ближайшие столетия большевизм и американизм будут уравнивать друг друга, как католицизм и протестантизм в эпоху религиозных войн. Компромисс между первыми так же невозможен, как он был невозможен между последними. Причина следующая: Россия охотно воспроизвела бы американские условия; я вспоминаю плакат, на котором значилось: «Возьмем американскую организацию, наполним ее страстным духом России — и тогда на земле осуществится Царство Небесное». Однако, к сожалению, цивилизация, построенная на благосостоянии всех, может развиваться лишь в стране, которая к началу индустриальной революции была бы практически пуста, так, чтобы это развитие осуществлялось параллельно росту народонаселения. Уже по этой причине перенесение американского решения экономических и социальных проблем на какую-нибудь перенаселенную часть Земли или в какую-либо густозаселенную страну с живыми и мощными доиндустриальными традициями исключено. Принципиально изменить существующий порядок в этих местах могли бы лишь насилие и принуждение, но они со своей стороны неизбежно ведут к удушению экономического развития, которое целиком зависит от индивидуальной инициативы. Но существует и еще одна причина невозможности перенести американские решения на другую почву. Чтобы открыть и экономически покорить континент, народ должен с самого начала обладать очень сильной страстью к приобретению. При этом дело вовсе не в материальных средствах как таковых. Но у многих людей такое стремление к приобретению развито чрезвычайно слабо. Большевистская конфискационная политика была возможна лишь потому, что ни один русский,

даже самый вестернизированный, в глубине души не верил в свое право на свое имущество. Русские не бьются изо всех сил, как американцы, чтобы разбогатеть, просто потому, что для них это не является важным. То же самое в большей или меньшей степени относится и ко всем азиатским отпрыскам большевизма, за единственным исключением в лице китайцев, которые впоследствии, вероятно, склонятся к американскому решению проблемы. Поэтому все подталкивает к мысли, что пример Америки останется единственным в своем роде. Ее приватизм, каким бы он ни казался совершенным, в конечном счете представляет собой нечто неподражаемое, как это и должно быть с любым великим культурным явлением.

Итак, мы рассмотрели, насколько это было необходимо, позитивные аспекты реалий и возможностей американского приватизма. Теперь рассмотрим его негативные стороны. Они бросаются в глаза. В них легко отыскать материал для самой справедливой критики. Однако в контексте всего вышесказанного они получают новое и более обнадеживающее значение.

Итальянский философ Луиджи Валли с полным правом отметил, что внутреннее богатство и величие Европы обязаны своим существованием в первую очередь тому напряжению, которое является результатом взаимодействия трех совершенно различных и несоединимых принципов, а именно: христианской религии, этоса воина и духа технического предпринимательства. Действительно, для трех этих принципов невозможно найти некий общий знаменатель, но каждый по отдельности выражает одну из основополагающих позитивных человеческих тенденций. Вклад Европы в сокровищницу человечества уникален, ибо вмешательство этих несовместимых по своей сути тенденций сделало невозможным какое-либо одностороннее развитие и успокоение в некоем статическом конечном состоянии. Несомненно также, что сегодняшней Америке присуща свойственная скорее насекомым исключительно экономическая ориентация, что неизбежно снижает уровень американской жизни по сравнению с жиз-

нию, подчиненной более чем одному идеалу, и прежде всего по сравнению с национальной жизнью, которая подчинена духовным идеалам. Но даже здесь следует прежде всего кое-что сказать в пользу Америки. Ни при каких других условиях всеобщее благосостояние не могло расти столь быстрыми темпами; ни при каких других условиях идеал общественного служения не смог найти своего выражения во всеобщем благополучии; ни при каких других условиях то, что должно однажды стать идеалом геологической эпохи человека (а именно: что все ценности обладают соответствующим материальным эквивалентом), не смогло быть реализовано с такой полнотой. Лишь там, где, как в Америке, все оценивается в долларах и центах, все деньги, которые вообще можно заработать, действительно могут быть заработаны и принести то, что они в состоянии принести. Но, несмотря на это, господствующими, к сожалению, являются порочные аспекты американской односторонности. Войны оцениваются по масштабу материальных приобретений и потерь, церкви — по их успеху, духовные и интеллектуальные ценности — по тому, можно ли на них заработать или нет, — при таких убогих обстоятельствах кажется, что приватизм не превосходит состояние, характеризующееся доминированием этоса воина или государственного деятеля, а является состоянием безусловно более низкого порядка. И если вскоре в игру не вступит иной, исходящий из других внутренних тенденций каузальный ряд, ситуация будет становиться все хуже и хуже, поскольку всякое развитие имеет свою собственную логику и свою собственную траекторию. Не лучше будет и в том случае, если критерием выступит не богатство, а счастье, комфорт, популярность или мир, понятые как отсутствие любых неприятных напряжений. Ведь всякий истинно человеческий, то есть внутренний, прогресс зависит от способности переносить напряжения более низкого рода и преобразовывать их в напряжения более высокого порядка. Далее, если в течение еще достаточно долгого времени значительное большинство американцев будет сосредоточено исключительно на бизнесе, частная жизнь уступит все свое значение

и всю свою силу «вещам». И тогда в силу вступит закон «энантиодромии», обращения в противоположность. В одном в высшей степени примечательном отношении это уже произошло — в отношении, которое легко может стать символичным или симптоматичным для всей американской жизни: народ, который выше всего ценит частную жизнь, существует в атмосфере ничем не сдерживаемой и самой бесстыдной публичности. Нет ничего, что в Америке не могло бы быть опубликовано. Значение этого явления быстрее всего может быть понято в сравнении с ситуацией в Англии. Англичане — народ *par excellence* политический. Поэтому для них идея форума и его материализованных форм имеет для них решающее значение. Однако поскольку она находится в правильном соотношении с целостностью жизни, именно акцент на общественной жизни обеспечивает тому, что является частным по своей сути, большую неприкосновенность, чем где бы то ни было. В Соединенных Штатах общественной жизни нет как таковой. Но именно поэтому там нет ничего действительно частного.

Разумеется, сегодняшний американский приватизм не может считаться образцовым. И все же он чреват более позитивным будущим, чем состояние, в котором пребывает любая другая нация. Все без исключения современные идеалы человечества могут быть осуществлены лишь на его основе; даже идеал, воплощенный в народном союзе, даже правовая реформа, над которой работают все прогрессивные страны, — реформа, чья идеологическая предпосылка состоит в том, что внутренний смысл поступка важнее, чем то, что он может значить в контексте любого абстрактного или формального порядка. Политика должна терять в своей значимости; война вообще станет чем-то постыдным, если господствующим среди людей станет принцип солидарности, а не принцип борьбы за существование, если все люди будут вести порядочную и достойную человека жизнь, если культурные ценности станут истиной в последней

* По преимуществу (фр.).

инстанции и одновременно духовным достоянием всего человечества.

При любых обстоятельствах Соединенные Штаты нуждаются в продолжительном периоде времени, чтобы изнутри преодолеть дурную наследственность своего недавнего прошлого. Вне всякого сомнения, все, что было сказано в последнем разделе, выглядит более чем серьезно, я бы даже сказал: тревожно. Но я убежден: провидение пошлет Соединенным Штатам трудности, в которых они нуждаются, чтобы на своем особом пути достичь полного осуществления своего предназначения. Никакой народ, как и отдельный человек, никогда не становился великим, не пройдя через времена тяжелейших испытаний. А поскольку в настоящий момент (1928 год) в Америке царит невиданное всеобщее благосостояние, американцы нуждаются в столь же крупных неприятностях, чтобы либо вырасти из той скорлупы ограниченности, которая является неизбежной судьбой сытости, либо взорвать ее. Ведь именно сытость, а не богатство как таковое проклял Иисус. Однако тяжелые времена, которые нужны Америке, непременно придут. До сих пор приватизм был исключительно американским мировоззрением. И пока Соединенные Штаты были сами по себе, все шло хорошо. Но в результате мировой войны они стали величайшей и богатейшей державой мира. Теперь они усиленно демонстрируют свое особое по сравнению с другими народами мировоззрение. Они рассматривают займы, которые они предоставляют различным народам, как бизнес-кредиты; военные субсидии они трактуют как обычные займы. Никакой другой народ не смотрит на вещи таким образом. Большинство из них являются все еще ориентированными в первую очередь на политику или войну — отказ от государственного долга для них ничто по сравнению с потерей независимости и чести. А поскольку, с другой стороны, большинство других народов бедны, и Соединенные Штаты предоставляют им деньги, эти народы неизбежно оказываются во все большем долгу перед Америкой. Такое положение не может не привести к конфликту, тем более что до сих пор еще не придут-

мано средство защиты от финансового давления и экспансии. В нашу техническую эпоху Соединенные Штаты легко могли бы без всяких внутренних изменений с победой выйти из этих конфликтов, если бы не одно обстоятельство, которое, с одной стороны, представляет собой болезненное место приватизма, а с другой — таит в себе величайшую опасность для лучшего будущего. Сегодня в Америке господствует не только представление, что высокий жизненный стандарт должен быть привилегией всех, но и идея, состоящая в том, что вообще не должно быть никакой черной работы. Но это противоречит всему миропорядку. Как бы ни вырос всеобщий стандарт, сколько работы человек ни передал бы машинам, все равно придется выполнять все виды работы. Уже сегодня распространенный в Америке предрассудок фактически привел к тому, что все не слишком богатые образованные американцы вынуждены тратить массу времени на домашнюю работу, которая в других частях света поручается лишь определенным классам, представители которых лишь крайне редко способны к чему-либо иному. Таким образом, воистину парадоксальным результатом господства идеала высокого жизненного стандарта является снижение общего стандарта. Лишь самые богатые располагают таким же значительным количеством свободного времени, каким в Старом Свете еще и сейчас располагают все, кто не занят ручным трудом. То, что американцы не замечают того, что свободное время и возможность следовать своим индивидуальным склонностям имеют гораздо большее значение, чем количество денег, на которые, однако, нельзя купить этих преимуществ, представляет собой один из самых интересных, известных мне случаев порожденной предрассудками слепоты.

Но достаточно специальных размышлений. Самым важным мне представляется следующее: в условиях, когда человечество становится все более тесно связанным, Америка сможет сохранить свой нынешний стандарт лишь в том случае, если вся нация целиком достигнет более привилегированного положения по отношению к остальным народам, чем те, которыми когда-либо обладали ка-

кие бы то ни было каста или класс. Однако прийти к этому она пока не может. Ибо для этого должны были бы быть доведены до конца многочисленные войны, которые в любом случае уничтожат все существующие системы безопасности. Кроме того, победа и порабощение других народов противоречит всем идеалам, живущим в сердцах американцев. Но даже если отвлечься от всего этого: как только стремление к культуре пробудится в более широких слоях населения, современное состояние покажется всему народу невыносимым. Процветание, исключаящее всякую индивидуальную вариацию, не только вызвало бы в конечном счете отвращение — оно ощущалось бы как наихудшая разновидность рабства. И не только стремление к культуре может подорвать нынешнее благосостояние — того же самого достигла бы и любая форма идеализма. Один выдающийся американец как будто бы сказал: «Экономия — это идеализм в его практической форме». Я не спорю, что в экономической области такой идеализм вполне успешен, но он безусловно оставляет неудовлетворенными все истинные идеальные стремления, а идеализм составляет основное свойство американцев. Таким образом, все дает право надеяться — и это последний вывод этой главы, — что после столь многих битв и разочарований американская нация найдет путь из своей нынешней ограниченности к тому всеобщему простору и размаху, который единственно созвучен духу американского континента.

ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕБЕНОК

На вопрос, почему я не танцую, я иногда отвечаю: потому что мне еще не шестьдесят лет. Для меня действительно является в высшей степени забавным зрелищем наблюдать, как те же самые люди, которыми двадцать пять лет назад я, полный благоговения, восхищался как образцами серьезности и достоинства, сегодня делают все, чтобы их принимали за юношей.

На это с ничуть не меньшим основанием можно возразить, что у них исчезают признаки старческого упадка. Однако с тем большим основанием можно возражать и против всякого способа укорачивания жизни. А среди возможных путей к нему укорачивание в психологическом смысле отнюдь не самый рискованный. Жизнь, по сути дела, представляет собой мелодию. Ни один ее период не может вернуться в своем изначальном виде. Каждой фразе, каждому такту свойственны непередаваемые достоинства и красоты. Следовательно, вымирание типа почтенного старца представляет собой невозполнимую, абсолютную потерю, ибо только он в совершенстве воплощал многие высшие ценности.

Все сказанное о детстве и старости *mutatis mutandis* относится и ко всем возрастам. А развитие и завершение каждого из них в значительной мере зависит от представления, которое составляет себе о нем человек и от его внутренней установки по отношению к этому возрасту. В то кажущееся столь далеким время, когда сегодняшние седовласые танцоры были столь серьезными, детство и юность не слишком ценились — результатом было то, что молодые люди не раскрывали в полной мере всех свойств юности. Они все время ждали наступления зрелости, что вело к росту и преднамеренному подчеркиванию признаков этой поры. Даже те, кому было едва за тридцать, были тогда серьезными, солидными и горди-

лись своей дородностью; для женщин ранняя потеря фигуры была словно бы почетным титулом, при помощи разного рода чепчиков и иных искажавших их внешность предметов одежды они делали все возможное, чтобы убрать со своих лиц любые признаки соблазнительного очарования. Какой же в таких условиях была действительная продолжительность жизни? В среднем не больше тридцати лет, ибо в полной мере признаваемая таковой, а потому действительно проживаемая жизнь начиналась лишь по окончании шестого люструма*. В послевоенной Европе в счет уже идет одна молодость. Поэтому физический стандарт молодежи никогда, насколько мы, ныне живущие, можем помнить, даже близко не был так высок. Но, с другой стороны, возникает впечатление, что происходит своего рода естественный отбор требуемой молодежи: безграничному восхвалению предадут не самых юных, а уже полностью распустившихся, зрелых и сознательных как исторически, так и духовно, в крайнем случае особо склонных к интеллектуальной сухости или высокомерию, следовательно, тех, в ком ничего не осталось от стадии зачаточного развития. А такое состояние соответствует естественному возрасту тридцатилетних. Поэтому с психологической точки зрения даже самые юные девушки этого поколения находятся именно в этом, тридцатилетнем, возрасте. А поскольку жизнь после сорока уже не считается сколько-нибудь ценной, то истинно проживаемая, ибо внутренне признанная таковой, жизнь длится всего лишь десять лет, то есть столько же, сколько жизнь собаки.

В Соединенных Штатах дело обстоит иначе. Там также никакая жизнь после сорока пяти не считается жизнью; девушки там настолько опытные, насколько это только возможно. Однако нельзя сказать, что нация идеализирует молодость, рассматривает ее исключительную ценность как нечто само собой разумеющееся; она идеализирует ребенка. Америка — это в гигантской степе-

* Люструм (лат. — *lustrum*) — пятилетний или четырехлетний период (прим. перев.).

ни страна переоцененного ребенка. Прежние размышления показали нам, в какой мере примитивизация, а вместе с ней и инфантилизация характерны для позитивных этапов развития Соединенных Штатов. Но у этой проблемы есть и другая сторона. Если американец инфантилен лишь вследствие некоего естественного процесса, то вскоре он вырастет. Однако если он, кроме того, еще и идеализирует детство, то ему грозит опасность никогда не достичь зрелого состояния. То, что прочно принадлежит психологической области, подвержено влиянию мысли. В душе в конечном счете определяющим является то, чему сам человек придает главное значение. А он способен даже кратковременные в нормальном виде стадии продлевать до бесконечности, так как функции, соответствующие различным фазам мелодии жизни, в действительности никогда не отмирают: в глубине даже восьмидесятилетнего старца продолжает жить малыш, поэтому старики так часто впадают в детство.

Конечный вывод, который можно сделать из всего того, что было здесь мной лишь набросано, таков: если человек идеализирует детство, выделяя его из всех остальных возрастов, то он на всю жизнь остается ребенком. Если же он столь же односторонне идеализирует зрелость, становятся доминирующими и достигают своего высшего развития качества, характерные для взрослого, однако за счет других возрастов. Если же выше всего ценится мудрость старца, то старой должна быть вся данная культура, ибо тогда осуществление всех признанных ценностей зависит от физиологического состояния старца. Следовательно, раз дело обстоит именно так, то после обсуждения естественной стороны американской примитивизации, мы, очевидно, должны рассмотреть ее как функцию творческой свободы. Ведь если американский народ будет так высоко, как сейчас, оценивать ребенка еще в течение достаточно долгого времени, ему будет грозить серьезная опасность: в таком случае вследствие полярной структуры жизни в нем разовьются старческие черты, прежде чем он достигнет зрелости.

Чтобы мы могли обрести верный исходный пункт, нам в наших размышлениях следует вспомнить о том, что идеализм молодости по своей сути беспредметен. В том же самом смысле и контексте молодость, взятая в целом, представляется самой интересной фазой жизни. Молодежные буря и натиск, которые люди старшего возраста столь охотно принимают за функцию глубочайшей духовности, почти целиком являются результатом типичных органических процессов. Юношеский интерес к проблемам опять-таки типичным образом коренится в (рефлектированном в чувства) интеллекте, а не в цельной личности. Это также является следствием физиологических, а потому неизменных причин. В психологическом отношении молодость развернута не полностью и тем более не интегрирована. Следовательно, возможности четкого и определенного равенства между человеком и миром не существует. Отсюда же следует, что молодого человека лишь тогда можно оценить правильно и справедливо, когда он оценивается как по своей сущности «становящийся» (в противоположность «сущему»). Далее отсюда следует, что истинная и основополагающая ценность молодости заключается в ее пластичности как таковой. Она лишь предоставляет необходимый ценностный критерий, но ее ценность никоим образом не относится к какому бы то ни было содержанию. Но отсюда с логической необходимостью следует вывод, и к нему-то я и направлялся: молодость лишается не только своего главного, но и своего единственного преимущества по сравнению с более поздними стадиями жизни, если она теряет свою пластичность.

Чтобы точнее понять, что это значит, прежде всего обратимся к ситуации в Германии. В результате мировой войны немецкая молодежь прямо-таки в чудовищной степени утратила свою пластичность. Году в двадцать третьем казалось, что внутренняя установка огромного процента студентов университетов окончательно приняла такой вид (вне зависимости от того была ли она консервативного или радикального толка), который нормален разве что для тех, кому уже далеко за сорок. Отсюда судорожное цепляние за любую традицию по принципу:

«Чем старше, тем лучше» — вплоть до культа Вотана; отсюда, с другой стороны, страстная вера в футуристическую догматику типа марксизма и большевизма. Таким образом это поколение немецкой молодежи преждевременно психологически закоснело. Объяснить это явление нетрудно. Потрясения и разочарования, вызванные войной и ее последствиями, оказались слишком велики для юных организмов. Исключительно ради самосохранения они замкнулись в себе, отгородившись от всякого подлинного переживания, и искали поддержку в чем-то более надежном, прочном и неизменном; они стремились к психологической безопасности любой ценой, и естественно, что любой способ сохранения того, что есть, казался им оправданным. Но тот же самый причинный ряд объясняет и значительную часть известных нам явлений деморализации. Даже тогда, когда молодежь созрела для косности и неподвижности, она все-таки остается молодой. А значит, когда внутренняя установка сдерживает нормальное проявление переполняющих молодого человека сил, эти силы ищут возможность проявиться где-нибудь в другом месте, а это «другое место» в данном случае может быть лишь полюсом, противоположным полюсу неподвижности и косности, то есть полюсом анархии и враждебности всякой законности.

А теперь обратимся непосредственно к ситуации в Америке. Американской молодежи нашего времени также недостает пластичности. Но не по той причине, что немецкой, а по гораздо более серьезной: вследствие господства в Америке статичного идеала молодости. Молодость рассматривается в Америке как принципиально прочное и неизменное состояние. Это не может не подавлять ее динамизм, ее целеустремленность и экспансивность. Если молодость должна в соответствии со своими внутренними законами полностью раскрыть свой потенциал и тем самым исполнить свой смысл, то очевидно, что она должна смотреть вперед и дальше самой себя; все ее идеалы должны находиться в будущем; она с радостью должна ожидать времени уже-больше-не-юности. Ведь как только движение останавливается, ему сразу же приходит конец.

Это кажется само собой разумеющимся. И все же американский идеал молодости — это, вне всякого сомнения статичный идеал. Как же может то, что по самой сути динамично, стать статичным? Это возможно благодаря тому, что господствующим идеалом в Америке является не идеал молодости, а идеал детства. Детство действительно, по крайней мере в определенном смысле, статичный возраст; пока продолжается детство, ребенок есть ребенок со специфическими неизменными свойствами. Разумеется, тело и душа растут, но происходит это бессознательно, без какого-либо взгляда в будущее. В течение этого периода сознание находится в статическом состоянии, напоминающем то, в котором Адам пребывал в раю; ребенок играет, но не работает; он мечтает и фантазирует, но не мыслит. Самое же главное, что у него нет никаких определенных целей. Тогда как динамичная жизнь любого рода должна либо видеть перед собой некую цель, либо ощущать в себе некую направленность. Поэтому при своем возникновении живая динамика обладает чрезвычайно мощной ударной силой; отсюда безудержный радикализм всякого юношеского идеализма. Но у ребенка нет идеалов. Он вообще не живет в координатах времени. Эмпирически это может выражаться лишь в статике. Этим же объясняется и своеобразие американской молодежи: в Америке господствует специфическая точка зрения, в силу которой американской молодежи свойствен опасный инфантилизм.

Вспомним теперь несколько явлений, описанных в предыдущих главах. Кажется, что идеал социальной жизни воплощен в детском саду; отсутствует всякая способность ощущать различия, нюансы; все видится в черно-белом цвете. Нет и никакого понимания духовных и интеллектуальных ценностей. Господствуют прямо-таки детские идеалы «желания всем нравиться», популярности. Но тем же смыслом обладают и многие другие типичные явления. Так, нет другого цивилизованного человека, который был бы столь же интеллектуально пассивен, как американец. Американец поглощает информацию, как песок впитывает воду; в худшем случае он подобен при

этом решету. В лучшем же случае и чаще всего он делает это как ребенок. Ребенок воспринимает окружающее почти абсолютно пассивно, поскольку его нервная система еще не способна к концентрации. В Соединенных Штатах, по всей видимости, не меньше, чем где-либо еще, индивидов, которые способны к длительной оригинальной и активно-сосредоточенной установке, — и это вовсе не относится исключительно к специальным вопросам. Однако повсеместная атмосфера детского сада препятствует любым попыткам более высокого развития. Чтобы не нарушать гармонии с окружающими, даже лучшие люди Америки, за редким исключением, придерживаются этой всеобщей детской установки, что неизбежно приводит к соответствующей задержке развития. Тому же, кому это суждение покажется парадоксальным, я предлагаю поразмыслить над тем, почему почти все примеры успешной сосредоточенности американцев относятся к области администрирования, а оно, как известно, требует минимальных духовных усилий. Если американцы до такой степени цепляются за факты и вещи, что в иных случаях они должны их буквально потрогать, чтобы поверить в их существование, и что они едва ли могут представить себе понимание более высокого рода, чем воплощенное в статистических отчетах или в лучшем случае в доказанной жизненной важности, то это зависит прежде всего от их, характерной для детского ума, неспособности к интенсивной абстракции. Кроме того, этим же объясняется и то, почему они питают столь сильную антипатию к иронии, юмору и сатире. В этом отношении они выступают антиподами французов. Лэнгдон Митчелл писал в своей превосходной книге «Understanding America»*: «Ясная и краткая интеллектуальная констатация моральной или какой-либо иной несообразности вызывает у романца смех и забавляет его, или, по крайней мере, кажется, что забавляет. Схваченное интеллектом и проясненное несоответствие между идеалом и действительностью возбуждает в нем веселье, то есть остроумие вызывает у него ра-

* «Понимание Америки» (англ.).

достное настроение. В нас остроумие редко будит веселье; американец, напротив, становится беспокойным и меланхоличным, когда острый разум направляет свой холодный, яркий интеллектуальный свет на несоответствие между идеалом и действительностью, между тем, что должно быть, и тем, что есть. Это разочаровывает его, погружает в пессимистическое настроение. Так не должно быть, и это его раздражает». Такова же и обычная реакция ребенка. Сальвадор де Мадариага, остроумнейший из ныне живущих испанцев, отмечает, по сути дела, то же самое: «Американцы непосредственны, искренни и спонтанны, как дети. Они хотят знать, ибо они любопытны, но не потому, что хотят извлечь из опыта какие-то преимущества. Они просто хотят знать. Они испытывают жажду знаний — фактов, историй. Но и крепкие, здоровые дети испытывают глубокую антипатию к мышлению. Знание — да. Но принципы и теории — это нечто совершенно иное. Мысли опасны. Бог знает куда они могут завести. Так становятся радикалами; а лишь только мальчики захотят стать радикалами, тотчас вся детская станет с ног на голову и мальчики всерьез поссорятся, причем не только из-за политических игрушек, из-за которых они ныне разделились на республиканцев и демократов, которые похожи друг на друга, как одно яйцо на другое». Не дадим сбить себя с толку той мысли, что, с другой стороны, любой нормальный ребенок с его богатейшим внутренним миром и фантазией — гений по сравнению с обычным взрослым: он таков лишь в своем собственном мире игры. Конечно, в то же время этот мир может быть миром богов. Но это ничего не меняет в слабости ребенка и его неспособности занять реалистическую взрослую точку зрения. А в первую очередь это ничего не меняет в том, что взрослый, подобный ребенку, лишенный при этом детской одаренности, лишь накапливает в себе все то негативное, что есть в ребенке.

Что же нужно, чтобы Америка как можно быстрее выросла из своего нынешнего состояния? В этом, как и во всем, помочь может лишь познание. В первую оче-

редь необходимо понять, в чем заключается извращенный характер американского воспитания, причем не только в частностях и фактах, а в принципе.

Основная ошибка американской системы воспитания состоит в том, что детский сад является лучшим воспитателем, чем семья. На основании всего вышесказанного это можно доказать одной-единственной фразой: детский сад несет главную ответственность за формирование идеала молодости как непреодолеваемого статически инфантильного состояния.

Любой ребенок привыкает к детскому саду с легкостью, ибо последний формирует социальную жизнь именно того рода, которая соответствует изначальным инстинктам ребенка. Каждый ребенок кажется прежде всего невероятным эгоистом, но тем не менее у него еще нет Я. Его эгоизм означает не большее чем, скажем, инстинкт самосохранения диктатора. А в самом начале своей жизни он даже вынужден быть эгоистом, ибо в этой фазе своей жизни ребенок полностью находится на попечении других, а его собственная задача состоит лишь в том, чтобы показывать, в чем он нуждается. Разумеется, инстинкт самосохранения остается в продолжении всей жизни. Однако сознание, характерное для самого раннего детства, которое — в противоположность физическому или физиологическому — можно обозначить как психологическое, представляет собой не сознание Я, а неопределенное нечто, из которого скорее разовьется артикулированное групповое сознание, а вовсе не сознание Я, которое есть нечто большее, чем продолжение инфантильного эгоизма: ведь сознание Я предполагает уровень дифференцированности, которого еще не может быть у ребенка. Этим объясняется, почему в истории мы гораздо раньше сталкиваемся с четко обособленными и хорошо организованными группами, чем с индивидуальностями. При таких обстоятельствах принципиально более легкой является задача социализации детей. Если она и выглядит трудной (полномасштабный детский сад был изобретен недавно), то это вызвано тем, что, с одной стороны, этот процесс слишком прост, с другой — он сильно отли-

чается от социализации взрослых. Укротить льва трудно не потому, что эта задача сложна, а потому, что она слишком проста. Разумеется, социализация человека необходима. Чтобы достичь своего полного осуществления, он, в отличие от животного, должен учиться; природа не завершает процесс его роста. Вследствие этого инфантильный эгоизм, если предоставить его самому себе, вполне благополучно продолжает свое существование с тем результатом, что индивид — не только внешне, но и внутренне — страдает от него не в меньшей степени, чем группа, ибо он не достигает внутренней гармонии. Следовательно, повторюсь, социализация ребенка безусловно необходима. Но, с другой стороны, глава «Социализм» привела нас к пониманию того, что, в отличие от социальных, индивидуальные величины независимы. Далее, инстинкты, которые в конечном счете приводят к разворачиванию дифференцированной личности, не тождественны примитивному инстинкту самосохранения. В силу этого социализация не может способствовать развитию ребенка в личность. И, наоборот, все лучшие умы Европы едины в том, что современный человек из-за слишком интенсивного учения излишне социализирован и что именно в этом, а не обратном заключается истинная опасность. Америка же по своей сути — социалистическая страна, поэтому детские сады и школы должны иметь в ней даже большее, чем в Европе, значение. Однако все имеет свои границы. Если система ведет к господству инфантилизма, то это значит, что в ней должен быть какой-то фундаментальный дефект. А дело обстоит так именно потому, что идеализация ребенка логически ведет к тому, что адаптация к детскому саду остается идеалом для всей позднейшей жизни. Тенденция к этому подкрепляется еще и тем, что безличная механистичность того, что именуется в Соединенных Штатах «серьезностью жизни», заставляет каждого взрослого с большей, чем где-либо еще в мире, тоской бессознательно оглядываться на рай своего детства. В мире американских взрослых безраздельно господствует закон бизнеса. Там его особенности проявляются в более чистом виде, чем где-либо еще. Больше, чем

где-либо еще, бизнес в Америке ориентирован на то, что доступно механизации и стандартизации. И он предоставляет меньше, чем где бы то ни было, пространства для развития человека во всестороннюю личность: все это не может не вести, с одной стороны, к атрофии всего человеческого (именно поэтому американец так часто отвратительно сентиментален: сентиментальность представляет собой компенсацию скучного и сухого интеллектуализма примитивной эмоциональной жизнью), а с другой — к еще более крайней идеализации всего примитивно человеческого, чьим высшим проявлением является именно ребенок.

Наброшенной выше логике подчинена вся американская жизнь. Каждая девочка в первую очередь хочет быть в детсадовском смысле «популярной». И остается такой до своего смертного часа. Седовласые дамы требуют, чтобы о них говорили, как о *the girls*, точно как в дни моего детства и юности маленькие девочки хотели, чтобы их как можно раньше начинали именовать «юными дамами». То же самое *mutatis mutandis* относится и к мальчикам и тому, что из них выходит. Когда в школах и университетах выше всего ценится *normalcy*, то *highbrow** обречен, когда каждый институт похвастается, что он «демократичнее» всех остальных, то и каждый юноша в первую очередь стремится к тому, чтобы быть «привлекательным» (пожалуй, это выражение лучше всего передаст смысл американского *likeable*). Но человек может быть привлекательным для всех лишь в двух и не более случаях: если он святой или если он абсолютно средний человек без малейших признаков какого бы то ни было превосходства над другими людьми.

Тут мы, кажется, приближаемся к практическим проблемам. Превосходящее все разумные размеры влияние детского сада объясняется тем, что в Северной Америке семейная жизнь ценится невысоко, ей пренебрегают или понимают ее настолько превратно, что она практически не способна к созданию тех ценностей,

* Далекий от жизни ученый, интеллигент (англ.).

которые она должна создавать. Сразу добавлю, что семейная жизнь так низко ценится отчасти потому, что здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда, что называется, «зелен виноград», ибо жилищные трудности и многое другое делают нормальную семейную жизнь почти невозможной для большинства населения. Не стоит ставить в вину небогатым родителям, что они предаются иллюзиям, которые, с одной стороны, вызваны нуждой, а с другой — способствуют их же благу. Но главным образом причиной невысокого престижа семейной жизни является то соображение, что она не развивает в человеке его социальную сторону. Разумеется, она этого не делает. Но именно в этом заключается ее безусловная ценность. Если детский сад и школа создают наилучшее силовое поле для целей социализации, то настоящий родной дом способен лишь развивать индивидуальные инстинкты, а следовательно, закладывать основы подлинной личности. Единственным импульсом, направленным на выделение человека на фоне других людей, которого не отнять у детского сада, является импульс к конкуренции, которая очевидным образом достигла в американской жизни чрезвычайного развития. Но и конкуренция принадлежит социальной, а не собственно личной жизни.

Всеобщим результатом американского воспитания является, таким образом, своего рода детсадовский социализм. То, что дело обстоит именно так, особенно убедительно доказывает новейший «аморализм» более зрелой молодежи, который, что естественно, находится в особенно острой оппозиции к детству. Ошеломляющую непосредственность и бесстыдство этого аморализма следует, собственно, отнести еще к детской невинности, которая составляет лучшую сторону эксгибиционизма. Но истории, которые рассказывает судья Линдсей, выглядят абсолютными выдумками. Например, сокурсницы Милдред находили «аморальным», что она состоит в половой связи с парнем, страдая в это же время венерическим заболеванием, и послали делегацию к судье с просьбой положить этому конец. Или Мод сказала, что она никогда не будет снова встречаться с Гансом, что он так глуп, что —

это уж слишком! — она должна была пойти в аптеку и купить у продавца содовой презервативы. И кончаются эти истории совсем как сказки. Например, потом Миллисент родила ребенка, оставила его у себя (избавившись от нескольких других прекрасных бездетных пар) и всю жизнь жила после этого со своим мужем в счастье и радости. Я едва ли знаю в Соединенных Штатах хоть один аспект социальной жизни, к которому бы не относилось то же самое, а именно: чтобы затянувшееся детство не было бы истинной причиной различных пороков и карикатурных ситуаций. В этом коренится и вызывающая ужас даже в самом сильном мужчине привычка клубных дам выносить обо всем и вся радикальные и одновременно безапелляционные заключения, чрезвычайно часто основывающиеся на разоблачениях в самом неприятном смысле этого слова, и их жажда выслушивать ежедневные многочасовые доклады друг друга о своих годах учения, доходящие вплоть до эпохи их прабабушек (за что я лично им очень обязан).

Мы отметили, что инфантильному социализму могло бы успешно противодействовать лишь усиление и увеличение влияния семьи. В чем же состоит это влияние? Оно очевидным образом зависит от той особенной роли, которую в детском сознании изначально играют отец и мать¹.

Психоанализ уже давно установил, что отец и мать, кроме своей психологической и вполне очевидной роли, играют в душе ребенка еще более важную роль — роль символов. Но один важный вывод из этого открытия до сих пор не сделан. Этот вывод состоит в следующем. Если человек вообще приходит к самому себе благодаря контакту с окружающим его миром, художник — благодаря своему произведению, человек, стремящийся к чему-нибудь, — благодаря своему идеалу, то сущность детского

¹ Данный раздел, насколько он затрагивает принципиальные вещи, частично является воспроизведением моей статьи «Об отношении между детьми и родителями», опубликованной в журнале «Путь к совершенству», № 12.

состояния характеризуется тем, что в этом состоянии все определяющие центры находятся вне круга его Я. То, что так обстоит дело, когда ребенок находится в утробе матери, а позднее — в том смысле, что он нуждается в руководстве, совершенно очевидно. Но это происходит также и потому, что отец и мать, по сути дела, выполняют за ребенка его персональные духовные и душевные функции. Его личность вообще невозможно вырвать из связи с родителями без процедуры насильственного абстрагирования. На этом основывается то поистине решающее значение, которым обладают самые ранние детские переживания; отсюда проистекает опасность связанных с родителями впечатлений, искажающих и разрушающих сознание ребенка: то, что кажется внешним переживанием, на самом деле представляет процесс, протекающий во внутреннем мире ребенка. Возникает вопрос: если дело обстоит именно так, то как должны отец и мать относиться к своему ребенку, чтобы его душа стала способна к максимально полному развитию? Ответ таков: мать должна воплощать принцип близости, а отец — принцип дистанции, ибо эти принципы они воплощают от самой природы. Для маленького ребенка мать «есть» его собственное внутреннее единство, а отец «есть» его возвышение над уровнем своих естественных инстинктов.

О роли матери я едва ли смогу сказать что-либо существенное — она очевидна. Мать должна быть как можно ближе к ребенку, материнское чрево остается символом, действительным для всякого возраста. И потом, в первые годы жизни ребенка матери столь редко не справляются со своими функциями, что здесь речь вообще не может идти о какой-либо всеобщей проблеме; в период, когда женщина исполняет исключительно волю природы, она так близка к ней, что непреодолимый инстинкт просто заставляет ее поступать правильно. Что же касается тезиса о роли отца, то он требует более обстоятельного разъяснения, поскольку сегодня прямо говорят о том, что авторитарная отцовская установка свелась *ad absurdum*. Разумеется, это так. Но не потому, что ее смысл ложен — ведь она оправдывала себя в течение тысячелетий, — а

потому, что традиционное воплощение этого смысла не соответствует современным психологическим условиям. Дистанция должна соблюдаться. Но существует иной, и лучший, нежели деспотия, способ соблюдать дистанцию по отношению к другому. Чтобы с самого начала правильно поставить проблему, отметим: самую большую дистанцию создает не черствость, — наоборот, грубые формы обхождения всегда представляют собой выражение бессознательной фамильярности, — а любезность. По этой причине все народы, стремящиеся ко всеобщему равенству, испытывают такую сильную антипатию ко всем формам вежливости.

Для начала приведу два европейских примера. То, что причиной трудностей является не само по себе соблюдение дистанции, а лишь его традиционное проявление, доказывается противоположным примером отцов, которые понимают свое отцовство как функцию близости. Есть аналитики, которые буквально с рождения проводят со своими детьми сеансы психоанализа и с самого младенческого возраста заставляют их проделывать это с собой. Результатом является то, что эти дети становятся невероятно распушенными, не знающими никакой дистанции по отношению к кому или чему бы то ни было, неспособными к самостоятельной деятельности и имеющими будущее разве что как психоаналитики. Другой пример дает австрийская аристократия, где, насколько я знаю, царят «самые счастливые» семейные отношения, в которых нет ни малейшей напряженности, что объясняется тем, что отцы относятся к своим детям точно так же, как матери. Для продуктов такого воспитания, как правило, характерны женские, а не мужские добродетели, они редко способны самостоятельно творить свою судьбу. Ни один класс в мире не породил с учетом его одаренности менее значительных мужчин, ибо, следует отметить, австрийский аристократ как тип вовсе не бездарен, напротив, он обладает тонким вкусом и зачастую очень талантлив, но ему недостает инициативы и твердости.

А теперь вернемся к Америке. Чего же больше в американском отце: материнских или отцовских черт? Нич-

то так не бросается в глаза европейцу, как то, насколько часто по воскресеньям и праздникам американский отец занимается детьми, в то время как их мать, надев очки, читает умные книжки, а также то, как редко американские дети уважают своего отца; как правило, они относятся к нему с уважением лишь как к более искушенному участнику их игр. А что им остается, если он ничуть не лучше детей? Ведь мужчина играет роль либо раба, либо прислуги. Кроме того, он инфантилен и потому действительно ни в чем их не превосходит.

Действительно ли это связано с противным здравому смыслу воспитанием? Подлинный смысл принципов близости и дистанции, руководящих всеми психическими процессами, состоит в том, что на первом основывается органическое единство, а от второго зависит напряжение, благодаря которому возникает кинетическая энергия. Без напряжения не может быть не только никакой продуктивности, но также и никакого контроля над всей структурой в целом, который осуществлялся бы каким-нибудь одним определяющим центром. Человек ровно настолько является мужчиной, а не женщиной, насколько демократическая республика единства подчинена иерархии руководящих духовных сил. Далее, он ровно настолько же является мужчиной в отличие от ребенка: в этом контексте отношение между мужчиной и ребенком состоит в том, что то, что сначала проявляется как мужской характер, в ходе своего развития сублимирует в духовный принцип, а потому совершенно в порядке вещей, что становящаяся самостоятельной женщина в том же самом смысле становится и более мужественной. Тот факт, что как в женщине, так и в ребенке изначально господствует принцип единства, объясняет, почему женщины и дети, а не мужчины и дети наилучшим образом понимают друг друга. Из этого становится ясно, какая роль в воспитании должна отводиться отцу. В той мере, в какой отец сумеет держать дистанцию по отношению к ребенку, в последнем само собой будет развиваться превосходство по отношению к своим естественным инстинктам, а это означает: в той же самой мере

определяющим в нем будет становиться духовный принцип. Примеры аналитиков, австрийских аристократов и американцев *ad oculos*^{*} демонстрируют нам, насколько плачевны последствия того, когда отец занимает место матери. И, наоборот, самые сильные мужчины были именно в те исторические эпохи, когда отец был авторитарен; так и Америка в великую эпоху патриархального пуританизма была по своей сути страной сильных мужчин. Но почти все сильные мужчины всех времен и народов происходили из семей, в которых царила не австрийская гармония, а отношения, для которых было характерно высокое напряжение, что, однако, не означало то, что их можно было назвать «несчастливыми», — в них господствовала напряженная, а потому продуктивная, а не разряженная и, как следствие, расслабляющая атмосфера. Что я имею в виду, лучше всего разъяснят, пожалуй, примеры Англии и Китая. В современной Англии патриархальный авторитарный принцип вряд ли когда-нибудь обретет силу. Зато там как нечто совершенно естественное почитается собственная воля, если она, разумеется, не выходит за рамки обычая. Поскольку же последний требует вежливости, сдержанности и такта, то фактическое превосходство отца по отношению к ребенку непроизвольно приводит к тому, что сдержанность отца достигает того же самого результата, что и утверждение своего авторитета, однако с тем преимуществом, что мальчик с самого начала чувствует себя не скованным, а свободным. В Древнем Китае сын становился таковым лишь после смерти отца. Но, с другой стороны, и там патриархальные отношения не имели тех дурных последствий, которые так часто проявлялись на Западе, поскольку китайский отец пользовался своим безусловным авторитетом в рамках требуемой обычаям сыновней любви, которая в зародыше душила всякое лишь только вероятное движение в противоположную предначертанной отцом сторону. На Дальнем Востоке к маленьким детям относятся с большей нежностью, чем где бы то ни было. Имен-

^{*} Наглядно (лат.).

но поэтому там едва ли когда-нибудь появятся непослушные или капризные дети. Ведь ребенок изначально хочет следовать; наиболее распространенная причина того, почему он непослушен, состоит в том, что у него еще отсутствует самоконтроль, и поэтому он нуждается в понимающем суггестивном воздействии, поэтому он презирает всякого взрослого, не умеющего добиться послушания. В Китае объективация авторитета в обычае не допускает того, чтобы пострадали личные отношения отца и сына. Например, типичное сопротивление, вызываемое необходимостью учиться, отец предотвращал посредством того, что он не обучал сына самолично, а доверял его с этой целью кому-нибудь из своих друзей.

Теперь должно стать ясным, что, учитывая контекст этой главы, подверглось в Соединенных Штатах искажению. О роли матери, повторюсь, мы не будем более распространяться: она очевидна. У меня не сложилось впечатления, что американские матери в меньшей степени обладают материнскими качествами, чем матери иных народов. Они просто наверняка обладают ими в той же самой степени, иначе привязанность к матери не была такой всеобщей. Однако, с другой стороны, она настолько чрезмерна, что ее позитивный характер превращается в свою противоположность. Чрезмерное материнское влияние вызвано тем, что мать в бессознательном американцев играет как свою собственную роль, так и роль отца; она образует содержание как комплекса матери, так и комплекса отца. А это означает, что она по отношению к ребенку выступает в роли «взрослого». Именно она, а не отец. Разумеется, женщина при любых обстоятельствах есть по своей сути взрослый человек. Она с самого начала женщина и никогда не была ребенком, который еще не женщина, а только когда-нибудь ею станет. С самого начала она отстаивает обычай, порядок и норму; двухлетняя девочка полностью в курсе дела по поводу флирта, сердечных дел и поцелуев, материнской заботы и воспитания — она лишь выражает свое знание в соответствии со своим возрастом. И, наоборот, то, что, согласно вечному закону природы, в душе ребенка способен разбудить

лишь отец, в американской системе не может развернуться в национальное явление. Мужчина остается инфантильным. Этим объясняется как существование, так и смысл того аномального, поистине чудовищного комплекса матери, гротескные размеры которого столь живописно символизирует национальный праздник Mothers day*. Американский мужчина всю свою жизнь каждую женщину видит сквозь призму комплекса матери: мать является для него прообразом зрелости вообще. Этим же обусловлена прочная зависимость мужчины от женщины как таковой, представляющая собой совершенно иной род зависимости, чем тот, который характерен для романских народов. В Америке то, что привязывает мужчину к женщине, никак не связано с полом — здесь речь идет о взаимоотношениях взрослого и ребенка. Женщина, единственно и вечно взрослая, является для мужчины символом всего того, что выше него, к чему он может относиться с уважением. «Для юношей — вдохновительница, — пишет Сальвадор де Мадариага, — для зрелых мужчин — руководительница; сначала как возлюбленная, затем как тетушка нации женщина правит Америкой, ибо Америка — это страна мальчиков, которые не хотят становиться взрослыми. В компетенции женщины находится все то, что по праву принадлежит взрослым: всеобщие идеи, эстетический вкус, культура и мировоззрение. А вокруг мальчики живут веселой, деятельной жизнью. Она же отваживается на исследование небес и преисподней индивидуализма, на ответственное мышление большого размаха и свободное экспериментирование в жизни. Мальчики относятся к ней с восхищением — прежде всего из-за ее красоты, затем из-за ее ума, образованности и мудрости. Как возлюбленная нации она сохраняет мальчиков со всеми их склонностями здоровыми и веселыми; как ее тетушка, она решила, что им больше не следует пить, — так они и стали «сухими». Нельзя сказать, что они сделали это с большой охотой. Однако если их спросить об этом, они сначала вздохнут, затем усмехнутся, покосятся на Нее и пробормочут: ну нам же самим так лучше».

* День матери (англ.).

К сожалению, на самом деле им так не лучше. Если бы женщина действительно могла бы быть всем тем, что в ней видят и чего то нее ожидают мальчики, американцы не остались бы инфантильными. Когда я изучал Америку, я впервые осознал, что в греческой идее гомосексуальной любви как воспитательного средства была доля правды. Несомненно, эта идея не может служить образцом для подражания. Однако когда осознанный дух впервые появился на Земле в своем интеллектуальном аспекте, в конечном счете не было ничего противоестественного в том, что он пытался защититься от любого воздействия, которое могло бы затормозить его рост, даже при помощи самых радикальных средств.

Завершим эту главу кратким рассмотрением двух важнейших позитивных результатов, которых обычно достигает соблюдающая дистанцию позиция отца. Возможно, я буду скорее понят, если прежде всего скажу о реакции, которую вызывает в родителях внимание к детям. Едва ли можно оспорить тот факт, что воспитание, которое родители дают детям, почти ничего собой не представляет по сравнению с тем воспитанием, которое они сами при этом получают от своих детей. Какими собранными должны быть родители под их острым взглядом и перед их безошибочной памятью! И какую это приносит им пользу! Итак, глубочайший смысл этого позитивного воздействия состоит в том, что дети заставляют родителей считаться с не поддающимися разгадке иррациональными фактами и испытывать к ним глубокое уважение. Поэтому англичане, которые понимают детей лучше всех других европейцев, говорят о *His Majesty the Baby**. Если ребенок все-таки не понятен взрослому, то в той же мере верно и обратное: отец не входит в сферу того, что является для ребенка непосредственно понятным. Соблюдающий дистанцию отец, кроме всего прочего, воплощает для ребенка иррациональную судьбу. С этим он должен будет считаться в течение всей своей жизни. Свобода

* Его Величество ребенок (англ.).

способна совсем не на многое, вся мудрость начинается с *amor fati*^{*}. Таким образом, не объясняющий всего и вся, не потакающий всем желаниям ребенка отец может наряду со всеобщим принципом самоконтроля привить ребенку и принцип терпеливого и безропотного признания судьбы. Но одновременно с ним, поскольку ребенок, естественно, любит отца, и принцип благоговения. И важность этого невозможно переоценить. Любовь увековечивает то, что есть, но благоговение ведет к чему-то более высокому. Гёте писал, что «благоговение, с которым никто не рождается, есть, однако, то, от чего зависит все, если человек должен стать человеком во всех смыслах». Согласно Гёте, следует равномерно развивать в себе три вида благоговения: благоговение перед тем, что выше нас, перед тем, что ниже нас, и перед тем, что нам равно. Благоговение перед «тем, что ниже нас», — это то, что ребенок развивает в родителях. Но благоговение перед «тем, что выше нас», может вызвать к жизни, причем с неприметностью и неотвратимостью природного процесса, лишь соблюдающий дистанцию по отношению к ребенку отец. И только это благоговение способствует душевному росту. Человек перерастает границы своего данного состояния, лишь вставая в оппозицию другому человеку, за которым он сам признает более высокий статус. Если один человек встречает другого и первое, что он думает, это: «Я такой же, как и он», то он никогда от него ничему не научится, будь тот воплощенным божеством. Но если его изначальной установкой является благоговение, тогда даже самый великий может чему-нибудь научиться у самого незначительного. Конечно, в человеке, который хвастает, что «он смотрит прямо в лицо Богу Всемогущему», может быть нечто само по себе симпатичное. Однако опасность заключается в том, что в таком случае он смотрит на Него как на какого-нибудь человека с улицы, каких великое множество, но это означает, что произошедшая в нем встреча с Высшим потрачена впустую... Сегодняшняя Америка враждебна любой форме

* Любовь к року (лат.).

благоговения. В этом она безусловно и во всех отношениях не права. Когда зрелые мужчины должны всеми силами добиваться благосклонности мальчишек, когда считается правильным, что признанная ценность склоняется перед безоговорочной примитивностью, тогда отсутствует всякая внутренняя возможность развития. Определенный сорт американских писателей с недавних пор поставил себе задачей низвергать с пьедестала великих людей. Но ведь тем самым сводится на нет и их собственная творческая ценность. Личная жизнь абсолютно всех людей в равной мере не интересна. И, напротив, духовная жизнь одного-единственного великого ума, рассмотренная правильно, способна возвысить целые народы. Так мир Белого Человека однажды стал христианским...

В заключение следует ответить на один вопрос, который, вне всякого сомнения, поставят люди, склонные к сентиментальности: а не страдает ли от соблюдения дистанции любовь? Весь опыт всех эпох доказывает обратное. Ребенок хочет видеть в отце всемогущего «Бога». Поэтому ребенок любит слишком близкого с ним отца ничуть не больше, чем строгого, — инстинктивно же он его презирует. Сыновей, любивших своих отцов, больше всего было именно в те эпохи, когда вопрос о товарищеских отношениях между ними вообще не ставился. Ибо в силу самой природы вещей любовь в своей подавляющей части состоит из уважения и только так и может существовать.

ЖЕНСКОЕ ГОСПОДСТВО

В первой части этой книги мы установили, что изначальные природные силы и процессы могут подчиняться лишь мощным духовным силам и что только последние в состоянии направить их по иным, нежели их исконные, путям. Окружающий мир неизбежно изменяет человека, каждый континент, даже каждый особенный ландшафт порождает его специфическую разновидность. Но духовные установления способны противостоять природным воздействиям, поддерживать равновесие с ними и даже иногда брать над ними верх. Этим объясняется возможность сохранения на чужой почве аутентичного унаследованного типа, яркими примерами чего являются индийцы и евреи. Наиболее же могущественная из всех природных сил воплощена в поле. Немногие женщины, имеющие детей, не подвержены, по крайней мере в течение какого-то периода времени, «комплексу всемогущего Бога». Все очень естественно: в существовании Бога-творца можно сомневаться; однако если Он существует и создал мир, как это описывает библейская традиция, то Он не совершил ничего чудесного: творение мира из ничего является лишь увеличенным отражением того, что человек совершает каждое мгновение; человек нечто мыслит — тотчас же это нечто оказывается в мире духовных образов. И, наоборот, зарождение ребенка по испокон веков практикующемуся методу есть в высшей степени чудесный процесс. И если чудо является одновременно тем, что приносит высшую земную радость, то объективно наличные силы получают все, что только может им способствовать, от субъекта. Поэтому ни одна эпоха глубокого внутреннего переживания не рассматривала любовь как нечто естественное — она считалась либо святой, либо греховной. Испокон веков из всех инстинктов именно эрос в наибольшей степени регулировался духовными предпи-

саниями. С самого начала человек инстинктивно сознавал, что никакой жизненный порядок не сохранится, если его захватит и подчинит себе чудовищная сила, воплощенная в поле. Поэтому с самого начала он включал ее в свой религиозный порядок. Всякий раз, когда религия, в самом широком смысле понятая как связь естественного с духовным как своей причиной, теряла свою силу, это вело к гипертрофии сексуальной жизни, что обуславливало подрыв не только духовного, но и природного порядка; когда господствующим становится то, что мы обычно называем пороком, раса неизбежно вырождается или вымирает. Такого подрыва не бывает в жизни животных и даже в жизни тесно связанных с природой примитивных народов. У них в большей или меньшей степени отсутствует сознание Я, и естественная гармония поддерживается сама собой; свободная воля не играет в их жизни никакой роли или же играет крайне незначительную. Однако для обладающих духовным сознанием, наделенных свободной волей мужчин и женщин сексуальная сила действительно подобна взрывчатке. Если она не подчинена духу, то ее воспламенение будет иметь исключительно опустошительные последствия.

Пол, по сути, есть в высшей степени таинственная сила. Сегодня это яснее, чем когда-либо прежде, доказывается тем, что, несмотря на все научные объяснения, которые должны были бы снять с него покров тайны, он еще больше, чем когда бы то ни было, занимает дух, сердце и душу людей. Юноши и девушки утверждают, что все относящееся к сексу совершенно просто, само собой разумеется и чрезвычайно легко объяснимо, однако в глубине души они ощущают все совсем по-другому; единственное известное мне исключение составляют те, кто совершенно пресытился сексом: утомленное животное вообще ни о чем не думает. Утверждение так называемых прогрессивных писателей, что новое поколение не помешано на сексе, есть чистая бессмыслица: чем меньше оно о нем думает, тем больше им занимается. А результат поведения служит еще одним подтверждением старого представления о сакральном (в смысле латинско-

го слова «sacer», которое, с одной стороны, означает «священное», а с другой — «проклятое») характере сексуального. «Вольнодеятели» — как можно назвать этот тип по аналогии с устоявшимся выражением «вольнодумцы» — постоянно демонстрируют признаки деградации, о которой мы впоследствии еще поговорим.

Сказанного достаточно, чтобы стало ясно, что любое объяснение эротических отношений, которое не исходит из того, что в их основе лежит некое изначальное таинство, не научно и абсурдно и что вследствие этого оно должно оказывать губительное влияние на каждого, кто им довольствуется, ибо духовные образы неизбежно воплощаются в действительность. Рассмотрим же эту действительность немного более подробно, причем ограничимся прежде всего естественными отношениями между мужчиной и женщиной, не оглядываясь на моральные предрассудки, неважно, оправданны они или абсурдны. В природе, там, где имело место разделение на два пола, органический тип никогда не достигал своего исчерпывающего выражения в одном поле, а всегда лишь в их синтезе. Таким образом, с точки зрения природы лишь мужчина и женщина вместе представляют собой «человека». То, что это утверждение соответствует истине в том, что касается физического размножения, очевидно. Но то же самое действительно и в том, что касается индивидуальной жизни отдельного человека. Мужчина нуждается в женщине не только сексуально, но и психологически, и духовно; и точно так же женщина нуждается в мужчине. Современные писатели на основании своего опыта общения с эмансипированными женщинами иногда утверждают, что они намного меньше нуждаются в мужском обществе, чем мужчины в женском. Насколько это верно, мы рассмотрим позднее. Однако применительно к нашим нынешним размышлениям это мнение основывается на некоторой неточности. Женщина кажется менее нуждающейся в мужчине, чем наоборот, просто потому, что ей достается задача заботиться о нем. Однако если ее забота неэффективна, то ее разочарование намного глубже, чем разочарова-

ние мужчины, не достигающего определенной цели, ибо его активная роль предоставит ему новые попытки, как только он обнаружит соответствующие возможности. Но психологически женщина для своего полного развития нуждается в мужчине намного больше, чем наоборот, поскольку ее жизненная модальность реактивна, то есть ориентирована на ответ. Сотни тысяч эмансипированных женщин тешат себя иллюзией, что они испытывают полное удовлетворение, даже если мужчина не играет в их жизни главной роли. Однако, несмотря на весь мой поистине необъятный опыт, мне еще не встречалась ни одна женщина, которая как человек не уступала бы любой своей равной во всех других отношениях подруге по полу, которая развивалась в союзе с подходящим ей мужчиной. Даже американские клубные дамы — существа, для которых, кажется, специально было изобретено романское слово «formidable»*, — признавались мне, что старые холостяки представляют собой неполноценный и дефективный тип. То же самое и самым непосредственным образом относится и к старым девам, как бы ни были они прогрессивны в своих словах и делах. И тем и другим недостает того, что их дополняло бы и способствовало максимально полному самоосуществлению, пробуждая в них силы, которые не в состоянии проявиться самостоятельно. Идея бесполого «просто человека», которую современные мужчины и женщины столь активно превозносят, правильна и хороша. Разумеется, человеческая природа содержит некое бесполое начало, которое могло и должно было бы достигнуть как можно более высокого уровня; я добавлю даже, что после тысячелетий чрезмерного подчеркивания различия полов будет весьма позитивным, если в течение некоторого времени основное ударение с равной силой будет делаться на их общности и в результате разовьется то, что станет наследственным владением и привилегией «человека вообще». Речь в этом случае идет не об эмансипации женщины, а скорее о разворачивании во всех людях обоих

* Страшный, грозный (англ.).

полов того, что принадлежит к роду *homo sapiens Linné** как таковому. Однако мужественность или женственность человека означает нечто более глубокое, чем его человечность вообще, в том смысле, что Гёте называл «матерями», а здесь мы имеем дело лишь с земной сущностью человека. Все творческие силы имеют либо мужской, либо женский характер, и я еще не встречал ни одного мужчины и ни одной женщины, которые в глубине души не создавали бы, что относительно земли творчество представляет собой одновременно и нечто высочайшее, и нечто глубочайшее. Недаром все боги считались в первую очередь творцами.

Конечно, мужчина как таковой никогда не совершенен, так же как и женщина как таковая. Но это основной жизненный факт, который следует просто принять. И каждый выдающийся мужчина, и каждая выдающаяся женщина с радостью его признавали, а не похвалялись собственной самодостаточностью. Ведь ни одна часть универсума не является по-настоящему самодостаточной, все они зависят друг от друга. Современное мышление делает главный акцент на этой зависимости и обязательствах отдельного человека перед своим ближним или группой даже там, где этот акцент фактически тормозит индивидуальный рост. Почему же тогда это акцентирование следует отрицать в том одном-единственном случае, в котором неполнота, признанная и правильно оцененная, обуславливает счастье, рост, подъем и вдохновение и в котором ее отрицание является совершенно бесплодным? Существует лишь один результат, достигаемый чрезмерным акцентом на «человеке самом по себе», который не является чисто негативным, — появление некоего третьего, подобного бесполом рабочим пчелам и муравьям, человеческого типа. При таких обстоятельствах проблему максимального развития мужчины и женщины можно решить лишь в том случае, если они достигнут состояния оптимального взаимного равновесия, — но не в смысле изолированного развития каждого из них. Из этого пра-

* Человек разумный по Линнею (лат., фр.).

вила существует только одно исключение, не являющееся чем-то абсолютно неполноценным: я имею в виду истинного аскета. Но и в этом случае речь в действительности идет о том, что полярность жизни оказывается перенесенной на какой-то другой уровень. Психологически любой аскет представляет собой влюбленного, но влюбленного каким-то извращенным образом. И если он не общается с людьми противоположного пола (я не говорю здесь о гомосексуальности: она представляет собой случай аномальной биполярности), то он тем больше общается с тем, что он сам называет более высокой самостью или Богом, что в психологическом отношении равнозначно. Чрезвычайно примечательно, что все мистики использовали эротические образы.

Итак, решающий факт состоит в том, что с точки зрения природы мужчина и женщина лишь вместе составляют человека. Индивидуальный статус того или иного мужчины или той или иной женщины может быть каким угодно, но каждый из них является словно бы одним из двух фокусов эллиптического силового поля, и ни один не сможет полностью раскрыть свой потенциал, если эта истина не воплотится в реальности. Этим я хочу сказать не то, что каждый должен жениться или вступить в любовную связь, а лишь то, что противоположный полюс должен быть занят чем-то, что подходит для этой роли. Благодаря психоанализу мы знаем, что в конечном счете человек есть психологическое, а не материальное существо, поэтому то главное, чем и благодаря чему он живет, все-таки не материальные вещи, а символы; этим объясняется, почему принципиально замещать отца, мать или супруга может практически все: например, искусство, политика или наука, даже комнатная собачка или коллекция почтовых марок. Однако лишь у экстраординарных и духовных по своей сущности личностей это замещение не является подменой в негативном смысле. Для святой Терезы Бог, вне всякого сомнения, был истинным супругом, и для нее стать им не смог бы ни один живой мужчина. Точно так же противоположный полюс большинства художников и философов находится в мире их образов и

идей; поэтому они, как правило, не расположены к браку и полностью реализуют свои сексуальные и эротические импульсы в любовных связях, которые редко означают для них нечто большее, чем побуждение к творчеству. Но по меньшей мере в 999 из 1000 случаев истинным выражением полярной ситуации являются лишь отношения мужчины и женщины в нормальном смысле.

В этих отношениях проявляется и изначальное равенство полюсов как прафеноменов. О превосходстве мужчины или женщины говорить так же смешно, как и о превосходстве положительного или отрицательного полюса электрического поля. Еще никто не нашел лучшего символа для характеристики истинной ситуации в отношениях между полами, чем тот, который предложил Аристофан в платоновском «Пире»: первоначально мужчина и женщина составляли единое существо, затем были оторваны друг от друга и теперь вечно стремятся к воссоединению. Это объясняет, почему, пока существуют люди, у каждого человека есть чувство, что ему в качестве супруга от века предопределен один, и только один человек, независимо от того, встретил он его когда-либо или нет. В действительности это не так, если душа есть нечто настолько многогранное и противоречивое, что ее центр может располагаться в самых разных местах, каждое из которых является потенциальным фокусом некоего особого и уникального силового поля. Но, пожалуй, так должно быть как с точки зрения каждого определенного центра сознания, так и с точки зрения полностью интегрированного целого. Здесь мы обнаруживаем первооснову того, что моногамный брак всегда был и будет идеальной формой отношений между мужчиной и женщиной. Я исчерпывающим образом рассмотрел этот вопрос во вступительной статье своей «Книги о браке» и не хотел бы повторяться. Однако кое-что все же следует повторить: для подавляющего большинства людей моногамный брак потому является идеальным выражением отношений между мужчиной и женщиной, что лишь в этом случае тот факт, что мужчина и женщина располагаются в одном биполярном эллиптическом поле и друг без друга представля-

ют собой нечто неполноценное, находит свое самое совершенное и самое адекватное выражение в общезначимой и общеупотребительной форме. Это выражение потому является наиболее совершенным и адекватным, что оно по самой своей сути предполагает длительность и охватывает все уровни обычной человеческой жизни, а также потому, что оно не только проявляется как интересуальное напряжение в его чисто индивидуалистическом аспекте, но и считается с требованиями расы и необходимостью ее сохранения. Оно охватывает ставшие для супругов общими расцвет и закат, взаимное переплетение свободы и необходимости, принимаемую вдвоем одну судьбу, общую радость, разделенное страдание. Лишь моногамный брак является выражением не только естественного, но и духовного порядка. В действительности он никогда не был преобладающей формой, поскольку лишь очень немногие мужчины и женщины способны к идеальным отношениям; они либо не находят своих истинных супругов, либо нуждаются в большем количестве полярных отношений, либо не способны к интеграции в индивидуальную целостность, либо, наконец, им не хватает взаимопонимания и моральной твердости, которые необходимы для прочности такого нестабильного и хрупкого образования, как близкие отношения между двумя людьми. С другой стороны, осуществление моногамного идеала всегда становится сложнее с ростом психической дифференциации, а следовательно, и значения человеческой уникальности, которая одинока и потому не способна видеть идеал в какой бы то ни было общественной форме, которая основывается на том, что является общим для всех. Поэтому как о русском царизме говорили, что он *une tempérée par l'assassinat*^{*}, так и о браке можно сказать, что он испокон века был моногамией, смягченной чем-то иным, — это «иное» было то добрачной свободой, то нарушением супружеской верности, то возможностью легкого развода или такой точкой зрения на брак, согласно которой он имел даже меньшее значение, чем

^{*} Смягченность убийства (фр.).

*liaison**, или официально признаваемой под тем или иным названием полигамией или полиандрией. Но то, что идеальное решение проблемы состоит в длительном союзе одного мужчины и одной женщины, доказывается уже тем, что каждая развитая и сложная душа несет в своей глубине именно этот, и никакой другой, идеал. Идеалы ни в коем случае не иллюзии — они суть проекции образов самой глубинной субъективной действительности.

Итак, мужчина и женщина по самой своей сути взаимосвязаны. Это означает, что их единство представляет собой один из прафеноменов природы. Но это означает и нечто большее: это означает, что любое изменение одного полюса с необходимостью влечет за собой и соответствующее изменение другого. Идеал заключается в абсолютном равенстве мужчины и женщины. Этим я хочу сказать не то, что они как люди должны быть равноправны (это само собой разумеется), а то, что и тот и другая должны достичь своего максимально полного и богатого раскрытия. Учитывая прежний характер их взаимоотношений, это раскрытие, в свою очередь, предполагает правильное соотношение надлежащим образом развитой мужественности и соответствующей женственности. Но в действительности они крайне редко бывают равны. Ибо здесь наиболее впечатляющим образом проявляется мистериальный характер пола. Если равенство нарушается в пользу одного полюса, то положение другого неизбежно ухудшается по внутренним, а отнюдь не по внешним причинам. Если мужчина доминирует слишком сильно, то женщина теряет в своем качестве и ценности, как бы она ни была счастлива; то же самое относится и к противоположной ситуации. Психическая корреляция полов столь же первична, как и физическая. Общественное мнение признает этот факт в той мере, в какой он проявляется в женской способности к адаптации и мимикрии; настоящая женщина всегда инстинктивно знает, чем она может сильнее всего привлечь мужчину. Однако общественное мнение не видит истинного смысла этого факта. В дей-

* Любовная связь (*фр., англ.*).

ствительности речь идет здесь вовсе не об адаптации: женщина, само собой разумеется, *up to date*^{*}; если бы это было не так, она не была бы готова к различным ситуациям и трудностям. Достаточно всего лишь наличия подходящего мужского полюса, чтобы пробудить в ней эти способности. И речь здесь вовсе не идет об обязательном личном контакте: она обладает этими способностями изначально, благодаря влиянию коллективного бессознательного. Ее так называемая способность к адаптации в действительности представляет собой предвосхищающее осуществление существующего вечно коррелятивного отношения между полами — или его восстановления, если оно нарушено в результате изменений, произошедших с одним из полюсов. Например, именно женщина в своем образе жизни и в одежде впервые смогла дать выражение тому новому соотношению полов, которое установилось в результате мировой войны. Мужчина кажется более независимым, ибо его роль в жизни заключается в том, чтобы воплощать свободную инициативу; он выражает принцип вариативности, а тем самым непостоянства и воли к риску. Кроме того, в мужчине доминирующим является дух, и поэтому то, что он называет своим «делом», может быть более глубоким выражением его сущности, чем его отношение к женщине и детям. Однако в большинстве случаев его независимость является лишь видимостью. Так как если он попадает в зависимость, то становится более зависимым, чем когда-либо была и когда-нибудь будет женщина; именно вследствие своей большей независимости он в меньшей степени способен противостоять воздействию противоположного пола. Христианские и буддистские аскеты, запрещавшие своим ученикам любые контакты с женщинами, отнюдь не были глупцами¹. Отличить замужнюю женщину от де-

^{*} Находится на высоте положения (англ.).

¹ Я не могу одолеть искушение воспроизвести здесь одну прелестьную историю, подчеркивающую глубокую человечность индийцев; эта история взята из их священных книг. В ней рассказывается о том, что Брахмахарья никогда не имел отношений

вушки весьма непросто (по крайней мере, в наше время); *la jeune fille tipique** всегда была чистым продуктом искусства. Женатого же мужчину, наоборот, всегда можно узнать. Когда он теряет свою свободу, он становится так психически беспомощен, что в своих отношениях с воздействующей на него женщиной он *de facto* меняется куда больше, чем под влиянием мужчины может измениться женщина. Ведь общеизвестно, что вдова или женщина, покинувшая своего супруга, немедленно возвращается к своему изначальному типу. Тому, кто сомневается в том, что мужчина в большей степени подвержен воздействию, следует подумать о том, что в отличие от мужчины женщина изначально предрасположена к зависимости, поэтому его зависимость имеет гораздо большее психологическое значение, чем ее.

Все вышесказанное относится к индивидуальной стороне вопроса. Но существуют различные состояния равновесия между полами, которые можно расценить как явления универсального характера. Общий строй определенной культуры может быть таким, что в ней господствует либо мужчина, либо женщина. И то и другое в равной степени естественно. С точки зрения природы значение имеет лишь сама по себе корреляция; и очевидно, что одно и то же коррелятивное состояние может выражаться в бесконечном множестве полярных отношений. Примеры этого мы обнаруживаем в самых различных уголках животного мира. У человека самые крайние случаи, которые, однако, не выходят за границы нормального, воплощают патриархат, при котором мужчина является тираном, а женщина рабыней, и матриархат, при котором дело обстоит прямо противоположным образом. Между двумя этими крайними точками располагаются состояния всех цветов и оттенков, какие только возможны. Сегодня в результате совместного влияния процесса

с женщинами, «разве только, - добавляет история, - женщина сама себя предлагала, ведь отказаться было бы невежливо. Во всяком случае, таково мнение Риши Вамадева».

* Типичная девушка (*фр.*).

эмансипации женщин и научного просвещения чистый патриархат во всем цивилизованном мире приближается к своему историческому концу. Но есть одна страна, в которой кажется неизбежной победа его антипода, абсолютного матриархата: эта страна — Североамериканские Соединенные Штаты.

Во время своего лекционного турне по Америке я взял себе за правило всегда говорить именно то, что думаю, причем в максимально резкой и вызывающей форме, ибо я полагал, что, наблюдая за вызванной своими словами реакцией, я быстрее всего смогу добраться до корней того, что составляет истину Америки. И все ставшие мне известными реакции на мои откровения по поводу отношений между мужчинами и женщинами подтвердили мои предположения. Большинство мыслящих мужчин и женщин признавали мою правоту. Ни одну женщину мои утверждения по-настоящему не обидели, но очень многие из них сердились из-за того, что они воспринимали как разглашение профессиональной тайны: как и все господствующие классы, они не хотели, чтобы их подданные имели представление о реальной ситуации. Но самым интересным было то, что в ярость пришло прямо-таки удивительное количество мужчин: этого не произошло бы, если бы я был неправ; очевидно, что они чувствовали мою правоту и желали при этом, чтобы все оставалось по-старому. Весьма подозрительным было то, что те из них, кто пытался возражать мне письменно, упорно настаивали на вещах, имеющих самое минимальное значение. Так бихевиорист Джон В. Уотсон объявил, что мужчина все еще «контролирует кошелек», какового обстоятельства достаточно для доказательства того факта, что он еще правит. На самом деле это возражение совершенно ничего не доказывает. Господствующее или подчиненное положение человека зависит в первую и последнюю очередь от оказываемого им психологического воздействия. Одна лишь материальная власть сама по себе не приносит никакой пользы (решающим может быть разве что голое наси-

лие, что в цивилизованном обществе является редким исключением) — она получает значение лишь тогда, когда в нее верят как в решающий фактор. В Европе этого никогда не было. Конечно, у нас никогда не могло возникнуть такой ситуации, как в Индии, где любой принадлежащий к касте браминов нищий ставился выше короля более низкого происхождения. Конечно, моральный авторитет никогда не имел у нас такого большого значения, как в Древнем Китае, где вся система правления основывалась на моральных ценностях, или как в Древнем Египте, где фараоны действительно угнетали народ и, однако, никогда не испытывали для этого потребности в армии, поскольку для осуществления их воли достаточно было одного их авторитета. Так или иначе, Европа всегда верила в материальную силу. Однако финансовая власть никогда не была для нее последней инстанцией. Эта диковинная вера относится к самым оригинальным особенностям Соединенных Штатов. Ее корни, естественно, в приватизме. В Америке люди действительно верят, что богатый является человеком более высокого сорта именно потому, что он богат; в Америке факт выдачи кредита фактически дает кредитору моральное право на выдвижение определенных требований. Даже в послевоенной Европе ни одному меценату, оказавшему поддержку какому-нибудь институту, не могло прийти в голову, что он благодаря этому получил право «контролировать» (*to control*) его деятельность. Даже в послевоенной Европе лишь самая развращенная богатая женщина могла полагать, что, выйдя замуж за небогатого мужчину, она тем самым его купила и потому обладает на него законными правами собственности. Тип *marrying sort of girl*^{*}, делающих состояние на бракоразводных процессах, а также процессах, связанных с нарушением данного им обещания жениться, в Старом Свете еще не родился. В майском номере за 1928 год журнала «Harpers Magazine»

* Охотницы за мужьями (букв. «сорт девушек, выходящих замуж») (англ.).

помещена очень важная статья Генри С. Бирса «Woman and the Marriage Market»^{*}; автор отстаивает мнение, что женщина изначально рассматривает саму себя как товар и что ее прогрессивность в значительной мере можно объяснить колебаниями на брачном рынке. Я убежден, что, хотя тезис Бирса не верен в отношении большинства американских женщин, образ мыслей которых является точно таким же, как и образ мыслей всех нормальных женщин мира, лишь очень немногие американцы, как мужского, так и женского пола, с порога отвергнут эту теорию; я даже убежден, что значительная доля женщин, занимающих высокое положение, интуитивно согласны с ней, признаются они в этом или нет. В Европе же, наоборот, точка зрения Бирса натолкнется на искреннее и всеобщее возмущение. Казалось бы, в том, что касается Америки, это различие в умонастроениях лишь подкрепляет направленное против моей точки зрения возражение Уотсона. Однако положение женщины в Америке представляет собой одно-единственное всеобщее исключение из всеобщего правила. Разумеется, женщина не зарабатывает большей части тех денег, которые тратит, и если она так богата, то обычно благодаря какому-либо мужчине. Действительно, пока еще мужчина зарабатывает гораздо больше. Несмотря на это, положение женщины в Соединенных Штатах — это воистину положение господствующей расы, ничуть не отличающееся от положения англичан в Индии.

Чтобы в полной мере объяснить читателю, который не привык понимать под властью нечто иное, нежели власть денег, что я имею в виду, хочу сначала рассмотреть эту проблему под несколько иным углом зрения. С этой целью я намереваюсь кратко и не вдаваясь в подробности изложить здесь несколько мыслей; некоторые из них составят содержание главы «Демократия», а другие будут подробно развиты лишь в главе «Морализм». Однако это не означает никакого отступления от темы,

^{*} Женщина и рынок замужества (англ.).

наоборот, кажущийся окольным путь быстрее всего приведет нас к цели.

Две важнейшие характеристики эпохи демократии состоят в следующем: эта эпоха верила и верит в различия в области способностей, но не верила и не верит в различия в области бытия. Исторические причины такого неверия очевидны. Традиционный жизненный порядок, разрушенный демократией, основывался на той предпосылке, что между людьми существуют изначальные бытийные различия, которые не преодолимы никакими талантами и никакими заслугами; эти различия являлись единственной возможной основой разумной социальной структуры; в конечном счете они были обусловлены исключительно естественной наследственностью, разве что закон природы мог быть нарушен законом божьей милости, как это происходило в случае религиозного призвания и — крайне редко — в случае исключительного светского величия. Очевидно, что во многих отношениях эта идея была неудачной. Наследственность действует не столь надежно и точно, как она предполагает. Не стоит также полагаться на то, что божественная милость непременно проявится в самый нужный момент. Но главное — порядок, который основывается исключительно на бытийных различиях, не считается с рациональной стороной жизни, а над ней лишь властвуют понимание и воля. Поэтому такое общество, как средневековое, по самой своей сути не может быть прогрессивным. «Дельность» ни в каком смысле не станет в нем руководящим принципом, ибо в нем ни один отдельный человек не может благодаря своим способностям развиваться вне предназначенного ему от рождения положения или перерасти его в процессе своего развития. В каждом конкретном случае, когда присущее от рождения социальное положение отдельного человека не соответствует его личному статусу, оно противоречит действительности жизни. И положение становится откровенно несправедливым, когда считающиеся высшими касты в действительности не воплощают собой более высокого уровня. Демократический идеал мог и должен был завоевать западный мир

просто потому, что к тому времени, когда конфликт между старым и новым порядком достиг своей остроты, средневековая иерархия уже не соответствовала истине в действительности.

Однако если даже ко времени падения средневекового порядка воплощение главной средневековой идеи и было, по сути, мертво, а сама эта идея была в некоторых отношениях неудачна, это вовсе не значит, что она была ложной. Действительно, существует реальное, чисто бытийное превосходство, независимое от каких бы то ни было нуждающихся в доказательстве способностей. В целом внутренняя структура человека такова: он есть живой творческий дух, истинная духовная «субстанция» в смысле индийской философии и нашего собственного средневековья, каковая субстанция выражается посредством имеющихся психологических функций, но отличается от них по своей сущности. Этот дух, чисто субъективная и в каждом отдельном случае уникальная величина, воплощает в человеке то, что каждый ощущает как свое предельное и самое подлинное бытие. Оно непосредственно излучает его своеобразие, никоим образом не связанное с иными способностями человека, — мы знаем многих людей, которых каждый современник считал великими, которые пользовались невероятным влиянием и которые при этом вовсе не были как-то по-особенному талантливы. Воздействие этого бытия спонтанно, оно соответствует тому, что древние китайцы называли ву-вей¹. Его нельзя ни объективировать, ни даже доказать его существование, но все же в итоге оно оказывается решающим для всего, чего добивается человек, даже на уровне обычных способностей. Ни один великий капитан индустрии в самом современном и механизированном смысле никогда не был посредственностью в том, что касается его личного влияния, авторитета и магнетизма. Бытийный статус человека определяется изнутри. Этот центр

¹ Это выражение и то, что за ним стоит, я подробно разобрал в главе «Превосходство над миром» своей книги «Творческое познание».

может находиться либо в глубинах индивидуальной уникальности, либо в коллективном бессознательном, либо даже в том, что мы называем божественным. Он может находиться на самой поверхности, так что его реальность практически не дает о себе знать вне чисто инструментальных функций; достаточно вспомнить о поверхностно-светском типе и о другом, столь частом в наше время, полностью выражающем свою душу в том, что с таким же успехом способна сделать и машина. Очевидно, что социальный порядок может быть основан на описанных здесь различиях, а не на инструментальных способностях; хотя их не так легко обнаружить, как техническую дельность, их следует признать за каждым, кто научился ориентироваться на «бытие» вообще, а кроме того, их наличие может доказать *pragmatic test*. Бытие точно так же воздействует на бытие, как любая сила на другую силу того же уровня.

На этих бытийных различиях основывается любой аристократический общественный порядок. Такой порядок неизбежно должен быть иерархическим; поскольку сущность бытия заключается в его уникальности, его господствующим принципом должно быть различие, а не равенство. Лидерство всегда зависит от бытийного статуса. Лишь тот способен к личному господству над другими — личному, а не осуществляемому посредством голого насилия или при помощи внеличных механизмов, — кому другие непроизвольно следуют или подчиняются; а они это делает, если ниже их бытийный уровень. Души не оторваны друг от друга, как тела; поэтому тот, кто господствует над собственной натурой, с естественной необходимостью оказывается прирожденным вождем тех, кто не способен к самоконтролю. Таким образом, у аристократии совершенно здоровая основа. Поэтому в большинстве стран борьба между демократической и аристократической точкой зрения завершились определенным компромиссом. Личные способности получили все возможности осуществиться; с другой стороны, бытийные различия также определенным образом учитываются. Лишь в одной стране неоспоримая истина существова-

ния бытийных различий совершенно отброшена. Эта страна — Америка. Там, и только там весь социальный порядок построен на той предпосылке, что люди при любых обстоятельствах рождаются равными и что любые качественные различия можно в полной мере объяснить и оценить при помощи понятия «способностей». Однако американская демократия сделала одну — с ее же точки зрения — роковую ошибку: она не учла в своей картине жизни женщину. Таким образом, инстинктивное знание той истины, что существуют не только различия в способностях, но и различия бытийные, нашло в ее лице возможность выражения. Если в Америке все мужчины должны быть равны, то каждый американец инстинктивно признает — если не в своих словах и мыслях, то в тем большей мере в своей бессознательной установке и своих действиях, — что женщина воплощает более высокий, чем он сам, бытийный тип.

Фактически женщины образуют в сегодняшней Америке высшую касту. Они столь многого добились, несомненно, не только потому, что американский мужчина мог лишь через этот клапан выпустить свое инстинктивное знание о бытийных отличиях и что женщина осталась вне демократической картины жизни. Главная причина состоит в том, что, с мужской точки зрения, отличительным признаком женщины во всех случаях является непосредственное излучение ее бытия, так что для американского мужчины в данном случае речь идет не о перенесении (в психоаналитическом смысле) первообраза из бессознательного на какой-либо объект, а о познании действительности. Тем сильнее американский мужчина, который в своем собственном представлении признает лишь способности, должен чувствовать иную ориентацию изначальной природы женщины, что объясняет тот парадоксальный факт, что женское бытие приобрело наибольшее значение именно в той стране, в которой женщина наиболее активна и оценивает себя в первую очередь исходя из понятия способностей. Однако на самом деле решающую историческую причину господства женщины в Соединенных Штатах следует искать в том, что было

сказано выше. В противном случае женщина не смогла бы развить в себе самосознание, которое столь принципиально отличается от мужского. Американский мужчина испытывал благоговение перед женщиной, возраставшей в себе это самосознание, точно так же как в аристократическом обществе существовало благоговение низших сословий перед высшими, которое вновь и вновь вызывало в детях высших сословий чувство собственного превосходства. Американская женщина изначально чувствует свое превосходство, и это чувство является глубочайшей причиной ее фактического превосходства и господства. Ибо чувство есть непосредственное выражение бытия на субъективном уровне; в самом деле, ведь невозможно ощущать то, чего нет в действительности. Именно таким образом американская женщина развила в себе качества, характерные для всякой расы господ. Она обладает непосредственным авторитетом, ей не нужно доказывать свое более высокое положение: оно признается как нечто само собой разумеющееся. Поэтому те, кто «контролирует кошелек», отдают все добываемые ими деньги своим женам и дочерям, а те расходуют их зачастую точно так же, как аристократические прожигатели жизни, которые впустую тратили весь приносимый их крепостными доход. Так, в большинстве бракоразводных процессов присяжные как нечто само собой разумеющееся выносят решение в пользу женщины. Этим же объясняется и то, почему любезность американцев в отношении женщины представляет собой нечто совершенно иное, нежели европейское рыцарское благородство: душе европейцев было присуще уважение, которое испытывает сильный к слабому, тогда как американцы явным образом демонстрируют все признаки благоговения низшего сословия перед высшим. Наконец, тем же самым объясняется и то, почему в Америке *marrying sort of girl* не считаются просто чем-то омерзительным; в силу сложившегося положения вещей они оцениваются с тем же снисхождением, с каким в Европе смотрят на встречающуюся время от времени развращенность истинных аристократов.

Здесь мы обнаруживаем настоящую причину внуша-

ющей ужас власти американских женских клубов и других женских организаций. В чисто финансовом отношении мужские организации намного могущественнее; но так как женщина пользуется авторитетом, подобающим представителю общепризнанной высшей касты, ее влияние находится вне всякой связи с фактами. Вернемся еще раз к возражению Уотсона, что мужчины «все еще контролируют кошелек». Как доказывает история, господствующие сословия, как правило, не были богатыми; часто они даже дорожили тем, что не богаты, чтобы тем самым еще более убедительно продемонстрировать, что их верховенство недостижимо; ведь благодаря труду разбогатеть может каждый, но никто не может достичь бытийного статуса, который, по крайней мере потенциально, не принадлежал ему от рождения. А это приводит нас к окончательному развенчанию современного предрассудка, что превосходные деловые качества как таковые позволяют их обладателю занять более высокое положение. Именно американская религия труда больше всего помогла женщине добиться психологического доминирования. Изначальные истины жизни всегда и всюду вопреки любым теориям доказывают свою состоятельность. Одна из этих истин состоит в том, что работник всегда подчиняется господину — господину как типу, который благодаря наличию у него способностей, отсутствующих у работника, может, занимая более высокое положение, управлять его трудом. В Древнем Риме бывало так, что относительно бедный человек владел рабом, обладавшим несметными богатствами, которые хозяин не имел права у него отобрать, — и тем не менее раб оставался рабом, полностью зависимым от своего господина вплоть до того, что имуществом последнего была сама его личность. Природа господина никак не связана с прилежанием и деловыми качествами в том смысле, в каком они являются характеристикой прирожденного работника, ибо то, на что способен только он, зависит не от способности выполнять какую-либо работу в обычном смысле, а от спонтанного излучения бытия. Англичане от природы ленивы, но на них непроизвольно работают другие. Вот и отноше-

ние американской женщины к американскому мужчине очень похоже на отношение англичан к их иноплеменным подданным. Разве что американский случай настолько радикален, что во время путешествия по Соединенным Штатам мне вновь и вновь невольно приходили в голову два сравнения, которые большинству американцев покажутся чудовищными. Первое связано с отношением египетских рабов и крестьян-арендаторов к египетской царице. Феллах не мог и мечтать ни о чем лучшем, как день и ночь гнуть на нее спину; она же, что воспринималось как нечто само собой разумеющееся, выплачивала ему его заработок по своему усмотрению. Другое сравнение отсылает нас к восточному гарему. Конечно, женщины в Америке вовсе не сидят взаперти. Но вот мужчины, пожалуй. Они заперты на своей работе, что в психологическом отношении то же самое.

Неполноценность мужчины по сравнению с женщиной действительно является главной характеристикой американского общественного устройства. К уже приводившимся иллюстрациям, доказательствам и объяснениям следует, пожалуй, добавить следующее: восходящий к пуританизму комплекс неполноценности американца, в особенности присущий его душе страх, гораздо сильнее развит в мужчине, нежели в женщине, ибо для самого пуританизма был характерен патриархальный образ мыслей. Женщина не считалась способной к инициативе, поэтому она в меньшей степени, чем мужчина, ощущала тяжесть первородного греха; она не могла быть изначально виновной. Поэтому логично, что инициатива по реабилитации плоти исходила в Соединенных Штатах от женщины, а не от мужчины. Разумеется, существуют миллионы домов, в которых положение женщины ничуть не отличается от ее обычного положения в Европе; всюду, где мужчина и женщина являются активными сотрудниками, действующими в узком сегменте жизненных обстоятельств, а их существование зависит от их совместного труда, само собой утверждает их естественное равенство. Даже на Востоке мы видим ту же самую картину. Однако вся история доказывает, что своим истоком

тип того или иного народа всегда обязан не тем, кто трудится в безвестности, а тем, кто достиг выдающегося положения. Влияние всегда распространяется сверху вниз. Иногда требуется значительный период времени, чтобы оно смогло утвердиться. Но я осмелюсь заявить, что нравы самых низов сегодняшнего немецкого бюргерства приблизительно соответствуют дворцовому этикету XI столетия. Точно так же господство женщины, распространенное сегодня в передовых кругах Америки, рано или поздно, пусть и в ослабленной форме, но абсолютно неизбежно распространится и на широкие массы (если только какой-нибудь кардинальный поворот не изменит всего нынешнего направления развития). Именно в Соединенных Штатах это неизбежно, поскольку демократия в них означает равные шансы для всех, а богатство считается доказательством превосходства, то состоятельные слои народа надолго должны стать истинными выразителями сущности своей страны.

Рассмотрим теперь смысл и особенности специфического положения женщины в американской жизни более подробно, а именно на фоне коррелятивного по своей сущности взаимоотношения полов, в соответствии с которым любой аномальный рост значения одного полюса неизбежно влечет за собой ослабление другого. Естественно, что любой подобный рост значения является следствием в первую очередь внешних причин. Столь распространенное повсюду патриархальное подчинение женщины всегда было результатом насильственного покорения. Точно так же и его ликвидация осуществлялась и осуществляется насильственным образом — процесс эмансипации женщин был сущей войной, — а окончательная победа достигается тем же самым образом, каким выигрывались военные кампании, то есть путем использования разногласий во вражеском лагере: единственными во всем мире победителями в мировой войне оказались женщины. Точно так же американки никогда не добились бы своего нынешнего господствующего положения, если бы изначально женщины не составляли в

Америке меньшинства; если бы патриархальная и пуританская традиция не предоставляла бы женщине относительно много свободного времени и тем самым, несмотря на все притеснения в других отношениях, не способствовала ее бытийному развитию, а не развитию ее способностей; если бы естественные последствия такого положения дел не проявились в ту эпоху, когда воцарился благоприятствовавший женской эмансипации дух времени, и если бы в Соединенных Штатах школьные учителя не были в большинстве своем женщинами, что развивает в американце невероятно мощный комплекс матери, ведущий к определенной форме затяжного инфантилизма. Однако все это никак не доказывает отсутствия внутренних причин превосходства женщины, всякая аристократия происходит из изначального равенства, а внутреннее всегда раскрывается благодаря внешним обстоятельствам. Человек поверхностный мог бы предположить, что патриархат или матриархат, по крайней мере в некоторых случаях, обязаны своим возникновением экономическим причинам; так, в примитивных обществах престиж женщины рос вместе с ростом значения ее участия в ведении домашнего хозяйства, а ее участие состояло в земледелии и животноводстве, тогда как мужчина был занят охотой. Но эту точку зрения легко опровергнуть, если вспомнить, что в архаичные эпохи за богатством признавалась магическая сила, как, впрочем, и за любым другим видом власти; если африканскому дикарю сопутствует удача на охоте, то он объясняет ее в первую очередь не своим умением метко стрелять из лука, а той тщательностью, с которой он перед тем, как выйти на охоту, исполнил магические ритуалы. А поскольку сегодняшняя американская душа примитивна, то смысл многих точек зрения и действий, которые кажутся совершенно *matter-of-fact*, в действительности следует искать в области магического. К ней относится не только вера *Christian Science*, но и вера в богатство. Действительно, превратить низкий статус человека в высокий богатство может лишь в том слу-

* Сухой, прозаический (англ.).

чае, если оно обладает магической силой. Столь же примитивно и отношение американца к женщине.

А теперь кратко обрисуем тот смысловой фон, на котором факты должны проступить с максимальной отчетливостью.

Американские суды присяжных почти всегда выносят решение в пользу женщины. В противоположность этому не только ни одна европейская женщина, но даже и ни один европейский мужчина по-настоящему не верит, что то, что произошло с какой-нибудь женщиной, в конечном счете не соответствовало ее намерениям. В Старом Свете в женщине инстинктивно видят соблазнительницу, ведь именно Ева вручила Адаму яблоко, а не наоборот. Точно так же общественное мнение в Европе покровительствует мужским блужданиям, в которых среди прочего выражается его антипатия к женитьбе. Это означает, что в Европе в бессознательном как мужчин, так и женщин господствует мужская точка зрения. В Соединенных Штатах дело обстоит прямо противоположным образом. Женская точка зрения господствует решительно везде, за большей частью поступков мужчины стоит женское влияние. В главе «Социализм» мы установили, что типичной установкой женщины является альтруизм: из народа чрезвычайно мужественных пионеров никогда не возник бы народ приверженцев идеала общественно-го служения, если бы в бессознательном мужчины не доминировала женская точка зрения. Чувство собственности — это изначально женское качество; она обладает, сохраняет, оставляет в наследство; поэтому во многих примитивных обществах лишь женщина обладала правом наследования. Изначальный инстинкт мужчины направлен на завоевание, а не на обладание. Доказательством этому служат не только феодальная или большевистская системы — и та и другая суть изобретения патриархальных народов, — но и деятельность всех американских финансовых магнатов: в действительности для них главное заключается в добывании денег, а не в обладании ими. И все же сегодня американская нация выше всего ценит именно обладание, настолько, что ей кажется, что

ни кровопролитие, ни порабощение других народов не являются слишком высокой ценой для сохранения ее капиталов. Такие же чувства испытывает и любая мать, когда на карту ставятся интересы ее семьи. То же самое относится и к другой стороне американского приватизма: природа интересов женщины испокон веков была частной, то есть личной, в отличие от общественных интересов мужчины; если же вся нация ориентирована приватистически, если она не слишком высокого мнения о законе и государственной власти, то уже это служит доказательством психологического господства женщины. Точно так же обстоит дело и с тем, что составляет живую основу доктрины Монро: в том, что касается внутреннего переживания, женщина всегда живет в своего рода замкнутом круге; ее естественный мир изолирован; ее инстинкт гораздо быстрее согласится оправдать царящие за его пределами бессердечие и жестокость, чем инстинкт мужчины. Еще одним доказательством психологического господства женщины является культ ребенка. В какой-то степени его доказывают также и те идеалы, корни которых в американской примитивности и господстве животного идеала: женщина ближе к природе, она воплощает дух земли, противоположный принципу духа. И она предпочитает рутину переменам — удовольствие, которое она получает от смены моды, представляет собой лишь поверхностную реакцию, компенсирующую ее глубочайшее желание стабильности; повторение для нее милее уникальности, чего достаточно для объяснения престижа идеала нормальности и единомыслия. Присущее Америке бесчисленное множество законов и предписаний также имеет женские истоки: женщина требует защиты; ее инстинкт настаивает на наличии установленных правил и обычаев, и прежде всего на минимуме риска. Несомненно, есть некое противоречие между этим фактом и другим, состоящее в том, что женщина не слишком высокого мнения о законе и объективированном порядке, — но такова жизнь. Вот один прелестный пример женской закономании. На юге Соединенных Штатов господство женщины не столь абсолютно, как на севере. Дочери

Севера часто сетуют, что мужчины на Юге ненадежны (*not safe*); что они охотно говорят красивые слова, которые совсем не соответствуют тому, что они думают; в особенности же ужасно то, что на Юге сложно возбудить процесс по поводу нарушения обещания жениться, — это осуждение Юга дочерьми Севера чудесным образом демонстрирует, куда в механизированную эпоху может привести исключительное господство женской установки.

То, что вся новая мораль имеет женское происхождение, не вызывает сомнений. Разумеется, для мужчины разнообразие в сексуальной жизни имеет большее значение, чем для женщины; поэтому новая установка молоденьких девушек представляет собой лишь перемену полюса. Но, с другой стороны, женщина никогда не придавала особого значения девственности. Но тем большее значение она придавала благопристойности, престижу и хорошей репутации. И американская практика разводов и повторных браков, как только возникнет новая влюбленность, есть не что иное, как новое выражение женского желания быть *respectable** любой ценой. Брак может продлиться не более пяти минут — но он должен состояться. А как обстоит дело с сухим законом? В свои великие эпохи индейцы и магометане не пили, но для этого были очевидные климатические причины, получившие впоследствии религиозно-духовное толкование. В Америке таких причин для абстиненции нет. Все, что говорится об электризирующем климате этого континента, полная чушь: он не побуждает к действию, а лишь возбуждает; именно поэтому американец менее витален, чем европеец, араб и индеец. Следовательно, если он отвергает спиртные напитки, то это просто означает, что он более высокой жизни предпочитает более низкую. Как и любой организм, человек в любом случае нуждается в возбуждающем средстве. Поскольку он, по сути дела, представляет собой некое лабильное равновесие; поскольку каждое мгновение меняется и его жизненная сила, чтобы соответствовать новым требованиям, он нуждается в постоянной стимуляции; против спиртных

* Респектабельный (англ.).

напитков и даже против наркотиков, пока их действие благотворно, в принципе, возразить нечего. Против них нет возражений и в том случае, если они вредны лишь в том смысле, что постепенно оказывают пагубное влияние на организм; ведь вместе со смертью жизнь и без того закончится, а вдохновенная жизнь лучше пустой. Мужчина же является носителем принципов инициативы и вариативности. Вследствие этого он тем больше нуждается в возбуждающих средствах, чем более творческой натурой является. С незапамятных времен вино превозносилось как дар богов; в Библии третье, дошедшее до нас проклятие обращено к первому прогибиционисту Хаму, который осмелился надругаться над Ноем. Женщина, напротив, никогда не пила. Ее роль не в разнообразии, а в стабильности и повторении. Единственное возбуждающее средство, в котором она нуждается, — это мужчина. Поэтому, со своей точки зрения, она не может понять, почему мужчине нужно что-то еще, кроме нее. Когда женщина приходит к господству, то совершенно естественно, что она выступает за абстиненцию, — это тем более естественно, что вместе с властью растет и потребность во власти; при абсолютном матриархате женщина неминуемо приходила к убеждению, что от мужчины не требуется ничего иного, кроме как быть послушным и прилично себя вести; и мужчины, по всей видимости, тем более послушней, чем в меньшей степени над ними господствуют принципы вариативности и инициативы, то есть чем менее они мужественны (даже «господствующие» женщины безусловно за физическую мужественность, однако самый мужественный в этом отношении мужчина может быть духовным евнухом). Из всего приведенного ясно, что установка прогибиционистов нормальна лишь для женщины. А американские мужчины-фанатики сухого закона также по большей части и в значительной степени женственны в психологическом отношении. Достаточно сравнить их с любым англичанином: когда я после своего путешествия по Соединенным Штатам сошел на берег в Англии, мне показалось, что все англичане принадлежат к потомству бога Бахуса. Я придерживаюсь мнения, что североамериканец, чтобы показать

себя с лучшей стороны, гораздо сильнее, чем кто-либо, нуждается в том, чтобы ему в кровь влили тот бокал шампанского, который Бисмарк считал необходимым для северных немцев. Если его разговоры так убоги, если во всех областях, которые не касаются его бизнеса, он оказывается так духовно пассивен, то, пожалуй, для него наилучшим было бы такое законодательство, которое возвело бы в норму образ жизни, характерный для французов и итальянцев. Я хорошо понимаю, насколько в настоящее время это нереально, когда большие деньги инвестированы в контрабандный бизнес, а чиновники извлекают из него выгоду в форме взяток. С тех пор как алкоголь был запрещен, возделывание винограда стало приносить гораздо большую прибыль. Наконец, сухой закон позволяет американцам удовлетворять свои духовные потребности. Здесь шкала простирается от темы для беседы, повода проявить свою находчивость и до религиозного культа. Однажды меня привели в самую настоящую часовню, где место священных сосудов занимали золотые приборы для смешивания коктейлей, а запасы вина мне показали с таким благоговением, с каким европейцы или азиаты относятся лишь к священным книгам... И все же мне кажется, что вреда сухой закон приносит больше. Даже главный аргумент прогибационистов, что, после того как Америка стала «сухой», в ней выросло производство, не убедителен. Человек не производственная машина. По тем критериям, которые признает всякий культурный человек, Соединенные Штаты имеют куда большие основания гордиться Уолтом Уитменом и Эдгаром Аланом По, которые в моральном плане были достаточно сомнительными личностями, чем всей своей продукцией от эпохи отцов-пилигримов и до того года от Рождества Христова, в котором я пишу эти строки¹.

¹ Самой прелестной непреднамеренной насмешкой над сухим законом, с которой мне когда-либо довелось сталкиваться, была песня, которую распевали в Женеве маленькие - от 5 до 12 лет - девочки, принадлежавшие молодежной лиге Голубого креста. На мелодию «Привет тебе в победном венке» (которая является также национальным гимном Швейцарии) они пели:

Несомненно, кроме господства женской точки зрения, существуют и другие причины, приведшие к принятию сухого закона. Историк мог бы объяснить его даже одним только пуританизмом, хотя и был бы неправ. Однако точка зрения историка меньше всего годится для того, чтобы показать жизнь такой, какова она в действительности. Она шагает от одного «теперь» к другому. Качественную особенность «теперь» никогда нельзя объяснить прошлыми событиями. И прежде всего потому, что благодаря новому духовному импульсу унаследованные от прошлого факты получают совершенно новый смысл. Большинство коренных американцев и американок, принадлежащих к старым родам, кажется, не способны понять, что сегодня в Америке доминирует женщина. Это объясняется тем, что в их бессознательном мужчина борется за свою жизнь — ведь он господствовал в старую эпоху пуританизма; именно поэтому «мужской протест» женщины был в Соединенных Штатах столь радикальным. Никогда не существовало столь радикально патриархального мужчины, как истинный пуританин. Вплоть до относительно недавнего времени тип «матери-домохозяйки» встречался в Соединенных Штатах чаще, чем где-либо еще; национальный идеал дамы отсутствовал. Очень многое из того, что ведет к матриархату, объясняется реакцией на господствовавшей в течение столетий крайней патриархальностью. Но здесь мы говорим исключительно о реальной душе Соединенных Штатов. На непредубежденного наблюдателя женщины, которые еще и сегодня борются с господством мужчин, производят такое впечатление, словно они сражаются с привидениями.

Je vois avec dégoût
l'alcool qui rend fou
Régner partout.

Marchez sans crainte
Contre l'abstinence
A sa voix sainte
Debout, debout

А теперь попытаемся более точно определить, каким образом чрезмерное господство женщины должно с необходимостью привести к снижению роли мужчины и как это фактически происходит. Если вследствие господства идеала социального служения ближний изначально рассматривается как имеющий большее значение, чем самость человека, то эта самость не имеет возможности для своего развертывания. Мужчина изначально не альтруистичен, но эгоистичен; это его основная добродетель, ибо всякая инициатива и всякое творчество связаны с сосредоточенностью на самом себе. Если же мужчина подавляет этот свой импульс, он не может не лишиться значительной части своей мужской силы. По всей видимости, в своем преследовании материальных целей американец столь эгоцентричен прежде всего потому, что это его последняя возможность полностью раскрыть эту сторону своей мужественности. Кроме того, если главное — это собственность и безопасность, если национальным идеалом является повторение в смысле *normalcy* и *likemindedness*, то со своей стороны это не может не вести к недоразвитости принципов вариативности и инициативы, составляющих сущность мужского бытия. А чрезвычайно высокий уровень развития этих добродетелей в сфере бизнеса означает не что иное, как то, что то, что должно быть всеобщей характеристикой, стало чем-то узкоспециальным. Далее, если определяющими становятся частные проблемы и интересы узкого круга людей, то это делает невозможным успешное развитие прометеевского типа мужчины, бунтаря, бросающего вызов небу. А ведь все лучшее, что есть в мужчине, находит свой прообраз в Дон Кихоте, Прометее или Фаусте. В этом заключается еще одна причина отсутствия в Америке истинных художников. Женщина в отличие от мужчины озабочена в первую очередь утилитарными проблемами. Мужчина — авантюрист, игрок, вечный ребенок. Со времен матери Евы женщина воспринимает все и вся ужасающе серьезно, ибо именно она испокон веков несла основной груз ответственности; один тот факт, что для мужчины любовь — игра, а для женщины — вопрос жизни и смерти, превратил ее в ответственное по самой

своей сути существо. Но в Соединенных Штатах утилитарна вся культура в целом. Все ее критерии кажутся выдуманными испытывающей чувство ответственности матерью. В такой атмосфере любой гениальный художник неизбежно деградирует, тем более что он является самым непостоянным и чувствительным из всех людей; с незапамятных времен он был кошмаром всех порядочных домохозяек. А именно погруженный в творчество художник, а не «необузданный дикарь» и еще в меньшей степени так называемый *he-man*^{*} воплощает психологическую мужественность. Тому, кто в силу своих предрассудков почувствует себя этим задетым, следует уяснить, что именно мужчины, а не женщины представляют собой романтическую и идеалистическую половину человечества. Женщина испокон веков была расположена к трезвому и строгому мышлению. Если в то время, когда я пишу эти строки (1928 год) — а завтра по в высшей степени практическим причинам респектабельности все опять может измениться, — в своем отношении к сексуальным вопросам она допускает такую степень бестактности, которая расстроила бы и неандертальца, то это говорит не о ее испорченности, а лишь о том, что наконец-то воцарился дух времени, который позволяет ей быть искренней. Я убежден, что сегодня миллионы женщин про себя и в своем узком кругу облегченно вздыхают при мысли, что теперь они могут обойтись без этого идеализма, который им в течение многих тысячелетий навязывала, как они это называют, мужская глупость. С точки зрения женщины как естественного существа это прекрасно и замечательно. Однако с точки зрения будущего культуры это имеет роковое значение. Духовные ценности не могут быть реализованы, если принцип земли, который воплощает изначальная женская природа, достигает чрезмерного господства. Конечно, американские женщины занимаются духовными вещами, и даже, вероятно, в большей степени, чем все остальные женщины в мире. Однако это происходит по большей мере в форме чтения книг или воспитания детей. Но и воспитание, как

* Настоящий мужчина, мачо (англ.).

оно понимается в Америке, есть специфически женское дело. Оно представляет собой механизированное выражение того, что делает каждая самка любого животного, выращивая свое потомство. Всех нужно подготовить к жизни; все должны стать как можно более дельными и умелыми в труде; все должны быть как можно более нормальными: ведь лишь «нормальное» соответствует рутине земли. И прежде всего все должны обладать «ученой степенью». А это требование представляет лишь проявление более общей потребности женщины в респектабельности.

Так как проблема воспитания чрезвычайно важна, я хочу здесь частично воспроизвести то, что в форме краткого изложения американских впечатлений было написано мной сразу по возвращении в Германию¹. Воспитывать можно лишь то, что рождено; воспитание имеет отношение к развертыванию и совершенствованию того, что уже есть в наличии. По этой причине инстинкт, столь же элементарный, что и инстинкт деторождения, с незапамятных времен влек женщину к воспитанию потомства. Неслучайно всем прирожденным воспитателям присущи женские черты. Именно этим объясняется свойственное любому типу воспитателя пристрастие к повторению и рутине. Рутинa же и составляет суть всякого воспитания. Как сердце работает по закону рутины, так и жизнь, как в природной, так и в культурной форме, представляет собой процесс, главной характеристикой которого является его типичность. А раз воспитание должно дать человеку или, по крайней мере, усовершенствовать то, что животному дает сама природа, всякое воспитание, которое не делает основной акцент на том, что не является уникальным, бессмысленно. Как мне представляется, этих простых соображений достаточно для объяснения как закономерной несостоятельности всякого слишком индивидуального воспитания, так и того обстоятельства, что

¹ Последующий текст в том, что имеет отношение к указанной проблеме, частично представляет собой выдержки из моей статьи «Инспирация и воспитание», помещенной в № 15 журнала «Путь к совершенству».

именно воспитание, принципиально обращающее внимание лишь на типическое (хотя и не препятствующее развитию уникального — такое, как в старых английских школах), в максимальной степени способствует появлению наиболее развитой личности. Эти же соображения одновременно обосновывают необходимость воспитания вообще. Каким-то образом каждая молодая жизнь должна быть включена в ритм всеобщей жизни, а именно для этого и существует воспитание.

Рассмотрим теперь этот вопрос с другой стороны. Общеизвестно, что почти каждый оригинальный ум не был в свое время примерным учеником. Не менее общеизвестно, что рутина воспитания очень часто разрушает настоящего творческие силы. Реформаторы воспитания делают из этого вывод, что школа в ее настоящем виде в корне порочна; по их мнению, ее задача должна состоять именно во возвращении творческого начала. Но до сих пор все попытки такого рода неизбежно заканчивались катастрофически. В том, что касается стремления сохранить детскую гениальность, причина неудач очевидна. Каждый ребенок в возрасте до семи или восьми лет гениален. Затем он вступает в период инволюции. Оригинальность утрачивается, на первый план выходит всеобщее, то есть рутинное. Тот, кто хочет задержать или пресечь этот процесс, буквально совершает преступление против зарождающейся жизни. Ведь поскольку речь в данном случае идет о естественном ритме, искусственно сохраненный гениальный ребенок, когда вырастет, станет в некотором смысле импотентом. И, наоборот, именно время естественной неоригинальности является оптимальным для того, чтобы с минимальной опасностью для его врожденных задатков включить ребенка во всеобщий ритм жизни. В этом отношении традиционная школа полностью права, сопротивляясь всем реформаторским устремлениям. Поскольку всякий позднейший жизненный успех, за исключением случаев совершенно уникальной индивидуальности, зависит от того, в какой степени человек находится в гармонии с обществом, было бы просто жестоко отказать ребенку в воспитании, ибо позднейшее

самовоспитание в силу элементарных психологических причин не способно восполнить образовавшийся пробел. Но, с другой стороны, воспитание слишком часто и слишком легко начинает препятствовать раскрытию творческого потенциала человека или же никак не побуждает его к такому раскрытию. Таким образом, мы оказываемся на полюсе, противоположном воспитанию: на том, который я называю инспирацией. То, что здесь речь идет именно о противоположном полюсе, а не, скажем, об идеале воспитания, вытекает из того принципиального соображения, которое мы вкратце рассмотрели в самом начале нашего обсуждения проблемы воспитания. Воспитывать, то есть раскрывать, образовывать, включать во всеобщий ритм жизни, можно лишь то, что уже наличествует, что уже рождено. Инспирировать, напротив, означает способствовать возникновению новой жизни. Другими словами, если воспитание соответствует вынашиванию уже существующей в зародыше жизни, то инспирирование соответствует оплодотворению. А оплодотворение необходимо всюду, где возникает потребность в чем-то новом. Там, где произошло разделение полов, больше нет места партеногенезу.

Теперь мы впервые вплотную подошли к психологической причине того, почему с незапамятных времен воспитание вновь и вновь становится объектом атак, ведущихся от имени творческого начала. Женский принцип как принцип настойчивости, повторения, а следовательно, и рутины лишь тогда результативен, когда уже состоялось оплодотворение. Если творческий импульс, вызвавший к жизни какую-либо новую форму, в силу тех или иных причин приходит к своему естественному концу, то воспитание может осуществляться лишь как мертвая рутина. Этим объясняется и то, почему одаренные воспитатели превращают своих учеников в нечто большее, чем они были изначально: они одарены в том смысле, в каком Платон говорил об *eros paidikos*^{*}, — в их душах есть стремление и призывание к зачатию и порождению. Но именно

* Любовь к детям (греч.).

этим объясняется то, почему воспитание никогда не ориентировано на такое порождение. Во-первых, неразумно основывать на экстраординарном то, что обладает всеобщей обязательностью. А во-вторых и прежде всего, дело в том, что самым важным при воспитании является именно то, для чего не нужны никакие одаренные воспитатели, — всеобщее, универсальное. Личное творческое начало при любых обстоятельствах развивается само собой, вне зависимости, воспитывается оно или нет. Поскольку оно нацелено на возникновение нового, то воспитание не может иметь для него сколько-нибудь заметного значения. А отсюда вытекает, что там, где речь идет об инспирации, мы имеем дело с чем-то по самой своей сущности совершенно иным, нежели любое воспитание.

А теперь вернемся к проблемам Америки. Америка — самая ревностная в отношении воспитания и одновременно самая нетворческая страна на Земле. Оба эти обстоятельства взаимосвязаны; поскольку в ней абсолютно доминирует женский принцип, творческий мужской — там, где он есть, — вынужден оставаться искаженным, нераскрытым или, так или иначе, бесплодным. В чем же заключается практическое решение? По всей видимости, в том, что мужской и женский принципы — в данном случае принципы инспирации и воспитания — должны проявляться в подобающей каждому из них сфере и взаимодействовать.

В Соединенных Штатах первый принцип почти совершенно не проявляет себя, а в большинстве случаев о его наличии и необходимости никто даже не подозревает. Этим объясняется, почему все надежды возлагаются на воспитание. Однако все те, кто в конечном счете ответствен за прогресс человечества, принадлежат к типу инспиратора. Но истинные инспираторы, носители *Logos spermatikós*, всегда были по своей сущности не воспитателями, а теми, кто рождает на свет новое. Афиняне вовсе не были неправы, когда видели в Сократе скорее соблазнителя, чем воспитателя. С другой стороны, Платон, женственный по своей натуре, везде и всегда уча от имени своего духовного отца, доказал этим не только благородство своего характера, но и свою глубокую проницатель-

ность. Основатели христианства также были совершенно правы, везде и во всем ссылаясь на Иисуса. А тот ни в коей мере не был воспитателем. Он также был тем, кто рождал на свет новое. Рыба потому была избрана символом Христа, что она является единственным животным, которая рождает потомство, не соприкасаясь с особями противоположного пола. У этого символа есть еще один более глубокий и менее бросающийся в глаза смысл: у всякого, чья стезя — духовное порождение нового, есть лишь одно желание — сеять свое семя, а что из него получится — дело тех, кто его воспримет.

Я счел необходимым в большей степени, чем в действительности позволяет тема этой главы, подчеркнуть истинное значение воспитания, ибо именно таким образом мы быстрее всего обнаружим путь, ведущий к истинному смыслу женского господства в Соединенных Штатах. Если мужчина не есть нечто совершенно иное, нежели женщина, то это значит, что ему не хватает мужественности — и в этом ничего не изменит сколь угодно избыточная узкоспециальная вирильность, от воробыиной потенции до невероятной деловой хитрости или гипертрофированно развитого инстинкта игрока. Эти столь типичные для Америки черты представляют собой разновидности гиперкомпенсации. Решающее обстоятельство заключается в том, что при доминировании женского духа мужчина строго в соответствии с законами природы начинает вырождаться. В противоположной ситуации в точности то же самое происходит и с женщиной.

Но при господстве женщины мужчина теряет несомненно больше, чем женщина в противоположном случае. Это объясняется тем, что в таком случае он воплощает собой более слабый пол. Я не знаю, кто первым придумал называть женщин слабым полом, но, несомненно, это была какая-то особенно хитрая и беззастенчивая женщина. Ее большая витальность в биологическом смысле — научно установленный факт. Хотя она быстрее устает, она намного лучше переносит физическое напряжение; как правило, женщина живет дольше мужчины; она крайне ред-

ко вырождается и никогда по-настоящему не вымрет. Далее, женщина потому сильнее мужчины, что в ее природе заключена способность выжидать, и потому, что она решает отдаться или нет, — изнасилование противоречит природному порядку и не встречается у животных. Кроме того, в длительной перспективе пассивность оказывается большей силой, чем сильная активность. Здесь китайская философия совершенно права. Не существует никакой деятельности или движения бесконечной длительности; рано или поздно они должны прекратиться, поскольку нет никаких причин, в соответствии с которыми покой не может длиться вечно. Поэтому из двух абсолютно равных партнеров лишь тот, кто спокоен и выжидает, не обратит рано или поздно на себя силы другого — он истощит их. Мужчина как сексуально, так и с точки зрения душевной близости намного более зависим от женщины, чем она от него. Большинству женщин намного проще обходиться без мужского общества, чем мужчинам без женщин. Психологически мужчина гораздо более доступен воздействию женщины, чем женщина мужскому. Поскольку в самой природе женщины заложено то, что она должна отдаваться, ей намного проще воспринимать психологию влюбленного или восхищенного мужчины; но, с другой стороны, она мгновенно возвращается к своему изначальному типу, когда ее эмоциональная установка меняется. Что же касается ее зачастую недостаточной материальной силы, то она может спокойно от нее отказаться, ибо она обладает самым что ни на есть решающим, основывающимся на психологическом воздействии авторитетом. По всей вероятности, мужчина мог подчинить себе женщину лишь благодаря физической силе, которую он впоследствии объективировал в форме закона и обычая, поскольку у него нет никакого другого средства установить и утвердить свое господство. Однако на самом деле, даже когда он действовал таким образом, ему это никогда не удавалось; недавно одна турчанка рассказала американской аудитории, что если у турка шесть жен, то, как правило, это означает лишь то, что он вместо одного каблука на-

ходится сразу под шестью. Наконец, стоит подумать о том, что мужчина бесконечно более уязвим: вспомним вечные мужские символы — Ахиллесову пяту и лопатку Зигфрида. Поэтому все свои институты — от юстиции до монастыря — он изобрел с единственной целью хоть как-нибудь защитить себя от последствий этой своей сверхчувствительности. Ни один мужчина не станет ввязываться в драку из-за таких мелочей, из-за каких это сделает всякая женщина. Одно это обстоятельство объясняет факт фактического доминирования женщины даже в официально патриархальных семьях. В силу всех этих причин процесс женской эмансипации неумолимо ведет не к равенству в положении мужчины и женщины, а к непомерному росту власти последней; ибо важен не факт «равноправия», а тот результат, к которому приводит формальное равенство.

С другой стороны, нет никакого сомнения, что женщина по своей сущности склонна к подражанию, привязчива и податлива и что, когда она любит, ее величайшее счастье заключается в том, чтобы растворить свою личность в личности любимого. Но именно в этом пункте в игру вступает второй аргумент, доказывающий, что на самом деле женщины являются сильным полом. Пусть она податлива и склонна к подражанию, поскольку это для нее естественно, ее развитие никогда не затормозится и не прервется, если она будет играть роль объекта, а не субъекта. Наоборот, насколько простирается историческая традиция, мы видим, что она всегда достигала своего высшего раскрытия и полного осуществления там, где полностью отдавалась своему идеалу, божественному или человеческому. В этом причина того, что мужчина, какое бы господствующее положение он ни занимал, никогда не отнимет у женщины ее внутреннюю силу, если только она понимает то, что французы называют *son métier de femme**. По этой причине очень многие женственные женщины, такие, как женщины латинской расы, практически не интересуются эмансипацией, хотя их правовое по-

* Быть женщиной (фр.).

ложение, вне всякого сомнения, является очень плохим. Большинство из них согласились бы с той коренистой канадской пионеркой, матерью дюжины крепких сыновей, которая на вопрос о том, нужно ли ей избирательное право, ответила: «Избирательное право? Если в мире вообще существует нечто такое, что могут делать только мужчины, то пусть они, Бога ради, это и делают!» Испокон веков самой эффективной была та власть, которая не была очевидной и слишком заметной. Разумеется, женщина может быть унижена или деморализована своим подчиненным положением, и, вне всякого сомнения, ее духовное развитие серьезно пострадало в чрезмерно патриархальных эпохи. Но если посмотреть на эту проблему с более высокой точки, то следует признать, что, в общем-то, ее унижение было скорее исключением и что недоразвитость интеллекта никогда особенно сильно ей не вредила, ибо воистину великие способности женщины относятся отнюдь не к интеллектуальной области. Даже там, где положение женщины в юности было тяжелым и суровым, став матерью, она во все времена и при любых обстоятельствах обладала огромной властью. Когда я представляю себе Еву, она кажется мне не наивной невинной соблазнительницей, а матерью и прародительницей сотен тысяч трепетавших перед нею потомков. Благодаря психоанализу мы знаем сегодня, что ни один мужчина не может освободиться от образа своей матери. При патриархальном общественном устройстве он точно так же подчинен ей, как и при матриархальном.

А теперь рассмотрим противоположный случай — случай господствующей женщины. Когда мужчина находится в психологическом подчинении, то он, ничего не выигрывая, теряет все лучшее, что у него есть, ибо вся его ценность заключается в свободе и инициативе. А их раскрытие предполагает признание примата иных, нежели женские, добродетелей. Альтруистичный по своей сути, послушный, склонный и привязанный к обычаю мужчины обладает сомнительным сходством с архетипом раба; неизбежно и во все большей мере он будет развивать в себе физиологические характеристики зависимого, а не

свободного человека. Мои собственные наблюдения подтверждают, с какой жуткой скоростью происходило это развитие в Соединенных Штатах. Слова и отдельные виды деятельности современного среднего американца еще сохранили дух пионеров. Но сколь мало они созвучны сегодняшнему человеку! Образ мыслей американца в общем и целом — это образ мыслей женщины; этот постоянно возникающий образ отца, занимающегося детьми, в то время как его жена, надев очки, читает интеллектуальные книги, есть действительно архетипический символ. Благоговение американца перед общественным мнением, его склонность во всем, что он делает, соответствовать спросу, вместо того чтобы его создавать, — все это типично женские черты; кроме всего прочего, они выражают вечную женскую потребность в респектабельности. То же самое относится и к тому, как легко американец поддается внешнему воздействию, и к непостоянству его чувств. Психологическую демаскулинизацию американца довершает то, что он почти не знает одиночества. Мужчина не только представляет собой творческую половину человечества — он еще и одинок, одинок в том смысле, что все его высшие достижения суть результат того, что он делает один и для себя; глубокий смысл заключен в том факте, что большинство творчески одаренных мужчин либо женятся очень поздно, либо же не женятся вовсе. В Америке, после того как мужчина достиг половой зрелости, для него больше не существует одиночества. Конечно, он работает вне дома, однако это ничего не меняет. Женщина, которая не нуждается в одиночестве, навязывает ему свой закон, будь то в облике «гражданского брака» или слишком ранней женитьбы, так что молодой американец практически не имеет возможности развиваться как отдельное и уникальное существо. А поскольку он в чрезвычайной степени подвержен женскому влиянию, то, женившись, он меняется психологически в том же смысле, в каком девушка после потери девственности меняется физиологически.

Все это вместе не может не вести к тому, что американец как мужчина теряет ценность. И если в игру не

вступит какой-нибудь новый каузальный ряд, то это развитие будет прогрессировать и вести к накоплению все более и более серьезных последствий. Почти все чисто мужские качества, что еще остались в американце, сохранились в нем лишь потому, что так желает женщина: именно ей нужно, чтобы он проявлял их, живя и действуя в мире, находящемся под ее господством. Примером этого служит именно то, чем так гордятся американские *he-men* и *go-getters** — их исключительная ориентация на материальную выгоду. Испанский врач и философ Мараньон показал, что добыча пропитания относится к сексуальным функциям мужчины. Как любой самец птицы движим инстинктом, заставляющим его заботиться о том, чтобы накормить свою самочку и потомство, так и естественная задача мужчины состоит в том, чтобы содержать семью; по этой причине у женщины инстинктивно присутствует ощущение, что муж «должен» быть состоятельным, тогда как для мужчины женитьба на деньгах противоестественна. Таким образом, американский материалистический образ мыслей является лишь еще одним доказательством психологического господства женщины. Побуждая мужчину сосредоточить все без исключения свои интересы на зарабатывании денег, женщина оставляет ему лишь то, что ему присуще как сексуальному существу. Тот факт, что американец очень часто представляет собой роскошного самца — сильного, здорового, красивого и атлетичного, — из того же ряда. Разумеется, женщина хочет, чтобы он был таким. Но физическая мужественность имеет меньшее значение, нежели психологическая.

А теперь обратимся к вопросу, как тот факт, что мужчина теряет свою ценность, сказывается на самой женщине. Поскольку мужчина и женщина в силу самой природы находятся в коррелятивном отношении, то и мужчина также лишает женщину ее лучших качеств. Сексуальная природа неизменна; какими бы многочисленными

* Энергичные и удачливые люди, предприимчивые дельцы (англ.).

ни были всевозможные нюансы и оттенки, человек в конечном счете есть либо женщина, либо мужчина; и если он теряет характерные для того или иного пола свойства, то возникающие в результате этого новые всегда представляют собой лишь некий эрзац или неестественные преувеличения. С другой стороны, закон корреляции предполагает, что в порядке вещей, если более сильный в настоящий момент полюс развивает те свойства, присущие более сильному, а реально более слабый точно так же развивает те, что соответствуют более слабому. О феминизации мужчины, происходящей при чрезмерном господстве женщины, мы уже сказали достаточно. Добавить к этому можно разве что следующее. Если мужчина, лишившийся психологической мужественности, сближается с озлобленной старой девой, то, в свою очередь, появляется еще один также недвусмысленно женский тип — тип вялого, мягкого, толстого, что называется, в теле мужчины, которого просто невозможно представить себе бородатым. Однако же подвергнем более подробному исследованию мужские добродетели американской женщины. Как только я обратил свое внимание на ее по-мужски деловую разновидность, сразу бросилось в глаза ее сходство с амазонкой. Когда же затем я, насколько мог, углубился в область этнографии, то пришел к однозначному заключению, что данный тип женщины относится к тому же самому сорту, что и амазонки всех времен. Вне всякого сомнения, эта разновидность американок обладает превосходными способностями в самых различных сферах деятельности; но в этом случае речь идет не о маскулинизации женщины, а скорее о более высоком развитии ее природных способностей. А тогда многое из того, что обычно объясняют большими способностями, в действительности является лишь следствием того, что женщина получает более благоприятные условия для выражения ее изначальной сущности. Так, любая женщина является прирожденным властителем; и она является им в куда большей степени, чем мужчина, ибо то, чем она занята в домашнем хозяйстве, есть, по сути дела, то же самое, что и функции, выполняемые в государстве монархом; этим

объясняется то, почему большинство действительно правивших королей остались в памяти как действительно великие королевы, тогда как среди королей великие попадают сравнительно редко. Не существует никаких причин и для того, чтобы женщина не могла проявить себя и в качестве атлета. К труду же ее побуждает самый изначальный и мощный инстинкт. И действительно, женщины изначально являются трудящейся половиной человечества; мужчина — шалун, игрок, авантюрист, вечное дитя. Женщина же по самой своей природе — ответственное и серьезное существо. Нет ничего более противоестественного, чем рассматривать ее как игрушку. Мужчине хотелось бы, чтобы она была ею, ибо он по сути своей — игрок; но ни одна женщина никогда так о себе не думает; даже проститутки рассматривают свое ремесло как серьезную работу, а если они при этом еще и выглядят веселыми — в смысле американского *keep smiling*^{*}, — то лишь потому, что это является частью их бизнеса.

Итак, во всех рассмотренных нами отношениях деловые качества американской женщины представляют собой не что иное, как более высокое развитие ее врожденных качеств, чем она по праву может гордиться. Но в некоторых других отношениях дело обстоит совершенно иначе. Несомненно, тех американок, о которых я здесь говорю, характеризуют именно те самые черты, которые, по мнению греков, были свойственны амазонкам. Амазонки пользовались славой суровых, жестоких и циничных существ; то же самое рассказывали и о всех тех многих женщинах, которые в качестве солдат воевали на фронтах мировой войны. Причина этого в том, что, когда женщина, центр сознания которой находится в сфере эмоций и ощущений, сближается с типом воина или государственного деятеля, ее эмоциональная натура неминуемо атрофируется. Что же касается безжалостности и необузданности, то никакой эгоистичный мужчина даже отдаленно не может сравниться в этом с по-настоящему себялюбивой женщиной. Об амазонках прежних эпох мы

^{*} Постоянно улыбайтесь (англ.).

знаем немного, амазонки же американские, наоборот, известны нам очень хорошо; и то, что мы о них знаем, дополняет тот не слишком подробно выписанный портрет Пентесилеи, который донесла до нас традиция. Женщина по своей природе — *matter-of-fact*, мужчина — романтик и идеалист, поэтому ее естественная установка не поэтическая, а научная. Тем не менее все высшие таланты женщины относятся к эмоциональной сфере. Когда она отвергает идеал традиционной женственности, который требовал прежде всего высокой эмоциональной культуры, она вынуждена стать жестче, трезвее, циничнее и эгоистичнее, чем любой мужчина, если только он не преступник или сумасшедший. Иллюстрацией того, что дело обстоит именно так, является первая полоса любой американской газеты. Эта абсолютная бесчувственность, с которой женщины оставляют или привлекают к суду своих мужей, откровенность, с которой они разглашают самые интимные подробности своей жизни, бесцеремонность, с которой они, как только объединятся в какую-либо организацию, начинают реализовывать свои социальные инстинкты за счет отдельного человека, — все это служит поистине пугающим доказательством истинности нашего утверждения. Раз уж судьба распорядилась так, что расцвет амазонок пришелся на эпоху науки, то результатом этого было то обстоятельство, что то, что для амазонок является вполне нормальным, проявилось в прямо-таки чудовищных формах. В XIX столетии мужчины в своем стремлении к материальному покорению мира в течение некоторого времени пытались все и вся объяснять материальными обстоятельствами. В их случае это продолжалось недолго. Тогда как женщины были настолько удачливы, что их *matter-of-factness* стала в конечном счете *respectable*, а научная трезвость превратилась в подлинное евангелие прогрессивных женщин. Но в этом есть свое «но». Мужское «почему?» — исток любого прогресса в знании и понимании — превратилось в совершенно иной и абсолютно женский вопрос «почему нет?» и стало без разбору применяться ко всем жизненным проблемам. Изначальный инстинкт, в соответствии с которым муж-

чина должен заботиться о семье, дал толчок появлению у женщин патологического маниакального убеждения, что мужчина — раб ее прихотей. Для этой категории женщин «факты» есть все, а «смысл» — ничто. По этой причине они уже больше не видят различия между сексуальным влечением и любовью. Конечно, и мужчина с незапамятных времен желал женщину, привлекавшую его лишь телесно; но, с другой стороны, он всегда твердо знал, что в этом случае речь идет всего лишь о желании, а отнюдь не о любви, и четко отделял душевную любовь от того, что, как он чувствовал, было разновидностью порока. Для мужчины совершенно естественно различать, с одной стороны, чисто инстинктивные ощущения, а с другой — факты душевной жизни; так, Данте и Петрарка были совершенно искренни, когда они томились по Беатриче и Лауре и при этом имели многочисленных любовниц. Природа женщины совершенно иная: она «цельная». Если она будет оценивать сексуальное на мужской манер, ее единство взорвется и она заживет столь необузданной жизнью, словно она вся не что иное, как сплошной половой орган. Так, американские девочки-подростки образца 1928 года, верившее только в «факты», вели такую половую жизнь, какую никогда не вел и самый аморальный мужчина, если только он был в своем уме. Таким девушкам ничего не стоит отдаться любому мужчине, даже в форме брака; ведь брак, основанный исключительно на сексуальном влечении, разумеется, намного более аморален, чем любые внебрачные отношения. Им кажется, что вся проблема морали и аморальности ликвидирована самим фактом наличия противозачаточных средств. Все это можно объяснить лишь атрофией эмоциональной сферы. Этой разновидности американских женщин присуща невероятная грубость, которую нормальные женщины столь резко отвергают в примитивных мужчинах. Такая женщина не понимает, что такое настоящая истинно женская любовь — она вовсе не является каким-то неполноценным видом любви, а есть именно то, что мужчины больше всего почитают в женщине, ибо сами к такой любви не способны. Однако здесь

вновь проявляет себя закон природы, в соответствии с которым между мужчиной и женщиной существует изначальная внутренняя корреляция: среди американских девушек все чаще дает о себе знать довольно курьезный предрассудок, связанный с симпатией к типу, который они называют «пещерным человеком» (*caveman*). Зимой 1928 года в колледжах был проведен опрос по поводу того типа мужчины, которому девушки отдают предпочтение: больше половины высказалось за пещерного человека; лишь определенный процент, что довольно забавно, к словам «пещерный человек» добавил: «но с тонким вкусом». Если женщина идеализирует дикаря, то это означает лишь то, что мужчине недостает изначальной мужественности. И в самом деле, мужчина в Америке в огромной степени демонстрирует то, что в других местах считается специфически женским. Он послушен, привязчив, податлив; он женится или платит, когда этого от него требуют. Как правило, не он оставляет женщину, а она его. Достаточно вспомнить многочисленные случаи, упомянутые судьей Линдсеем, в которых он пытался утешить брошенных молодых людей. Мне кажется, что при всех этих обстоятельствах в амазонском характере американок, о которых я здесь говорю, не может быть никаких сомнений. Многие из них и после замужества отдают предпочтение своей девичьей фамилии с предшествующим ей «мисс» или возвращаются к ней сразу после развода. В Старом Свете, где замужняя женщина занимает лучшее положение по сравнению с девушкой, такое просто было бы невысказано. Это означает, что незамужняя женщина воплощает собой основной женский тип. Браки, в которых она живет, имеют для нее такое же значение, как и многие другие эпизоды.

Таким образом, вся эта «прогрессивность» американки оказывается в действительности не более чем противоестественным выпячиванием того, что должно быть присуще мужскому полюсу. В значительной мере она утратила способность к такой любви, на какую способна лишь женщина. То, насколько это верно, мне стало особенно ясно благодаря тому, как одна видная американка

публично возразила на мое вышеприведенное утверждение: оно, мол, опровергается одним лишь фактом социальной и благотворительной деятельности женщин! Как будто любовь имеет хотя бы малейшее отношение к социальной работе и благотворительности! Охотно соглашусь, что американская женщина как социальный работник не знает себе равных. В этом направлении ее женская натура, по всей вероятности, кажется развитой не менее, а более, чем в каком-либо другом. Тем хуже обстоит дело с любовью в истинном смысле. Тем хуже с настоящим живыми силами женщины.

Теперь нам следует погрузиться в самый глубокий слой проблемы, которой посвящена эта глава. То, что мы говорили о происходящей благодаря перекосу в коррелятивном отношении полов инволюции как мужчины, так и женщины, в конечном счете сводится к тому, что у них обоих кажется атрофированным подлинно творческое начало. В ходе наших исследований мы обнаружили самые различные причины механического и безжизненно-го характера американского образа жизни: старческую дряблость как следствие затянувшейся жизни духа XVII века, примитивность, крайним выражением которой среди прочего является материализм, сходный поэтому с возрастными явлениями, и рутину как следствие, во-первых, извращенной веры, что не внутренний закон, а закон внешнего мира является последней инстанцией, а во-вторых, перевеса социального над индивидуальным, что дает механическому и механизмирующему количеству перевес над качеством. Тому же, что мы говорили о мужчине и женщине в Соединенных Штатах, можно легко придать дополнительную остроту, рассмотрев их в контексте понятия механизации. И лишь именно это заострение позволит понять самый глубинный смысл их взаимосвязи. Механическое — это всегда нечто мертвое или подобное мертвому. Вследствие этого оно никогда не может быть чем-либо творческим, ибо творческое есть самое изначальное свойство жизни. Все то, что мы говорили об амазонках, сводится к тому, что женщина утратила свои под-

линно творческие силы. Все ее деловые качества относятся к области, которую американцы называют *executive** и *promotion***, а ее законы находятся в непримиримом противоречии с творчеством. Творчество — это всегда функция всего человека в целом, недифференцированного интегрального бессознательного, а им нельзя командовать, его нельзя организовать, оно не выносит никакой рутины, никакой перегрузки. Здесь дело обстоит точно так же, как и с ребенком в материнской утробе, созревание которого никакое желание или усилие не ускорят, а вот оборвать могут вполне. Человек как творец всегда есть или мужчина, или женщина, несмотря на все нюансы и оттенки. Если он теряет свой половой характер, то неминуемо теряет и свое творческое начало. Здесь проявляется, в случае Америки чрезвычайно ухудшая результат, таинственный закон естественной корреляции между мужчиной и женщиной. Если вырождается один пол, то с естественной необходимостью вырождается и другой, как в душевно-духовной, так и в телесной сфере. Здесь мы, похоже, приблизились к корням всего неудовлетворительного, что существует в Соединенных Штатах в отношениях между мужчиной и женщиной. И, похоже, обнаруживается самая глубинная причина того, почему американская жизнь выглядит такой механической и абстрактной, а также причину столь характерных для большинства американских мужчин и женщин неудовлетворенности и беспокойства. Они, как правило, оказываются просто беспомощными перед загадкой того глубокого несчастья, которое заставляет их работать, надрываться и выбиваться из сил, пока этих сил еще хватает; они так боятся свободного времени, как лишь немногие наши современники боятся преисподней. Женщина, в соответствии со своим результативно-реактивным характером, как правило, просто возмущается тем, что брачная и любовная жизнь не приносит ей счастья. А поскольку ее основные инстинкты со времен Евы неизменны, она ищет

* Исполнитель, руководитель, администратор (англ.).

** Продвижение, поощрение (англ.).

и находит всю вину в мужчине. Он не таков, каким должен быть. Тогда, чтобы устранить проблемы, она требует еще большей власти для своего пола. Однако в действительности ей нужно совсем другое. Ей нужен тип мужчины, который был бы равен ей по силам, дополнял бы ее и был бы способен пробудить и раскрыть в ней силы, наличие которых она чувствует, но которые, однако, не может полностью реализовать. Она нуждается в мужчине, который был бы по-мужски творческой личностью и благодаря которому она сама, но по-женски раскрыла бы свое творческое начало.

Как же мы можем определить это творческое начало? Поскольку здесь речь идет о первоисточнике жизни, сущность которого покрыта тайной, сделать это посредством методов точных наук невозможно, ведь они не могут сделать понятным даже физическое размножение. Здесь помочь пониманию могут лишь символические образы, которые в форме, соответствующей требованиям духа, как в зеркале, отражают то, что живет в безднах души по ту сторону всех возможных форм и имен. Так греки, чтобы на духовном уровне определить творческую мужественность и женственность, использовали соответственно символ *Logos spermatikós*, плодотворного, порождающего духа и символ *Eros kosmogonos*, созидающей мир любви. Символы китайской мудрости еще более всеобъемлющи. Согласно этой мудрости, мировой процесс образовывали и над ним господствовали Ян и Инь, причем первое означало «творческое» в мужском смысле, а второе — «восприимчивое» в женском. Одно из них равноценно другому, и оба равно необходимы для продолжения жизни и должны совместно работать в согласии с мировым разумом, чтобы жизнь двигалась по восходящей линии. И действительно, на физическом уровне как импотенция, так и бесплодие очевидно равнозначны смерти. Однако то же самое имеет место и на уровне духовных ценностей. Дух также есть нечто конкретно живое, витальное. Лишь творческий дух в его мужской форме способен создавать ценности; лишь творческий дух в его женской рецептивной форме может понять их и использо-

вать. Ян и Инь вездесущи и всепроникающи; они — корень всех явлений и ситуаций. Единственным современным понятием, которое соответствовало бы изначальному творческому духу, является понятие инспирации — оно очень характерным образом обозначает функцию, а не субстанцию. Это понятие схватывает то обстоятельство, что нормальные психические функции оживляются и воодушевляются некоей более глубокой сферой, которая при любых обстоятельствах не от мира сего. И это понятие объективно: «творческое» всегда обитает по ту сторону эмпирических явлений. Мы уже противопоставляли принцип инспирации принципу воспитания, причем первый по своей сути оказался мужским, а второй — женским. Но это действительно на более низком уровне и внутри определенных границ. Как я показал в главе «Иисус-маг» своей книги «Люди как символы», дух всегда обладает мужским характером, понимается ли он как *Logos spermatikós* или как *Eros kosmogonos*; так, даже изначальная идея христианской любви, которая почти в точности соответствовала платоническому эросу, представляла собой не любящую реакцию человека, а творческую силу духа. Дух всегда есть сила инспирации в противоположность порождению, которое всегда достигается посредством земной части души. Как же обстоит дело с духовным творческим началом женщины? Здесь также имеет место сила инспирации. Но если сила инспирации мужчины обычно заключается в духе, то творческое начало женщины обитает в царстве эмоций, которые у мужчины никогда не бывают творческими. Здесь не место для изложения исчерпывающей философии эмоций. Но кое-что следует сказать: поскольку у женщины эмоции являются рациональными функциями, то есть способностями, которые ведут к истинному познанию, чем из-за своей недоразвитости они редко бывают у мужчины, то эмоциональный мир женщины излучает творческую энергию.

Этим прежде всего и объясняется, почему интеллект и интеллектуальность женщины так мало привлекают мужчину. Женщина может быть столь же интеллектуаль-

ной и образованной, как и любой мужчина, но в этом случае ее интеллект кажется почти полностью оторванным от истоков жизни. По этой причине интеллектуальная женщина, как правило, действует в организационной или руководящей сфере, ибо для организации и руководства не требуется никакой инспирации. Интеллект как таковой есть лишь поверхностное выражение жизни: все зависит от того, что за ним стоит. Конечно, случалось, что женский интеллект был одухотворен чем-то подобным гению. Но ценность этого рода гениальности никогда даже отдаленно не была сравнима со значением истинно женской творческой силы. А эта сила известна с незапамятных времен; поскольку же все понятия изобретались мужчинами, а дать четкое определение этой особой силе они были не в состоянии, то очень часто ей приписывалось божественное или демоническое происхождение. Современный идеализм иногда понимал ее столь ошибочно, что утверждал, что она есть не что иное, как всего лишь возвращающееся к мужчине отражение его собственных иллюзий. В действительности же она есть сила точно такого же значения, что и творческий дух в смысле греческого *Logos spermatikós*, плодотворного порождающего духа; она — совершенно конкретная и витальная сила, соответствующая силе зачатия или потенции в телесной сфере. По своей сущности она есть некое таинство. Она должна казаться чем-то более таинственным, чем творческая сила, присущая мужчине, поскольку творчество, коренящееся не в духе, а в эмоциях, вообще не поддается точному определению в понятиях разума. И здесь даже не китайцы и не греки, а индийцы наиболее близко подошли к ее истинному пониманию. Символическим образом специфически женской творческой силы у них выступает то, что они называют *Shakti*. Тот, кто хотел бы узнать, что говорят по поводу своего объяснения этого феномена сами индийцы, может прочесть статью Рабиндраната Тагора в «Книге о браке». Сам Тагор переводит *Shakti* как «дар очаровывать». Но он имеет в виду не то очарование, которое соответствует распространенным понятиям «шарм» и «обаяние», и уж точно не

ту поверхностную привлекательность, которую американцы называют «it»*, а дар очаровывать именно в его изначальном смысле колдовства. Мужская творческая сила также полна тайны; прообразом творческого мужчины испокон веков был Бог, сотворивший мир из ничего. И все-таки этот род силы не кажется столь таинственным, ибо каждый человек обладает ею в своей фантазии. Женская же творческая сила, напротив, абсолютно загадочна, поскольку она совершенно не подвластна интеллекту и поскольку на протяжении всей истории она оказывала на нее мощнейшее воздействие, которое, однако, никогда не было выражено прямо и непосредственно. Ни одна женщина-инспиратор, ни одна муза никогда не приносила в мир по-настоящему новых идей. Однако благодаря тому, что мы знаем о коррелятивном отношении между мужчиной и женщиной, мы можем понять суть этого женского творческого начала даже лучше, чем это удалось индийцам. Если мужчина — это инспиратор, то есть тот, кто порождает новое на физическом и духовном уровне, то женщина — инспиратор, деятельность которого протекает на уровне души.

На самом деле и в этой области порождает мужчина, а не женщина. Поэтому все великие произведения искусства в широком смысле слова созданы мужчиной; однако никакого творчества просто не существовало бы, если бы не было вдохновляющих его женщин, как бы ни скудны были наши сведения о них. То, что о них немного известно, есть отчасти следствие женской стыдливости, что служит еще одним доказательством того, что здесь действительно имеет место нечто эротическое. Впрочем, решающими здесь оказываются два обстоятельства: с одной стороны, мужская глупость, которая все недоказуемое и неосязаемое рассматривает как несуществующее, а с другой — априорный характер корреляции между мужчиной и женщиной. В принципе, чтобы испытывать плодотворное влияние вдохновляющей его женщины,

* Верх совершенства, последнее слово чего-либо, «изюминка» (англ.).

мужчине вовсе не нужно что-то о ней знать, так же как и женщина совсем не нуждается в знании изменчивых мужских желаний, чтобы быть «модной». В конечном счете муза живет в каждом мужчине как, говоря языком Юнга, его *anima**. Однако ему трудно это понять, если она лишена всякого воплощения, о котором он мог бы знать.

Теперь нам должно стать ясно, почему сегодняшняя Америка является столь фантастически нетворческой. И мужчина, и женщина инстинктивно видят в творческом начале высшую ценность. И тот и другая должны ощущать себя неполноценными, поскольку они смутно осознают свое бесплодие. Каждый из них инстинктивно перекладывает вину за это на противоположный пол. В своем творчестве мужчина зависит от женской инспирации. С другой стороны, женщина столь же сильно жаждет мужчину на духовном и душевном уровне, как тот ее физически. Если же теперь мы вспомним то, что мы говорили о характеристике американских мужчин и женщин, то нам все станет ясным. Американка, развиваясь в мужском направлении, продвинулась чрезвычайно далеко. Но именно поэтому, а также потому, что при этом она утратила свойственную истинной женщине недифференцированную целостность, она потеряла и свое *Shakti*, свой дар очаровывать, то есть свою силу инспирации. Этим объясняется то, что всякий мужской труд в Соединенных Штатах механистичен и абсолютно лишен артистизма. Но, с другой стороны, к сущности женщины принадлежит потребность отдаваться, следовать, исполнять. И если нет мужчины, которым она могла бы восхищаться, она не способна раскрыть свои лучшие качества. В таком случае она неизбежно должна утратить свое *Shakti*. Таким образом замыкается *circulus vitiosus*.

Существует ли средство, которое могло бы помешать столь роковому развитию событий? Разумеется. Как и всегда, оно состоит в правильном понимании его смысла. Изменение институтов и законов не приведет к повороту к лучшему; именно Соединенные Штаты служат доказа-

* Душа (лат.).

тельством этому, ибо, несмотря на все новые и лучшие законы, они пришли к своему нынешнему состоянию. Можно сказать даже, что эти законы повинны в нынешнем незавидном состоянии Америки, поскольку они отвлекали внимание большинства американцев от творческого «смысла» и переводили его на лишние всякой витальной силы факты. Чем больше американцы верят, что плохие отношения в браке можно исправить возможностью более легкого развода, а душевной жизни поможет более эффективное использование противозачаточных средств — достаточно лишь двух этих примеров, — тем более безграничным будет действие истинных причин, приведших к столь безотрадной ситуации. Тогда как понимание само по себе является самой мощной силой, какой только располагает человек. Когда оно проникает в суть проблемы, любые механические средства и методы почти всегда становятся излишними.

Прежде всего нам должно быть ясно, что все факты, если они правильно поняты, указывают на то, что Америка, по всей видимости, останется матриархальной страной. Если она смогла стать таковой в течение чрезвычайно короткого периода, хотя все ее традиции и практически все институты были по своей сути патриархальными, то для этого должны существовать весьма веские и глубокие причины. Вероятно, их следует искать в воздействии самой страны, хотя я и не могу найти этому объяснения; впрочем, большинство индейских племен, живших на территории нынешних Соединенных Штатов, также были матриархальными. Здесь важно понять, что в матриархальности самой по себе нет ничего плохого. Как мы уже выяснили, господство какого-нибудь одного полюса столь же естественно, как и другого; всякое особое состояние равновесия между мужчиной и женщиной лишь тогда становится роковым, когда оно начинает вредить развитию лучших качеств обоих полюсов. Италия, Испания и Франция также матриархальны. По большому счету европейская культура обязана своим возникновением тому периоду средневековья, когда женщина сверх всякой разумной меры идеализировалась, а ее мнение считалось

последней инстанцией во всех вопросах, за исключением политических и военных; культуры Ренессанса и XVIII столетия представляли собой лишь следующие стадии развития того же самого состояния равновесия между полами. Конечно, в те времена женщина господствовала не как амазонка, не как ровня мужчине, а как его тайная вдохновительница, которая хотела видеть его в высшей степени мужественным, но только обладающим более тонким вкусом, чем он мог быть без ее влияния. Вскоре мы увидим, что и в Соединенных Штатах подобному развитию ничто не препятствует. Но сейчас мы утверждаем, что все говорит за ту гипотезу, что Америка останется матриархальной страной и что сам по себе матриархат отнюдь не враждебен культуре. Вспомним, что мы говорили о том позитивном, к чему могут привести американские социализм, приватизм и даже господство животного идеала: если свяжем эти наши констатации и прогнозы с констатациями и прогнозами настоящей главы, то тотчас увидим, что это позитивное является непосредственной предпосылкой матриархальной структуры нации. Но в поддержку теории, что во многих отношениях женское господство продлится еще в течение достаточно долгого периода, и в пользу матриархата можно добавить и следующее: современное государство с его во всех отношениях материнской установкой, с его преобладающим интересом к воспитанию, с его пристрастием к слабому, а не сильному, с его составляющим саму его суть пацифизмом в куда большей степени живет женским, нежели мужским, духом. Поэтому если женщина во все большем объеме будет принимать участие в общественной жизни, то это будет не чем иным, как нормальным, соответствующим своей внутренней логике развитием. А это значит, что страна, в которой женщины превратились, по сути дела, в господствующую касту, имеет все шансы раньше, чем любая другая, создать у себя образцовое социальное государство. То, что патриархальный социализм — зовется он прусским милитаризмом или русским большевизмом — столь суров и груб, объясняется тем, что мужчина по своей природе не альтруистичен; он может отдать пред-

почтение группе лишь за счет индивида. У женщины же чувство группы и чувство индивида не исключают друг друга. Поэтому именно в американской матриархальности следует искать одну из главных причин той всеобщей доброты и благожелательности, того счастья, достигаемого в свободном сотрудничестве, которые являются самыми позитивными приметами американской жизни. Следовательно, опасность заключается вовсе не в американской матриархальности как таковой. Она заключается в том, что сложившийся в Америке особый тип отношений между мужчиной и женщиной, ориентированный на господство женщины (ориентация, которая сама по себе столь же нормальна, как и любая другая), страдает ярко выраженным перекосом. Как же его можно устранить? Ответ следует искать в направлении, прямо противоположном тому, в каком его ищет большинство американцев: не в еще большей эмансипации женщины, а в эмансипации мужчины.

Положение мужчины в Соединенных Штатах *mutatis mutandis* — прибегнем для наглядности к некоторому обобщению и преувеличению — соответствует тому положению, которое вплоть до самого недавнего времени на Востоке занимала женщина. Если его материальная жизнь, как правило, чрезвычайно комфортабельна, то, с другой стороны, в его душевной жизни так мало благополучия и вдохновения, что ее не выдержал бы даже самый убогий европеец. Если в семье американец в большинстве случаев изображает из себя весельчака, то это всего лишь попытка заглушить взрывами хохота смутно ощущаемый им трагизм его участи. В настоящий момент американские женщины ведут и чувствуют себя точно так же, как все привилегированные аристократические сословия. Забыв о том, что они существуют не изолированно и что их хорошее самочувствие зависит от благополучия других классов, они предаются иллюзии, что дальнейший рост их власти быстро приведет в порядок все неправильное и ненормальное; это, а не, скажем, оправданное требование дальнейшей эмансипации является истинной причиной большинства демаршей женских организаций, пред-

принимаемых под тем предлогом, что женщина якобы занимает все еще подчиненное положение. Однако реакция на то, что я говорил в своих американских докладах о необходимой эмансипации мужчины, позволяет нам ожидать, что американские женщины вскоре поймут истинную суть ситуации. После того, как я написал в «Форуме» о женщинах как о высшей касте, «Нью-Йорк таймс» заметила по этому поводу: «Граф Кайзерлинг, кажется, не понимает, что именно для преодоления этой ситуации была принята 19-я поправка. Теперь, когда женщины получили право голоса, они очень скоро докажут, что они ничем не лучше мужчин». В самом деле, этот *boutade*^{*}, по всей видимости, независимо от желания автора указывает на одну из главных причин процесса эмансипации. Американки действительно хотели бы занять менее высокое положение, чем это имеет место в настоящее время. Большая часть тех из них, кто имеет достаточно свободного времени, чтобы страдать от жизни, глубоко несчастны. Женщины не бросали бы возлюбленных и мужей одного за другим, не становились бы пьяницами, не растрачивали бы свою энергию на неинтересную деятельность, если бы все вокруг было в порядке. Даже самая мужественная американка всегда остается женщиной. А это значит, что она хотела бы, чтобы ее вдохновлял мужчина, ибо, чтобы приносить плоды, она нуждается в оплодотворении; это значит, что она хочет кого-либо почитать. Почитать же женщина может только мужчину, который является истинным, то есть наделенным творческим началом, мужчиной. А она чувствует, пусть даже и смутно, что тот тип мужчины, который все более настойчиво вырастает в основной тип американца, все в большей и большей степени развивает в себе свойства, которыми она и сама отличается, причем за счет именно тех свойств, которых ей недостает. Она — трудящаяся половина человечества; она от природы ориентирована на хозяйство; она думает о безопасности, сохранении и обеспечении, одним словом, — она создана для воплощения серьезности жизни. Поэто-

* Остроумный выпад (фр.)

му вполне логично, что у нее возникает желание забрать себе все те посты и места, которые по воле самой природы должны принадлежать не мужчине, а именно ей. И она требует как можно большей власти, чтобы поставить мужчину на подобающее ему место — место творца, художника, авантюриста и вечного ребенка. При сложившемся на сегодняшний день положении вещей сделать это проще всего при помощи какой-либо формы матриархата¹. Естественно, что это вызванное вечной природой женщины бессознательное стремление не сможет осуществиться в течение нынешнего периода наступающей геологической эпохи человека. Это — экономическая по своей сути эпоха; мужчина в течение чрезвычайно долгого времени и в значительно большей степени, чем ему стоило бы, будет вынужден сконцентрировать свое внимание на экономических вопросах. Но кое-чего все-таки достичь можно: чем больше женщина будет уравниваться с мужчиной в области экономики, тем в большей степени все то, что в современном мужчине является не мужским, а женским, будет утрачивать свой престиж; и тем меньше у женщины будет честолюбивых желаний конкурировать с мужчиной в том, на чем в течение последнего столетия основывалось его главенствующее положение. И в результате то, что является по самой своей сущности ценным, с одной стороны, для мужчины, а с другой — для женщины, вновь обретет подобающее ему признание. Женщина вновь обрела бы мужчин, которых могла бы почитать, а мужчина — женщин, которых он был бы способен вдохновлять.

Однако как можно вызвать или ускорить этот поворот? Несмотря на всю свою инициативность в некоторых отдельных направлениях деятельности и даже несмотря на свое *Shakti*, которым в конечном счете в достаточной мере обладают лишь немногие — ведь и среди мужчин

¹ Совсем недавно я обнаружил, что один немецкий философ, имя которого мне встретилось впервые, Эрнст Рунеманн, весьма остроумно изложил эту же самую мысль. См. его статью «На пути к матриархату» в № 12 «Философских тетрадей».

гении редки, — женщины по своей сущности представляют собой реагирующую, отвечающую половину человечества. Поэтому она глубоко права — хотя, как правило, в иных отношениях, чем она сама полагает, — когда жалуется, что во всех нынешних несчастьях виноват мужчина. Если мужчина не соответствует своему предназначению, то в соответствии с вечным законом природы она также не может полностью осуществить свое предназначение. Как же можно сформировать более высокий тип мужчины? Ответ таков: именно посредством современного господства женщины, если предположить, что она поймет истинный смысл своего положения. Не ей внутри космического порядка подобает дух изобретения. Но, с другой стороны, женщина может так убедительно внушить мужчине то, что она ощущает, как не способен ни один мужчина. Так в конечном счете все религии добивались успеха благодаря женщинам; так благодаря им распространялась слава всех духовных творцов. В конце концов мужчины всегда становятся такими, какими их хотят видеть женщины. Таким образом, культ женщины, и в особенности культ матери, для американцев на самом деле представляет собой великий шанс Америки. Если американка глубоко и по-настоящему поймет — не только интеллектом, но всем сердцем и всей душой, — что же, собственно, испортилось в современном американце, то очень скоро она его преобразит. Конечно, своих мужей и возлюбленных американки смогут изменить лишь в крайне редких случаях, но вот из своих сыновей они наверняка сделают нечто иное и лучшее, чем то, чем они были бы без этого преобразования. В любом случае они создадут некую новую культурную атмосферу — атмосферу, в которой будут господствовать ценности, чье воплощение впервые сделает человека человеком в истинном и высоком смысле. Это ведет нас к новой и на сей раз позитивной оценке американского матриархата и позволяет предположить, что в нем заключены возможности, подобные тем, что в свое время привели к расцвету европейской культуры. Сегодня в Америке в женских колледжах существует культурная традиция, почти тождественная той,

что присуща европейским университетам. В Америке никогда не определишь с первого взгляда, где тот или иной мужчина провел свои студенческие годы, ибо в большинстве случаев он, тотчас как только покинет стены университета, перестает хранить верность традиции, которую тот пытался в себе воплощать; он начинает никоим образом не связанную с ней карьеру, например, продает закладные, и совершенно забывает то, что некогда он делал нечто иное. Но что касается американки, то тут, пожалуй, сразу можно определить, в каком колледже она получила образование. Следовательно, уже сегодня американские женщины воплощают собой подлинную культурную традицию. Теперь же необходимо найти этой традиции правильное применение. В настоящее время девушки полагают, что, получив «хорошее образование», они сделали все, что от них требовалось, и теперь могут посвятить всю свою последующую жизнь интеллектуальным и художественным интересам, прежде всего литературе. Однако с национальной точки зрения этого недостаточно. Отныне молодые девушки должны рассматривать время, проведенное ими в колледже, как время, потраченное на подготовку к созданию культурной атмосферы в своем собственном доме. Культура вырастает только из дома и в доме. Она может расцвести лишь тогда, когда понимание ее ценности внушалось бессознательному маленького ребенка. Следовательно, ключ к действительно необходимому решению проблемы повышения культурного уровня американских мужчин действительно находится в руках у женщин. Здесь наконец я могу высказать о них свое мнение. По моему убеждению, американка представляет собой удивительный человеческий материал. Ей лишь нужно избавиться от той ошибочной установки и того неправильного образа мыслей, которые мы обсуждали, и она сможет вырасти в нечто поистине чудесное. Уже сегодня, несмотря на незаслуженный престиж, которым пользуется тип лишенной моральных устоев девочки-подростка, американская девушка есть самое лучшее, что я видел в Америке. Дни, которые я провел в девических колледжах, остались в моей памяти как

самые счастливые воспоминания. Не потому, что я провел их в окружении столь многих очаровательных (в обычном смысле слова) юных девушек, а потому, что я чувствовал, что вся атмосфера была наполнена там искренним стремлением к лучшему. Ни в одном европейском городе я не находил большего понимания и отклика. Мое личное мнение твердо: самое юное поколение уже переросло стадию увлечения типом взбалмошной девочки-подростка¹. Оно переросло также и сухость традиционного пуританизма. Оно стремится к тому, чтобы развивать ту целостность, которой только и может быть истинный идеал женщины. А как только появятся женщины высшей пробы, то неизбежно вырастут и достойные их мужчины.

¹ Я написал это летом 1928 года. Уже когда я готовил немецкое издание, в феврале 1930 года, идеал аморальной девушки, судя по всему, приказал долго жить.

ДЕМОКРАТИЯ

Само собой разумеется, вопрос не в том, является или не является демократия воплощением некоего абсолютного идеала. Целесообразной будет постановка лишь следующих вопросов: во-первых, какое значение в слово «демократия», которое может значить почти все что угодно, вкладывают американцы; во-вторых, соответствует ли фактический характер демократии состоянию нации и, наконец, что: добро или зло — предвещает будущему то, что она сегодня собой представляет. Европеец, если хочет понять, что в действительности значит для американцев демократия, должен вновь погрузиться в иррациональные глубины средневековой веры. Воспевает ли ее в религиозных гимнах Уолт Уитмен, превозносит ли ее как единственный достойный человека порядок Джон Дьюи, обращают ли Европе свои послания, звучащие для европейского уха как боговдохновенные пророчества, такие государственные деятели, как Вильсон, Кулидж или Гувер, — это понятие всегда играет роль некоего нерационального символа какого-то еще неопределенного состояния; эта роль соответствует той, какую на заре человеческой истории играли иероглифы, руны и идеограммы. Отсюда такая сила всего лишь одного слова. Отсюда практическая несущественность любых возражений, которые выдвигаются в отношении этой демократии и даже любого сомнения в ее существовании. Американские интеллектуалы с недавних пор чуть ли не больше, чем европейские, склонны сомневаться в ее существовании и ценности. Конечно, о правлении народа, посредством народа и для народа не может быть и речи, если не все решения принимаются единогласно — а это возможно лишь в некоем первобытном состоянии. Как только начинается общественная дифференциация, всякое правление сводится к классовому господству, и это не более чем терми-

нологический вопрос, называют его так или нет. Ибо единственное серьезное возражение этому утверждению, состоящее в том, что в демократическом государстве те, кто в нем *de facto* господствует, репрезентативны для народа, чего не бывает при любом классовом господстве, опровергается тем соображением, что для народа в той же степени репрезентативным, что и демократическая власть, может быть все что угодно и кто угодно. Для сегодняшней Италии репрезентативность Муссолини в любом случае выше, чем репрезентативность любой выбранной корпорации, которая когда-либо существовала в Соединенных Штатах. То же самое пятьдесят лет назад относилось и к большинству монархов. В этой связи значение имеет лишь одно: внутреннее признание народом тех, кто им правит.

Если же демократия означает равенство, то следует согласиться, что в Соединенных Штатах, несомненно, больше социального равенства, чем где-либо еще на Западе. Историческая причина этого заключается в том, что Америка заселялась почти исключительно выходцами из низших слоев Европы, которых, вполне естественно, приводила в негодование только одна мысль о том, что они должны «с почтением относиться» к новому «начальству». Однако это равенство было следствием не равноправия, а удивительного единомыслия. На самом же деле ни одна политическая система не была так мало приспособлена к тому, чтобы гарантировать прочное и длительное равенство, как система Соединенных Штатов. В том, что касается «равенства», как и в том, что касается «демократии», все зависит от того, как понимается это слово. Американское представление о равенстве не только изначально, но и по самой своей сути есть представление жителя пограничья: оно предполагает и требует не равенства доходов и имущества, а равенство возможностей; доходы должны соответствовать заслугам. Отсюда берет начало современная модификация этой идеи, в соответствии с которой необходима не социализация идеи, а социализация воли: равенство в положении не требуется, но важно равновесие между тем, что дается, и тем, что берется. То, что

некогда люди питали иллюзию, что такой образ мыслей сам по себе порождает равенство, было следствием беспрецедентно благоприятной хозяйственной конъюнктуры, которую в течение долгого времени обеспечивали «безграничные возможности» Америки. По логике вещей этот образ мыслей должен был способствовать все большему неравенству, и так оно и было, за исключением социального типа. Если признается, что различным заслугам, которые всегда являются следствием различной одаренности, подобает различное вознаграждение, то тем самым — пусть еще и бессознательно — в качестве господствующего принципа утверждается неравенство, а отнюдь не равенство; рано или поздно это неминуемо проявится и в фактической жизни. Если же в качестве критерия здесь выступает богатство, то каждый доллар должен в большей или меньшей степени способствовать появлению различий в статусе и положении. То, что большинство американцев не понимает того, что в их стране это уже произошло, связано с тем, что они не могут избавиться от иллюзий либеральной эры. Однако когда европейский социализм, законное дитя либерализма, принципиально отделял идею дохода от идеи заслуг, это было абсолютно логично: он был научен опытом неизбежного вырождения либерализма в плутократию. Если в мире, в котором богатство означает превосходство, должно существовать равенство, то следует ликвидировать именно различия в доходах. Но мы уже видели, что Соединенные Штаты обладают иммунитетом к социализму в европейском понимании. Следовательно, остается одно: американская демократия будет развиваться в условиях растущего материального неравенства.

И эта перспектива никоим образом не станет более привлекательной от того, что это развитие будет сопровождаться все большей психологической унификацией. Исторические корни стандартизации следует искать в том, что заселявшие страну иммигранты были настолько не равны друг другу внутренне, что национальное единство могло быть достигнуто и сохранено лишь посредством внешней унификации. В результате все интересы резко

обратились вовне. Но следствием этой крайней экстраверсии было то, что вытеснению подвергся внутренний мир; и вскоре внешняя сторона в структуре жизни Соединенных Штатов настолько усилилась, что смогла подавить всякую не пребывавшую с ней в гармонии внутреннюю жизнь. Таким образом, психологическое равенство в Америке означает не единый образ мыслей, как у медленно выраставших изнутри старых культурных наций, единство которых обеспечивалось общим дифференцированным бессознательным, а, наоборот, отсутствие всякой внутренней жизни. О сегодняшнем американце невозможно, как об англичанине или китайце, сказать, что он чем типичнее, тем глубже, наоборот, он тем поверхностнее и беспочвеннее. Обозначенное здесь направление развития не может не вести к тому, что противоположно истинной демократии, не только к господству над всеми одного или немногих, но и к господству худшего — господству мертвых вещей и предметов. Здесь у нас появляется возможность посредством более подробного истолкования некоторых мыслей, изложенных в предыдущих главах, предоставить им тем самым более широкий смысловой фон. «Приватизм» таит в себе возможности прекрасного будущего, только в том случае, если всякая частная жизнь будет трактоваться не в денежных понятиях, ибо в противном случае править будет «собственный смысл» доллара, а не человека. Все, что доступно механизации, естественно, должно быть механизировано с целью освобождения человека, сосредоточенного на внутреннем, от внешней трудовой повинности. Но если это приведет к суверенной власти сверхличностных сил, а деперсонализация пойдет слишком далеко, что демонстрируют расплывшиеся агентства, задачей которых является *to raise the big wind*^{*}, то есть собирать добровольные пожертвования при помощи профессиональной техники, то на человеке можно будет поставить крест. Подобным образом обстоит дело и с дружбой. Даже сугубо личные отношения основываются в сегодняшней Аме-

^{*} Раздобыть побольше денег (англ.).

рике в первую очередь на интересах бизнеса или на общей работе, и поэтому никто не забывает прежних «друзей», если они исчезают из круга его повседневных интересов, так быстро, как американец. А ведь при таких обстоятельствах «демократия» хуже любой тирании. Она неизбежно — ибо самодержавно господствует внешнее — вызывает все большую и большую стандартизацию, которая, в свою очередь, столь же неизбежно ведет к снижению общего уровня, ибо уравнивать всех людей можно, лишь сведя их к самому низкому общему знаменателю — к их животной и внешней стороне. Но, кроме того, такой демократии все больше и больше должно противодействовать естественное снижение уровня равенства, понятого именно как равноправие. Природа не знает никакого равенства; для нее превосходящая материальная сила означает превосходство в абсолютном смысле. Она даже жестока от всего сердца; она не знает никаких компромиссов, разве только в качестве непреднамеренного следствия взаимодействия случайно оказавшихся равными сил. Там, где одна естественная сила побеждает другую, она ее уничтожает. Такой природной жестокости, которую можно наблюдать всякий раз, когда какой-либо человек терпит неудачу, в Соединенных Штатах более чем достаточно; а это неминуемо ведет к все более глубокой пропасти между изначально сильными и изначально слабыми. К этому добавляется и следующее. Повышение рационализации деловой деятельности вызовет рост концентрации капитала, а тем самым и рост иерархизации в слое руководящей интеллигенции. Возникший в результате этого иерархический порядок, если предоставить его самому себе, будет буквально бесчеловечным. С одной стороны, в нем будут господствовать критерии природы (а не человеческие, то есть гуманные), а с другой — при всеобщей деперсонализации жизни даже самый человечный сам по себе лидер не сможет действовать в соответствии со своим собственным желанием и мнением: он всегда должен будет помнить о тех интересах, которые он призван защищать. Средневековое общество также основывалось на идее репрезентации, поэтому и оно было сурово по

отношению к индивиду как таковому. И все же его иерархический порядок был порядком духовно-человеческих ценностей. Современный же индустриальный феодализм будет защищать исключительно материальные, а следовательно, нечеловеческие интересы. Уже в ходе мировой войны миллионы людей с чистой совестью были принесены в жертву угля и нефти; этот способ обесчеловечения со временем может только совершенствоваться. А поскольку сегодня большая часть всего мирового богатства принадлежит Соединенным Штатам и нет никаких причин для того, чтобы капиталистическое развитие не прогрессировало там в течение еще долгого времени, очевидно, что шансы на то, что Америка останется демократией в принятом сегодня смысле, откровенно невелики. Уже сейчас, когда я пишу эти строки (1928 год), факты не соответствуют всеобщей вере. Лишь очень немногие американцы видят истинное положение дел, и это объясняется прежде всего тем, что в своем большинстве они еще мыслят в понятиях XVIII столетия. Но с их помощью невозможно понять реальное состояние современного мира.

Поэтому нас абсолютно не должна волновать проблема сохранения той «демократии», в которую либо как в идеал, либо как в мнимый факт верит большинство американцев. И тем не менее Америка — это демократия. И именно в том единственно важном и существенном смысле, что она представляет собой нормальную форму жизни зоологического вида *homo americanus*, подобно тому как существуют особые нормальные формы жизни для жуков или оленей. Если для наций, составленных из различных типов, нормальными являются кастовая система или синдикалистское устройство, а для индивидуалистических народов с господством ценностного сознания — аристократические структуры, то существуют и народы по своей сути демократические, в которых подавляющее большинство принадлежит одному единственному типу, а социальные тенденции доминируют над индивидуальными¹.

¹ Ср. точное изложение этих мыслей в главе «Венгрия» моей книги «Спектр Европы».

В этом единственно важном смысле и американцы, вне всякого сомнения, принадлежат к демократической части рода человеческого. Но корни их демократии иные по своей сущности, чем корни так называемой британской демократии, у которой американцы переняли большинство своих идеалов и институтов. Американцы являются демократами не в силу своей политической проницательности или такта, а потому, что они — социалисты и приватисты, и потому, что в них доминирует материнский дух женщины. Здесь мы впервые можем довести ту последовательность мыслей, которыми завершается предыдущая глава, до ее логического конца. Мы говорили, что Соединенные Штаты, вне всякого сомнения, останутся страной матриархата и что именно на этом основываются их лучшие перспективы: дух господствующей женщины предлагает единственную надежную гарантию для сохранения свободы. Если бы в Америке все еще господствовал дух мужчины, как это было в начале американской истории, а американские мужчины и сегодня были бы столь же безжалостны, как пионеры и пуритане, то структура Соединенных Штатов представляла бы собой разновидность еще более жесткой олигархии, чем карфагенская. В американском политическом строе нет абсолютно ничего, что могло бы этому помешать; губительные для свободы последствия либерализма проявились бы в Америке значительно более ярко, чем у нас. Но в действительности все происходит иначе. И это именно потому, что Америка неумолимо развивается от патриархата в матриархат. Женские организации год от года становятся все могущественнее. Вследствие господства приватизма — первого в нашей истории основания национальной жизни, конгениального женскому духу, — и естественных высоких деловых качеств женщин в экономической сфере в высшей степени вероятно, что вскоре они не только косвенно, но и непосредственно будут играть одну из ведущих, если не ведущую роль в общественной жизни. Но уже сегодня естественные инстинкты женщин, социальных и альтруистичных, неумолимо превращаются в живые корни американской народной

жизни. Таким образом, именно каузальный ряд совершенно иного происхождения, чем тот, который в свое время привел к демократии, и дух, прямо противоположный тому, что сегодня все еще господствует в Англии, гарантируют наличие индивидуальной свободы. Зоологи назвали бы эту конвергенцию двух изначально различных типов псевдоморфозом.

Основные черты, отличающие американскую демократию от остальных, уже рассматривались нами в главах «Социализм» и «Приватизм». Действительно, именно непризнаваемый таковым американский социализм — а не всеми признанный либерализм — и дефицит интереса к политике — а не наличие какой-то особенно замечательной политической системы — гарантируют сохранение в Америке демократии. Если мы поставим проблему приватизма в контексте этой главы, то придем к выводу: главные корни типично американской антипатии к государственному вмешательству следует искать в том, что американцы, пусть и бессознательно, ощущают, что их особенная демократия сможет успешно развиваться лишь до тех пор, пока главное значение придается частной воле, а не государственному принуждению. Одновременно это приводит нас к более глубокому пониманию американского социализма: предопределение Америки состоит в том, чтобы стать во вновь зарождающемся мире полярной противоположностью, или контрапунктом, социализму в европейском смысле этого слова. И для объяснения я вряд ли смог бы придумать что-либо лучшее, чем противопоставить американский идеал идеалу Бернарда Шоу, как тот был наиболее ясно представлен в его социально-политической программе, адресованной интеллигентной женщине. Это поистине *bonne fortune*^{*}, что Шоу никогда не пересекал Атлантику: иначе самая, пожалуй, значительная книга о возможном прогрессе, исходящая из европейско-социалистических предпосылок, осталась бы ненаписанной, или же этой книге недостава-

* Счастливая случайность (фр.).

ло бы той односторонности, которая одна только вызывает глубокие последствия. Шоу справедливо выступает за всеобщее благосостояние; с полным правом он видит в бедности болезнь, с которой следует бороться, как с проказой. Однако от него ускользнуло то, что большая часть того, что он требует, в Соединенных Штатах уже осуществлено, и как раз совершенно иным путем, нежели тот, который он рассматривает как единственно возможный. Шоу придерживается той точки зрения, что состояние удовлетворительного социального равновесия недостижимо посредством свободной конкуренции (в этом причина того, что он, как и большинство социалистов, предсказывает революцию на американской земле). По его мнению, необходимые изменения могут произойти лишь при помощи принуждения и закона. В самом деле, нет никакой другой возможности создать социалистическое государство, если нация внутренне индивидуалистична или если она, как русская, разделена на типы господина и угнетенного. Но именно поэтому для таких народов социализм является недостижимым идеалом. Хотя несомненно и то, что можно и должно социализировать гораздо большее количество институтов и сфер, чем это имело место до сих пор; к самому поучительному в книге Шоу относится то, что он объясняет, в какой мере и объеме не только социализм, но даже коммунизм являются нормальными формами цивилизованной жизни; то, что характерно для армии, полиции, почты, публичного преподавания и т. д., по всей видимости, вскоре повсеместно станет таковым и для большей части того, что является первичной необходимостью для всех. Лишь в индивидуалистических странах социализм никогда не сможет создать ничего большего, чем фундамент; таким же будет там и его значение. С зоологической точки зрения для индивидуалиста характерно то, что в нем индивидуальные тенденции занимают господствующее положение по сравнению с социальными; поэтому он лишь тогда достигает исполнения своего предназначения, которое является также и его целью, когда главный акцент падает на индивидуальное. И, наоборот, социальная неполноцен-

ность индивидуалиста есть нечто совершенно ничтожное по сравнению с тем уродством, которое неизбежно будет результатом торможения его прирожденных тенденций, а без этого торможения индивидуалиста невозможно превратить в социалиста; отсюда идеал принуждения, а не свободы, в приверженности которому признается сам Шоу. Но если и существует нечто, раз и навсегда доказанное, так это то, что лучшие способности человека не могут раскрыться, если он не свободен. В любом случае тот, для кого его глубочайшая самость не является последней инстанцией, никогда не станет высокоразвитой личностью. И самый поучительный пример, подтверждающий это, предлагают именно теории Шоу. Естественно, сознательно он полагает, если всеобщие основы жизни будут социализированы и отдельный человек адаптируется к этому всеобщему состоянию, личность только богаче раскроется. Но бессознательно он почти в точности, как Ленин, знает, что личный авторитет, который и создает высокоразвитую личность, не сможет плодотворно развиваться в социалистическом обществе. Так, он с обезоруживающей наивностью утверждает, что истинным авторитетом сегодня обладает даже полицейский, который может арестовать даже короля, если тот превысит допустимую скорость дорожного движения... Полицейский как символ власти и авторитета! Когда я это прочел, я подверг обследованию свое сознание и обнаружил, что, когда я без всяких разговоров следую полицейским предписаниям, этот сорт авторитета для меня ничего не значит. Как мне кажется, в моем подчинении власти государственных служащих заключается ничуть не более глубокий смысл, чем в подчинении закону гравитации. Я могу признать авторитет как таковой только тогда, когда он представляет собой высшую личность, а не законное установление. И здесь я, пожалуй, прав в абсолютном смысле; доказательством тому служит вся история человечества; так, например, никто лично не повлиял на свой народ и свою эпоху больше, чем не веривший в личность Ленин, и поэтому нет ничего удивительного в том, что его телу воздаются такие почести, какие не воздавались ни одно-

му человеку со времен фараонов. Если бы когда-нибудь случилось так, что представления о власти и авторитете были бы полностью оторваны от личных ценностей и сплавлены с принуждающей силой рутины и бюрократии, то в индивидуалистической Европе это означало бы конец всякого превосходства живого и знаменовало окончательную победу мертвой материи. И абсолютно естественно, что в течение некоторого времени массы придерживаются чрезмерно высокого мнения о государственной власти. Одну из причин этого Бернард Шоу почувствовал особенно остро. Он пишет: «Английской натуре и, вероятно, человеческой природе вообще присуща очень сильная склонность к абсолютным запретам. Мы никогда не должны забывать тех детей из «Панча», которые в результате своего обсуждения, во что бы им поиграть, решили посмотреть, что делает самый младший, а потом заявить, что ему этого нельзя. Запрет есть удостоверение власти, а у всех нас есть воля к личной власти, которая находится в противоборстве с волей к социальной свободе». Низшими классами командовали с незапамятных времен. Поэтому вполне естественно, что под свободой они понимают прежде всего возможность самим покомандовать другими. А поскольку изначально они мыслят исходя из понятия массы, то государственное принуждение воплощает для них самое первое и ближайшее понятие власти. Однако существует еще одна и более глубокая причина этой утраты понятием авторитета своего смысла и ценности, и она уже сама по себе обуславливает снижение общего культурного уровня: как было показано в главе «Приватизм», государство как таковое является сегодня представителем массы, то есть количества, а не качества. Чего же еще по здравому размышлению можно от этого ожидать, как не все возрастающей утраты государством своей ценности? Я не вижу никакой другой возможности, кроме той, что все, что имеется в Европе государственного, будет во все большей степени становиться выражением социализма в его европейском понимании, и именно это доказывает, что социализм (по-прежнему понимаемый в его европейском смысле) не может создать

никаких ценностей. Вне всякого сомнения, Шоу прав в том, что мы должны преодолеть господствующий сегодня коммерциализм, и в том, что в эпоху масс для этого нет никакого иного пути, кроме социализации основ государственной жизни. Особого внимания заслуживает прежде всего следующее высказанное Шоу положение, хотя он, собственно, выражает нечто само собой разумеющееся: «Чиновник, судья, капитан корабля, фельдмаршал, архиепископ, какими бы выдающимися способностями он ни обладал, будет получать не большее вознаграждение за свой труд, чем любой обыкновенный человек его ранга и его возраста. Считается, что истинный джентльмен не продается тому, кто больше предлагает, — он требует от своей страны достаточного обеспечения и достойного положения как компенсацию за то лучшее, что он может ей предложить. Точно так же обстоит дело и с истинной леди. Но в капиталистической торговле и тот и другая вынуждены становиться своего рода старьевщиками, то есть выжимать все соки из тех, для кого их служба необходима, и таким образом богатеть за их счет». Я хорошо помню, как мне самому однажды стало не по себе, когда американские продюсеры и литературные агенты в моем присутствии хладнокровно обсуждали возможности «моей продажи»... Но Шоу не прав, когда он полагает, что порядок, при котором последней инстанцией признается государственная власть, можно когда-нибудь преобразовать в более высокую форму, характерную для аристократического общества; ибо в силу психологического закона она просто должна стать последней инстанцией, если будет распределять весь возможный доход и если не возникнет какой-либо независимой от официальных должностей иерархии, которая обладала бы большим престижем, чем чиновничий аппарат.

Все это истинно для индивидуалистических стран. Но американский социализм есть нечто совершенно иное, нежели европейский. В Америке его понятие не подразумевает никакой системы принуждения. Поэтому у Соединенных Штатов существует возможность, которая заказана Европе: возможность того, что на социал-демокра-

тическом фундаменте расцветет истинная культура. Разумеется, совершенно невероятно, что эта культура создаст высшие ценности в тех областях, которые предполагают индивидуалистическую структуру. Но благороднейшая задача этого периода «геологической эпохи человека» состоит именно в поднятии общего культурного уровня, в чем-то ведь даже европейский социализм прав. Поэтому на нынешней стадии преимущества Америки имеют большее значение, чем ее недостатки.

Обратимся теперь к главным недостаткам нынешней американской демократии, рассмотрев их под тем углом зрения, можно ли, и если можно, то как, их устранить. Если при этом мы вернемся к тому, что мы уже обсуждали, то это естественно: всякая истинно жизненная проблема какой-либо нации неизбежно обуславливает все те внешние проявления, в которых она себя выражает.

Первым главным недостатком является гипертрофия современной западной цивилизации вообще, результатом чего стало господство вещей над живыми людьми. В Соединенных Штатах оно получило такое аномальное развитие потому, что там господство животного идеала способствовало повсеместному распространению бихевиористского образа мышления, который неизбежно приводит к тому, что институты начинают рассматриваться как нечто более важное, чем люди. Если определяющим становится дух институтов, а не людей, то человек вынужден развиваться не по образу и подобию Божию, а по образу и подобию промышленного предприятия. Одним этим объясняется то, почему в Соединенных Штатах смыслом демократии стало представление, что один человек так же похож на другого, как один стандартный товар на другой. То, что такая точка зрения не может привести ни к чему хорошему, очевидно. Стандартные автомобили удобны и хороши: стандартные люди представляют собой нечто недочеловеческое. С этих позиций мы можем более точно, чем до сих пор, оценить весь ужас той опасности, которую заключает в себе идеал производства как самостоятельной цели: если люди рассматриваются лишь как

машины для производства и потребления, то к господству неизбежно и надолго придет нечеловеческое. Но это со своей стороны должно, причем сразу в двух отношениях, подготавливать смерть истинной демократии. Во-первых, если правит не человек, а машина, то ни о какой иной свободе, кроме свободы раба и в лучшем случае надсмотрщика над рабами, не может быть и речи; здесь американизм вновь обнаруживает сходство с большевизмом. Второе отношение, о котором я здесь говорю, состоит в том, что в описываемой нами ситуации в счет будут идти лишь участники производственного процесса. Это само по себе уже означает классовое господство, к тому же господство наименее ценного в духовном отношении класса. А по своему смыслу оно будет представлять собой даже нечто худшее, чем то, что имеет место в России, ибо породит тип, плодотворный не в духовном, а в экономическом отношении. А этот тип, с тех пор как человек овладел силами природы, естественным образом является наиболее мощным в материальном смысле; по сути дела, он в той же мере превосходит все остальные типы, в какой тип воина превосходил другие типы в эпохи непрерывных войн, но при этом он мощнее, чем любой другой прежде существовавший тип. Поэтому исключительное господство экономического класса неизбежно будет представлять собой крайнее выражение господства одного-единственного класса. С одной стороны, оно, пожалуй, выльется в своего рода аристократию, ибо лишь исключительные умы способны организовать массовое производство; а следовательно, можно быть уверенным, что в Америке быстрее, чем где-либо еще, демократия превратится в *foolproof* (защищенную от дурака) демократию. В штате Нью-Йорк эта цель уже достигнута, ибо там избирательное право обусловлено сдачей на первый взгляд чрезвычайно легкого, прямо-таки детского экзамена, который, однако, как правило, отсеивает громадный процент населения, — там, где доминирует деловой дух, легче исправить вопиющие недоразумения, к которым приводит всеобщее избирательное право, чем там, где на первом месте стоит политика. Однако у этой аристокра-

тии будут отсутствовать именно те самые добродетели, которые характерны для аристократии истинной. Многие опасаются, что конечной формой американской демократии может стать экономический цезаризм. Я не разделяю этих опасений. Во-первых, именно американский цезаризм очень скоро привел бы к становлению истинной демократии, ведь когда жажда богатства и власти удовлетворена, человек естественным образом направляет свой взгляд на те вещи и ценности, которых ему недостает. Однако истинная причина того, почему я не опасюсь экономического цезаризма, заключается в том, что вполне вероятным является нечто куда более худшее: одновременное господство сразу двух классов, при котором работодатель и работник вместе образуют некое единство более высокого уровня — единый экономически продуктивный класс. Благодаря органически присущему Америке социализму, у нее действительно гораздо больше шансов развиваться в направлении цезаризма, чем в направлении диктатуры пролетариата. Тем серьезней опасность того, что капиталисты и рабочие объединятся против всех тех, кто не занят в производственной сфере. И это будет означать окончательную победу животного идеала над культурным. Мы должны были именно в этой главе указать на эту опасность, ибо именно демократическое устройство в своей нынешней форме будет в наибольшей степени способствовать победе животного идеала. Это устройство есть творение эпохи, почти столь же далекой от истинного духа нашего времени, как дух классической Греции. Поэтому государственный строй Соединенных Штатов не содержит в себе ничего, что могло бы препятствовать действию реально существующих сил. Тем более что почти все американцы мыслят все еще в понятиях эпохи Просвещения, а потому они нисколько не лукавят, отрицая само наличие каких бы то ни было антидемократических тенденций.

А теперь сконцентрируем наше внимание на втором главном недостатке американской демократии: если она будет предоставлена сама себе, она неизбежно породит из самой себя некую кастовую систему, причем я имею в

виду не вышеописанное классовое господство и не господство ставших высшей кастой женщин, а нечто третье, что поначалу существует наряду со всеми прежними напластованиями, а затем на долгий период становится доминирующим. Я имею в виду касты в самом банальном смысле исключительного положения определенных общественных групп. Как известно, завоевать и удержать власть сегодня проще всего в том случае, если она официально не признана и к тому же невидима. При таких обстоятельствах всеобщая вера в равенство и его демонстрация создают сегодня — как ни парадоксально это прозвучит — идеальную питательную среду для роста замкнутых каст. Если о них ничего нельзя сказать официально, то они целиком и полностью основываются на общественной исключительности — кто же сможет их низвергнуть, когда они возникнут? Они ни в коей мере не будут воплощать собой какие-либо «способности», поскольку в Новом Свете любые способности с самого начала находили свое применение в иных социальных структурах. Но тем не менее они могли бы надолго добиться такой власти, что подчинили бы себе всю американскую политику на всех ее уровнях. Я не знаю, что могло бы помешать такому развитию событий, если бы в Америке и далее сохранялись нынешние тенденции, а религия благосостояния и равенства продолжала господствовать в течение еще хотя бы нескольких десятилетий. Но в таком случае в очень скором времени должен сказаться активно-негативный аспект того обстоятельства, что, как представляется, идея касты уже полностью разложилась под влиянием идей способностей, заслуг и моральных обязательств. Всей историей доказан и многократно подтвержден тот факт, что потомки *self-made-men*^{*}, поднявшихся благодаря тяжелому труду от крайне низкого до чрезвычайно высокого общественного положения, чрезвычайно редко удаются в биологическом смысле, в большинстве случаев они вырождаются в течение трех поколений. Объяснению этого способствовали правильно интерпретирован-

^{*} Люди, обязанные своим успехом самим себе (*англ.*).

ные статистические исследования Людвига Флюгге: человека, чтобы он выжил как раса, следует вакцинировать от воздействия роскоши почти в том же смысле, как его вакцинируют от оспы; поэтому чем старше какая-либо культура, тем не ниже, а, наоборот, выше становятся шансы членов старых, в противоположность недавно взлетевшим к вершинам успеха, фамилий. Одним этим соображением объясняется то, почему такое поразительное по сравнению с европейцами количество богатых американцев производит впечатление людей, испытывающих дефицит жизненных сил. Таким образом, если вместе сойдутся дефицит витальности, отсутствие цели и чудовищная власть, то иной человек может буквально ужаснуться, представив себе финальную стадию американской демократии...

Третью и величайшую опасность, заключающуюся в нормальном развитии американской демократии, следует искать в противоположном направлении. Все говорит за то, что в Соединенных Штатах, несмотря на всю присущую им кастовую исключительность, разовьется такое однообразие социального типа, что станет невозможной любая культурная дифференциация. И я вижу в этом нечто более глубокое, нежели уже рассмотренное нами следствие стандартизации. Равенство в поверхностном смысле еще не нуждается в уничтожении индивидуальности, доказательством тому служит любой орден или любая армия. Однако она неизбежно уничтожается, когда всякое значение утрачивают различия, присущие внутреннему бытию человека. А это уже сегодня присутствует в Америке в ужасающих размерах: именно в своем бытийном типе представители самых изысканных кругов и могущественнейшие финансовые магнаты демонстрируют поразительное сходство с человеком с улицы. Демократия с самого начала учреждалась в надежде, что она приведет к расслоению, критерием которого будут истинные, а не воображаемые качественные различия, то есть равноправие должно было стать основанием еще более богатого многообразия. Точно так же и законный наследник идеалов либерализма, истинный социализм, как его по-

нимает Бернард Шоу, требует равенства доходов не для того, чтобы каждый человек был точно таким же, как и всякий другой, а для того, чтобы создать возможность проявления различий иного порядка, нежели экономические способности и финансовая власть. В Европе демократическая вера также не сделала человека богаче, но она, по крайней мере, не разрушила его внутренне. В Америке же она фактически совершила это, поскольку она не только привела к абсолютному господству одного-единственного типа, но и даже к замене им всех прежних и вообще иных типов. То, что большевизм лишь надеется осуществить, имея в виду формирование единственного приемлемого для него типа, Америка фактически осуществила в лице «человека с улицы».

Мне кажется, это в высшей степени поучительное зрелище: все уроженцы великого континента, официальным девизом которого является «Дорогу всему дельному и способному», либо принадлежат к одному и тому же типу, либо развиваются в этом направлении, либо, что еще лучше, если они не принадлежат к одному и тому же типу и не развиваются в этом направлении, то хотели бы этого. Это логически неизбежное следствие господства демократической системы, которая главное значение придает «способностям» и абсолютно не обращает внимание на бытийные различия¹. Поскольку человек по самой своей сущности свободен, все части и функции его психического организма, которые он сознательно не акцентирует, регрессируют вплоть до остановки в развитии и деградации. А поскольку «бытие» человека по своей сути отличается от его «способностей», то никакая дифференциация и никакое развитие на уровне последних не в состоянии поднять уровень первого. И, наоборот, если основной акцент делается на способностях, следствием будет непосредственное снижение уровня бытия. И здесь мы приближаемся к самой глубинной причине американской поверхностности. Если корнем и в то же время фоном вы-

¹ Я возвращаюсь здесь к понятиям «бытие» и «способности», рассматриваемым в соответствующем разделе предыдущей главы.

сокоразвитых способностей является недоразвитая индивидуальная душа, то эти способности никогда не смогут подняться выше чисто инструментального уровня. В лучшем случае их можно сравнить с музыкантом-виртуозом, но никак не с творцом музыки, но, как правило, они являются лишь выражением того, чего на самом деле нет, — души...

Результатом же действия всех рассмотренных нами недостатков является господство самого невероятного идеала, в который когда-либо верило человечество, — идеала человека с улицы. Он вовсе не представляет собой какого-либо осуществляющегося посредством фантазии предвосхищения более высокой действительности, но, совсем наоборот, есть идеализация фактического состояния, вырасти из которого или уклониться от которого у какого-либо человека или народа не хватает сил — прием, к которому охотно прибегает бессознательное, чтобы компенсировать невыносимое чувство собственной неполноценности. Но кто же такой этот «человек с улицы»? Он вовсе не тот нищий духом, которого Иисус объявил блаженным, он — человек, лишенный всяческой уникальности. Тот, кто отождествляет себя с тем, что в нем является общим со всеми без исключения остальными людьми, тем самым полностью отрекается от своей человечности как духовного качества и ценностного критерия. В этом заключается глубочайший смысл той бесчеловечности, которая вновь и вновь бросается в глаза представителям других народов, представляясь им основным свойством этого столь дружелюбного и в банальном смысле очень человеческого народа. Оглядываясь на свой собственный опыт, я могу утверждать, что это связанное со всем, что мы рассматриваем, снижение бытийного уровня в течение последних двадцати лет прогрессировало в прямо-таки ужасающих масштабах. Когда я впервые посетил Соединенные Штаты, руководству университетов еще не приходило в голову превозносить свои учреждения как «демократические» в том смысле, что в них нет места для высших человеческих типов. Сегодня это почти правило. Сегодня мы стоим перед тем чудовищным обстоятель-

ством, что американское общество фактически стало обществом одного класса и что большинство американцев полагает, что существует лишь одна социальная истина, а всякое исключение из правил рассматривается буквально как ересь. Это состояние полной бытийной недифференцированности составляет главный признак сегодняшней американской демократии. Поскольку же бытийным основанием внешнего всегда является внутреннее, эта недифференцированность объясняет также и тот, казалось бы, совершенно необъяснимый с точки зрения главенства различий в способностях факт, что в богатой Америке существуют едва ли большие различия в жизненном укладе, чем в голодающей России. И в одной, и в другой стране господствует идея, что не должно быть никаких различий. Здесь будет уместным сказать несколько слов о той «простоте» великих мужей Америки, которой так гордится их родина. Каждый великий человек, разумеется, прост в том смысле, что он является естественным и непосредственным, если другие своим непониманием не делают для него это невозможным. Но если американские великие действительно представляют собой «людей с улицы», то это может означать лишь то, что они вовсе никакие не великие. И действительно, большинство тех, кого общественное мнение возводит в ранг высших существ, являются совершенно обыкновенными людьми, ибо американский человек с улицы понимает под превосходством высокие деловые качества и богатство, тогда как ни один бизнесмен никогда не был внутренне велик, а внутреннее величие лишь в исключительных случаях ведет к богатству. С другой же стороны, стандартизация американской жизни и власть общественного мнения подавляют выдающиеся типы, как только они появляются. Это с другой, новой стороны подводит нас к определению американского типа. Дать определение «американца» намного легче, чем определение «представителя» любой другой нации, хотя бы просто потому, что больше нигде нет такого множества типичных индивидов. Тем не менее большинство известных мне определений неправильны. Американский че-

ловец с улицы вовсе не брат европейскому мещанину или бюргеру. Их отождествление будет несправедливостью по отношению к ним обоим. По отношению к американцу потому, что он великодушнее, щедрее, самоувереннее и исполнен большего самоуважения; по отношению к европейцу потому, что европейское среднее сословие, несмотря на свою узость, было и до сих пор остается неисчерпаемой питательной почвой индивидуальной дифференциации, в силу чего произошедшая в нем типизация не может означать действительной потери индивидуальности. Здесь опять-таки единственную аналогию Америке предлагает Россия. Пролетарское самосознание и большевистская гордость очень похожи на американские. Однако наибольшее сходство между американцами и большевиками заключается в том, что и те и другие представляют собой унифицированные типы, и в том, что равенство в поверхностном является для них не выражением какого-то внутреннего принципа, а означает подавление индивида обществом.

Что же должно произойти с американской демократией, чтобы она стала чем-то лучшим, чем то, что она представляет собой сегодня? Ответ вырастает из того понимания, что жизнь всегда и всюду есть феномен и процесс поляризации. То есть поскольку состояние равновесия всегда лабильно, его качество и ценность зависят от качества тех напряжений, посредством которого оно выражается. Но это означает, что его ценность прямо пропорциональна многообразию его молекулярной структуры. Человек есть существо, определяемое различием, также и в том смысле что для полного осознания своего своеобразия он нуждается в воздействии чего-либо чужеродного. В этом отношении идея равенства непосредственно противоречит духу жизни. изначальный же смысл демократии состоял в том, что она должна была порождать и стимулировать еще большее многообразие, чем то, которое находило свое выражение в средневековом общественном организме. При таких обстоятельствах, пожалуй, становится ясно, что необходимо, чтобы амери-

канская демократия снова стала фактором прогресса в человеческом, а не чисто техническом смысле: отныне именно она интенсивнее, чем что-либо иное из того, что существует в мире, должна подчеркивать различие и многообразие. Кредо нового поколения, — в отличие от традиционного кредо, сформулированного в положении: «Я почти такой же, как ты», — должно гласить: «Поскольку я таков, каков я есть, ты можешь и должен быть иным». *Normalcy* и *likemindedness* должны быть официально заклеены как эпитеты деградации; потрясающий рекламный аппарат Союза должен использоваться для чего-то лучшего, чем для создания апельсинового и автомобильного сознания: он должен способствовать осознанию человеком своей уникальности. Конечно, в этот поворотный момент истории американскому народу в рассматриваемых нами отношениях требуется едва ли менее радикальная смена образа мышления, чем та, которую Иисус требовал от иудеев. Но, с другой стороны, именно из иудейских корней, и только из них могло вырасти христианство. Это значит, что Америке не нужно отвергать свою историю. Когда я читал в Америке свои лекции, окружавшие меня конкретные жизненные обстоятельства постоянно давали мне повод подчеркивать решающую ценность уникальности; отклик, который я находил, был так силен, что я полагаю, что американская демократия уже сегодня внутренне созрела и готова к тому, чтобы в лице своих лучших представителей претерпеть необходимое ей преобразование. А большинству подражать тому, что делают лучшие, будет тем легче, что внешние рамки этой демократии не нуждаются в изменениях. Демократия есть зоологическая форма жизни вида *homo americanus*. По своей сути он социалист, то есть социальное имеет для него большее значение, чем индивидуальное. Следовательно, все духовные ценности, которые вообще нужно внушить американцу, следует воплотить в имеющиеся в наличии изначальные тенденции, которые стопроцентно социальны. При таких обстоятельствах несложно найти формулу, которая может вновь сделать американскую демократию прогрессивной: в буду-

щем в качестве элементарного социального единства должен рассматриваться индивид как таковой, то есть в своей абсолютной уникальности.

Этот тезис внезапно и во многом неожиданно возвращает нас к яркой картине будущего, которую мы набросали в первой части этой книги. Там мы говорили, что существуют весьма незначительные шансы, что в Америке разовьется высочайшая интеллектуальная, художественная и философская культура, однако тем вероятнее, что со временем она произведет на свет образцовую социальную культуру, практичную в своем выражении, моралистическую по образу мыслей и укорененную в религии. Действительно, это единственно мыслимый род строения, которое может быть возведено на американской демократической основе. Но, с другой стороны, если говорить принципиально, развитию такой культуры не мешает практически ничего, кроме сегодняшнего идеала равенства, ибо средства воплощения, которые предлагает духовным ценностям психологическая структура американской нации, ничуть не хуже тех, что существовали в Египте, Древнем Китае и Риме. И я рад, что могу сказать, что все мои наблюдения только усиливают мою уверенность в скорой кончине современного идеала равенства. Как и всегда, когда предстоят большие перемены, для их достижения необходимо взаимодействие многих причин, которые могут показаться случайными. В их первом ряду находятся растущее влияние католической церкви с ее глубоким пониманием всего человеческого и с ее сильным чувством иерархии и ценностей, разлагающий еврейский дух, а также поднимающийся дух критики американских интеллектуалов, значение которых, несмотря на то что они до сих пор составляют незначительное меньшинство, постоянно повышается. Однако главная причина тех перемен, наступления которых я ожидаю, заключается во внутреннем духе, определяющем рост американской нации. Идеи XVIII столетия полностью закончили свою работу и на американской земле. Процесс радикального обновления сам по себе властно толкает страну к новым целям. В Америке они не могут находиться в на-

правлении индивидуализма. Но и социализм может стать глубже, он также может перейти в какое-то новое измерение, что станет первой стадией некоего интеграционного процесса. И именно к этой интеграции уже сейчас стремятся все лучшие умы Соединенных Штатов. Я вновь приведу пример М. П. Фоллетт и процитирую несколько взятых буквально наугад фрагментов из ее книг «Creative Experience» и «The New State»: «Всякий процесс имеет свою собственную траекторию, поэтому движущая сила всегда заключена во внутреннем — и именно в этом оправдание демократии. Всякий живой процесс подчинен своему собственному авторитету, который сам развивается благодаря этому процессу и включен в него». Все это совершенно верно, но до сих пор американская демократия была выражением прямо противоположного принципа, а именно — господства внешних вещей. Но продолжим: «Тот, кто призывает к компромиссу, отрекается от индивида: чтобы могло состояться какое бы то ни было действие, индивид должен отказаться от части самого себя. Целостность индивида сохраняется лишь благодаря интеграции. Интеграцию можно рассматривать как качественную адаптацию, тогда как компромисс — как количественную». А когда прежде американская демократия вспоминала о качестве и целостности индивида? Посмотрим теперь, какой род интеграции имеет в виду М. П. Фоллетт, вовсе не тот, что приходит на ум индивидуалисту. «В обществе каждый отдельный человек может выступать в качестве исчерпывающего выражения целого... Я не думаю, что человек должен служить ближнему... Мы можем выйти за пределы Я не посредством других людей, а лишь с помощью синтеза Я с другими... Разъяснение неправильного понимания отношения Я с другими преобразовало идею собственного интереса. Наши интересы неразрывно переплетены друг с другом. Дело не в том, что является лучшим для меня или для тебя, а в том, что является лучшим для всех нас». Эта одиннадцатая глава книги «The New State», озаглавленная «Иллюзия отношения "Я и другие"», разрушила ложный идеал служения. При этом мисс Фоллетт — убежденная американская де-

мократка. С ее точки зрения, свободным человеком является тот, кто осуществляет волю целого; человек не обладает свободой иначе, чем в качестве члена какой-либо группы. Но большинство должно править не так, как оно это делает сегодня: «Господство большинства тогда является демократическим, когда оно ориентируется не на единоголосную, а на интегрированную волю». И здесь — в восемнадцатой главе этой книги — мы достигаем сердцевины проблемы: демократия более не должна быть господством массы; масса должна быть полностью заменена органичной группой. «Демократия означает, что каждый сам организует свою отдельную жизнь; при этом речь идет не о моей жизни и жизни других, не об индивидуе и государстве, но о моей жизни в ее связи с жизнью других; об индивидуе, который есть государство, и о государстве, которое есть индивид. Демократия — это бесконечный и всеобъемлющий дух». Но в этом месте («The New State», p. 157) мы видим также и то, насколько сугубо американским по своей сути является предлагаемое мисс Фоллетт решение. Все, что она считает хорошим и идеальным, она инстинктивно связывает с понятием демократии, так же как я связываю это с понятием аристократии. А это означает, что мы не только используем разные слова, но и преданы разным идеалам. Она пишет: «У нас (американцев) есть инстинкт демократии; мы достигаем целостности лишь посредством взаимосвязей... Мы верим в воздействие доброго и мудрого, однако они должны осуществлять свое воздействие лишь в рамках социального процесса; именно этот процесс, а не воздействие совершенного на несовершенное является очищающим». Если высшими считаются духовные, культурные, художественные или интеллектуальные ценности, если более высокое качество означает абсолютное превосходство, то каждое слово последнего из процитированных здесь фрагментов ложно. Воздействие более высокого качества испокон веков распространялось сверху вниз; и еще никому не удавалось продвинуться в индивидуальной интеграции в качестве части одной из стоящих все более многочисленными групп. Наоборот, современная психология доказала, что даже в Европе про-

цесс социализации зашел уже чересчур далеко и что на самом деле для возможного расцвета новой западной культуры куда большее значение имеет индивидуализация — процесс, который каждый человек должен осуществлять сам для себя. Однако, с другой стороны, то, что отстаивает М. П. Фоллетт, действительно означает более высокое состояние, которого может достичь Америка. Если социальное сознание господствует над индивидуальным, если структуре нации органически присуща демократия, то, разумеется, для нее не существует лучшего идеала, чем тот, в соответствии с которым каждый отдельный человек должен стать репрезентантом целого. В таком случае выражение макрокосмоса приведет к такому разворачиванию микрокосмоса, какое вообще возможно на социалистическом пути. Если сущность человека определяется как его принадлежность к какой-либо группе или государству, а не как его индивидуальная уникальность, то я не знаю лучшего плана развития, чем тот, который набросала мисс Фоллетт. Его реализация действительно могла бы привести к становлению в некотором смысле идеального общества. Конечно, и в таком случае Америка не станет тем, чем некогда был Рим, но она может стать чем-то ему равноценным. Она не станет тем, чем является английское общество, но могла бы ни в чем ему не уступать. Да, со временем американская демократия могла бы превратиться в одно из высших проявлений человеческого совершенства.

Больше я почти ничего не могу сказать об этой проблеме, пока не рассмотрю проблему морали и проблему необходимых для воплощения вечных духовных ценностей материальных тел. Но кое-что можно констатировать уже сейчас. С одной стороны, получившаяся в конечном счете картина будет иметь в высшей степени христианский вид. Если бы сегодняшний процесс дифференциации, осуществляющийся в направлении идеалов *Social Service* и сотрудничества, повернулся в сторону интегрированного целого, что само по себе привело бы к углублению самого социализированного индивида, то в Америке истинный дух любви смог бы воцариться быстрее, чем где бы то ни было еще. Такое направление развития тем более вероятно, что

господство приватистского образа мыслей имеет своим следствием проявляющийся в повседневной жизни непроизвольный акцент на принципе уникальности и тем самым словно бы подготавливает своего рода сосуд, способный к восприятию более глубокого духа. Я говорил по другому поводу, что американцы, по всей видимости, являются единственной западной нацией, ибо лишь ее бессознательное не вышло за пределы христианства. Таким образом, то, что означает прежде всего недостаток традиции или разнообразия, может стать и необходимой предпосылкой возникновения чего-то нового. Если руководствоваться идеальными критериями, то едва ли можно отрицать, что христианизация Европы потерпела неудачу. Привнесенная с Востока религия с ее совершенно чуждыми европейцам традициями так и не смогла слиться с врожденными душевными тенденциями тех европейских народов, которые уже успели развить свои собственные традиции. Жизненная сила римского католицизма основывается прежде всего на сохранившей свою жизненную силу античной языческой традиции; и глубочайшее психологическое значение протестантской реформации состоит в том, что она представляет собой возрождение изначального нордического образа мышления. В любом случае христианская Европа никогда не выходила из того состояния внутреннего надлома и неуверенности, которое характерно для всякого метиса или бастарда. Но нет никаких причин для того, чтобы американская душа, двигаясь исключительно по христианскому направлению развития, не достигла бы состояния истинной целостности и индивидуальной интеграции.

Ход наших мыслей должен привести нас к предположению, что, достигнув зрелости, американская нация будет чрезвычайно похожа на народ Древнего Китая. Не приобретает ли теперь то, что мы в свое время лишь наметили, черты почти завершенной картины? Древний Китай также был демократией. В Китае также господствовал социальный инстинкт. Китайская традиция столь демократична, что сегодня в Китае сильнейший отклик находят идеи Бентама. При этом древнекитайская культура была одной из величайших культур, какие только

видел мир, ибо ее социалистическая и демократическая структура служила средством выражения всех тех ценностей, главная характеристика которых заключалась в их уникальности. Китай также на свой манер верил в нормальность. Но Китай идеализировал единомыслие, поскольку все китайцы верили в одни и те же, воплощенные в одних и тех же формах фундаментальные истины. Однако идеалом китайского демократизма был не человек с улицы, а человек обычных дарований, достигший такого совершенства, что его предельная глубина запечатлевалась в полной гармонии и совершенном изяществе внешней формы. А китайское единомыслие означало не то, что каждый верил в один и тот же лозунг и цитировал одни и те же заголовки, а то, что от каждого ожидалось, что он лично будет стремиться к той вечной истине, которая действительно вечно остается равной самой себе. Китай придавал главное значение смыслу, а не средствам его выражения, которые в этом мире всегда остаются механическими. Поэтому Конфуций учил: «Благородный муж — это не инструмент». Поэтому Древний Китай не слишком высоко ставил внешнюю организацию. Его главная мысль заключалась в следующем: если полностью господствует дух, то совершенная внешняя организация образуется сама собой. До сих пор Америка жила согласно противоположному представлению. Однако нет никаких причин для того, чтобы все оставалось таким, как есть. Понимание творит чудеса. Если бы благосостояние действительно стало тем, что само собой разумеется — а это еще не так, иначе американцы так бы его не превозносили, — если бы Америка выдвинула во всех отношениях соответствующую своему типу внешнюю организацию — а это еще не достигнуто, — то тот странный закон природы, который я назвал законом исторического контрапункта, почти наверняка привел бы к перевороту многих ценностей. Америка еще может когда-нибудь превратиться в нацию, которая в наименьшей степени была бы привязана к внешнему и проявила бы себя в качестве социального организма, подчиненного мощнейшему внутреннему руководству.

МОРАЛИЗМ

Не так-то просто найти проблему, которая не воспринималась бы американцами прежде всего как моральный вопрос. У нас нет никаких оснований называть этот особый взгляд на вещи логически ложным, к каким бы странным следствиям и результатам он зачастую ни приводил.

Бытийным основанием этой американской особенности является, естественно, тот факт, что американская цивилизация остается в высшей степени пуританской. Чтобы понять Соединенные Штаты — а не просто объяснить, каким образом сложилась нынешняя ситуация (какой род объяснения фактически ничего не объясняет), — следует по возможности отвлечься от любой истории. Истинная проблема состоит не в том, как возник пуританизм и как он формировал американскую жизнь в свою великую эпоху, а в том, каково его сегодняшнее живое значение. А это в свою очередь имеет очень мало или не имеет совсем ничего общего с осознаваемыми представлениями веры, речь здесь идет о психологической действительности, символом которой для бессознательного является пуританизм. К тому же надо добавить, что действительность пуританизма никогда не была тождественна его строгому теологическому определению. В «Путевом дневнике» я показал, как близки изначально пуританский и изначально исламский типы; обе эти религии, каждая на своем уровне, позволили раскрыться почти в равной степени простому, сильному и героическому характеру. У избежавших вырождения исламских народов этот характер встречается и по сей день, ибо у них главный акцент все еще поставлен на пафосе человеческого ничтожества по отношению к Богу, и никакая идея земного воздаяния не утилитаризировала их героизм. А в Соединенных Штатах очень скоро господствующей стала именно связь идей героизма и успеха. Поэтому прошло

не так уж много времени, и великие и героические качества пуританизма существенно ослабли. А поскольку успех наступал по всем направлениям, в мировоззрении более поздних поколений американцев не сохранилось напряжения между Божьей заповедью и непреодолимой недостаточностью человека — того напряжения, в котором коренится духовность иудея, столь же изначального сына Божия: пафос героя превратился в упорный оптимизм бизнесмена. И все же основные особенности пуританского образа мыслей сохранили свое господство. Это относится в первую очередь к его морализму. Каковы же психологические корни этого морализма? Мы быстрее всего отыщем их, если вспомним об одном высказывании Трейдера Горна, старого африканского торговца, который, став писателем, мгновенно прославился в Америке. Он говорит, что людоеды составляют самое моральное общество на свете. «Каннибал живет так, как его учит природа: убивай лишь затем, чтобы есть; не подпускай никого к своим женам; не делай человека своим рабом и довольствуйся своей стороной реки, не клади глаз на другой берег». Разумеется, Треjder Горн хочет сказать, что людоеды являются самым моральным племенем из всех племен Африки, хотя они и бесчеловечны. Так ведь и пуританский дух — это в первую очередь жестокий дух. Он — дитя ненависти, а не любви. Сознательно оберегаемое религиозное представление состояло и, естественно, до сих пор состоит в том, что ненавидеть нужно только самого себя, а ближнего следует любить. Но сам Христос хорошо знал, что такой образ мыслей нежизнеспособен; поэтому он учил: «Возлюби ближнего, как самого себя», а не «больше, чем самого себя». В любом случае для бессознательного ненависть всегда означает одно и то же, каков бы ни был ее предмет. И эта психологическая истина нашла свое историческое доказательство в пуританском осуждении радости. Радость есть естественное выражение любви в эмоциональной сфере. А в американской жизни еще и сегодня нет истинной радости, я имею в виду отсутствие той радости, которую знали античные язычники и европейские христиане, конфуциан-

цы и индийские бхакты. В американской жизни есть удовлетворение и веселье, естественные следствия доброй воли и дружелюбия. А истинной радости нет. Нет первичного чувства красоты как цели самой по себе, нет психологической связи между тем, что греки называли экстазом, и божественным. Когда американцы по-настоящему радуются, в их радости есть что-то детское. Естественным, лишь детству пуританизм позволял быть безответственным. Поэтому сыны этого духа испытывают инстинктивную склонность к тому, чтобы вести себя как дети и, когда такое возможно, чувствовать себя ими, пока они не заняты серьезной работой. Этим объясняется то странное сияние прямо-таки детского счастья, которое иногда излучают удачливые американские бизнесмены и еще чаще деловые женщины: они добились успеха, и, вероятно, так было угодно Господу, теперь они могут позволить себе быть довольными и не мешать радоваться другим. В этом психологические корни всеобщего императива: «Постоянно улыбайся» (*keep smiling*). Но инфантилизация никогда не была для взрослых позитивным решением проблемы. Решающим является то, что американская веселость проявляется на фоне угрызений совести, ненависти к самому себе и страха, что наиболее явно обнаруживается, пожалуй, у той современной молодежи, которая питает иллюзию, что она свободна ото всех пуританских оков: ее лица демонстрируют следы эротического потрясения, но уже не мягкой и добродушной пустоты, которая была характерна для старшего поколения; однако у этих лиц горькое, напряженное и строгое выражение. Эту нехватку истинного счастья можно наблюдать буквально повсюду. Мы уже видели, что даже американский юмор в конечном счете представляет собой «выброс» ненависти и страха. Те же самые эмоции лежат в основе и большинства точек зрения и идей. Если нужно трудиться, не вкушая плодов своего труда; если свободное время не считается какой бы то ни было ценностью; если моральность считается более важной, чем сама жизнь; если нельзя ничего, чего прямо не требуют восходящие к пуританизму религиозные представления; если сексуальная жизнь,

с одной стороны, считается греховной, а с другой — должна вестись как выражение Господней воли, то есть строгим, простым и непосредственным образом; если в жизни не должно быть никакого разнообразия, тогда как разнообразие — это единственное, что может приносить человеку удовольствие, то все это можно объяснить лишь глубочайшей внутренней, еще бессознательной жестокостью. Сюда уходят и самые глубокие корни чрезмерного американского оптимизма. Тот, кто живет в гармонии с миром и с самим собой, тот видит вещи в их правильной перспективе и пропорции. Среди прочего это означает, что он думает о будущем не больше, чем о настоящем и прошлом, и что он доволен тем фактом, что в целом в земной жизни больше страданий и неудач, чем успехов и удовольствий; точка зрения, согласно которой жизнь по своей сути может быть «успехом», в силу неизбежности смерти каждого как отдельного человека, так и всего рода человеческого, ведет *ad absurdum*. Если же американцы представляют собой чистых оптимистов, то это не может быть ничем лучшим, как гиперкомпенсацией бессознательной утрюмости и отчаяния. Но ведь невозможно даже и представить себе, что американцы могут быть иными. Садизм и мазохизм всегда идут рука об руку. Если Америка является в высшей степени пуританской страной и если на этом фундаменте она смогла построить великую цивилизацию, если даже этот железный сосуд ей удалось наполнить чем-то таким, что вызывает впечатление веселья, то это означает, что инстинктивная жестокость должна являться важной составной частью ее психологической структуры. То же самое относится и к каннибалам. Но то же самое относится и ко всем «нордическим» народам. Еще не существовало народа, стремившегося покорить мир, который не был бы суров сердцем.

Об этом достаточно. Но как мы объясним себе то, что человек может находить радость в том, чтобы быть жестоким по отношению к самому себе? Здесь я хотел бы вспомнить то, что я подробно разбирал в главах «Этическая проблема» и «Религиозная проблема» своей книги

«Возрождение». Добро и зло относятся друг к другу, как Да и Нет. То есть всякое Да требует для своего ограничения соответствующего Нет; на земле не существует позитивной формы без коррелирующей с ней негативной. По этой причине строительство и разрушение всегда идут рука об руку, поскольку в действительности они представляют собой различные аспекты одного и того же процесса. По этой же причине принцип зла представляет не только разрушение, но и обновление и инициативу. Но все же нельзя говорить о том, что добро и зло находятся на одном ценностном уровне. Разрушение, ограничение и стеснение должны существовать. Однако акцент надо делать на позитивном, то есть на творческом, излучающем и созидающем. А из этого следует: там, где стеснение и ограничение как таковые считаются воплощением добра, в действительности господствует принцип зла, каковы бы ни были человеческие намерения. Это относится прежде всего и особенно к справедливому и моральному человеку¹; если акцент в его душе падает на справедливость и мораль, а не на любовь, то он в высшей степени злой человек. Этим объясняется, почему Иисус так ненавидел фарисеев и книжников. Одновременно это довершает нарисованную нами картину родства пуританина и каннибала. Мораль как система того, что «можно» и чего «нельзя», не может быть не чем иным, как ограничением; а акцент, делаемый на границах, неизбежно означает подчеркивание принципа Нет. Невозможно по-настоящему понять жизнь, не уяснив прежде, что акцентирование границ при любых обстоятельствах означает подчеркивание принципа разрушения. Несмотря на это, речь не идет об «осуждении» пуританина. Без разрушения не бывает ни обновления, ни прогресса. Более того, если столь узкий пуританский образ мышления полностью соответствует природе какого-либо человека, то последний вполне может быть даже очень большим человеком, даже самым могущественным человеком на свете. Но прирожденные

¹ Отдельные хорошие замечания по этому поводу имеются в «Характерах» Клагеса.

герои, то есть те, в ком принцип Нет служит исключительно добру, встречаются исключительно редко. Как правило, господство этого принципа способствует лишь общему оскудению жизни. Последнее же проявляется главным образом в двух отношениях: во-первых, в невозможности всестороннего развития и, во-вторых, в том, что признанные границы наделяются такой властью, что начинают выступать в роли самостоятельных сущностей. Это и приводит к возникновению социальных образований, в которых абсолютной властью обладают либо военный дух как таковой, либо государство как таковое, либо моральный закон как таковой, либо церковь как таковая. Во всех этих случаях мы сталкиваемся именно с тем господством закона, которое и хотел изгнать из мира Иисус.

Такова одна из существенных сторон проблемы пуританизма. Другую воплощает собой само слово «пуританизм». Спонтанно, без специального умысла образованные и понятные творческому бессознательному слова всегда глубже всех теорий и толкований. Слово «пуританизм» означает в первую очередь чистоту. А чистота как таковая представляет собой сложное психологическое качество; в принципе, она может быть присуща абсолютно всему, а потому абсолютно все может выступать в качестве ее репрезентанта. В этом смысле пуританин чист по своей сущности. Магометанин был первым телесно чистым человеком Ближнего Востока; каннибал — самый нравственный африканец. Но и люди, осуществлявшие во Франции революционный террор, также называли себя *des purs**, и они действительно были таковыми. Уже из этого очевидно, что современный американский аморализм ни в коей мере не служит доказательством того, что дни пуританизма в Америке сочтены. Совсем наоборот, все это, по всей видимости, означает то, что психологическое качество чистоты теперь перенесено на сексуальную жизнь как таковую. Сегодня молодежь в своей сексуальной жизни так же «чиста», как старшие поколения в своей аскетической морали. Этим объясняется и та не-

* Чистые (фр.).

принужденность, экстравагантность и беспрецедентное бесстыдство, которыми отличаются в Америке все, кто верит в сексуальную свободу. Чистота действительно непосредственна по своей сущности, возможная граница чистоты труднопредставима и еще менее желательна, но нет никаких причин и держать ее в тайне. Здесь, ко всему прочему, у нас появляется повод опровергнуть один общепринятый предрассудок. Отношение пуританина к сексуальности с самого начала было более трезвым и разумным, чем отношение большинства других христиан. С одной стороны, это объясняется тем, что чистота среди прочего предполагает и простоту, и тем, что акцентирование чистоты неизбежно настраивает на нее все психологические функции; с другой стороны, это следствие присущего всякому англосаксу и шотландцу чувства возможного. Я полагаю, что *bundling** был изобретен именно в Шотландии. Свободное общение юношей и девушек встречало в пуританском обществе намного меньше препятствий, чем где бы то ни было еще среди христиан. Хотя, разумеется, предполагалось — совсем неважно, соответствовало ли это предположение истинной уверенности или нет, — что граница допустимого никогда не пересекалась (в высшей степени характерно, что и в самых прогрессивных молодежных кругах господствует та же самая идея, разве что несколько видоизмененная в том смысле, что в качестве границы выступает сексуальная связь без использования средств контрацепции); существенным же было то, что люди должны вступать в брак, что и сейчас считается единственно необходимым: одна мать, одна возлюбленная, одна жена; все зависело от законности, а не от сексуальной невинности. При таких обстоятельствах свободная сексуальная жизнь последних лет лишь только кажется восстанием против пуританизма. Поскольку чистота есть основное качество как

* Обычай, в соответствии с которым обрученные, но еще не вступившие в брак пары могли спать в одной кровати, не вступая при этом в сексуальные отношения. Был распространен в некоторых областях Шотландии и Скандинавии (прим. перев.).

отцов-пилигримов, так и современной молодежи, то они гораздо ближе друг к другу по духу, чем любой американец любому европейцу непуританского происхождения. Просто сегодня маятник на некоторое время качнулся в другую сторону.

Отсюда сразу же становится ясно, что неудовлетворительный характер американской любовной и т. д. жизни является следствием пуританизма вовсе не в том смысле, как это воспринимают те, кто с ним борется. И та милая дама, миссис Бертран Рассел, которая призывает молодежь (нередко с церковной кафедры) и до, и после вступления в брак накапливать как можно больший сексуальный опыт, в действительности не дает рецепта против болезни, которую она хотела бы вылечить. «Чистая» сексуальная жизнь и «чисто» религиозная или «чисто» моральная жизнь сводятся почти к одному и тому же. Во всех этих случаях речь идет о сужении жизни, о завышенной оценке одной-единственной ее стороны и акценте на принципе Нет в ущерб принципу Да. Одному богу известно, каков род тех условностей, которые связывают современных сексуально раскованных девушек. Но насколько я осведомлен, они соблюдают с той же самой строгостью, с какой пуритане некогда следовали закону своей церкви. В действительности тип не изменился. Современные девушки с их, по всей вероятности, самыми свободными из всех когда-либо существовавших взглядами на сексуальные вопросы внутренне не более свободны, чем их благочестивые бабушки. И не более счастливы. Вероятно, следует согласиться с тем, что мышление нового поколения в меньшей степени озабочено сексуальными вопросами, чем мышление их отцов и дедов. Но в целом оно не более свободно. Для этого нового поколения также характерны узость и ограниченность. А его душевная жизнь даже беднее. Ибо весь мир эмоций, ощущений и воображения зависит от наличия тех препятствий, которые ему приходится преодолевать.

Итак, что же в пуританизме является искажением нормального порядка вещей? То, что в нем полновластно вла-

дычествует принцип Нет. Рассмотрев это с другой стороны, мы обнаружим, что это означает, пуританизм не позволяет человеку выразить всю свою природу. Однако это означает нечто еще более опасное: поскольку пуританское мировоззрение придает главное значение негативному (а тот, кто понимает «чистоту» иначе, чем «непосредственность», всегда придает главное значение именно ему), оно отрывает относительно небольшую часть человека от всего остального и, таким образом, заставляет его расходовать всю свою энергию внутри этой частицы его сущности. А такой отрыв представляет собой чрезвычайно рискованное хирургическое вмешательство, которое лишь в редких счастливых случаях не ведет к патологическим деформациям. Конечно, в первоначальных пуританах не было патологии, так же как и в истинных мусульманах. Но пуританская религия действительно соответствовала их суровым, крупным и простым характеристам. Они были естественными пуританами, точно так же как таковыми являются каннибалы. А это позволяет нам увидеть главную опасность пуританизма: он неизбежно опустошает душу. Когда властвовать должен только суровый закон, когда главный акцент делается на запрете, когда абстрактно сформулированная абсолютная истина имеет большее значение, чем сама жизнь, тогда чувствующая часть души человека просто не может раскрыться. А в таком случае в соответствии с законом компенсаторной деградации она в той же самой мере должна становиться все более рудиментарной и примитивной, в какой в других отношениях человек прогрессирует и становится все более сложным. Из пуританского корня может вырасти высочайшая интеллектуальность. Вся западная наука произошла из протестантского истока, и в высшей степени вероятно, что остроту, присущую американскому интеллекту, по крайней мере, отчасти можно объяснить радикализмом американского протестантизма. Нигде столько не спрашивают, столько не объясняют, не делают столько выводов, как в Соединенных Штатах. Из того же самого корня могут брать начало и высокие деловые качества американцев. Если существует только один

канал, по которому должна протекать вся жизнь, то через него потечет и вся ее энергия. Именно поэтому изобретателями религии труда были евреи, эти первые пуритане. Именно пуританизм может порождать гигантов силы воли. Но, с другой стороны, при пуританской установке должна атрофироваться всякая способность ко внутреннему переживанию. Поэтому американцы как тип не знают жизненных духовных проблем, поэтому их деловые качества почти никогда не являются выражением их сущности. Поэтому, как правило, они лишены подлинной творческой силы. Американец знает, что такое труд, но не знает, что такое творение.

И потому все, что должно выражать глубокое, в конечном счете оказывается в пуританской Америке безжизненным. Религия догматична; она не оставляет никакого пространства для творческой свободы, превосходя в этом отношении даже католицизм. Идеализм пуританского происхождения абсолютно абстрактен или же оторван от посюстороннего мира. Во всем, что относится к лирике, присутствует нечто духовное, трансцендентальное; в мире нет ничего столь же неземного и потому имеющего столь же малое отношение к действительности, как типичный новоанглийский романтик или лирик. То же самое до самого последнего времени относилось и ко всем американским представлениям о любви. Американские женщины охотно рассыпались в высоких словах о «божественности» сексуального; они изображали из себя проповедниц и приписывали естественной готовности женщины отдаться какую-то невероятную ценность — одного этого достаточно для объяснения того, почему замужество или незамужество с недавних пор смогли превратиться в столь доходную женскую индустрию. Всю сентиментальность американской любви и весь ее идеализм можно полностью объяснить тем, что нам уже известно, а именно тем, что пуританизм представляет собой отторжение одной какой-либо части человека. Если человек выражает то, что является его внутренней движущей силой, в чем-то, что не имеет абсолютно никакого отношения к действительности, то это всегда — за исключе-

нием случая истинного поэта — означает, что он утратил связь со своими живыми корнями. Вот почему американские женщины так часто кажутся почти неспособными к любви в европейском смысле: то, что должно быть выражением всей их сущности, питается малой ее частью. В сравнении с развитой и сложной душой культурной европейки или азиатки душа той американки, которую я в данном случае имею в виду, почти совершенно пуста и так невероятно проста — хотя именно поэтому часто во всех отношениях чиста, — что более богатая душа легко может почувствовать себя обязанной наполнить ее своим собственным содержанием и тем самым превратить пустой сосуд в богиню.

Но при помощи тех же самых соображений можно объяснить, каким образом идеализм американской женщины в вопросах любви смог столь непосредственно превратиться в чистой воды материализм: если такое оригинальное создание живет полностью оторванной от всякой реальности душевной жизнью, значит, то же самое относится и к его физической, сексуальной жизни. Переход от чистой духовности к чистому материализму для американской идеалистки намного проще, чем для любой другой женщины мира. Как и всегда, ключ к решению проблемы следует искать в недоразвитости, с одной стороны, и односторонним и чрезмерным развитии, с другой — того, что мы называем душой. Как при таких обстоятельствах любовь и брак могут принести счастье? Что в данном случае — ведь человеческая природа неизменна — остается, кроме погони за все новым и новым опытом в надежде извне получить то, чего недостает своему собственному внутреннему миру? Совершенно естественно, что огромный процент американских женщин из тех социальных слоев, в которых женщины, как правило, не работают, страдает неврозами и изнуряет и истощает силы принадлежащих к соответствующим слоям мужчин. Ведь там, где мужчина не доминирует совсем уж подавляющим образом, инстинкт вынуждает его заботиться о счастье своей любимой женщины, а если он душевно пуст, то он всегда пытается компенсировать этот недостаток

чрезмерным интеллектуальным или физическим напряжением. Этим же отчасти объясняется и то гигантское значение, которое сегодня придается атлетике и спорту. Но я перечислил еще отнюдь не все пороки и недостатки, присущие современной ситуации. Когда чувства не развиты, тогда эмоциональная природа как мужчины, так и женщины (которая, как показал Юнг, относится к рациональной стороне психики) в недостаточной мере способна к пониманию. Для иллюстрации этого факта достаточно пары примеров. Американцы удивительно редко способны провести различие между влюбленностью и истинной любовью (не говоря уже о более тонких нюансах). Если мужчина влюбляется в женщину, он должен тотчас на ней жениться. С другой стороны, женщине ничего не стоит бросить своего мужа, как только она почувствует физическое влечение к другому мужчине. Естественно, это проявление пуританского образа мышления: необходимо любой ценой следовать моральному закону. Но как можно не понимать, что существуют десятки разновидностей любви и что нелепо пытаться свести их все к одной-единственной форме? Как можно не понимать, что человек не сможет справиться со всем множеством жизненных вопросов и проблем, если он будет руководствоваться предписаниями одного-единственного признаваемого им морального кодекса? Этому есть только одно объяснение: недоразвитость и недостаточная сложность души. С другой стороны, в таком случае совершенно естественно, что женщина не долго раздумывает, прежде чем выйти замуж за какого-либо мужчину, только потому, что он обладает значительной сексуальной привлекательностью; что ради мимолетной влюбленности она с легким сердцем рушит основывающуюся на многочисленных связях семейную жизнь; что для нее ничего не стоит смертельно травмировать души мужа и детей — она просто не понимает всей болезненности душевных ран; что она без всякого ущерба для своей души выдерживает пытку бракоразводного процесса вместе со всей неизбежно связанной с ним в Соединенных Штатах публичностью. Особенно интересный аспект душевной недоразви-

тости демонстрирует американский культ откровенности. Самая последняя модификация американской женщины — а я пишу это в 1928 году — полагает, что она вправе делать все, что ей заблагорассудится, если только она скажет об этом своему мужу. Она не понимает того, что является само собой разумеющимся для всякой развитой и достигшей высокого уровня сложности души, — того, что травмирующая откровенность всегда является преступлением, за исключением разве только тех случаев, когда жестокая операция способна разрешить невыносимую ситуацию; и она не понимает того, что ревность есть естественное явление, которое следует принимать во внимание, то она виновна в элементарной душевной жестокости; и, наконец, она не понимает, что стремление к правоте любой ценой означает нравственную трусость. С точки зрения тонкой, чувствительной души, такого рода откровенность едва ли не хуже проституции. Я не знаю более поучительного примера того, как добро, ложно понятое и использованное, обращается во зло. Разумеется, честность и правдивость представляют собой в подлинном смысле опору западной культуры, а честному человеку всегда приписывается более высокое достоинство, ибо он более отважен. Но в данном случае честность оказывается лишь нравственной трусостью. Если у человека, мужчины или женщины, есть чувство, что он делает нечто, что наверняка причиняет страдание другому человеку, и при этом он не чувствует за собой никакой вины; если он не предпочтет умереть или даже отправиться в преисподнюю, чем допустить, что бы это произошло с другим, то такой человек не достоин уважения именно с точки зрения правильно понятой западной этики мужества. Я далек от того, чтобы вступаться за полигамию или полиандрию. Но, пожалуй, я вместе с Христом верю, что на первом месте должна быть душа, а все другие соображения — физического, интеллектуального или морального порядка — должны иметь лишь второстепенное значение. Впервые я полностью уяснил себе, в чем состоит действительная извращенность американской любовной жизни, услышав следующую историю. Мне рассказыва-

ли, что один из самых знаменитых американских судей сказал по поводу моей первой статьи в «Книге о браке»: «То, что говорит Кайзерлинг, я считаю правильным. Но как судья я привык к обобщениям. Поэтому я свел бы все его учение к следующему тезису: необходимо большее количество и более высокое качество супружеских измен». Естественно, он имел в виду не совсем то, что прозвучало из его уст. Но его *boutade* является не только остроумным, но и глубоким. Так сказать мог только американец. Этот судья имел в виду то, что главной причиной неудовлетворительного характера американской любовной жизни является недоразвитость их эмоциональной жизни. И здесь мы можем довести до конца некоторые мысли, развивавшиеся нами в предыдущей главе. Если американка как тип жестока, бездушна и ни на что не способна вдохновить, то это результат ее пуританского наследства или влияния пуританской атмосферы. Отчасти тем же самым объясняется и то, почему ни американская женщина, ни американский мужчина не обладают настоящей жизненной силой, и то, почему возникает впечатление, что с каждым новым поколением они все больше и больше ее теряют. Отторжение одного какого-либо звена препятствует его кровоснабжению. Психическая жизнь американца бескровна в том смысле, что ее не питает вся совокупность эмоций. А вся жизненная сила заключена в эмоциях. От них зависит любое творчество.

Однако я не могу оставить этот предмет, пока не укажу на пуританские корни еще двух типично американских явлений. Первое — это миссионерский дух. Мне еще ни разу не встретился американец пуританского происхождения, который не был бы в подлинном смысле миссионером; в современном мире этот дух выражается, как правило, в торговле и рекламе. Каков же главный психологический признак миссионера? Недостаток внутреннего равновесия и самоуверенности. Человек, пребывающий в гармонии с миром и самим собой, далек от мысли вмешиваться в дела других людей. Его девиз: «Живи и дай жить другим»; даже когда он, вне всякого сомнения,

более компетентен, он никогда не попытается навязать свое мнение. И это проявляется в тем большей степени, чем он умнее, в таком случае он знает, что никого нельзя обратить в свою веру против воли. Разумеется, он защищает истину, и, разумеется, он ее распространяет. Однако он никогда не подвластен главному инстинкту миссионера — воле убеждать. Если же человек находится в разладе с миром и самим собой, то, лишь покорив мир, он сможет почувствовать себя в безопасности. А если, ко всему прочему, большая часть его сущности изолирована от его сознания, если над ним господствует какой-либо узкий принцип и если он жесток от природы, то его единственное счастье состоит в том, чтобы всю вселенную убедить в истинности своих идей. Этим объясняется и американская мания стандартизации. Все эти столь удачливые бизнесмены и торговцы на самом деле являются глубоко несчастными миссионерами. И именно по этой причине они не могут убедить никого, кто не принадлежит к их типу, разве что он исключительно жаждет до материальной выгоды, что одна лишь возможность *big money** способна по-настоящему обратить человека в другую веру.

Вторым явлением, пуританские корни которого я хотел бы здесь обнажить, является ужас, внушаемый американцам общественным мнением, и вытекающая из этого чудовищная власть последнего. Этот ужас означает всего лишь то, что страх человека перед некоей изолированной в нем величиной, подавляющей и угнетающей всю его остальную психику, проецируется на общество, что неизбежно происходит у социалистической по своей сути нации. В раннюю пуританскую эпоху в этом заключалось нечто героическое, таков истинный пафос «Scarlet Letter»** Готорна. В то время именно сильные и суровые души непоколебимо верили в писанный закон, а общественное мнение было его естественным исполнителем. А сегодня? То, что некогда было подобно величественно гордому

* Большие деньги (англ.).

** Алая буква (англ.).

смирению бедуина перед лицом Аллаха, выродилось в простую трусость, вызываемую вероятностью материального ущерба. В этом случае рассмотренный нами ранее «переворот всех вещей» привел к подлинной моральной деградации. Если спрос всегда лишь удовлетворяется, а не создается, если публика или большинство всегда правы, то как может сохраниться достоинство отдельного человека — человека, который целиком определяется тем, что он — животное, которое не приспосабливается к окружающему, человека, чьим идеальным прообразом являются Прометей, пренебрегший волей вечных богов, Иисус, для которого закон его народа ничего не значил, Дон-Кихот, шедший своим собственным путем и следовавший своему собственному идеалу вопреки всякой действительности? Как может сохраниться верность духу той прославленной нордической расы, главными особенностями которой были трагический героизм, радикальный протестантизм и в высшей степени аристократический образ мышления — образ мышления, носитель которого скорее плюнул бы в лицо целому народу, чем изменил бы самому себе? Я не хочу долго заниматься этим темным пятном — единственным по-настоящему темным и в высшей степени безобразным пятном американской жизни. Скажу лишь, что только полная переоценка всех признанных ценностей в состоянии предотвратить неизбежное в любом ином случае крушение. И это отнюдь не сильно сказано; господство общественного мнения как последней инстанции наносит в миллион раз больший вред нравственному хребту народа, чем любой наркотик. Достаточно лишь вспомнить, до чего может дойти в своей клевете американская пресса. К счастью, она еще очень часто не находит применения своей силе...

Я не побоюсь откровенно сказать о том, что меня не устраивает в пуританизме, ибо именно сейчас Америка ведет суровую и мужественную борьбу за освобождение от его почти единоличного господства. Во многих отношениях пока можно говорить не об истинно освободи-

тельном движении, а лишь о перемещении маятника к противоположному полюсу. Так, описываемая судьей Линдсеем «революция современной молодежи» не приведет ни к какому освобождению; гораздо легче поверить в то, что самые свободные представители современной распущенной молодежи закончат свои дни самыми строгими пуританами, чем в то, что конечным результатом этого восстания будет торжество истинно либерального образа мыслей. Но в целом следует согласиться с тем, что преодоление пуританистских извращений — в меньшей степени в мышлении, чем в разумной деятельности, — представляет собой определенный прогресс. Из других, непуританских, корней в особенности из широкого духа континента, социализма и приватизма, неудержимо возрастает гуманный по своей сути образ мышления. Все в большей степени родовыми признаками американца становятся дружелюбие и способность к психологическому пониманию. Весьма вероятно, что в соответствии с законом исторического контрапункта эта растущая гуманизация обусловлена именно пуританской частью американской души; так, религия любви, принесенная в мир Христом, немыслима вне иудейского контекста, в котором она возникла. Я уже многократно указывал на то, что Америка является единственной исключительно христианской страной западного мира, ибо она единственная страна, корни которой не восходят к язычеству. Поэтому дальнейшая христианизация Америки в смысле покорения ее тем духом, который действительно подразумевал Христос, соответствовала бы естественному пути развития, ибо пуританский дух является почти чистым выражением ветхозаветного духа. Последнее обстоятельство объясняет, кроме всего прочего, и не самую лучшую сторону американского материализма, и культа успеха: здесь сходятся еврейский и американский дух. Депуританизацию Америки ускорят также вымирание старого новоанглийского типа, возрождение престижа роялистов и влияние непуританских иммигрантов, в особенности католиков. Такие крайние проявления узости XVII века, как фундаментализм, были бы немыслимы, если

бы пуританская узость как национальное явление не находилась бы при последнем издыхании.

Тем не менее Соединенные Штаты остаются пуританской страной. Все выросшие в них формы духа несут на себе клеймо пуританского духа. А эти формы столь сильны и столь полны жизненных сил, что нет никаких шансов на их быстрое отмирание, как бы они ни соединялись и ни сливались с любыми другими формами. Их вымирание тем более невероятно, что большинство других сколько-нибудь значительных духовных направлений в Соединенных Штатах родственны пуританскому. Ирландцы — прирожденные искатели земли обетованной. Немцы, принадлежащие к деловому немецкому типу — а лишь он с успехом развивается на американской почве, — трудолюбивее, чем даже шотландцы. *Last not least*, даже индейцы были своего рода пуританами; в них было нечто аскетическое, радость была им почти неизвестна, они были вообще не самого высокого мнения о чувствах. Кажется, это доказывает, что между духом североамериканского континента и духом пуританизма существует своего рода предустановленная гармония. Тот, кто сегодня враждебен пуританизму, не должен забывать, что не только господство аристократии или демократии в конечном счете есть вопрос зоологии, но и протестантский либо католический образ мышления; как я показал в «Путевом дневнике» и в главе «Духовное единство человечества» своей книги «Возрождение», это в первую очередь вопрос психологической установки, а не определенной религиозной веры. Пуританин же, вне всякого сомнения, наиболее приспособленный к жизни представитель физиологического протестантизма. В своем лучшем проявлении он принадлежит к ярко выраженному высшему типу; и, хотя нигде подолгу не господствовал, он всегда находился в первых рядах завоевателей. Поэтому он вновь и вновь становился доминирующим как у евреев, так и магометан, конфуцианцев и индийцев-протестантов, джайнов или буддистов. Король Ашока, несомненно, должен был иметь ярко выраженные про-

тестантские черты, иначе ему никогда бы не пришло в голову навязывать своим подданным буддизм. Вне всякого сомнения, пуританизм добился на американской почве огромных достижений. Ему принадлежат все лавры достигнутого успеха. Американизация в известной мере всегда означает пуританизацию. Вся та эффективность, которую Америка воплощает в глазах мира, психологически предполагает связь силы и одностороннего радикализма, которая лишь в пуританизме любого толка может найти моральную поддержку, а с ней и длительный прилив жизненных сил. Следовательно, то, с чем борются и что, несомненно, скоро будет изжито, представляет собой лишь то, что в пуританизме действительно является искаженным; именно поэтому оно может быть устранено в результате соответствующего анализа. Конечно, ортодоксальное учение пуританизма стало неприемлемым, так же как и его узкая мораль. Но пуританский тип как таковой, безусловно, сохранится. И как раз именно потому, что ни одна из светлых перспектив Америки никоим образом не связана с духом пуританизма. Всеобщая непосредственность американской цивилизации останется безусловно протестантской и «чистой» в смысле присущей ей простоты и искренности. Среди всех тех генов (наследственных факторов), из которых сложится окончательный американский тип, пуританский, по всей вероятности, останется доминирующим.

Поэтому еще одну задачу этой главы я вижу в том, чтобы показать истинное отношение между особым смыслом морали вообще, ее специфически пуританским выражением и смыслом всей жизни в целом, проложив тем самым там, где это покажется необходимым, путь к некоей новой точке зрения. Мы уже установили прежде: поскольку жизнь представляет собой смысловую взаимосвязь, в которой каждый отдельный смысл отражает все остальные и потому может выступать в качестве общего знаменателя, то против такого жизненного уклада, в котором главную роль играет мораль, принципиально возразить нечего. Однако в таком случае прежде всего необ-

ходимо выяснить, что такое мораль и каковы те границы, которые не должно переходить применение ее идеи, если она сама не хочет быть сведенной *ad absurdum*. На самом деле мораль есть нечто совершенно иное, чем полагают пуритане. По своей сущности она есть выражение не божественного или духовного закона, а закона естественного; и этот естественный закон, ко всему прочему, вовсе никакой не высший, а самый обыкновенный закон наряду с другими. Есть немецкая пословица: «Моральное всегда понимается само собой». Величайший представитель самой моральной нации мира Конфуций говорил, по сути дела, то же самое: «Я не знаю, что кроется за моралью. Превосходные люди думают о ней слишком высоко, низкие — слишком низко. На самом деле, как мне кажется, мораль означает не что иное, как окультуренную природу». Как немецкая пословица, так и изречение Конфуция соответствуют истинному положению вещей. Для наделенного свободной волей человека мораль означает то же самое, что для не знающего свободы животного означают форма, закон и порядок. Не существует аморального животного. Его поведение всегда соответствует специфическому смыслу его особенной жизни; его организм всегда полностью соответствует его внешнему виду и деятельности. Человека же, наоборот, с точки зрения природы можно определить при помощи его способности к ошибке. Он должен посредством свободной воли, руководствующейся пониманием, совершать то, к чему животное принуждено самой природой. Отсюда следуют два вывода: во-первых, существует множество различных систем истинной морали; во-вторых, аморальность противоестественно. Существовало множество великих цивилизаций с самыми различными моральными воззрениями, и никакой *pragmatic test* никогда не мог установить, что одна мораль является более истинной в абсолютном смысле, чем другая. С другой стороны, проверку выдержало лишь ограниченное количество возможных нравственных порядков. Смысл этого факта точно такой же, как и смысл того, что существует лишь ограниченное количество типов органической жизни. Далее, все выдер-

жавшие испытание моральные системы согласуются в своих главных чертах. В этом заключается еще одна параллель с морфологией: все органические формы суть выражения некоего всеобщего, всегда тождественного самому себе закона жизни.

Теперь перейдем ко второму тезису, гласящему, что аморальность противоестественно. Она действительно такова, ибо соответствует разложению формы на органическом уровне, а без формы, облика жизнь существовать не может. Поэтому еще никогда не было длительных периодов господства действительной аморальности («действительной», а не того, что в соответствии со своими предрассудками считают аморальным отдельные секты). Его и не могло быть, ибо природа всегда обрекает аморальность на смерть. Аморальные классы всегда чрезвычайно быстро вымирают. На протяжении всей истории ставшая аморальной часть того или иного народа очень быстро оставалась без потомства, а жизнь распространялась посредством более моральных, то есть более здоровых, родов. С другой же стороны, именно по обозначенным здесь причинам в переходные периоды аморальность является нормальной. Поскольку мораль представляет собой лишь форму и порядок, она распадается, если старый порядок прекратил свое существование, а новый еще не сложился. В качестве архетипического прообраза такой ситуации выступает война. Война представляет собой переход от одного состояния равновесия к другому. Чтобы такой переход стал возможен, все законы, действующие в эпохи твердого порядка, должны быть временно упразднены. Поэтому в такие моменты убийство внезапно начинает считаться моральным, разрушение — оправданным, насилие и грабеж — вполне простительным грехом (война как архетипический прообраз аморальности, кроме всего прочего, наиболее ясно показывает и то, почему господство аморальности никогда не может продолжаться дольше определенного периода времени: она неизбежно ведет к взаимному уничтожению). Точно так же каждая переходная историческая стадия всегда сопровождалась проявлениями морального разло-

жения, вызывавшими отвращение поборников старого порядка. С точки зрения римлян, христиане были аморальны, и больше ничего, ибо они отвергали верховную власть государства, основу всей римской морали. Реформация, по крайней мере в Германии, сопровождалась проявлениями такой половой распущенности, которую не смогли бы превзойти самые свободные в сексуальном отношении представители современной молодежи. Теперь мы понимаем и истинное значение современной аморальности: она есть нормальный симптом, сопутствующий наступлению новой эпохи. То, что в Соединенных Штатах она проявляется преимущественно как сексуальная распущенность, объясняется тем, что пуританизм вытеснял и подавлял, как правило, именно сексуальный инстинкт. Поскольку же наряду с голодом он является самым сильным инстинктом, то, естественно, как только форма и порядок были разрушены, он сразу же с энергией дикости вырвался на свободу. Важнейший вывод, который мы можем сделать из всего вышесказанного, состоит в следующем: поскольку аморальность, с одной стороны, по самой своей сути недолговечна, а с другой — является нормальным симптомом всякого переходного периода, она как таковая вообще не представляет собой проблемы. То, что сегодня действительно аморально, скоро исчезнет, как это при тех же самых обстоятельствах происходило испокон веков. Но, с другой стороны, новая мораль неизбежно становится иной, нежели старая. Закон и порядок будущего будут соответствовать новой жизненной ситуации.

Эта ситуация характеризуется, с одной стороны, неверием в любую основывающуюся на слепо признаваемом авторитете традицию, а с другой — способностью к более глубокому пониманию. Из этого вовсе не следует, что Америка должна перестать быть моралистической. Почему какой-либо народ не может рассматривать в качестве основной проблемы закон и порядок? У многих наций дело обстоит сходным образом; в этом моралистическая Америка лишь продолжает традиции Древнего Китая, Древнего Рима и нашего собственного XVIII сто-

летия. Между тем, поскольку понимание станет более глубоким, чем прежде, совершенно исключено, что мораль и дальше будет оставаться тем, чем она была для ортодоксального пуританизма, а именно высшим законом и главной проблемой жизни. Точно так же исключено, что Америка вечно будет мириться с той узостью жизни, которая ведет к девитализации и патологическим дефектам. Американец, вне всякого сомнения, останется физиологическим протестантом и будет по-прежнему озабочен завоеванием и организацией материального мира и одновременно Social Service. Это неизбежно приведет к некоей односторонности, которая постулирует для жизни определенный, сосредоточенный на моральном, а не на интеллектуальном или художественном уровне общий знаменатель. Однако если американцы поймут истину, то они уже не будут подчеркивать этот общий знаменатель настолько сильно, чтобы это могло привести к подрыву наилучшего морального порядка. Кроме того, они не станут больше терпеть такую форму и порядок жизни, которые непосредственно препятствуют выражению многих ее глубочайших тенденций. В этом смысле, вне всякого сомнения, верно, что пуританизм находится при последнем издыхании. Особенно вероятно, что половая мораль останется в Америке более свободной, чем в большинстве других стран. Этому способствует слишком много причин: традиция изначально трезвого пуританского подхода к вопросам пола; амазонизация женщины; всеобщая научная и позитивистская установка (лишь поэтому существование противозачаточных средств может иметь для американской морали такое большое значение!); и, *last not least*, снова пуританизм, сделавший требование «чистоты» основным психологическим мотивом. Сомнительно, чтобы невинность когда-нибудь могла бы вновь стать в Америке реальным, а не воображаемым идеалом. Против старой морали работает и еще одно, пока не упоминавшееся нами в этой связи обстоятельство: неизбежная утрата престижа супружества, пропорциональная росту трудностей, связанных с сохранением настоящего дома. А эти трудности будут возрастать в каждой семье с каж-

дым годом, если ей не удастся найти более дешевую прислугу. Если же большинство населения не сможет этого сделать, то даже самая совершенная механизация домашней работы окажется не в состоянии помешать тому, что положение незамужней женщины во многих отношениях станет предпочтительней, чем замужней. Но в действительности эта мнимая революция в половой морали вовсе не имеет сколько-нибудь серьезного значения. Я сильно сомневаюсь, что идеал «невинной» девушки, который старшее поколение воспевало как «единственно возможный», когда-либо, за исключением разве что викторианской эпохи, был по-настоящему господствующим. Женское бессознательное всегда очень хорошо осведомлено о сексуальности, а для психической структуры женщины это практически то же самое, что и сознательное знание. Для нее сексуальность есть нечто настолько фундаментальное, всепроникающее и само собой разумеющееся, что женщина, что бы она ни знала и ни делала, может быть или казаться в равной степени «невинной». В средневековой Европе был весьма распространен обычай, в соответствии с которым рыцаря, прибывавшего в какой-либо замок в качестве гостя, разоблачали и омывали юные девы; и главными сюжетами веселых анекдотов той эпохи были смущение рыцаря и полное отсутствие такового у дев. Точно так же в североевропейских домах вплоть до XVII столетия — а у низших сословий вплоть до самого недавнего времени — была лишь одна кровать, на которой, раздевшись донага, спала вся семья и куда, как нечто само собой разумеющееся, приглашались и оставшиеся на ночевку гости. Все эти явления, в конечном счете приведшие к возникновению идеала «невинной девушки» XIX века, несомненно, давали больше оснований для беспокойства, чем самые свободные совместные школы, как бы ни были справедливы внушаемые ими опасения. Нет, не существует никакой опасности того, что современная эмансипация приведет к длительному господству аморальности. Моральный закон будет лишь изменяться в своей категоричности, как это уже очень часто случалось. Ведь изменение является следствием более глубокого понима-

ния всей жизни в целом. Лучшее понимание, и ничто иное, подтачивает сегодня то непрочное, что заключено в пуританизме. Лишь потому, что это понимание сегодня еще недостаточно глубоко и основательно, его воздействие является пока что разрушительным. Поэтому очевидно, что наша ближайшая задача состоит в том, чтобы проложить пути для более глубокого понимания. Но это возможно лишь в том случае, если мы займем такую точку зрения, которая позволит нам с самого начала рассматривать проблему пуританизма как частный случай проблемы более общего порядка.

Я знаю немного выражений более глубокого понимания, чем иудейская молитва: «Я хочу служить Господу своими добрыми побуждениями; я хочу служить Господу своими злыми побуждениями». И действительно, не стоит отрекаться от чего бы то ни было, что в тебе есть. Психоанализ открыл нам, что в каждом человеке таится сущий ад. Разумеется, это было известно всем святым и мудрецам всех времен и народов. Однако чего они не могли знать и что сегодня твердо установлено, так это то, что этот ад представляет собой нормальное подземелье всякого человека; он столь же необходим всему организму в целом, и прежде всего его самым благородным частям, как непривлекательные функции кишечника необходимы для работы мозга. Поэтому и речи быть не может о том, чтобы изгнать из мира как все безобразное, так и все то, что во многих религиях считается греховным. Отрицать эти явления бесполезно именно потому, что отрицание ведет к вытеснению, а вытеснение — к самым что ни на есть отвратительным явлениям. А уж в чем в этом отношении современное, более свободное понимание заблуждается, так это в том, что оно могло бы перевернуть все вверх ногами: ад в человеке оправдан и уместен лишь тогда, когда он остается в подземелье. Как сама природа настаивает на том, чтобы половые органы оставались скрытыми, так и любое выставление напоказ того, что относится к этому подземелью, представляет собой извращение; поэтому выставленная напоказ любовь превра-

щается в нечто просто непристойное. Конечно, лучшая самость человека не тождественна заключенному в нем аду. Но эта лучшая самость может выразить себя лишь при помощи существующих в наличии внешних средств проявления, а полностью ей это удастся лишь при помощи всей их совокупности. Бесполезно отвергать или отторгать любую их часть. Это приведет лишь к тому, что целое все равно будет выражено, но уже неким извращенным образом. Поэтому единственно разумной является гармоничная координация всех различных частей и форм души, аналогичная гармоничной корреляции различных частей и функций здорового тела. А здесь возникает моральная проблема. Поскольку человек посредством свободной воли должен совершать то, что в случае животного делает сама природа, то понятно, что никакая гармония не может быть достигнута без морального усилия. Это — та истина, которая лежит в основании идеи первородного греха.

Само собой разумеется, для человека, коль он был способен создавать религиозные, политические и юридические системы, гораздо более естественным было бы выдумывать системы моральные. И действительно, это всегда было первым, к чему он приступал. Здесь речь идет о чем-то в такой степени основополагающем, что сегодня основывать моральную систему на теории познания было бы просто нелепо: моральный закон абсолютно естественно признается действительностью, существующей до всякого рационального мышления¹. Но почему все моральные системы столь односторонни и в большинстве своем столь узки, что, если действительно они начинали господствовать в жизни, в них оставалось столь немного от самого морального закона? Как было возможно, что моральный закон с незапамятных времен признавался чем-то безусловно значимым и в то же время каждый человек испокон века рассматривал его нарушение как нечто само собой разумеющееся? Объяснение лежит на поверхности. При-

¹ Насколько я знаю, эта фундаментальная истина была впервые сформулирована Альбертом Швейцером.

родные инстинкты настолько мощнее инстинктов, относящихся к духовному уровню, что примитивный человек был просто неспособен их координировать. Точно так же он не мог понять, что его чувство идентичности никоим образом не может быть нарушено тем фактом, что в нем сосуществуют многие различные и противоборствующие элементы. Поэтому он выбирал из них что-то одно. Он пытался таким образом устроить свою жизнь, чтобы возможность проявиться получали лишь те импульсы, которые он считал позитивными. В самом крайнем случае он изобретает кастовую систему, в которой каждая каста следовала своей собственной морали. Если бы в кастовой системе не был столь сильно подчеркнут принцип наследственности, то против нее практически нечего было бы возразить — во всяком случае меньше, чем против всякого унитарного морального закона. Люди развиты весьма односторонне, поэтому форма и порядок их существования в каждом особом случае должны быть особыми. А древние касты действительно соответствовали основным типам реально существующей морали. А это ведет нас к новому взгляду на пуританизм. Теперь мы можем добавить: поскольку соответствующий ему человеческий тип был грубым, волевым и не слишком развитым в эмоциональном отношении, то он должен был породить особенно строгую, жесткую и суровую мораль; инстинкт подсказывал ему, что у него нет иной возможности прийти к форме и порядку. Из этого нам становится понятным и то, почему дикарям присущи самые строгие правила поведения и почему цивилизованные люди так сдержанны по сравнению с их примитивностью и неразвитостью.

С этой точки зрения нам достаточно одного-единственного взгляда, чтобы понять, в каком направлении находится идеал. Так как природу бесполезно отвергать или вытеснять, поскольку дух может выразить себя лишь посредством всего инструментария своего тела и своей души, то для него мыслима лишь одна цель: достичь такой внутренней точки зрения и такой внутренней установки, которые позволят ему гармонично координировать всю совокупность имеющейся в его распоряжении природы,

изнутри господствовать над ней и посредством всего имеющегося в наличии инструментария выражать свою духовную жизнь таким же образом, каким выдающийся музыкант выражает то, что он хочет, с помощью сложнейшего инструмента или громаднейшего оркестра. Поэтому альтернативой узкой морали является не аморальность, а мораль более высокого порядка.

Именно об этом говорит процитированная выше иудейская молитва. А она перекликается также и с заключительной частью изречения Конфуция, а именно с тем, что мораль есть окультуренная природа. Наличие культуры всегда означает, что природа стала непосредственным выражением духа¹. В силу того, что человек по своей сути есть дух, мораль как выражение соответствующих формы и порядка определенной жизни не может быть чем-то иным, кроме как окультуренной природой. Всякий противоестественный или вынуждающий человека бороться с его природой моральный порядок абсолютно несостоятелен. Пожалуй, людям настолько примитивным, что они осознают свое духовное начало лишь при условии подавления природы, такой порядок может быть полезен. Но раз речь в данном случае идет о примитивном состоянии, то зрелая культура не может признать такую мораль, пусть даже она освящена религиозной традицией. В этом заключается главная причина того, почему пуританизм должен исчезнуть в своей первоначальной форме: его мораль больше не соответствует истине.

Но и понятие морали как ценности самой по себе также должно исчезнуть. Разумеется, форма и порядок необходимы. Однако форма и порядок жизни не исчерпываются моральным порядком. У них есть различные измерения, каждое из которых независимо от остальных. Истина, добро, красота, любовь и мужество в равной мере необходимы; но на уровне морали для них невозможно найти какой бы то ни было общий знаменатель, тем более что моральный порядок как таковой является выра-

¹ Ср. мое точное и подробное определение культуры в начале первой главы «Нового мира».

жением принципа Нет, а не принципа Да. Определение поезда можно дать не посредством рельсов, по которым он идет, а лишь посредством его внутренней силы и движения. С этих позиций мы лучше, чем прежде, понимаем, почему Иисус не мог не ненавидеть праведников и почему Он никогда не учил морали как таковой. За короткий период своей публичной деятельности он шокировал такое количество пуритан, какое только мог, и был весьма рад этому; те немногие, донесенные до нас традицией события его жизни показывают, что Он, как и все истинные реформаторы, вел себя нарочито вызывающе; Он также был односторонен; здание жизни, чтобы быть прочным, должно покоиться на моральном фундаменте; оно не сможет быть надежным, если целиком основывается на любви и милосердии. Однако моральный порядок может быть лишь одним наряду с другими аккордом в гармонии жизни. И чем богаче и сложнее жизнь, тем труднее ее оценивать в понятиях морали. Каждый человек, превосходивший остальных, находился поэтому по ту сторону добра и зла. Так, даже Христос оспаривал утверждение, что он благ. Каждое отдельное предание о его жизни ясно демонстрирует, сколь скептически он относился к обычным понятиям добра и зла. Грешник значил для него больше, чем фарисей; Он простил Марию Магдалину, ибо она много любила; Он превратил воду в вино и т. д. По-настоящему Христос признавал лишь отдельные и уникальные ситуации, а для уникального не существует нормы.

И действительно, чем выше уровень развития, которого достиг человек, чем важнее роль, которую играет в нем принцип уникальности, тем более решительно должен ставиться для него вопрос, не что такое хорошо вообще, а что такое хорошо в его специфическом случае. Отсюда аморальность всякого выдающегося человека. Он принимает всю свою природу такой, какова она есть; он и мир принимает таким, каков он есть. А затем он пытается сделать этот мир лучше, сообщая самый глубокий и положительный смысл, какой он только может постичь, всем сущим явлениям. Нередко он бывает морален в обычном смысле слова, ибо моральный порядок, инстинктив-

но признаваемый каждым человеком, с одной стороны, представляет собой минимум закона и порядка, а с другой — действительно имеет значение для всех людей. Но как великому поэту словно бы выдано разрешение нарушать законы грамматики и синтаксиса, точно так же существуют и ситуации, в которых выдающийся человек может не следовать общепринятым нормам. Во-первых, в нем, как правило, живут чрезвычайно сильные влечения и инстинкты, которые в определенном смысле можно сравнить с паром паровой машины, если в свою очередь уподобить этой машине человека, а всякая машина нуждается в предохранительном клапане. Но прежде всего он может не следовать нормам большинства потому, что тем самым он отрекся бы от смысла своей жизни. Если он солдат, то как он может отказаться убивать людей? Если он государственный деятель, то как он может не совершать действий, которые, будучи произведены частным лицом, оказались бы преступными? В Америке меня однажды попросили прочитать доклад, посвященный вопросу, почему большинство великих людей были аморальны. Вопрос вполне достоин обсуждения. Действительно, очень многие великие люди в соответствии с критериями своей нации или своего класса были аморальны. Кроме того, о чем мы уже говорили, можно привести еще некоторые причины этого: первая причина касается природы человека вообще; поскольку великий человек качественно отличается от обыкновенного, то и моральный закон, выражающий его истинную связь с миром, должен быть особенным. То, что обычно именуется «моралью», на самом деле представляет собой лишь мораль среднего сословия. Человек среднего сословия нуждается в твердых правилах поведения, ибо он недостаточно сложен и интегрирован, чтобы изнутри руководить своей природой, а подняться к более высокой форме и порядку он не в состоянии. Вторая причина, почему великие люди так часто кажутся аморальными, состоит в том, что все творческие натуры непременно представляют собой художественные натуры. А это предполагает не только преимущества, но и идиосинкразию. Поскольку принцип духа противопо-

ложен закону материи, он не может вынести жизнь, полную рутины и бездумной исполнительности, а большинство моральных систем, естественно, предполагают такую жизнь как «единственно возможную». Кроме того, такие люди должны быть крайними индивидуалистами, а общего знаменателя для индивидуальной этики и социальной морали не существует. Но прежде всего великие нуждаются в импульсе. Импульс — это хлеб творческой жизни, но, с другой стороны, он враждебен всякой рутине. Это ведет нас к самой глубинной причине так называемой аморальности художников. Художник живет своим произведением точно так же, как беременная женщина живет своим ребенком. Поэтому в своем поведении художник имеет право на все то, что способствует росту ребенка. Тогда как человек с улицы не может увидеть в рождении стихотворения высшей ценности. Говорят, Лаура сказала, что Петрарка не был благороден, раз не желал встречи с ней, поскольку он посвящал ей страстные стихи, она как нечто само собой разумеющееся полагала, что он был в нее влюблен и хотел ее. В действительности он нуждался лишь в необходимом для его поэтического творчества вдохновении, которое он получал от ее идеализированного образа. Точно так же и так называемая аморальность Гёте, за которую его порицают столь многие американские писатели, соответствовала единственно возможному для него закону роста его великой души. Он нуждался в импульсе, который он получал от женщин, но не мог ни на одной из них жениться. Когда этот человек, во всем остальном достаточно сдержанный, который, кроме всего прочего, как высокопоставленный государственный служащий был вынужден быть весьма осмотрительным, не заключив официального брака, решил на совместную жизнь с Христианой (он женился на ней позже и никогда не считал этот свой поступок таким уж хорошим), то это было проявлением в определенном смысле такого же настоящего чувства этического долга, какое на свой манер испытывает самый строгий пуританин.

Однако самая глубокая причина того, почему великие люди почти всегда «аморальны», заключается имен-

но в их духовности. Дух не от мира сего. Чтобы проявиться, он нуждается в земном напряжении, так же как струны скрипки должны быть натянуты, чтобы полилась музыка. Чем более духовным является человек, тем больше живущих в нем напряжений. И, наоборот, человек с нормальной моралью — это человек, который находится в максимальной гармонии с землей. Поэтому человечество еще в доисторическую эпоху осознало, что закон духовного человека должен быть иным, чем закон человека, привязанного к земле. В этом бытийное основание всех законов, создававшихся для монахов и священников; они предписывали жизнь, совершенно аморальную со светской точки зрения, и поэтому протестантизм был прав, когда он боролся с соответствующими институтами как с аморальными. И все же, по сути дела, протестантизм был неправ, ибо закон духа никогда не тождествен закону земли. А то, что действительно для духовного человека (в том отношении, что его закон требует отрицания всех земных норм), относится и к каждому, в ком главную роль играет дух: между его духовной и его земной природой должен существовать огромный дефицит равновесия; его равновесие должно отличаться экстраординарной лабильностью. Лишь в том случае, если он обладал аномальной телесной силой, его великий дух мог быть физически здоров. И в каждом отдельном, известном нам случае он получал упреки именно по поводу своей морали, как, например, Иисус со стороны фарисеев.

Из этого вовсе не следует, что мораль — некий пред-
рассудок. Наоборот, даже самая узкая мещанская мораль лучше для человека с улицы, чем моральная распушенность. Но поскольку мораль как таковая никогда не бывает чем-то большим, чем форма и порядок, то очевидно, что должны существовать и многие другие разновидности законов. И здесь максимально быстро подойти к истинному пониманию жизни нам поможет индийское понятие «дхармы», толкование которого, просто необходимое для современного мира, я дал в главе «Индийская и китайская мудрость» своей книги «Творческое познание». Великий человек имеет право жить иначе, чем средний.

Если благодаря жизни, которую средний человек рассматривает как аморальную, он создает вечные ценности, то очевидно, что он имеет право на такого рода жизнь даже с точки зрения общества, ибо он приносит большее благо, чем миллионы моральных граждан вместе взятые. Несомненно, даже самый выдающийся человек никогда не вправе претендовать на то, что он может причинять вред другим людям. Но, с другой стороны, не существует невинной жизни. Никто не в состоянии посредством своей специфической сущности и судьбы принести большее благо, чем то, что в его силах. Каждая благая жизнь, даже если это слово понимается в обычном моральном смысле слова, в некоторых отношениях ведет ко злу. Никто не может сделать большего, нежели взять на себя всю ту вину, которую приносит с собой его жизнь, подобно тому как Иисус взял на себя всю вину человечества. Таким образом, каждый может добиться счастья, за исключением человека, который считает, что он может полностью положить на свою чистую совесть. Как сказал Альберт Швейцер, так называемая чистая совесть, дающая право осуждать других, в действительности есть несомненное изобретение самого дьявола.

А теперь перейдем к заключительному синтезу. А он лучше всего удастся нам, если мы поставим вопрос таким же образом, каким он ставился передо мной во многих американских городах, а именно: породят ли более свободные моральные взгляды более богатые души? После всего, что уже было сказано, должно стать ясно, что богатая душа и незаурядный человек не может придерживаться узкоморального образа мышления. Незаурядного человека характеризует прежде всего то, что в нем главным является его творческий дух, а следовательно, принцип Да, а не принцип Нет; мораль же как таковая является выражением последнего. Кроме того, любая богатая душа не может не чувствовать, что всякие форма и порядок, которые препятствуют полному выражению самости, противоречат ее собственной истине. Сегодня незаурядные люди и богатые души находятся в таком же мень-

шинстве, как и в любую прежнюю эпоху. Но, пожалуй, произошло общее повышение уровня понимания. То, что ранее было чем-то само собой разумеющимся лишь для человека незаурядного, сегодня стало объективным знанием, которое может постигнуть любой человек самых обыкновенных способностей. А вследствие этого о возвращении к традиционной морали не может быть и речи.

Однако столь же невозможным представляется и то, что современное состояние откровенной аморальности, нормальное лишь как переходная стадия, продлится в течение долгого времени. К тому, что мы уже сказали об этом ранее, теперь можно добавить следующее: если превосходство состоит в том, чтобы видеть вещи в их истинном взаимном соотношении и самостоятельно управлять ими таким образом, чтобы это приводило ко всеобщей гармонии, то в таком случае современная, свободная в моральном отношении девушка, безусловно, стоит ниже любой женщины, которая искренне верит в истину старого порядка. Почему? Потому, что последняя потребности своей души и ее более высокое развитие считает более важным, чем плотское удовлетворение. Насколько я знаю, на Земле еще никогда не было столь бедного и убогого в душевном отношении поколения, как нынешняя американская молодежь. Поскольку она не знает ничего, что сдерживало бы инстинкты, ее душевная жизнь просто не может развернуться. А поскольку бихевиористская установка ведет ко всеобщему распространению такого взгляда на жизнь, в соответствии с которым человек понимается всего лишь как животное среди других животных, физическое начинает рассматриваться как единственно решающее. Так, чувствительные женщины впервые в истории оценивают ценность любви в соответствии с ее воздействием на здоровье. Все эти недостатки еще более усугубляются продолжающимся омоложением расы и идеализацией молодежи, которая, как мы видели, по психологическим причинам не способна раскрыть весь свой жизненный потенциал. Именно поэтому во всех зрелых культурах она была окружена множеством полезных условностей, которые способствовали ее более высокому

развитию. Важнейшим же в человеке является душа, понятая как выражение всей эмоциональной сферы в целом. Если эта сфера недоразвита, то свободная мораль совершенно противопоказана, ибо примитивная душа нуждается в строгой дисциплине. И здесь мы, похоже, подошли к самой сути проблемы. Первоочередной вопрос заключается не в том, какая точка зрения на мораль является наилучшей, но в том, позволяет ли человеку его конкретная ситуация жить той жизнью, которая соответствовала бы высшей истине. Детям следует предъявлять любые аргументы, обосновывающие необходимость их хорошего поведения, пусть даже они не выдерживают научной критики. Точно так же и у взрослых: важно не то, какие форма и порядок являются теоретически лучшими, а то, в состоянии ли данное лицо действительно их реализовать и им следовать. А все факты доказывают, что подавляющее большинство современной американской молодежи абсолютно не готово к более свободной установке. Современные молодые американцы преимущественно пуритане «наоборот». А поскольку человек представляет собой в первую очередь психическое существо, то душевная недоразвитость наносит ему гораздо больший ущерб, чем какое бы то ни было подавление телесных потребностей, ведь последнее всегда вызывает какое-нибудь компенсаторное душевное развитие, тогда как чисто физическая жизнь сама по себе полностью удовлетворяет человека и ведет к его прогрессирующей анимализации — к тому, что такая жизнь начинает считаться единственно ценной. И так действительно обстоит дело с теми здоровыми юношами и девушками, которыми так восхищается судья Линдсей. Телесно они, по всей видимости, действительно здоровы. Я даже готов зайти настолько далеко, чтобы признать, что эти юноши развиты в телесном отношении лучше, чем любые другие представители рода человеческого последних столетий, за исключением разве что дикарей.

И все же я с чрезвычайной симпатией отношусь к современной американской молодежи. Абсолютно естественно, что поколение, задачей которого является пре-

одоление пуританизма, первоначально впадает в прямо противоположную крайность. И в любом случае во времена умирающей веры и все более и более пробуждающегося интеллекта лишь свободное экспериментирование может привести к идеям, которые действительно соответствуют фактам. В этой связи мои симпатии в особенности адресованы тем, кто сам пострадал от собственных экспериментов: здесь, по сути дела, речь идет о потерях, понесенных в бою. В том, что касается моральной проблемы, впрочем, как и любой другой проблемы нашего времени, главное зло состоит в том, что интеллектуальное познание оказалось гораздо более развитым, чем все остальные душевные функции. Кроме того, основной проблемой здесь является также и новая связь между душой и духом. Совершенство достижимо лишь как результат органического роста. С другой стороны, лишь истинное понимание может придать процессу правильное направление и ускорить его. Здесь мы еще раз, как и в конце нашего обсуждения проблемы демократии, приходим к пониманию того, что все культурное будущее Америки зависит от углубления индивидуального самосознания, и причина этого кроется именно в удивительном развитии ее социального сознания. Ибо на том уровне, на котором решаются проблемы добра и зла, от социального прогресса ожидать попросту нечего. Никакого общего знаменателя для закона личности и для закона общества не существует¹. Форма и порядок общества действительно исключительны для рассматриваемого в качестве последней инстанции множества, точно так же как форма и порядок отдельной души имеют отношение лишь к ее целостности, как бы ни стремились ее отдельные импульсы и функции к своему полному и самостоятельному выражению. Но если эти импульсы и функции действительно принадлежат более низкому по сравнению с целостностью уровню, почему с точки зрения всего человека в целом их специфическими стремлениями можно пренебречь, то

¹ Хотел бы здесь заметить, что уже в возрасте 26 лет в своей книге «Бессмертие» я высказал и доказал эту истину.

этого нельзя сказать об индивиде в его отношении к обществу. Последней инстанцией для индивида является его индивидуальная уникальность. Ей противостоит общество — в той же мере, что и отдельные импульсы, но только на другом уровне и в другом направлении. То есть общество как таковое не обладает душой и душой не является. Оно существует как целое благодаря тому, что в нем наличествует нечто более низкое по своему статусу, чем человек. Отсюда более низкий уровень любого коллектива по сравнению с любым отдельным разумным человеком. Поскольку же общество всегда состоит из отдельных душ, оно, естественно, до определенной степени считается с индивидуальностью своих членов. Однако там, где интересы отдельного человека сталкиваются с интересами общества, последнее всегда жестко их ограничивает. Поэтому оно никогда не признает истинных новаторов и реформаторов, поэтому оно испокон веков отрицало особенный характер незаурядного человека. Оно не может признать последней инстанцией отдельную душу. Поскольку же каждая отдельная душа уникальна, а ее величие прямо пропорционально дефициту в ней «нормальности» и, с другой стороны, несомненно, существует общественная жизнь, являющаяся последней инстанцией для себя самой, неразрешимый трагический конфликт становится неизбежным. Его единственно возможное разрешение состоит в том, чтобы посредством признания этого трагизма был создан некий новый бытийный уровень, на котором оказались бы проблемы меньшей, а не большей жизненной важности. Лишь на этом уровне могут быть гармонизированы противоречащие друг другу интересы отдельного человека и группы. А на том уровне, который до сих пор выбирали американцы, — уровне недостаточной индивидуализации, достичь этого невозможно. Современное состояние Соединенных Штатов доказывает это окончательно. Социальное сознание развито там сильнее, чем где бы то ни было в мире. Индивид же, напротив, кажется недоразвитым, как ни у одного другого цивилизованного народа. А поскольку все духовные ценности создаются и могут быть созданы только

индивидом, то никакая социальная система, даже самая совершенная и воплощенная в людях самой высокой социальной морали, никогда не сможет компенсировать отсутствия в полной мере развитых индивидуальностей.

В заключение я хотел бы более подробно по сравнению с тем, что нами уже было сказано, поговорить о возможности создания великой цивилизации на моралистическом фундаменте. Я говорю: «моралистическом», а не «моральном», ибо основания любой здоровой общественной жизни, само собой разумеется, всегда моральны, ибо мораль есть не что иное, как форма и порядок вообще. С этой целью я хочу попытаться в нескольких словах показать, что в американской жизни уже сегодня представляется образцовым. Мне проще всего сделать это, прокомментировав один фрагмент книги Люсьена Ромера «*Qui sera le maître, l'Europe ou l'Amerique?*». Ромер пишет (с. 158): «Американская демократия воспитывает массы посредством морализма, тогда как европейские кормят их интеллектуализмом. Культура (чистой) совести и правил практической жизни оказалась социально более эффективной, чем абстрактное знание и интеллектуальный пред-
рассудок. Определение социальной ситуации в Соединенных Штатах можно дать в нескольких словах: свобода мышления, но равенство и догматизм в том, что касается поведения». А на с. 160 он продолжает: «Пуританизмом объясняется как индивидуализм мышления и веры, так и моральный коллективизм». Действительно, заставить разумных людей одинаково мыслить можно, лишив каждого из них их индивидуального интеллекта. Но, пожалуй, возможно создание общества единого в своем поведении и привычках. В этом смысле все культуры, в которых господствует единообразие, основаны на ином, нежели интеллектуальный, фундаменте. Если же акцент делается на развернутом в поведении и привычках моральном элементе, а соответствующая мораль в целом соответствует тому лучшему, что есть в человеке; если, с другой стороны, идеи, религиозные представления и мнения считаются не имеющими значения, то самые различные, даже

враждебные друг другу индивиды могут ощущать себя как единство. В прежние эпохи необходимым в качестве скрепляющего элемента, как правило, выступала религия; так, Константин Великий, самый беззастенчивый макиавеллист всех времен, сделал христианство государственной религией, поскольку не нашел никакого другого средства вновь собрать воедино центробежные силы Римской империи. В Соединенных Штатах религия также играет значительную роль. Но странным образом церкви отстаивают там прежде всего не догматы, а мораль; именно по этой причине римско-католическая церковь там, и только там мирно сотрудничает с протестантской. Подобные факты демонстрируют нам, что в конечном счете «морализм» представляет собой господство «привычки» над мышлением, чем только и объясняются основные понятия американской философии, а привычка есть самое консервативное и обязывающее явление жизни. В таком случае решение о ценности чего-либо зависит от свойств усвоенной привычки, и в этом отношении против американской морали, вне всяких сомнений, можно выдвинуть более чем достаточное количество аргументов; с точки зрения признания любой духовной ценности привычки, которые противодействуют развитию и повышению сознания собственной уникальности, покажутся просто-напросто дурными. Но здесь мы должны вспомнить о том, что американская цивилизация — не только в данный момент, а по самой своей сути — есть массовая цивилизация, и о том, что она целиком зависит от успешного слияния самых разнородных элементов. Если мы примем это в качестве своего исходного пункта и, вспомнив о том, что во всем мире начинается эпоха масс, сравним американскую бесконфликтность со спорами и озлобленностью, царящими в большинстве других стран, то должны будем признать, что с точки зрения современных условий Америка дает пример первого в современную эпоху удовлетворительного решения проблемы общества. Она заложила самый прочный социальный фундамент из всех существовавших до сих пор. И нет причин, которые помешали бы тому, чтобы позднее на этом

фундаменте поднялось величественное и прекрасное здание. Одним из самых многообещающих признаков возможности этого является, как мне кажется, тот факт, что лишь в Америке женщины до сих пор находят удовольствие в обществе друг друга и что чувство солидарности или стремление к общему благу там, кажется, сильнее, чем чувство соперничества. Человеческая природа неизменна, по крайней мере, природа женщин — консервативной половины человечества; женщина никогда не была по своей природе общительной и никогда такой не станет. И если американские женщины настолько успешнее сотрудничают, чем женщины во всех других странах, то для этого должна существовать какая-то особая причина. Ею является не что иное, как органически присущий Америке морализм. Если во внимание принимаются лишь поведение и привычка, а на усмотрение отдельного человека оставляется все остальное и если, кроме того, каждая женщина видит источник своей жизни в моральном долге, то действительно нет никаких причин, в силу которых она не сможет играть в общественной жизни такую роль, какую она еще не играла никогда и нигде. Слишком низкая оценка интеллектуальных и художественных ценностей, которая сопутствует любому безраздельно господствующему морализму, несомненно, имеет очень серьезные негативные последствия. Но эти ценности отнюдь не единственные жизненные ценности. И здесь я хотел бы показать, что даже современная, очень односторонняя американская цивилизация обещает нечто позитивное и великое, если только она продолжит развиваться в правильном направлении.

А в морализме есть один элемент (упоминание о котором я намеренно приберег для заключения), который делает развитие в правильном направлении в высшей степени вероятным. Это — американский оптимизм. До сих пор мы рассматривали его лишь как компенсаторное явление. Но на него можно взглянуть и иначе. Оптимизм есть одно из естественных следствий морализма. Европейский XVIII век был оптимистичным, так же как был оптимистичен и Древний Китай. Причина этого состоит в

том, что пессимистическое (и в то же время моралистическое) мировоззрение представляет собой *contradictio in adjecto*, поэтому такая установка никогда не была длительным историческим фактором, как бы ни велико было число разделявших ее отдельных умов; даже мировоззрение южного буддизма было вопреки букве учения Будды оптимистичным. Идея, лежащая в основании любой разновидности морализма, состоит в том, что жизнь должна становиться лучше, чем она есть сейчас, а это очевидным образом предполагает, что она может идти к лучшему и что жизнь сама по себе не является злом. Если центр жизни заключается в знании, вере или любви, то пессимизм как фундаментальная установка вполне возможен; но он невозможен, если определяющим является моральное начало. Это поможет нам понять, каким образом потомство мрачных отцов-пилигримов смогло развиваться в жизнерадостных, добродушных, экзальтированных американцах наших дней. Если же на это наследие окажет влияние более глубокое понимание, то прирожденный оптимизм почти наверняка приведет к такому улучшению жизни, что она сможет устоять перед той критикой, которую нынешний морализм выдержать еще неспособен.

КУЛЬТУРА

Из предыдущей главы, кроме всего прочего, выяснилось, что моральный порядок не выражает всего порядка жизни в целом, а представляет собой составную часть некоего более общего порядка. Именно это имели в виду китайцы и греки, когда они говорили о морали. Когда Платон, самый совершенный представитель культуры Афин, самой радикально эстетической культуры всех времен, учил, что в конечном счете в основании мира лежит идея «блага», когда столь великодушные и культурные древние китайцы определяли мораль как «окультуренную природу», то очевидно, что все они имели в виду нечто гораздо более всеохватывающее, чем то, что понимали под моралью пуритане. В действительности они имели в виду то, что мы сегодня в противоположность, с одной стороны, сырому материалу, а с другой — чисто техническому приданию формы называем культурой. Действительно ли понятие культуры воплощает собой конечную цель коллективного человеческого стремления к совершенствованию? Безусловно. Конечно, идеалы высшей духовности находятся по ту сторону области возможного земного осуществления, а средством их реализации являются не нашедшие разрядки земные напряжения¹. И все же духовные ценности могут быть на длительный период сообщены исторической жизни. Это может произойти, если всеобщее признание в качестве того, что в итоге имеет решающее значение, получают как они сами, так и их образцовое воплощение. В таком случае все материальные явления жизни становятся частью некоего духовного порядка, а всякое индивидуальное стремление к иде-

¹ Ср. подробное обсуждение этой проблемы в главах «История как трагедия», «Смерть и вечность», «Этическая проблема» и «Сфера действия природы» моей книги «Возрождение».

алу получает соответствующие его фактическому душевному состоянию каналы. В «Новом мире» я писал о культуре, что в ней всякая жизненная форма кажется непосредственным выражением духа — это именно то, о чем говорится в предыдущих фразах. Тем самым культуру принципиально и в некотором смысле исчерпывающе можно было бы определить как некий возвышающийся над природой уровень. Это определение как таковое имплицитно подразумевает, что все порядки жизни, не только моральный, но и религиозный, не говоря уже о эстетическом и интеллектуальном, являются составными частями более общего порядка культуры. Однако краткого резюме здесь явно недостаточно; мы должны получить полную и ясную картину обстоятельств дела. В контексте данной книги это совершенно необходимо, ибо в Америке, несмотря на весь ее идеализм, еще полностью отсутствует какое бы то ни было национальное стремление к культуре.

Задача, которая стоит перед нами в этой главе, не слишком сложна, ибо определение смысла, сферы деятельности и высшей цели морали имплицитно уже дало нам конкретную картину (а не одну лишь абстрактную формулу) истинного значения понятия культуры. Культурным человеком является тот, кто самостоятельно организует в гармоничное целое все многообразие своей природы и руководит им, подобно тому как дирижер дирижирует оркестром. Моральным человеком не только в высшем, но и в единственно истинном смысле является тот, кто все свои силы, вне зависимости от того, добры они сами по себе или злы, ставит на службу добру. Эстетически совершенен тот, кто все без исключения свои импульсы реализует в столь гармоничной взаимосвязи, что даже то, что само по себе безобразно, в качестве составной части прекрасного, самого по себе целого, также становится прекрасным. Тот, чей жизненный центр заключается в понимании, тогда достигает своей полной реализации, когда постигает подлинный смысл всех вещей в его истинной взаимосвязи со смыслом мира в целом. А человек, совершенный в эмоциональном отношении, спо-

способный к великой любви, использует свои природные инстинкты и импульсы аналогично тому, как, например, Шопен использовал волны звуков и т. д. Очевидно, что все эти ценности вместе с эмпирическими средствами своего осуществления составляют достояние и собственность человека, при отсутствии любой из них истинное совершенство становится для него недостижимым. И эта истина независима от любой отдельно взятой метафизической или религиозной доктрины; человек в первую очередь и по самой своей сущности «целый», поэтому, если он хочет достичь своего собственного осуществления, «целостность» должна быть его приоритетной целью. Часть его самого, которая перестает ему принадлежать, как только он перестает соотносить ее со своим внутренним духовным центром, рано или поздно разовьется в нечто совершенно чуждое тому духу, которым он одержим. Одних этих размышлений достаточно для развенчания сказки о безусловной ценности всякой односторонне развитой цивилизации. Если она воплощает даже самую совершенную и самую высокую моральность, оставляя в то же время без внимания красоту, любовь и истину, то она либо уродлива, либо больна. Лучшей иллюстрацией этого является пуританская Америка. В ее раннюю суровую эпоху красота была для нее в лучшем случае чем-то поверхностным, а в худшем — непосредственным злом. Сегодня в той мере, в какой речь идет о сознательном намерении, ценность красоты, как правило, чрезмерно акцентируется. Но поскольку бессознательным Америки все еще руководят фундаментальные пуританистские силы, там почти невозможно встретить истинное, изначальное и произвольное чувство прекрасного. Одна только мысль о возможности стандартизации «прекрасного» служит этому доказательством. Красота всегда связана с правильным соотношением частных и господствующего центра. Гостиная не будет красивой, сколь бы ценными ни были украшающие ее предметы, если они не гармонируют с уникальной личностью ее хозяйки. Американцы этого не понимают. Они не видят различия между прекрасным и милым, симпатичным, поэтому женщины,

которых они сами считают красивыми, на самом деле, как правило, не более чем миловидны, тогда как миловидность находится в таком же отношении к красоте, как по-детски понимаемая популярность к духовным ценностям. В этой связи стоит выяснить исторические предпосылки пуританизма. Его корни уходят в иудаизм и раннее христианство. А Ветхий завет целиком основывается на осознанном напряжении между волей Господа и недостаточностью человека, поэтому евреи никогда не порождали собственной культуры, а достигали ее посредством чрезвычайно гармоничного приспособления к внешнему миру; этим объясняются все ее непривлекательные черты. С другой стороны, духовный принцип, единственный признаваемый евреями принцип — принцип этоса, обуславливает постоянное движение и отрыв от земли. В этом же и духовные корни исключительного динамизма американцев. Что же касается раннего христианства, то его специфическое презрение к красоте является духовной предтечей американской идеализации «человека с улицы». Но, с другой стороны, именно раннее христианство является иллюстрацией той истины, что односторонне развитая культура не может быть признана наилучшей. У талантливых народов христианство могло оставаться тем, чем оно было изначально, лишь до тех пор, пока оно представляло собой оппозицию господствовавшей у этих народов культуре, которая, в свою очередь, основывалась на чувстве прекрасного. Стоило ему победить, как самым глубоким деятелям, которыми когда-либо располагало христианство, первым греческим отцам церкви, стало ясно, что христианская любовь вовсе не противостоит красоте и мудрости; предложенное ими решение этой дилеммы состояло в том, что красота, мудрость и любовь являются различными выражениями одного и того же изначально-го духа, образуя тем самым триединство. Однако еще задолго до этого более совершенное и одновременно более научное выражение для лежащей в основании этой теории фундаментальной истины нашли древние китайцы: согласно их мудрости, глубина не глубока, если она не выражается как красота и изящество поверхности; то есть

интеллектуальное и моральное совершенство, если оно действительно имеет место, должно находить также и эстетическое выражение. Таким образом, древнекитайский морализм обладал не одной координатой, как американский, а тремя; отсюда всесторонность, «субстанциальность» (в смысле средневековой философии) и великодушные древнего китайца. Нам же философия понимания смысла позволит в полной мере уяснить эту в прежние эпохи более или менее нечетко понимаемую истину. В любой сфере жизни действует закон корреляции смысла и выражения¹. А высшее выражение совершенства очевидным образом воплощает в себе утонченная красота. Почему? Потому, что легкость является истинным симптомом окончательной победы над тяжеловесной неуклюжестью. Там, где присутствует последняя, она всегда является собой доказательство того, что материя еще не побеждена духом. Так, символом победы над силой тяжести является не подавляющий своими размерами небоскреб, а полет птицы. Этим объясняется, почему самые утонченные формы морального совершенства испокон веков произвольно именовались проявлением «моральной красоты», причем это касается даже тех твердолобых христиан, которым любое ослабление нравственной строгости внушало отвращение.

На уровне выражения действительно нет ничего, что находилось бы по ту сторону красоты. А иначе и быть не может, ибо лишь красота представляет собой совершенные пропорции и гармонию, а последние, в свою очередь, неизбежно проявляются как красота. Поскольку же даже моральный идеал воплощает тот, кто в полной мере руководит целым оркестром своих полностью согласованных друг с другом сил, то одно это соображение устраняет саму возможность сомнения в том, что культура, и ничто иное, представляет собой земное воплощение благой жизни. Однако самая глубокая причина, почему дело обстоит и должно обстоять именно так, заключается в следую-

¹ Эта центральная идея моей философии подробно освещается в моей книге «Творческое познание».

щем: совершенная культура не только представляет собой осуществляющуюся в соответствии с эстетическими законами гармонизацию и интеграцию многообразных и противоречивых тенденций, существующих как в самом человеке, так и в его отношении с ближним: под ней понимается высшая гармония материи и духа вообще, взятых как во всех их постоянно изменяющихся аспектах в измерении одновременности, с одной стороны, так и в их отношении к настоящему, прошлому и будущему в измерении последовательности — с другой.

Прежде всего обратимся к измерению одновременности. Тайна воплощения необъяснима. Однако не подлежит никакому сомнению, что человек есть духовное существо, которое не может быть ни совершенным, ни счастливым, если он не хранит верность закону духа, и что одновременно он столь же глубоко связан с материей, как мысль с выражающими ее словами. Поэтому гармонизация материи и духа — или смысла и выражения — является первой и высшей необходимостью. Высший смысл того, что обозначает слово «дух», может быть выяснен лишь в последней главе этой книги. Но сейчас нам и не нужно давать окончательные определения, ибо каждый человек непосредственно ощущает себя как прежде всего духовное существо. Сознание собственной идентичности отражает единство духа (в самом широком смысле), а не единство материи. Все составные части находящейся на более низком уровне души: эмоции, страсти, склонности, инстинкты и импульсы, которые человек не пронизал и не наполнил своим духовным единством, а значит, и не превратил их тем самым в средства выражения, фактически остаются для него частями внешнего мира. В том, что касается тела и его функций, всякое проникновение неизбежно имеет свой предел; красота и изящество не могут быть навязаны силой. Но в том, что касается души, такого предела, по всей видимости, не существует; отсюда «ты должен» всех религиозных и культурных систем, относящееся ко всему, что непосредственно затрагивает душевную жизнь. Как психологическая сущность человек может стать «целым», то есть полностью

интегрированным; обитающий в самых глубоких слоях его внутреннего мира дух действительно способен проникнуть всюду и подчинить себе все. А потому это «должно» получиться, ведь человек отличается от животного только тем, что он есть воплощенный дух, он не подчиняется более низким порядкам и остается верным самому себе. Теперь нам, пожалуй, должно стать ясно, почему лишь культурное состояние, а не природное, пусть даже самое совершенное, является для человека в подлинном смысле естественным: он не может, как это делает любое животное, правильно ориентироваться в космосе, пока не превратит всю имеющуюся в его распоряжении материю в средство выражения духа. Лишь культурный человек, который, подобно управляющему оркестром дирижеру, контролирует все без исключения свои жизненные силы, пребывающие в состоянии оптимального взаимного равновесия, равен животному в совершенстве. И лишь в таком случае он может быть по-настоящему счастлив. Человеческая жизнь всегда представляет собой трагедию, никому и никогда не удавалось избежать ударов судьбы и разочарований. Однако одухотворенный человек и в страдании не утрачивает радости. Тогда как длительное, беспроектное и безнадежное несчастье является уделом всех тех, кто не ищет внешних средств, позволяющих устранить дефицит внутреннего равновесия. Им ничего не сможет помочь; ведь человек еще наделен свободной волей и пониманием, способными изменять действительность, несчастье на самом деле означает грех.

Это то, что касается измерения одновременности. Измерение последовательности мы подробно рассмотрим несколько позднее. Однако кое-что мы можем сказать прямо сейчас: поскольку жизнь, по сути дела, представляет собой своего рода мелодию, а ее целостность предшествует каждому отдельному такту, то всякая жизненная форма, настоящее бытие которой не согласуется правильным образом с будущим и прошлым, неизбежно является ошибкой, которая рано или поздно будет выявлена живым опытом. Поэтому каждое истинно культурное состояние, с одной стороны, сознательно основывается

на традиции, а с другой — чувствует себя ответственным за будущее как составную часть своего настоящего.

Рассмотрим теперь те главные моменты сегодняшнего состояния Соединенных Штатов, которые показались нам негативными, под новым углом зрения. До сих пор Америка была слишком односторонне моралистичной. Для простых душой завоевателей, какими были ранние магометане, односторонний морализм полностью подходит. Но как только жизнь становится более богатой, он обуславливает искажение многих жизненных тенденций; именно поэтому поздние пуритане были и остаются столь неискренними, тогда как главными добродетелями пуритан ранней эпохи были как раз правдивость и искренность. Не может быть искренним тот, кто вытесняет и скрывает все, что в нем есть живого. В Америке господствует животный идеал, он воплощает собой истинное значение идеала высокого жизненного стандарта. Но с его помощью невозможно достичь оптимального равновесия между духом, интеллектом, душой, телом и внешним миром человека. Ведь человек лишь тогда правильно ориентирован, когда в нем доминирует его внутренний мир. Это в столь малой степени имеет отношение к Америке, что идеал высокого жизненного стандарта, разделяемый подавляющим большинством населения, пронизывает практически все идеальные стремления американцев нашего времени, что означает полное искажение, извращение и искривление истинных взаимосвязей. Отсюда и американская неполноценность почти во всех культурных сферах — исключения только подтверждают правило, ибо важным является лишь репрезентативное. В Америке нет и пока не может быть национального искусства, за исключением негритянского, ибо искусство предполагает такое доминирование внутреннего, что оно способно самостоятельно преобразовывать внешнее. Нет и такой американской философии, которая представляла бы собой нечто большее, чем одно из проявлений животной тенденции приспособления к окружению и формирования наиболее оптимальных для него привычек. Не суще-

ствуется и изначального чувства прекрасного. Выгода есть все. Пожалуй, еще никогда не существовало народа, который так мало использовал бы природные красоты своей страны и который как при строительстве городов, так и в преобразовании всей своей жизни в целом уделял бы столь незначительное внимание понимаемым как самостоятельная цель эстетическим ценностям. Современный американец не находится в гармонии ни с самим собой, ни с окружающим миром. Принципиально то же самое, что обуславливает непривлекательность евреев, заставляет казаться непривлекательным целый континент, самой природой предопределенный к красоте, и все больше и больше уродует способные к пониманию прекрасного умы и души. Все более непривлекательными становятся язык, высказывания. Материализм и бихевиоризм неумолимо преобразуют души в соответствии со своими установками и принципами. За женщиной, которая судит о ценности любви по ее воздействию на здоровье, никто не признает душевной красоты. Красота же есть не что иное, как нормальное выражение полностью осуществленного смысла.

В Америке действительно везде и всюду практически отсутствует чувство верных пропорций. Можно ли считать высшей целью только производство и потребление материальных благ или обладание деньгами как таковое? Зачем нужно богатство, если отсутствует ориентированная на саму себя и полнокровная жизнь, которая только и дает ему его подлинный смысл? Насколько искажена американская установка именно в этом отношении, доказывает даже то соображение, что деньги являются высшей целью лишь для скупца, а американец как тип ни в коей мере не скуп. Во всем прочем идеал обладания, понимаемого как самостоятельная цель, сводит *ad absurdum* представление, что человек (за исключением скупца, которым, повторюсь, американец не является!) никогда долго не думает о том, что он имеет; данное необходимо ему лишь как исходный пункт или базис для новых побед и достижений. Так мы переходим к американской идеализации достижений. Поскольку не только объективная цен-

ность, но и субъективное счастье является функцией внутренней структуры человека, то зачем нужны все деловые качества, если ни в них, ни посредством них человек внутренне не растет? Точно так же не имеет никакой ценности и знание без понимания — основной характеристики того, что американцы понимают как *information*; только понятое знание представляет собой ассимилированный и одухотворенный человеком сырой материал, понимание же действует изнутри вовне, а не наоборот, однако признанного в национальном масштабе «изнутри» в Соединенных Штатах еще нет. Это показывает нам, что по-американски понятое воспитание ни в коей мере не ведет к культуре. В сколь малой степени воспитание вообще может рассматриваться как путь к культуре, доказывает тот факт, что американцы в большинстве своем говорят о тех учебных заведениях, которые им довелось посещать, как о ступенях официальной карьеры, и что высшим идеалом для них является накопление ученых званий. Вне всякого сомнения, с девушками дело обстоит значительно лучше, однако к большинству нынешних мужчин все вышесказанное, к сожалению, имеет непосредственное отношение. Их истинное отношение к культуре выявляется благодаря их жизненному ритму, который требует отпуска в глуши как идеального отдыха от деловой жизни в Сити: техническая и анималистическая жизни находятся на одном уровне. Американское приращение к странствиям и лагерной жизни имеет иное значение, чем та радость, которую получает европейский человек, проведя несколько недель вблизи природы; оно означает, что уровень истинной культуры все еще находится вне поля его зрения. Американец окружает себя всем мыслимым комфортом, а затем вновь ведет лагерную жизнь, как индеец, подобно тому как кочевник чередует зимние и летние пастбища. Против такого образа жизни нечего было бы возразить, если бы, как это утверждают бихевиоризм и прагматизм, человек был животным. Но это не так. Если он вообще пробудился к духовному сознанию, то он может достичь того совершенства в себе самом и своем отношении к окружающему

миру, какое естественным образом воплощает любое животное, только в том случае, если он посредством духовной инициативы и осмысления жизни создает необходимую гармонию на уровне культуры. Зоолог мог бы сказать, что человек как вид животного характеризуется свободной волей, духом изобретателя и способностью ошибаться. Поэтому в качестве человеческого животного он никогда не сможет прийти к совершенству, пока он стремится следовать животному идеалу, чего, что очень характерно, не делает ни одно «дикое» племя. Именно дикарь живет определенной духом жизнью, поскольку для него все внешнее является символом внутреннего. Американские прогрессисты могут думать все что угодно, именно когда для человека главным является здоровье, естественность и т. д., когда он отмахивается от духовного и морального порядка как от «надувательства» (*bunk**), он не находится в гармонии с природой. И это в тем большей степени так, чем большего прогресса он добивается в отдельных областях. Конечным и общим результатом следования всем этим ошибочным установкам будет карикатура, всеобщая органическая деформация, ведущая к девитализации. Жизнь в Соединенных Штатах неестественна, но не потому, что она чересчур технизирована, а потому, что внутренней структуре человека еще не удалось сложить свои недавно обретенные способности в органическое, контролируемое изнутри целое, что удалось на своем особенном уровне вавилонянам и египтянам. А ведь эти древние народы в технической области были более развиты, чем мы.

Пойдем дальше. Исчерпывающее значение того, что мы говорили об отсутствии у американцев радости, полностью прояснится лишь после того, когда мы рассмотрим вопрос с точки зрения культурного идеала. Радость — это естественное выражение гармонии внутреннего и внешнего миров, поэтому все нормальные дети радостны. Но дети как животные; для того, чтобы цивилизованный взрослый достиг длительного состояния радости, его об-

* Трескучие показные фразы, болтовня (англ.).

щая установка должна допускать свободную игру всех без исключения его энергий. Там, где этому постоянно препятствуют любого рода психические оковы, радость жизни исключена. Разумеется, я ни в коей мере не защищаю недисциплинированность и разнузданность. Ребенок радуется надлежащей дисциплине, ибо ее закон удерживает его в гармонии с природой. Точно так же каждый взрослый, еще не достигший той ступени внутреннего развития, на которой он может мгновенно *ad hoc* создать форму и порядок, соответствующие данной ситуации, нуждается в определенной системе механизмов сдерживания. Впрочем, они необходимы для раскрытия душевного потенциала точно так же, как натяжение струн для извлечения музыкальных звуков. Но если эта система мешает разворачиванию жизненных сил, вместо того чтобы высвободить или реконструировать их, то это значит, что она неисправна, какие бы идеалы она ни воплощала. И самым зримым признаком ущербного порядка является именно отсутствие и отрицание радости. Возможно, даже весьма вероятно, что сегодня в Соединенных Штатах среди влиятельных и заслуживающих внимания людей уже не так много сознательных пуритан, однако тем мощнее действует дух этого типа в бессознательном всей нации в целом. Отсюда бессознательный утилитаризм, полагающий необходимым доказывать оправданность радости посредством рассуждений о ее пользе. Поэтому повсюду в Америке место радости занимает удовлетворенность. Сюда уходят и самые глубокие корни не вполне нормальной антипатии американцев ко всякого рода средствам возбуждения. Жизнь, чтобы в своем росте выходить за рамки данного состояния, нуждается в постоянной стимуляции. Поэтому принципиальная антипатия к тому, что к ней ведет, представляет собой антипатию к культуре. Отсюда безотрадность общественной жизни Соединенных Штатов. Оригинальность мышления или бытия внушает ужас, тогда как она должна быть идеалом. Тот, кто хочет выделиться, рассказыва-

* Специально для данного случая (лат.).

ет истории — неумоимо, бесконечно, беспрерывно, безнадёжно. Искусство ведения беседы здесь неизвестно. Если американцы принимают гостя, который обещает быть интересным, то, как правило, они обращаются с ним как с представшим перед судом преступником: он подвергается безжалостному перекрестному допросу, его заставляют говорить, пока он не станет подобен выжатому лимону. После одного такого званого вечера в Нью-Йорке я, устрасясь преждевременной смерти, попросил впредь делать в моем случае различие между ужином и судебным разбирательством. Каждое же культурное общество, наоборот, во все эпохи знало, что праздник, чья художественная структура изымает его участников из их нормального состояния и заставляет их забыть банальную повседневную жизнь, есть нечто бесконечно более ценное, чем любой серьезный бизнес. Так, чудо греческой философии в значительной мере обязано своим возникновением тому вдохновению, которое посещало участников длительных застолий. А как обстоит в этом отношении с официальными завтраками, обедами и ужинами в Америке? Они сухи как в физическом, так и в духовном и душевном смысле, а беседы за десертом, которые приходится выслушивать часами, могли бы ввести нашего Творца во искушение проклясть свои всеведение и вездесущность... Однако и общеупотребительные в Америке средства возбуждения враждебны культуре. Здесь также невозможность выразить себя в правильных пропорциях приводит к карикатурам. Американец обожает сенсации и эксцентричность, ибо для него заказано быть оригинальным. Слишком недоверчиво относясь к вдохновению, он в своих мимолетных настроениях склонен к сильным преувеличениям, а в своих высказываниях является самым большим энтузиастом в мире, ибо его реальная жизнь представляет собой саму трезвость. То же самое относится и к самому распространенному напитку. Я хотел бы, чтобы кто-то, кто знает в этом толк, написал историю и психологию коктейля. В его лице мы имеем одно из самых экстраординарных изобретений всех времен. Коктейль не только одурманивает, вместо

того чтобы возбуждать, — его подлинная сущность состоит в смешении неподходящего с несоединимым. В этом, несомненно, есть глубокий смысл: коктейль должен быть вредным и не должен быть по-настоящему вкусным, одним словом, он представляет собой эксцентричное выражение пуританизма.

Америка не знает настоящей радости, а знает лишь удовлетворенность; она полагает, что комфорт равнозначен культуре. Это доказывает поистине потрясающий дефицит чувства пропорции. И то же самое имеет место на всех уровнях. Социалистическая структура нации в той же мере оправданна, что и индивидуалистическая. Однако если ее социализм заходит столь далеко, что он начинает подавлять индивидуалистические стремления, то это значит, что в нем есть нечто болезненное. Точно так же обстоит дело и с демократией в ее отношении с аристократией. Когда сама по себе *potentia** продуктивная предпосылка равенства не оставляет пространства для признания ценности уникальности, тогда то, к чему это приводит, более враждебно духу жизни, чем воздействие любой системы, которая не осознает естественных прав человека, но делает акцент на ценности. В таком случае жизнь неизбежно разлагается, какими бы благоприятными ни казались ее внешние обстоятельства, ибо тогда человек не может пребывать в гармонии с миром и самим собой. Этим объясняется подавляющее большинство тех явлений американской жизни, которые можно объяснить (а при удаче даже и исправить) при помощи психоанализа. Ни культурное, ни более высокое, ни даже просто истинно моральное состояние недостижимы в случае признания того тезиса, что равенство представляет собой идеал, а существующие различия несущественны.

Теперь мы в состоянии понять высший смысл американской прогрессивности и дать его точное определение. Универсум — самая консервативная вещь в мире; кажется, что ему доставляет удовольствие вновь и вновь повто-

* Здесь: потенциально (лат.).

рять самого себя в течение триллионов и триллионов лет. Это имеет отношение и ко всему живому, ибо оно, чтобы продолжаться во времени, должно приспосабливаться к рутине мертвой материи. Именно поэтому низшие существа, от бактерий до погрязших в рутине чиновников, наилучшим образом приспособлены к мировому процессу. Тем не менее жизнь по своей сущности не является рутинной. В своем противостоянии мертвой материи она воплощает принципы творчества, свободы, инициативы, изменения и новации, и тем в большей степени, чем выше ее уровень и качество. Именно благодаря этой борьбе человек смог стать властелином мира. Поскольку природа как таковая не воплощает собой принцип изменения, самое минимальное изменение, вызванное человеком, могло привести к последствиям, грандиозность которых не имела никакого отношения к величине приложенного человеком усилия. Однако прогресс, как его понимают Соединенные Штаты, не отражает всей истины жизни. Человек не только интеллектуальное и моральное существо; для него не может быть истинного прогресса, если не прогрессирует весь человек, а только его интеллект и плоды интеллектуальной деятельности. Но прежде всего американская идея прогресса не соответствует жизненным реалиям потому, что она пренебрегает фактами и ценностями традиции.

Здесь мы переходим ко второй части нашего тезиса о культуре, в соответствии с которым культура представляет собой правильную пропорцию не только в измерении одновременности, но и последовательности. Жизнь есть своего рода мелодия. Целое предшествует каждому отдельному такту. Поэтому любое настоящее состояние внутренне едино со всем прошлым и со всем будущим. Но это означает: если настоящее не чувствует себя в полной мере ответственным как за прошлое, так и за будущее, то его установка порочна, что на уровне фактов неизбежно должно привести к самым печальным последствиям. В Европе дворянин оказался гораздо более живучим, нежели буржуа, поскольку каждое новое поколение ощущало свое единство со всей семейной историей, как

прошлой, так и будущей, а тем самым чувствовало перед ней свою ответственность. Именно это, а не культ прошлого составляет душу дворянского традиционализма, при этом все равно, потомки ли облагораживаются благодаря предкам, или же, как в Китае, предки вместе со своими потомками поднимаются или опускаются по социальной лестнице, — главное то, что существует неразрывная связь прошлого, настоящего и будущего. А о ней-то сегодняшние американцы не имеют никакого понятия. Часто они даже гордятся отсутствием прошлого (или, скорее, уверяют в этом: в действительности ни один народ мира так не горд любой семейной историей, которой он может похвастаться). В тем большей степени они убеждены, что будущее принадлежит им. На заре истории Соединенных Штатов такой установке мало что можно было противопоставить; пожалуй, такие ощущения свойственны любому молодому народу, завоевавшему территорию, заселенную более древними, гордыми своим прошлым народами. Но теперь пришло время, когда американский народ должен понять то, что, вне всякого сомнения, признавала всякая достигавшая зрелости нация, а именно то, что жизнь — это мелодия. А в случае Соединенных Штатов это понимание особенно необходимо, поскольку установка, ориентированная исключительно на будущее, намного опаснее умеренного культа предков. Прошлое при любых обстоятельствах охватывает длительный период времени, тогда как будущего еще и вовсе нет; поэтому мировоззрение, ориентированное исключительно на будущее, в конечном счете ничем не лучше, чем *carpe diem** либертинов. В этом исток тех явлений, которые наполняют всякого мыслящего наблюдателя американской жизни величайшей тревогой за ее перспективы. Прежде всего я имею в виду дефицит чувства ответственности. Лишь немногие американцы хоть в каком-нибудь смысле действительно думают о будущем столько, сколько они о нем говорят. Мужчины не хотят откладывать деньги, женщи-

* *Лови (текущий) день, то есть пользуйся каждым днем жизни (лат.).*

ны не хотят рожать. Какую же ценность должна воплощать эта пресловутая любовь к детям, если отсутствует всякое понимание таинства продолжения рода? Большинство молодых людей вступают в брак на основании поверхностной влюбленности; женщины бросают своих мужей при первых признаках нового увлечения и полагают, что у детей все в порядке, если о них «заботятся», если им дают хорошее «воспитание» и делают предметом той выставленной на всеобщее обозрение сентиментальной любви, которую американское общественное мнение требует так настойчиво, что мне иногда приходила в голову мысль, а не является ли ответственность родителей по отношению к своим детям просто типичной реакцией на хорошую рекламу.

Что же, по сути, означает это недостаточное понимание значения семейной связи времен? Опять-таки не что иное, как недостаток культуры. Семейная жизнь находится на уровне культуры, ибо она предполагает наличие осознанного чувства традиции, а не естественного инстинкта; она представляет собой духовную связь. Здесь необходимо несколько подробнее поговорить об американском браке. То, что по большому счету имелось в виду в моей «Книге о браке» и чего американцы до сих пор совершенно не могут понять, это тот факт, что брак относится к уровню культуры. Весь смысл того особенного отношения между полами, который именуется браком, целиком и полностью заключается в том, что оно является отношением более высокого порядка, нежели различные, охватываемые им отношения. Ведь здесь речь идет не только о сексуальной привлекательности и детях, но и о совместно переживаемых радостях и горестях, а прежде всего — о сохранении культурной традиции. Если в самое ближайшее время американцы этого не поймут, перспективы их нации весьма плачевны. У человека наследственность означает не только наследование крови, но его синтез с наследованием традиции. И здесь именно Америка, несмотря на краткость ее истории, предоставляет самое убедительное доказательство того, что биологический уровень человеческого бытия является уровнем

культуры, а не только дикой природы. В недостаточном понимании духовного значения семьи, и ни в чем ином, заключается причина столь поразительной недолговечности американских семей, причем не только как социальных, но и как биологических единств — вне зависимости от того, применяют они средства контрацепции или нет. Когда отсутствует чувство непрерывности в области духа, то нет и никакой истинной воли к продолжению существования. К сожалению, это так: сегодняшние форма и порядок американской жизни абсурдны на всех уровнях. И в том числе на чисто духовном. Поскольку человек есть дитя земли, его представления о вечном неизбежно физиологически связаны с представлениями о больших периодах времени; именно поэтому все архаичные религии в той или иной форме включали в себя культ предков. С другой стороны, человеку представляется невозможным реализовать духовную действительность иначе, чем мысля тысячелетиями и столетиями. Таким образом, американский материализм, вне всякого сомнения, в значительной мере является следствием той поверхностности, которая неизбежно присуща всякому мышлению, осуществляющемуся исключительно в понятиях настоящего, ибо представление, что Америка живет будущим, есть не что иное, как фикция.

Но поставим вопрос иначе. Почему еще никогда не существовало культуры, которая не была бы традиционной? Потому что истинные форма и порядок жизни требуют, чтобы настоящее, прошлое и будущее находились в правильном отношении друг к другу. А это предполагает совершенно определенное взаимоотношение принципов традиции и прогресса. Индивидуальная жизнь всегда уникальна, а духовно определенная жизнь по самой своей сущности представляет собой уникальность, инициативу и изменение. Даже самый оригинальный человек как психологически, так и физически принадлежит к какому-либо органическому типу, так и определенное традиционное состояние должно быть своего рода хребтом, основой каждого особенного варианта, даже когда речь идет о мутации. А о правильной ориентации в универсуме речь

может идти лишь тогда, когда принципы сохранения типа и вариативности находятся в правильном отношении друг к другу. Если же мы будем рассматривать жизнь и в самых общих чертах, то признаем, что типичное важнее индивидуального. Количество вариантов и новизна, вносимые в жизнь даже самым великим гением, представляют собой нечто совершенно незначительное по сравнению с тем, что потомки расценивают как продолжение традиции. Рассмотренные с достаточно большого расстояния, даже целые периоды вариаций и прогресса кажутся лишь краткими интервалами в размеренном течении традиции. И действительно, еще ни одна новация никогда не приводила к какому бы то ни было длительному состоянию, которое бы не было связано с прошлым. Эпохи революций никогда не бывают длительными, крайние радикалы никогда не имеют исторического будущего. Но что касается того полного *solution de continuité*, которое приводит к прочным и долговечным результатам, то во всех тех случаях, когда весь народ целиком не теряет своего исторического значения, это означает то же самое, что и мутация в сфере биологии, то есть традиция продолжается, однако посредством изменения своего облика. Христианство порвало с иудаизмом, но, если бы Павел не сплавил его с греческой традицией, оно бы едва ли просуществовало бы больше одного столетия и ни в коем случае не осталось бы живой силой. Кроме того, в действительности оно никогда не порывало с иудаизмом: еще и сегодня, несмотря на рост антисемитизма, Ветхий завет так же свят для христианского мира, как и Новый. Точно так же и демократия, которая благодаря американской и французской революциям стала очевидной исторической силой, лишь потому смогла оказаться прочной, что она репрезентировала то, что медленно подготавливалось начиная еще с XIII столетия. Американцам следовало бы почаще читать Токвиля: в своей книге об американской демократии он с невероятной точностью показывает, как медленно и как основательно подготавливалось становление современного государства. И каким медленным будет и его дальнейшее развитие! Большая часть того, что

писал Токвиль, имеет большое значение и по сей день, а многое из того, что он предсказывал, еще не наступило... Окончательным доказательством того, что прогресс сам основывается на чувстве традиции, является тип великого новатора. Сознательно он не отстаивает традицию; сознательно он, пусть и умеренный, революционер. Но на самом деле в глубинах своего бессознательного он в большей степени воплощает традицию, чем любой сознательный традиционалист. Это совершенно естественно: ни один человек не сможет быть репрезентантом новых потребностей целого народа или целой эпохи, если в его собственной душе не живут исторические предпосылки необходимого изменения. Ибо исторические перемены как явления жизни представляют собой не что иное, как переход от детства к зрелости.

Нескольких этих замечаний достаточно, чтобы объяснить, почему культурное состояние неизбежно должно быть традиционным. Следующие размышления дополняют набросанную нами мысленную картину. Жизнь — это не только некий рациональный процесс, который может быть исчерпывающим образом понят при помощи понятий разума, чтобы прогресс был длительным, слово должно стать плотью, то есть изменение должно внедриться в предшествующий жизненный порядок, чтобы стать его органичной частью. Но это разрушает американские идеалы *normalcy* и *likemindedness* и стандартизации, ибо они принимают во внимание лишь интеллектуально постигаемое, а средство, которым они воздействуют на жизнь, это всегда одно и то же — механическое по своей сути внушение. А в то же время существует совершенно определенная причина того, почему стандартизация никогда не сможет привести к культуре, хотя единомыслие предусматривает и единство традиции. Если стандартизация порождает нечто большее, чем однородность, присутствующую на уровне внешней жизни — против этого, в принципе, возразить нечего, ведь большинство принадлежащих к одному и тому же жизненному порядку жителей одной и той же страны во все времена жило примерно одинаково, — то это может вызвать лишь овнешнение, а

как следствие — более поверхностный характер жизни. Если жизнь теряет контакт со своими живыми глубинами, то тем самым она теряет и большую часть своей живой силы. Этим объясняется, почему традиционная культура, пока она не подвержена психологическому вырождению, всегда оказывается сильнее, чем любой основывающийся на одностороннем развитии прогресс, что имеет отношение и к Соединенным Штатам. Их истинная сила основывается не на прогрессивности, а на традиционализме. Если бы они могли сослаться лишь на свое благосостояние, свою систему воспитания и технику, они никогда не смогли бы надолго превзойти, скажем, Мексику. А кто знает, долго ли сохранится их нынешнее превосходство? Американская вера в то, что жизнь должна идти вперед, что благосостояние должно расти, что каждый год должен быть лучше предыдущего, что на земле не должно быть никакого зла и т. п., находится в противоречии со смыслом мира; она делает весь организм Соединенных Штатов чрезвычайно уязвимым. Если когда-нибудь придут года любого рода трудностей и несчастий, богатые и прогрессивные американцы, возможно, окажутся ничем не лучше бедных и отсталых мексиканцев, которые в течение столетий вопреки всем трудностям продолжают жить своей традиционной жизнью.

Теперь мы достаточно подготовлены к тому, чтобы обратить наше внимание на самый глубинный аспект проблемы культуры. Для этого я должен попросить читателя воскресить в памяти то, что в главах «Женское господство» и «Демократия» мы говорили о бытийных различиях в их отношении к различиям в способностях и о решающей и основополагающей важности бытия. Если культурное бытие состоит в том, что человек способен гармонизировать многочисленные противоречивые тенденции своей природы и управлять ими из некоего высшего внутреннего центра, то это означает не что иное, как то, что единственно необходимым является более высокое бытийное состояние, а не прогресс в способностях и навыках. Когда я говорю «бытие», я не имею в виду

ничего таинственного и трансцендентного и определенно ничего такого, чья действительность была бы, по крайней мере, сомнительной: я просто имею в виду конкретного, а не воображаемого абстрактного человека, высшую предпосылку философии прогресса; я имею в виду то, что в средние века столь выразительно именовалось душой. Под этим в полном соответствии с действительностью понималось то, что конкретный человек как духовен, так и материален, что он представляет собой как вневременной дух, так и преходящее явление, одним словом, то, что весь человек, а не какой-либо один его фрагмент соответствует идее всегда тождественного самому себе абстрактного человека. В конечном счете «бытие» представляет собой «воплощенное слово», каковому уровню принадлежит и человек. «Бытие» есть то единство духа и плоти, которое было и остается идеалом всех времен и верований — идеалом, потому что это единство никогда не может быть достигнуто исходя из самой природы, а только благодаря сознательному напряжению сил. Здесь я должен еще раз вернуться к сексуальным вопросам, ибо таинство продолжения рода предоставляет самый понятный символ для всех однородных явлений. Почему для древних индийцев, самых духовных из всех людей, телесная любовь была священной? Почему именно для духовного мужчины телесное обладание глубоко любимой им женщиной и именно для духовной женщины готовность отдаться глубоко любимому ею мужчине означает столь многое, тогда как на более низком уровне внутреннего опыта и тот и другая понимают проявления любви совершенно иначе, например, не долго думая, пускаются на случайные авантюры? Надо полагать, потому, что физический акт, глубоко понятый, означает непосредственное земное воплощение духа; это доказывает один тот факт, что он может привести к рождению бессмертной души. И именно в этом смысле «бытие» всегда представляет собой синтез материи и духа, оно всегда «воплощенное слово». Оно есть самая последняя инстанция, которой в своем стремлении разгадать тайну жизни может достичь мышление. Из этого становится окончательно ясно, что

отличает культуру от просто цивилизации. Культура является собой всеобщее присутствие более высокого бытийного состояния. Это всеобщее присутствие есть возможность духа, несмотря на то что всякий дух по своей сути уникален, в равной мере материализоваться в мыслях и ощущениях, в поэзии, философствовании или религиозных ритуалах. Для определенного смысла должно быть найдено настолько совершенное выражение, чтобы в соответствии с законом корреляции смысла и выражения последнее совершенно неизбежно вызывало бы понимание или переживание первого. В случае культуры это означает следующее. То, что мы можем назвать «более низкой душой», может быть от самой природы организовано таким образом, что окажется прозрачным для специфических духовных ценностей. Поэтому специфические формы благородства, чести и этоса могут передаваться по наследству; в этом случае речь идет не о физическом, а о психическом наследовании. Здесь существенное различие между культурой и порожденной интеллектом цивилизацией бросается в глаза. Культуре присуща вся живость, а следовательно, изменчивость, мягкость и гибкость жизни, тогда как цивилизация мертвенно суха. Именно этим объясняется деревянный или железный характер американской цивилизации. Современный американец полностью отождествляет себя с дифференцированными, окончательно установившимися и механизированными функциями разума и души и совершенно пренебрегает живым духом. А поскольку признаваемый за фактами смысл действительно начинает на них воздействовать, это неизбежно приводит к потере души, к возврату к примитивности и к общей эмоциональной пустоте, которая точно отражает если не действительное отсутствие душевной субстанции, то, во всяком случае, недостаточную связь между сознанием и бытием. Этим в конечном счете объясняется инструментальный характер американской жизни и довершается картина прогрессирующего сходства между Америкой и большевистской Россией.

Тем самым мы приблизились к окончательному ре-

шению одной из проблем, обсуждавшихся в главе «Демократия». Американская демократия представляет собой единственную в истории социальную структуру, которая основывается исключительно на способностях и полностью игнорирует существование бытийных различий. Но почему бытийные различия имеют в итоге решающее значение? Почему еще никогда не было ни одной великой эпохи, в которой главное значение не придавалось бы бытию? Потому что лишь бытие воплощает жизнь личности. Любая разновидность способностей принадлежит к тем естественным силам, которые предоставляют выражению жизни такой же материал, каким является всегда одинаковый и доступный для всех алфавит в отношении индивидуального мышления. Любое же бытие по самой своей сути уникально. Но, несмотря на это, оно вовсе не исключает возможность общества. Бытие так же воздействует и реагирует на бытие, как всякая природная сила воздействует на другую природную силу того же уровня. По своей сущности люди уникальны, но в той же мере, как и любые другие элементы универсума, они не изолированы. Именно поэтому возможно такое всеобщее состояние, которое называют культурой.

Но как же осуществляется коммуникация одного уникального по своей сущности «бытия» с другим «бытием»? Она происходит посредством схемы поляризации. Архетипическим прообразом поляризации является отношение между мужчиной и женщиной. Мужчина и женщина никогда не могут по-настоящему друг друга понять, но в силу таинственных, связующих их уз они могут друг на друга воздействовать и именно поэтому друг друга вдохновлять — результатом же, причем проявляющимся на всех уровнях, является возникновение какой-либо новой жизненной формы. Точно так же и все признанные различия создают полярные взаимоотношения и поэтому оказывают как прямое, так и опосредованное творческое воздействие на всех, кто к ним причастен. Поэтому культурное состояние всегда кажется оригинальным, подобно тому как каждый новорожденный ребенок, как бы он ни был похож на своих родителей, представляет собой

нечто совершенно новое, ибо здесь решающим оказывается лишь живое своеобразие, а не свойства элементов, посредством которых оно проявляется. И если схема поляризации принимается, всячески подчеркивается и объективируется в самостоятельных формах, это само собой ведет к постоянной оригинальности, неожиданности и новизне. Поэтому самым первым постулатом культурного человека является не постулат американца: «Я почти такой же, как ты», а совсем другой: «Поскольку я таков, каков я есть, ты можешь и должен быть иным». Культура действительно неразрывно связана с осознанными и признанными различиями.

А теперь перейдем к последнему, что в контексте этой главы можно сказать о проблеме культуры. Мы уже видели, что американская точка зрения на человека как на животное среди других животных ошибочна по чисто зоологическим основаниям. Но самое решающее обстоятельство мы еще не отметили. Если кто-либо настаивает на том, что человека следует определить как особый вид животного, то важно прежде всего следующее: в отличие от всех остальных, в природе этого животного заключено то, что оно всегда к чему-нибудь устремлено, переходит все достижимые границы, никогда не удовлетворено и поэтому пребывает в постоянно лабильном равновесии. Совершенно удовлетворенный человек есть *contraditio in adjecto*. Я не хотел бы здесь повторять то, что было мною об этом написано в главах «Возникновение и уничтожение» и «Человек и земля» моей книги «Возрождение»¹. Но кое-что следует сказать и сейчас: любая система морали или цивилизации, ценностей или воспитания, которая не обращает первоочередного внимания на вечное стремление человека, ущербна с точки зрения самой человеческой природы. Даже самая лучшая система, которая не способствует росту и расши-

¹ Тому же, кто еще незнаком с нею, я советую прочесть великолепный доклад Макса Шелера «Положение человека в космосе» (Darmstadt, Otto Reichl), прочитанный им на VII сессии Школы мудрости.

рению человека, по своей сути ложна. Если это истина признается, то тем самым раз и навсегда упраздняются все без исключения твердо установленные законы и догматы. Но если это так, то воспитание человека, открывающее ему путь к человечности, должно быть чем-то иным по своей сути, нежели любая дрессировка животного; тогда цивилизация, которая не во всех отношениях пробуждает и стимулирует внутренний рост человека, ни при каких обстоятельствах не является воплощением культуры. Только та культура достойна своего имени, в которой господствует принцип непрерывного роста. Такими непроизвольно и без какой бы то ни было сознательной интерпретации фактов были все истинные культуры прошлого. Поскольку главное значение во всех них придавалось «бытию», его всегда активное и динамичное своеобразие неизбежно накладывало отпечаток на весь порядок жизни, сколь бы неподвижным при поверхностном взгляде он подчас ни казался. Поскольку в них прежде всего обнаруживались и выделялись именно различия, а не какая бы то ни было общность, закон поляризации мог вступить в действие и в каждое мгновение создавать живые формы, а не стандартизированные фабричные товары. Вернемся еще раз к нашей музыкальной метафоре. Мелодия жизни течет от одного состояния лабильного равновесия к другому. Это происходит на всех уровнях. Христианство сделало первый большой шаг за пределы язычества, осознав, что болезнь и грех представляют собой не позор и помеху, а явления, сопровождающие рост, которые можно превратить в средства, этот рост стимулирующие. Не стало ли теперь окончательно ясно, что мы имеем в виду, когда утверждаем, что сегодняшнее направление развития американской цивилизации диаметрально противоположно тому, которое ведет к культуре? О том, что когда-либо можно достигнуть состояния вечного счастья, не может быть и речи; тем более никакое в самой малой степени идеальное состояние не могло бы быть достигнуто благодаря тому, что каждый был бы удовлетворен и жил в достатке. Единственный идеал, действительно соответствующий смыслу жизни, воплотил бы тот

порядок жизни, который был бы ориентирован на состоящую в вечном стремлении сущность человека и полностью выражался бы в правильной координации и корреляции всех его мыслей, эмоций, ощущений, потребностей и произвольных импульсов.

Пожалуй, сказанного достаточно. В заключение я хочу объяснить, почему, несмотря на все вышесказанное, американская культура вполне возможна. В этой главе я потому вынужден был особенно энергично подчеркивать негативные моменты, что в Соединенных Штатах до сих пор отсутствует всякое понимание того, что является по-настоящему важным. Я не знаю ни одного репрезентативного американца нашего времени, который не был бы в этом отношении полностью слеп. Однако поскольку культура предполагает не что иное, как проникновение внутреннего во внешнее, духа — в материальные явления, то, в принципе, культура в Америке может возникнуть в любой момент. Разумеется, при любых обстоятельствах это будет специфически американская культура. Каждый народ, как и любой отдельный человек односторонен. На Земле никогда не существовало всестороннего совершенства, а один род совершенства, как правило, исключает все остальные. Насколько это можно предвидеть, американцы всегда будет оставаться однозначно практичным, социально ориентированным, трезвым и моралистическим народом. То же самое относится и к демократии как жизненной форме, соответствующей его судьбе. Но демократия, так же как и социализм, не стоит на пути у развития единственных в своем роде индивидов. Можно представить себе состояние, в котором уникальная душа признавалась бы высшим социальным единством, причем «уникальность» и «качество» означали бы в этом социальном строении то же самое, что сегодня значат деловые качества, служение и государственная служба. Точно так же сегодняшняя слепая страсть к знанию и воспитанию может оказаться великолепной стартовой позицией, но лишь в том случае, если впоследствии решающее значение будет придаваться пониманию. Высокий жизненный стандарт, конечно, желателен — он лишь не должен

считаться идеалом. Разумеется, все должны принимать участие во всем том добром и прекрасном, что предлагает жизнь, однако акцент должен делаться на высшем, а не на низшем, как до сих пор. Вернемся еще раз к китайскому идеалу культуры. Древний Китай также был демократичным, там тоже главный акцент делался на нормальном человеке. Но китайским идеалом был не человек с улицы, а благородный, то есть в обычной мере одаренный человек, который, однако, достиг такой ступени внутренней гармонии, что нечто само по себе обычное могло служить для него органом божественного, а все мыслимые глубины находили свое выражение в красоте и изяществе внешней формы. А всеобщий закон жизни этой великой эпохи предписывал человеку приспособляться не к «другим» и не к тому, «чего хочет народ», не говоря уже о чисто внешних вещах, но к Дао, то есть к Великому Смыслу. Эта великая культура выдержала проверку временем, как никакая другая. Под ее господством жизнь была сколь богата, столь и глубока. Главную роль в ней играли истинно великие люди. Принципы духа и земли находились в отношении корреляции друг с другом и гармонично взаимодействовали. И результатом были беспримерная долговечность, беспримерное миролюбие, беспримерная красота и беспримерное счастье.

ДУХОВНОСТЬ

На протяжении всей этой книги мы либо утверждали действительность духа, либо предполагали ее, но не сосредотачивались на проблеме духа как таковой. В заключение мы должны так ясно, как это возможно, осветить эту фундаментальную проблему и одновременно с этим в противовес всем описанным нами негативным аспектам выделить и нечто позитивное. Мы с самых различных сторон рассмотрели, в каких отношениях Америка оказалась и продолжает оказываться несостоятельной. Теперь мы хотим рассмотреть, что она должна сделать, чтобы исполнить то великое обещание, которое над ее колыбелью дала ей сама судьба. Ибо вопрос может ставиться только так и никак иначе. Одно из прекраснейших изречений Гёте гласит: «То обещание, что дала мне жизнь, я сдержу».

В конечном счете мы с самого начала отдаем себе отчет в том, каким образом жизнь вообще, а не только определяемая духом, связана с материальным миром. Если судить, избавившись от предрассудков и отказавшись от всякой понятийной казуистики и чрезмерного педантизма, то жизнь принципиально отличается от того, что мы называем безжизненным, тем, что ни один факт не может быть понят в отрыве от ее смысла. Это — решающая характеристика, ибо она показывает, насколько ошибочным и не имеющим отношения к действительности является проводимый современными учеными разрыв между жизнью и духом. Звезды и камни, попадая в сферу потребностей человеческого духа, описываются и понимаются так, какими они даны нам эмпирически, то есть как чисто внешние феномены, лишенные какого бы то ни было внутреннего содержания. Однако понимание даже самой маленькой клетки живого тела предполагает знание той роли, которую в этом теле она играет. Здесь ре-

шающим оказывается не само явление и не то, что можно проследить его бытийную причину в сфере действия законов причины и следствия или в том, что касается его функций в любом внешнем смысле: живые корни явления уходят в нечто такое, что само не есть явление, — в нематериальную, творческую сущность, которую можно назвать как угодно, но которую как смысловую связь можно лишь понимать. Но, с другой стороны, нематериальный источник материальных явлений жизни действительно можно понять и объяснить двумя очень простыми причинами. Во-первых, сам человек живой, а его сознание отражает живую действительность. Но прежде всего понимание как таковое достигает живого смысла и одновременно становится его выражением, в таком случае основной принцип жизни оказывается воплощенным в специфически человеческом качестве и словно бы собирается в некоем фокусе. Всем известно, что смысл фразы как таковой не содержится в служащих средством его выражения буквах. Равным образом посредством краткого и четкого рассуждения каждый может установить, что смысл всегда предшествует своему выражению и, более того, сам его создает. Не может быть и речи о материализации или артикуляции какой-либо мысли, прежде чем она кому-то «пришла в голову». Поэтому в сфере возможного духовного творчества целое всегда предшествует частям. Но то же самое относится и к строению и функционированию органического тела. Здесь целое также предшествует частям, здесь целое изнутри самого себя руководит всеми отдельными процессами. Это творческое целое само по себе нематериально — оно представляет собой сущность принципиально того же рода, что и та, которая в качестве некоего единства вдохновляет произведения искусства. Если же под этим углом зрения мы рассмотрим любое явление жизни, то обнаружим, что отношение, символизируемое отношением между смыслом фразы и выражающими его словами и буквами, имеет место абсолютно на всех возможных уровнях. Каждый отдельный человек, несомненно, может рассматривать свою жизнь как имеющую смысл, не только потому, что

она кажется ему достойной того, чтобы ее прожить, но и потому, что она вообще имеет место. Люди, у которых нет жизненной цели, или народы, утратившие своих богов или свои идеалы, все без исключения рано или поздно становятся склонными к самоубийству. Точно так же социальное положение определенного человека основывается на его значении внутри его круга, а вовсе не на том, что он представляет из себя на самом деле. И именно в значении, а не в фактическом положении дел заключается сущность исторического величия: определенный человеческий тип лишь тогда обретает силу, когда его личные тенденции репрезентативны для целого. В этой связи я лишь кратко повторяю то, что было подробно изложено в «Творческом познании». Однако уже из этих кратких тезисов должно стать ясно, насколько — при постановке вопроса, затрагивающей саму суть дела, — ошибочна точка зрения, предполагающая принципиальный разрыв между духом и жизнью. Лишь признание разрыва между живым и безжизненным способно выдержать глубокую и проницательную критику.

А теперь рассмотрим другую сторону той же самой проблемы. Каким образом смысл воплощается в буквах? Изнутри наружу. Мы должны сами дать буквам тот смысл, который они затем выразят. И к читателю или слушателю это относится в той же самой степени, что и к автору. Если читатель хочет понять имеющийся в виду смысл, он должен сам вложить его в буквы, ибо то, что ему предлагается извне, это лишь соединение типографской краски и бумаги. Следовательно, смысл существует лишь как творческая актуальность, если она лишится своего динамизма, то это будет выглядеть так, словно все смыслы исчезли с лица земли. Теперь будет понятно, насколько совершенна аналогия между отношением мысли и алфавита, с одной стороны, и жизни и материи — с другой. Даже физическая жизнь продолжается лишь до тех пор, пока процессы неорганической природы оживляются изнутри; как только это оживление прекращается, живое тело становится мертвым; тогда предоставленный самому себе естественный процесс использует для разрушения орга-

низма те же самые силы, которые его и создали. Точно так же и мысль, застывшая в мертвых буквах, фактически мертва — будь то религиозная вера, выступающий в качестве выражения общепризнанной справедливости закон или же лишь непонятные слушателю идеи; в таком случае духовное может обернуться самоуничтожением. Это подводит нас к еще одному аспекту рассматриваемой нами проблемы. Основным законом жизни является закон, который я называю законом корреляции смысла и выражения. Этот закон, с одной стороны, обуславливает то, что любой смысл, чтобы он полностью проявился, должен найти соответствующее ему выражение; а с другой — то, что любой новый смысл создает новые факты. Как всякая новая идея выражается в новом порядке букв, слов и предложений, так и всякий новый исторический дух находит свое выражение в новых институтах. Отсюда мы можем совершить мысленный скачок к самому крайнему проявлению рассматриваемой нами ситуации — к идее воскресения плоти. Согласно апостолу Павлу, эта идея состоит в том, что в конце времен дух воплотится в некоем новом теле, которое не может не быть тем же самым, что и старое, ибо не изменилась душа. В принципе, речь здесь идет о том, что совершает каждый из нас, высказывая новую мысль, которая к этому моменту еще не была облечена в слова. Если последнее — новая мысль — возможно, то и против возможности нового воплощения души мало что можно возразить. Естественно, я далек от мысли подробно рассматривать здесь соответствующий христианский догмат. Я лишь неожиданно высветил самое редкое, какое только можно себе представить, проявление творческого характера жизни, чтобы наиболее действенным способом, то есть буквально шокировав читателя, помочь ему осознать следующее: если отношение между жизнью и материей всегда есть принципиально то же самое, что и отношение мысли и выражающих ее букв, если, далее, первичен смысл, а не факт и этот смысл вносится в мир явлений направленным изнутри вовне осмыслением, то факты никогда не могут представлять собой последнюю инстанцию. А в таком случае духовный

человек принципиально способен — в соответствии с теми духовными силами, которые он воплощает, — создавать любые факты. Тогда с точки зрения творческого духа совокупность природных процессов представляет собой не что иное, как находящийся в распоряжении мыслящего человека алфавит, посредством которого человек выражает свои мысли.

Остановимся на этой метафоре, которая на самом деле больше чем метафора. В течение последнего столетия люди точно так же верили в факты, к которым они якобы могут лишь приспособливаться, как в религиозные эпохи они верили в необходимость выполнять божественные заповеди. В действительности такого количества фактов не создало ни одно прежнее столетие, что само по себе должно было бы доказать человеку, что факты не могут быть для него последней инстанцией. Причем, если исходить из его же собственного мировоззрения, человек создал эти факты «из ничего»; ибо материализовавшийся смысл, то есть нематериальное, существование которого он оспаривал, было источником всей этой гигантской материальной продукции; все великие изобретения первоначально были чистыми идеями, которые только впоследствии свертывались в «факты». Таким образом, древний колдун, который в целом, пожалуй, был менее могуществен, чем современный изобретатель, в своей установке был ближе его к истине. Наше сегодняшнее господство над природой есть магия, оно есть не что иное, как ставшая фактом фантазия. Если это станет для нас ясным, то одновременно нам откроется и еще одна чрезвычайно важная истина, а именно: последняя фраза предыдущего абзаца представляет собой не образ, а истину, выраженную с научной точностью. Научившись использовать в своих целях законы природы, человек определенным образом обучился грамматике природы. Однако его изобретения представляют нечто иное по своей сущности, нежели любая грамматика: они суть то, что человек говорит на выученном им языке. Но при таких обстоятельствах в каком же смысле правы те философы, которые называют нашу современность механистической

и материалистической, а отнюдь не духовной эпохой? Только в том, что современный человек как в последнюю инстанцию верит в действительность фактов и материи: эта вера вселила в них силу, которой сами по себе они не обладают. Благодаря этой вере дух фактически обессилел, материя же стала всесильной. Если мы рассмотрим сложившуюся ситуацию с точки зрения отношения алфавита и смысла, мы поймем, что истинное значение современного материализма состоит в том, что так называемая научная эпоха куда больше, чем, скажем, схоластическая, была в то же время и эпохой веры в грамматику. Вместо того чтобы просто использовать мировой алфавит с тем, чтобы с его помощью излагать свои мысли, человек счел этот алфавит последней инстанцией. Он поверил, что чтение по буквам уже является речью. Вот то, что следовало сказать об этом аспекте вопроса. Однако стоит обдумать еще кое-что. Если дело действительно обстоит именно так, как мы здесь показали, то преодоление механицизма и материализма представляет собой не такую уж трудную задачу. Поскольку все материальные изобретения суть выраженный в материи «смысл», то нам ничто не может помешать воплотить в мире фактов более глубокий смысл. Это зависит только от нас.

А теперь без лишних слов обратимся к фактам американской жизни. Непосредственно к самой сущности этой цивилизации принадлежит та ее особенность, что она понимает и истолковывает жизнь способом, прямо противоположным тому, который мы определили как единственно правильный. Большинство американцев верят, что на первом месте стоят факты, а не их смысл, что главное значение имеют институты, а не живые люди. А мы уже видели, что следствием этого ошибочного понимания жизни являются полная опустошенность, истощение, образ жизни, присущий скорее насекомым, дефицит оригинальности и как равнодействующая всего этого — прогрессирующая утрата жизненных сил. Размышления, составившие содержание предыдущего раздела, позволяют нам понять, почему дело просто не может обстоять ина-

че. Вся конкретная витальная сущность жизни коренится в той неосязаемой субстанции, которая называется значением или смыслом. У человека она фокусируется в понимающем сознании. При таких обстоятельствах неправильное понимание должно вести к искажению фактов. Ибо если на том уровне, на котором происходит изобретение нового, то есть на уровне надстройки, фантазия еще может действовать более или менее произвольно, не вызывая тем самым большой беды, то ложное понимание основополагающих вещей непосредственно угрожает самим основам жизни. Этим объясняется соответствие между ее объективным и субъективным аспектами. Осмысленная жизнь является не только творческой и полнокровной, но и радостной. И, наоборот, неправильно ориентируясь во всеобщей взаимосвязи вещей, невозможно быть счастливым. Но этим преимущественно и объясняется все более и более очевидная деградация американской жизни. Каждое неправильное понимание порождает новые стереотипы поведения, в которых это ошибочное понимание воплощается; каждое возникающее в результате этого уродство со временем становится заметнее, подобно тому как наследственность, после того как тот или иной физический тип минует зенит своей жизненной силы, начинает накапливать присущие ему пороки, а не добродетели.

Исходя из всего вышесказанного, мы можем отважиться дать предварительное определение тому, что мы обозначаем словом «дух»; естественно, поскольку дух воплощает предельную действительность, речь может идти не о дефиниции в обычном смысле слова, а лишь о некоем описании того, что есть, каковое описание, быть может, вызовет спонтанное понимание, а быть может, и нет. Природа первичных переживаний человека не материальная, а психологическая. Они все без исключения относятся к той стороне жизни, которую невозможно описать как «факт» в обычном смысле слова. Только зрелый дух видит «материю» таким образом, который кажется нам само собой разумеющимся, ибо такое видение предполагает процесс абстракции, на который недостаточно

зрелый дух не способен. Дети и примитивные народы не знают «естественных» событий в том смысле, в каком их знаем мы; их реальная жизнь в большей или меньшей степени соответствует жизни их воображения. Лишь в более поздние периоды истории как отдельного человека, так и народов и культур внешние факты начинают осмысливаться непосредственно как таковые; молодые народы первоначально переживают последовательности своих внутренних образов мистического характера, которые их бессознательно проецирует на внешний мир и к которым они обращаются лишь в той мере, в какой это безусловно требуется для поддержания жизни. Данное отношение также ни в коей мере не должно быть рациональным или соответствующим фактам. Леви-Брюль показал, что у примитивных народов в роли нашего причинно-следственного порядка почти полностью выступает то, что он называет *participation mystique**. Однако совсем необязательно изучать детей или примитивные народы, чтобы понять, сколь небольшим значением обладают зримые факты как таковые: вследствие того омоложения, которое в данный момент переживает весь западный мир, мы имеем возможность в собственной среде наблюдать самые типичные феномены первично-мифической жизни. Мифология мировой войны с ее представлениями об абсолютной правоте и абсолютной вине, исключительном прогрессе и такой же деградации, которые переносились с одной нации на другую в зависимости от отношения к ним того или иного человека, вообще не имела никакого отношения к реальным фактам, иначе были бы достигнуты, по крайней мере, некоторые из идеальных целей и, по крайней мере, некоторые результаты соответствовали бы ожиданиям участников войны. В самом деле воевавшие нации жили в точно таком же фантастическом мире, как и греки, верившие, что боги принимают самое активное участие в Троянской войне. Тот факт, что тогдашние боги сегодня именуются идеалами, в психологическом плане ничего не меняет. Точно так же

* Мистическое участие (фр.).

то могущество, которым в Америке обладают деньги, поддается объяснению, исходящему не из фактов как таковых, а из веры в их магическую силу. Человек, добившийся успеха или обладающий миллионами, может «контролировать» в Соединенных Штатах столь многое потому, что он пользуется там тем же самым мистическим авторитетом, которым в других культурах обладали и обладают священники, короли или великие люди. То, что в данном случае речь идет о примитивном суеверии, которое следует понимать в соответствии с категорией *participation mystique* Леви-Брюля, окончательно доказывается тем обстоятельством, что в Америке господствует представление, что богатство порождает «великого человека». Если это так, то этот процесс ничуть не менее таинствен, чем транссубстанциация.

Так обстоит дело с примитивными состояниями. Но, в сущности, то же самое относится к каждому человеку. Мы говорили, что первичное переживание относится к психологическим, а не к материальным явлениям. Однако не «субъективный факт», как его можно было бы назвать, образует последнюю инстанцию этого переживания, а нечто еще более субъективное, нечто по самой своей сущности не поддающееся объективации. Это именно то, что я называю значением или смыслом. Его действительность является еще более субъективной, чем всякое субъективное переживание, по следующей причине: в конечном счете содержания последнего можно постичь как объекты; внутренние переживания многих людей обнаруживают такие содержания, и их можно зафиксировать в достаточно определенной форме. Однако присутствующий в них и извлекаемый из них смысл уникален в каждом отдельном случае. Понимание, не являющееся сугубо личным, так же немислимо, как неличная любовь или попытка заставить кого-нибудь другого дышать вместо себя. Далее, всякое осмысление есть акт свободной инициативы; он воплощает принципиально тот же самый процесс оживления изнутри, который на другом уровне заставляет мертвые сами по себе материю и силы раз за разом идти чуждым для них путем или кото-

рый, опять-таки на другом уровне, выражается в том, что художник посредством форм и красок, которые имеются в распоряжении у каждого, создает нечто совершенно и исключительно личное. Все это с совершенной ясностью иллюстрирует именно американская жизнь. Средний американец в духовном отношении есть самый пассивный человек на свете. Откуда же тогда возникает прямо противоположное впечатление, создавшееся у столь многих наблюдателей? Оно объясняется именно всеобщей пассивностью. Благодаря ей крайне небольшое количество истинно инициативных мужчин обладает неслыханной властью, именно благодаря этому они, как нигде еще, бросаются в глаза. Это положение не более чем следствие неправильного творческого понимания. Америка придает вещам ложный смысл, и вот смысл создает соответствующие фактические обстоятельства. Бихевиористская Америка верит, что человек способен лишь реагировать, — так она преобразует сама себя по образу, созданному ее верой. Сыновья и внуки самых инициативных рас Европы совершенно естественным образом принадлежат к типу, который приводит в ужас Европу своими «караванами» и который послушнее любого верблюда повинуется командам своих вождей и никогда даже не думает о том, чтобы сделать нечто иное, нежели то, что ему предписано.

Теперь мы, пожалуй, получили возможность со всей той ясностью, которую только позволяет сам интересующий нас предмет, определить, какая же действительность скрывается под словом «дух». В первую очередь за ним стоит жизнь, а не мертвая материя. Во-вторых, за ним стоит человеческая, а не животная жизнь. Однако человек всеми своими земными силами и инстинктами есть не что иное, как животное среди других животных; это относится даже к интеллекту, которым, без сомнения, обладают, по крайней мере, так называемые высшие животные. Отсюда третье ограничение: словом «дух» обозначается то творческое сознание, которое является живым корнем всякой так называемой «высшей жизни».

Следовательно, ему присущи особенно позитивные качества. В нем заключается бытийное основание всех идеалов и ценностей. Именно эти идеалы и ценности, и ничто иное, представляют это позитивное на уровне явлений. Иные интеллектуалы могут сколько угодно сомневаться в их действительности, но еще никогда не существовало человека, которого каждый признавал бы выдающимся и который не хотел бы быть добрым, прекрасным, любящим и правдивым, а следовательно, не приписывал бы красоте, добру, любви и истине абсолютную ценность. В этом факте так же не приходится сомневаться, как в самых достоверных физических данных. Но, разумеется, до сих пор фактическая сторона этой проблемы была затемнена ее тесной связью с религиозными и иными императивами, в соответствии с которыми люди «должны» были стремиться к добру, истине и т. д. ради них самих, без всякой мысли о каком-либо вознаграждении. Почему же они должны это делать? Совершенно естественно, что интеллект, после того как он пробудился и со все большим отвращением терпит давление иррационального авторитета, ставит под вопрос рациональный характер этих императивов, тем более что они, несмотря на все усилия провидцев и мудрецов разорвать эту связь, связывались с обещаниями, которые лишь в крайне редких случаях или же вообще никогда не могли быть исполнены в земной жизни. На самом же деле объяснить, почему человек чувствует, что он «должен» стремиться к ним, чрезвычайно легко. Сущность жизни состоит в творческом смысле. Этот смысл стремится выразить и проявить себя на всех уровнях, превращая любую материю в живую плоть; это в одном и том же смысле относится как к поэту, который каждому слову сообщает свой личный ритм и воплощает в нем свой личный смысл, так и к физическому телу или истинной культуре, которая любое многообразие наделяет некоей специфической душой. Очевидно, что существует какой-то духовный смысл, принадлежащий иному порядку, нежели тот, которому подчинен рост тела, рассудка и низшей сферы души; только здесь следует помнить не о простом здоровье, а о том

Великом Покое, который душа излучает, несмотря на все свои мучения, не о той любви, что безнадежно приковала друг к другу Паоло и Франческу, а о любви Беатриче, о личном смысле конкретной жизни, а не какой бы то ни было логической теории. Этот духовный смысл наделяет человеческую жизнь ее высшим смыслом. Что бы человек ни делал и ни совершал, если он не чувствует, что его свершения выражают духовные идеалы, он не будет удовлетворен, не будет счастлив; из самых глубин его внутреннего мира к нему придет понимание, что его жизнь лишена высшего смысла, а поскольку бессмысленность и есть, по сути дела, ад, то для него не будет исхода из его несчастья. Так что не остается ничего другого, как только признать, что духовные идеалы представляют собой выражение самой глубокой и высшей сущности человека. И это высшее должно в то же самое время охватывать истинную сущность человека, поскольку в ином случае религия (в самом широком, совершенно недогматическом смысле) в конечном счете была бы людям совершенно безразлична. Но, с другой стороны, речь здесь, вне всякого сомнения, идет о человеческой природе» в самом широком смысле, а не о том, что якобы ей противоположно, как то совершенно безосновательно утверждает идеализм. Это окончательно доказывается одним тем фактом, что его можно *in abstracto* рассматривать и понимать в рамках того же самого порядка, к которому принадлежат и все остальные жизненные явления. Неудовлетворенность есть неудовлетворенность, каким бы ни был ее предмет, то же самое относится и к смыслу. Если же мы вспомним об обязательном характере, присущем всем духовным идеалам, который, однако, является не чем-то внешним, а ощущается как парадоксальное выражение самого глубинного и интимного порыва личности, то мы найдем то определение, которое нас интересует. Та в высшей степени субъективная сущность, которую подразумевает понятие духа, обладает собственными конкретными атрибутами. Но они могут как раскрыться, так и нет. Что же касается земных свойств человека, как материальных, так и психологических, то

об их развитии позаботилась сама природа. С духовными же свойствами все обстоит иначе. Здесь имеет место то же самое, что и в случае морали, форма и порядок жизни осуществляются благодаря свободной воле человека. Эта часть человека не в какой-то незначительной степени, но по самой своей сути и безусловно свободна; вспомним о втором распятом разбойнике, которому сам Спаситель не мог открыть двери рая, поскольку тот не хотел открыть ему свое сердце. Здесь лишь свободный выбор, инициатива или добровольное согласие способны достичь того, что на уровне природы совершается необходимостью. Следовательно, форма, или категория «свободы», соответствует здесь «естественному» ходу развития. Эта свобода есть не что иное, как «ты должен» всех религиозных заповедей. Выражение «должен» неудачно, но сложно, однако, найти более подходящее для той поры, пока не была достигнута более высокая ступень развития, нежели та, на которой возникли все без исключения религии; ведь здесь мы имеем дело с необходимостью выразить в однозначной формуле то, что определенные действия хорошо и при этом осмысленно могут совершаться лишь исключительно посредством личной инициативы. Насколько я знаю, просто сказав: «Если ты сделаешь это, то произойдет то-то и то-то; если ты сделаешь что-то иное, то оно неизбежно и последует», Будда оказался единственным, кто избежал вводящего в заблуждение искушения повелевать в сфере реальной свободы. Но среди всех основателей религий именно Будда воплощал собой величайший дух.

Разумеется, ни о каких «заповедях» здесь и речи быть не может. Если бы Господь Всемогущий действительно заповедовал, что должно произойти нечто определенное, то оно бы всегда и происходило; а с другой стороны, если сущность как ценность действия покоится на свободе выбора, то заповедь лишена всякого смысла. И действительно, данное соображение представляет собой единственное мыслимое разрешение антиномии, которую заключает в себе идея божественного всемогущества в соединении с фактом постоянных человеческих ошибок

и промахов. А что же при таких обстоятельствах представляют собой вечные духовные ценности? Мы говорили, что самая глубинная духовная сущность человека обладает собственными определенными свойствами, которые могут расти и раскрываться, а могут и не раскрываться. При таких обстоятельствах вечные духовные ценности не могут быть не чем иным, как свидетельствами действия законов этого роста. Человек хотел бы быть добрым, любящим, правдивым и т. д. потому, что только в таком случае он сможет выразить свою духовную природу. Этот рост есть последняя цель, цель сама по себе. И это совершенно не зависит от того, переживет ли личность отдельного человека его смерть или нет; если он только тогда воспринимает свое бытие как осмысленное, когда он живет вечными идеалами, то наше объяснение имеет силу в любом случае. Ибо вечность присутствует в каждом отдельном мгновении; ее измерение находится под прямым углом к горизонтали времени.

Теперь нам многое станет ясно. Начнем с важнейшего: материальный успех или неудача никоим образом не могут ни подтвердить, ни опровергнуть действительность вечных духовных ценностей или идеалов, поскольку последние относятся к совершенно иному измерению. В еще меньшей степени идеалы и ценности представляют собой иллюзии: они — самая живая действительность из всех, какие только возможны. Человек творит добро, чтобы стать лучше; он стремится к красоте, чтобы полностью себя выразить, к истине, чтобы освободить свою глубочайшую действительность от всего недействительного и тем самым способствовать ее полному раскрытию. Это приводит нас к верному, хотя и несовершенному определению духовной действительности. Быстрее всего мы сможем его сформулировать, если противопоставим специфическую духовную реальность реальности материального уровня. Если на этом уровне господствуют законы действия и противодействия, соответствия причины и следствия, потерь и приобретений, то на духовном уровне все обстоит совершенно иначе. Дух по своей сущности есть нечто излучающее, источающее:

он лишь отдает и никогда не берет. И такая отдача делает его богаче, а не беднее. Все испытанные критерии оказываются здесь непригодными. Здесь человек имеет тем больше, чем больше он отдает. Именно это имел в виду Христос, когда Он говорил: «Кто отдаст за меня свою жизнь, тот ее обретет». На своем жизненном опыте в этом может убедиться каждый: чем больше некто отдает, не думая, что он получит взамен, тем больше он растет и расширяется.

И не всегда эта отдача так безболезненна, как в случае любви. Однако приобретение всегда бесконечно больше, чем любая потеря. Тот, кто отдает свое Я, получает благодаря этому свою самость¹. По этой причине жизнь, основывающаяся на духе, всегда кажется бескорыстной. С точки зрения внешнего результата она и не может быть иной, однако здесь эта точка зрения, *par définition**, вообще не рассматривается и ни в каком смысле не имеет отношения к данной проблеме. Но, по сути дела, выражение «бескорыстие» неточно, скорее следует говорить о духовной корысти. И здесь ближе всего к истине подошла индийская мудрость. Когда она учит, что супруг или супруга любят не ради супруги или супруга, а ради самих себя, то тем самым она совершенно правильно определяет закон того глубочайшего в человеке, что мы называем духом. Этим объясняется также, почему духовные натуры почти все без исключения отличались самоотверженностью. На самом деле они ни эгоистичны, ни неэгоистичны в обычном смысле слова; они лишь, подобно солнцу, излучают свою собственную сущность. До известной степени их можно назвать бескорытными, ибо они практически никогда не думают о самих себе. Именно так всегда понималась божественная любовь, так же понимает любовь и любой глубокий человек. Гёте писал: «Если я тебя люблю, то при чем здесь ты?» Однако поскольку, повторяюсь, сущность духа состоит в подобном солнечно-

¹ Ср. рассмотрение этого тезиса в главе «Смерть и вечность» моей книги «Возрождение».

* По определению (фр.).

му излучении, то его бытие и действие совершенно невозможно объяснить, исходя из предпосылок земной заинтересованности. Этим же объясняется и присущая всем истинно духовным религиям парадоксальность. Все они озабочены исключительно внутренним ростом, но одновременно все они пытаются при этом выразить свое стремление и посредством земного воплощения соответствующих понятий, что неизбежно должно привести к доходящему до абсурда интеллектуальному противоречию. Достаточно вспомнить учение Христа о том, что нужно потерять жизнь, чтобы ее обрести, или заповедь самоотречения вообще. Но тем же самым объясняется и то, почему человечество всегда чувствовало, что религия учит истине, сколь бы иррациональным ни могли показаться те или иные ее учения. Религия имеет дело не непосредственно с потусторонним, а с той частью человека, которая столь же действительна, что и его тело. Этим же окончательно объясняется и то, почему человек испокон веков инстинктивно знал, что религиозная жизнь оправдывает себя и в практическом отношении. Разумеется, речь идет здесь не об оправдании в банальном смысле внешнего результата. Когда религия была успешна и в светской сфере, то это зависело от ее нерелигиозных достоинств; в случае римско-католической церкви это были политические достоинства, а в случае кальвинизма — экономические. Первохристианство, которое еще и сегодня продолжает существовать в своем русском выражении, заблуждалось, осуждая светскую власть вообще, но безусловно было право, проклиная любое переплетение духовной и светской власти, благодаря которому возможность принуждения оказывалась составной частью духовности. Поскольку сущностью духа является свобода, то понятие насилия не может быть применимо во всей сфере духа. Эта истина есть корень в равной степени христианского, буддистского и даосского учений о том, что быть слабым, ничтожным, бедным лучше, чем принадлежать к великим мира сего. Следовательно, к «успеху» в любом его земном смысле религия привести не может. Но тем в большей степени она оправдывает себя в своем собственном измерении,

измерении внутреннего роста. Это биологический факт, что человек лишь тогда внутренне растет, когда живет вечными ценностями, которые, являясь свидетельствами действия закона духа, одновременно указывают путь к развитию этого роста. Теперь нам, пожалуй, ясно, почему во все понимающие эпохи религии принадлежало последнее слово. Речь совершенно не идет о возможной посмертной судьбе, не идет она и об истине какого-либо определенного религиозного учения. Решающий смысл заключен в самом слове, как его понимали латиняне. *Religio* означает связь или соединение человека с его внутренним духовным корнем, целью чего является его полное самоосуществление. Пока духовная субстанция не пронизала, ассимилировала и преобразила все части его сущности, до тех пор он еще не есть поистине он сам.

Теперь мы видим, что дух не только является столь же конкретной и действительной частью человека, как и его тело, — мы видим, что на самом деле он даже еще более действителен. Средневековое христианство намного лучше понимало их истинную связь, чем современная наука. Для средневекового человека бессмертная душа была высшей действительностью; природа считалась провинцией сверхъестественного порядка, существование которого признавалось как нечто само собой разумеющееся. Но именно по этой причине и природа расценивалась как нечто безусловно действительное, как адекватное средство выражения духовной реальности; не могло быть даже и речи о том, что плоть не действительна, как ошибочно полагали в более ранние, а затем и в более поздние времена. Но еще в меньшей степени дух мог считаться чем-то абстрактным или рассматриваться всего лишь как продукт человеческого воображения: средневековый человек верил во всеохватывающую, ничего не исключающую сверхъестественную или, как скорее сказали бы мы сегодня, метафизическую по своей сущности действительность, ядром которой был дух. В конечном счете его представление было предметным. Однако современный ум лучше поймет эту же истину, если весь

порядок жизни будет определен не как сверхъестественный, а как естественный порядок. Тогда можно было бы сказать, что дух не в меньшей степени относится к сфере биологии, чем тело. Чем глубже человек, тем большее значение имеет для него духовное, а не материальное самочувствие; у духовного человека физическое здоровье (или болезнь) зависит не только — как у многих — от психологических, но и от духовных условий. Такой человек действительно может умереть, если его жизнь утратит свой духовный смысл или если его духовная составляющая получит повреждение. Разумеется, люди, в психологической структуре которых духовный принцип не играет значительной роли, могут этого не понимать. Но это никак не опровергает наш тезис. Различные части человека могут находиться в различном отношении друг к другу. Кроме того, поскольку область сознания в любом случае ограничена, главную роль неизбежно — все равно, по внешним или по внутренним причинам — играет то, что в ней сознательно подчеркнуто. Этим объясняется, почему в столь значительной степени вопрос о том, что обладает для человека решающей важностью — физическая или духовная пища, интеллектуальные или духовные проблемы, — является вопросом его личной культуры. История аскетизма доказывает, что истощение плоти может открыть духовному компоненту путь к господству; равным образом из-за недостатка пищи дух может и захиреть. И все же о равноправии здесь не может быть и речи: различные способы акцентации отнюдь не равноценны. Нет никакой необходимости оправдываться, поскольку свобода духа составляет сущность человека. Но если он сознательно отказывается от своего духа или отвергает его, то он вырождается, точно как при соответствующих обстоятельствах разлагается или умирает тело. Но в данном случае, поскольку человек свободен, естественный закон вступает в действие по его собственной вине. В эту ситуацию уходят корни идеи греха. Таким образом, никакой логический аргумент не способен изгнать из мира действительные качественные различия; они столь же реальны, как и различия между химически-

ми элементами. И только правильная установка может оправдывать себя в течение длительного времени. Но правильная установка, как было установлено в главе «Культура», обуславливает господство духовного принципа. Духовность же, разумеется, не может привести ни к какому внешнему результату, ибо никак не представлена в материальном мире. Но верно и обратное: на уровне явлений не существует такого результата, который находил бы какой-либо отклик в царстве смысла. Поэтому человек не может быть по-настоящему в течение долгого времени счастлив, если он не следует в своей жизни в первую очередь вечным духовным ценностям. Он может быть счастлив, лишь пока находится во власти частных инстинктов или функций, — будь то сексуальная страсть, воля к власти или мания убийства. Однако во всех этих случаях неминуемым итогом является пресыщение, ибо все силы низшей сферы души конечны, а пресыщение неизбежно вызывает пресыщение.

Но, с другой стороны, истины нет и в духовности, отвергающей плоть. Человек достигает совершенства только тогда, когда он пронизывает и преображает духом всю материю, не отвергая никакую из ее частей. В этом заключена тайна воплощения. Если величайшая духовная любовь между мужчиной и женщиной, которая не воспламеняет чувств, есть некая несовершенная и уродливая любовь, которая неизбежно ведет к несчастью и наносит вред жизни, то точно так же обстоит дело и со всеми жизненными тенденциями. Здесь опять-таки отношение смысла и выражения является прообразом для всех без исключения ситуаций: лишь смысл, который столь совершенно выражен, что каждая буква несет на себе знак его уникальности, лишь такой смысл полностью осуществлен. То есть дух, который не пронизывает материю, не реализован как дух. Ради духа слово должно стать плотью.

А теперь обратимся наконец к специфическим проблемам Соединенных Штатов. В настоящий момент американская нация живет в соответствии с животным идеалом. Приватистское мировоззрение привело к тому все-

общему результату, что в Америке в неслыханной в истории степени главное значение придается жизненным условиям, а не самой жизни. Естественное развитие американской демократии протекает в том же самом направлении. Господство позитивистского женского духа также усиливает значение материальной стороны жизни, такое же действие оказывают и примитивизация расы и идеализация ребенка. Поскольку унаследованный нацией узкий морализм не может похвастаться глубоким и ясным пониманием взаимосвязи вещей, он не способен помешать прогрессирующей материализации. Так что же, в Соединенных Штатах совсем нет никакой духовной жизни? Отнюдь. Однако в той мере, в какой дело касается репрезентативных для народа явлений, она точно так же односторонняя, как и материалистическая деловая жизнь. Несколько огрубляя ситуацию, скажем так: если большинство верит в одну материю, то меньшинство отрицает само ее наличие. Если принадлежащие к большинству духовно пассивны, то представители меньшинства верят во всеисилие духовной инициативы. В своей односторонности оба эти типа так близки друг к другу и в столь значительной мере обуславливают друг друга, что с первого взгляда становится ясно, что здесь речь идет о полярных противоположностях. Очевидным образом они принадлежат единому психологическому целому, для которого действителен закон корреляции, которому подчиняется все органическое. На физическом уровне все органы и функции находятся в состоянии равновесия. На психическом же органы, кроме всего прочего, еще и по самой своей сути непостоянны, как образы сновидений, в силу чего в этой области все формообразования подчинены двум своеобразным законам: закону всеобщей детерминации, который обуславливает то обстоятельство, что все процессы могут быть сведены к одному общему знаменателю и закону компенсации, в соответствии с которым каждое в определенную сторону нарушенное равновесие всегда восстанавливается другой стороной. Исследуя американскую моральность, мы встретились с классическим примером действия первого закона. Моральность представ-

ляет собой общий знаменатель американской жизни, так что все возможные вопросы принимают облик моральных проблем; далее, постулируемая пуританизмом «чистота» придает особенную окраску абсолютно всем явлениям вплоть до бесстыдства в сексуальных вопросах. Закон компенсации лучше всего иллюстрирует *Christian Science*, прообраз американской религиозности; ее пример со своей стороны предлагает наилучшее доказательство того, что в основании ее идеи лежит действительность. Если в Соединенных Штатах главное значение придается материи и если при этом там вообще существует какая-то духовная действительность, то из самого специфического характера человеческой души а priori следует, что духовность в Америке должна развиваться с той же самой односторонностью. И это действительно так, пуританская «чистота» делает картину еще более определенной. Далее, если основная внутренняя установка Соединенных Штатов духовно пассивна, то ее должна компенсировать установка значительно более радикальная в своем активизме. Именно этим объясняется категоричность утверждений и отрицаний *Christian Science*. В организме нации отдельные люди играют такую же роль, какую в индивидуальной душе играют ее отдельные функции. Поэтому каждый репрезентативный в духовном отношении американец, сознает он это или нет, принадлежит к понимаемой в широком смысле *Christian Science*. С фактической точки зрения было бы более правильно сказать, что он принадлежит к группе *New Thought*. Последнее, безусловно, относится, например, к Эмерсону, тогда как характеризовать его как *Christian Scientist** было бы не совсем правильным. Однако на уровне смысла прототипом американской религиозности является именно и исключительно *Christian Science* — несмотря на то, что *New Thought* предшествовало ей по времени, — ибо она в наибольшей степени отвечает закону корреляции смысла и выражения. Здесь кто-нибудь, пожалуй, мог бы возразить, что примитивность идей *Christian Science* полностью ис-

* Христианский ученый (англ.).

ключает возможность выражения ею какой бы то ни было истины. Но это возражение несостоятельно. Примитивные люди могут лишь тогда быть истинно примитивными и в соответствии с этим выражать абсолютную истину, когда они верят в примитивное или примитивным образом выражают свои переживания; так должно быть в том случае, если слово «дух» означает действительность, а не голую интеллектуальную конструкцию. Нет ничего более нелепого, чем применение к духовной сфере критериев интеллектуальных оценок. Когда речь идет о самой глубинной действительности, находящейся по ту сторону всякого имени и формы, адекватным средством выражения могут быть лишь символические образы, в силу естественной необходимости вызывающие соответствующую внутреннюю ответную реакцию. Поэтому каждый человек, в принципе, должен переживать и выражать духовное сугубо личным и неподражаемым образом, что в той мере, в какой затрагивается конкретное понимание, действительно и происходит. Но поскольку каждый уникальный индивид, кроме всего прочего, принадлежит и к определенному типу, то существуют и типичные способы выражения, соответствующие типичным состояниям, этим объясняется та сила привлекательности, которой официальная церковь вновь и вновь воздействует на массы. А из этого следует, что для того, чтобы примитивные народы могли передавать абсолютную истину, соответствующие способы выражения, в свою очередь, также должны быть примитивными; в этом случае самые дикие суеверия и самые очевидные заблуждения могут быть надежным зеркалом истины. Однако в пользу примитивного способа выражения можно сказать и еще кое-что. Примитивные способы выражения являются самыми очевидными и убедительными в абсолютном смысле, ибо они открыто и в изначальной форме воспроизводят общие черты тех архетипических прообразов, которые продолжают жить в бессознательном даже самой развитой и сложной души. Поэтому все религии, господствовавшие и продолжающие господствовать над миром, представляют собой выражение примитивных состояний, с их помо-

шью даже культурный человек, если он располагает необходимым для этого органом, может непосредственным образом переживать истину. Когда на двух заседаниях Школы мудрости я хотел показать, каково же истинное значение христианского учения, я должен был сослаться на русских, которые либо еще остаются первохристианами, либо под давлением того, что они ощущают как сатанизм, возвращаются к этому типу. Первохристианство нашло свою форму в том, что было противоположно языческой древности, по этой причине оно с радикальной и архаичной односторонностью делало основной акцент на том, что греки называли пафосом, а именно на смирении, мягкости и терпении. Но именно оттого его формы обладали всеобщей убедительностью как символы абсолютной истины, они полностью выражали ее посредством пассивной жизненной модальности.

Этот род духовности не мог развиваться в Соединенных Штатах, несмотря на то что психологическое состояние их жителей приблизительно так же примитивно, как и состояние русских. Поскольку в Америке пассивность является фундаментальной установкой духовного человека, она не могла быть компенсирована одной лишь акцентацией духовного этоса или инициативы. Чем и объясняется исключительный активизм американского христианства. Вся жизнь как таковая, не утрачивая при этом своей идентичности, всегда выражается двояко — активно и пассивно, как этос и как пафос. В модальности этоса американское христианство в точности соответствует представляющему пафос русскому. Здесь мы сталкиваемся с еще одним примером действия закона корреляции и компенсации. Мы и прежде во многих случаях приходили к выводу, что материалистическая Америка очень похожа на большевистскую Россию. Но именно в религиозном отношении духовная Америка и первохристианская Россия особенно близки. Европа падает в обморок от благоговения перед русской религиозностью и ждет от нее спасения мира. Но тогда она должна занять ту же самую позицию и в отношении американской духовности. Однако подобных разговоров что-то не слышно. Но боль-

шие успехи, которыми *Christian Science* может похвастаться именно на европейской почве, доказывают истинность утверждаемого нами соответствия. *Christian Science* столь же далеко отстоит от обычной европейской религиозности, как и русское христианство. Тем не менее она точно так же, как и оно, воплощает собой чистую духовность. Поэтому если достигший высочайшего уровня интеллектуального или духовного развития европеец ощущает, что его спасение заключается в примитивизации, то он может искать ее в Америке почти с тем же успехом, что и в России, а его выбор должен зависеть от того, пассивна или активна его душа. С европейской точки зрения русская духовность производит уникальное и невероятное сильное впечатление, ибо она соседствует с варварской натурой; русский не знает никакой промежуточной стадии между дикой природой и чистым духом. Однако, по сути дела, американская духовность точно так же впечатляюща, ибо она соседствует с грубым материализмом, который является не менее варварским, поскольку в его случае мы также имеем дело с природой, хотя и с механизированной, а не дикой. В Соединенных Штатах также не существует никакой промежуточной стадии между материализмом и духовностью, хотя так же, как и в России, внутри небольших групп и существуют культурные интересы, но понимание нацией культурных ценностей начисто отсутствует. Здесь я могу несколько конкретизировать свои многократные утверждения о сходстве, существующем между Америкой и Россией, что одновременно сделает аналогию между ними еще более полной. Я говорил, что Америка — единственная до самых своих глубин христианская страна, поскольку у нее нет никакого языческого наследия. На самом деле она единственная западная христианская страна. Россия также по самой своей сути является христианской, ибо в ее бессознательном нет никаких достойных упоминания дохристианских элементов. То, что в русской душе не является христианским, принадлежит духу русской земли, и то же самое *mutatis mutandis* относится и к американской душе.

Но христианство обеих этих наций воплощает истинную духовность и еще в одном, до сих пор не рассматривавшемся нами смысле, который, однако, в контексте данной главы чрезвычайно важен. Дух невозможно институционализировать, ибо его сущностью являются, с одной стороны, смысл, а с другой — свободное созидание, что исключает любую объективацию. Обращенная к миру Западная Европа с самого начала упускала из виду столь важный вопрос. Однако Россия знала эту идею испокон веков. Поэтому русское христианство с самого начала относилось к идее авторитета в духовных вопросах практически как к антихристианской; оно придерживалось того мнения, что догмат истинен, поскольку в него верят, и что вера всегда есть вопрос абсолютной свободы. Точно так же и идею *imitatio Christi** она воспринимала как, по сути дела, антихристианскую: образ Христов никогда не может быть чем-то большим, чем образцом и предустановленной формой для самоосуществления. Вот почему русская церковь никогда не была институтом в западном понимании: ее идея была подобна идее медитативного символа — бытийным основанием всех ее объектов и целей была задача вызвать к жизни субъективную духовность. Об американских же официальных церквях при всем желании нельзя сказать, что они не являются такими же институтами, как директораты железных дорог и универмаги. Тогда как самая изначальная и истинная американская религия, а именно *Christian Science*, не принадлежит уровню, к которому могут относиться институты. Она неразрывно связана с чисто личной и субъективной духовностью. То же, что ее нынешняя внешняя организация подобна церковной, следует расценить как своеобразную игру природы.

Теперь мы видим, насколько вероятной может быть спиритуализация Америки: она возможна именно благодаря чрезмерности и односторонности всей ее прежней духовности. Ведь в Америке полностью исключено

* Подражание Христу (лат.).

смешение чисто интеллектуального с духовным, а следовательно, и любое отрицание действительности последнего. Меня совсем не удивило, когда в ходе чтения лекций я осознал, что духовная (в противоположность интеллектуальной) истина понимается в Америке большинством населения легче и полнее, чем где бы то ни было в Европе. Сегодня на всей современной Европе лежит проклятие «духа буквализма», как метко окрестил его Рабиндранат Тагор. Она пребывает на промежуточном уровне, разделяющем чистую материю и чистый дух, а «имена и формы» этого уровня тверды, усложнены и неподвижны, например, француз — самый интеллектуализированный европеец — почти не в состоянии понять, что такое духовная, а не интеллектуальная истина. Но, с другой стороны, американская духовность как тип почти столь же невероятно примитивна, как и американский материализм. Если народ хочет играть в истории прогрессивную роль, то он не должен отставать от объективного духа времени. Сегодня даже в странах самой старой и глубокой культуры традиционным формулировкам духовной истины недостает силы убедительности, способной увлечь тех, кто находится в авангарде человечества. Все исторические религии были основаны в эпоху веры, тогда как мы живем в эпоху понимания. Поэтому проблемы духовного прогресса должны быть поняты и поставлены по-новому. В этом и состоит наша ближайшая задача. Однако чтобы сделать ее совершенно понятной, я должен сначала коротко обозначить всеобщее направление духовного процесса в его нынешнем поворотном пункте — пункте, вне всякого сомнения, важнейшем со времени явления Христа.

В эпоху, предшествовавшую нашей, когда западное человечество сознавало, что духовное так же действительное, как и природное — я имею в виду начало христианской эры, — сами христиане не верили, что эпоха Сына будет последней: за ней должна последовать эпоха Святого Духа. Правда, эта вера не входила в официальное учение христианской церкви, и лишь самые лучшие философы среди отцов богатой своими духовными традициями анатолийской церкви открыто исповедовали ее. И

это было естественно: первохристиане ожидали скорого второго пришествия Христа, но оно и должно было положить конец собственно христианской эре. Что же означала эта вера в эпоху Святого Духа? Ответ дает излияние Духа Святого на Троицу. Придет день, когда не только Богочеловек, а каждый будет служить рупором Божиим. Христос сам предсказывал, что в будущие времена другие сделают столько же и даже больше, чем Он. За временем, когда спасти могла только вера в Спасителя, следует иная, более зрелая эпоха, когда каждый человек, достигший необходимого уровня, сможет самостоятельно позаботиться о своем спасении.

Рассмотрим с этих позиций тот период распада, который мы переживаем в настоящий момент. На всей Земле умирает вера в традицию — как религиозную, так и любую другую. А все традиции — христианская, индийская, конфуцианская, магометанская — основывались на вере, разделяемой большинством. И, по-видимому, труп уже невозможно оживить для новой жизни. Если такое оживление все-таки удастся, то это имеет место лишь у отдельных и особенных классов; но поскольку в таких случаях они кристаллизуются и образуют собственные изолированные, замкнутые системы, то с точки зрения прогресса они нисколько не меняют картину нынешнего состояния. С другой стороны, когда отдельным человеком постигается смысл религии — смысл того, что прежние эпохи разделяли с наивной слепотой, — происходит возрождение старого на более высоком уровне. Тогда отдельный человек, став господином самому себе и сбросив оковы традиции, начинает лично постигать вечные истины, те самые истины, которые для людей прошлого выступали в роли безусловного авторитета. Таким образом, именно в то время, когда старые формы разрушаются, прогрессивные меньшинства начинают воспринимать их смысл, их живую и бессмертную субстанцию — воспринимать глубже, чем это происходило в золотой век христианства, когда греческие мыслители вырабатывали его мировоззрение.

Это означает, что именно сейчас восходит заря эпо-

хи Святого Духа. Кажущиеся самыми иррациональными мифические образы, если только они психологически правильно истолкованы, то есть как проекции внутренних состояний, начинают высказывать истину. С этой точки зрения исполнившиеся пророчества представляют собой самую естественную вещь, какая только может быть. Авангард христианства предвидел в своей душе то, что лишь два тысячелетия спустя должно было осуществиться в качестве всеобщего состояния. Разумеется, выражение «Святой Дух», как и выражение «эпоха Святого Духа», восходит ко времени, для которого мифические образы были более понятны, чем научные формулы. Но в данном случае слово не меняет сути дела. Я использую его, поскольку оно освящено тысячелетней традицией; можно смело утверждать, что смысл, лежащий в основании старого выражения, соответствовал самой сути дела. Однако в этом случае мифический образ и психологическая истина соответствуют друг другу в еще большей мере. То же самое христианское учение возвещало, что победе новой, характеризующей эпоху Святого Духа духовности будет предшествовать длительная и ужасная борьба. Истинные провидцы никоим образом не верили в непрерывный прогресс, наоборот, они предвидели, что перед вторым пришествием Христа на Земле на некоторое время воцарится дух Антихриста. Кроме того, они верили, что Антихрист выступит вовсе не в дьявольском обличье, наоборот, он будет символом всего того, чего жаждет человек не только в материальной, но и в интеллектуальной и моральной сферах. А не произошло ли это в действительности? Не является ли благосостояние — не только в смысле богатства, но и в смысле знания — главным препятствием на пути духовного прогресса? Вне всякого сомнения, изначальный непосредственный смысл вечной истины и вечных ценностей в данный момент утерян. Пробуждающиеся на всей Земле массы в неслыханной в истории степени либо иррелигиозны, либо антирелигиозны. Большинство христиан, индусов, буддистов и конфуцианцев в действительности более не верит в то, к чему оно еще считает себя причастным по соображениям вы-

годы. Истинная массовая религия нашей эпохи — это религия машины. Большевицкая Россия фактически возвысила машину до уровня божества. Существуют картины большевистских художников — произведения очевидно искренние и потому чрезвычайно убедительные, — на которых машины изображены со всеми атрибутами божества; они занимают место икон во всем остальном неизменной византийской церкви. Нет никаких сомнений также и в том, что для миллионов рабочих и крестьян эти картины действительно являются адекватным выражением их веры. Идеал этого несчастного голодного народа состоит в том, чтобы питаться, и питаться как можно лучше. До революции эти люди ожидали исполнения этого идеала от Бога, теперь они обратили свои взоры к машине.

Официальная и несомненная вера большинства американцев иная. А вот психологическое значение американского культа машины и деловых качеств точно такое же. Если психолог сравнит структуру и особенности веры в машину со структурой и особенностями веры традиционной религии, то он должен будет прийти к выводу, что сегодня истинное религиозное чувство вызывает именно универсальное явление машины.

Таким образом, мы, вне всякого сомнения, вступаем в ярко выраженную антирелигиозную эпоху. Истинное христианство, как и любая истинная религия, вновь стало верой меньшинства, как и в эпоху Константина. Оно даже вновь преследуется, причем не только в России, но и в Европе, не говоря уже о Мексике; такое преследование может иметь место везде, где к власти придут радикалы или социалисты. Массы с каждым годом становятся все менее религиозными. И это должно происходить по одной психологической причине, перед которой отступает любое возражение. Как я показал в «Новом мире», центр тяжести в психическом организме человека перешел из эмоциональной сферы в интеллектуальную. А там, где эмоциональное начало не играет господствующей роли, не может быть никакого доминирующего религиозного чувства; с другой стороны, духовное понимание истины

традиционных религиозных учений требует очень высокого уровня проницательности, а для шоферского типа характерно то, что он все знает и почти ничего не понимает. Таким образом, массы во всем мире должны становиться тем более иррелигиозными, чем более они становятся информированными. И такое развитие может остановиться лишь тогда, когда массы достигнут некоего нового состояния внутренней культуры.

Но, с другой стороны, духовно ориентированные меньшинства сегодня во всем мире более, то есть в более глубоком смысле, духовны, чем когда-либо прежде. Сегодня произошел весьма примечательный переворот по отношению к тому, что имело место в XVIII столетии. В XVIII столетии массы верили во все, элиты — ни во что; сегодня даже те представители элиты, которые еще двадцать лет назад совершенно равнодушно относились к духовным проблемам, признают действительность духа или даже борются за это признание. А с точки зрения будущего эти духовно ориентированные меньшинства имеют большее значение, чем когда-либо еще имели какие бы то ни было меньшинства. Чем же они характерны по сравнению с духовно ориентированными группами прошлых эпох? В чем их цель? Несут ли они новую религию? Ни в коем случае. Они неизбежно родственны иррелигиозным массам, ибо живой дух времени всегда един. В психологической структуре масс мышление заняло место веры. Коррелируя с этим фактом, в психологической структуре меньшинств решающую роль играет понимание. Религия в христианском смысле связана с позицией смирения, пафоса (в истинном греческом смысле слова) перед лицом высших сил, находящихся вне человеческой души. Пока господствующий центр находится не в пафосе, а в этосе отдельного человека — том духе в человеке, который является носителем всякой ответственности, — об истинно религиозной установке не может быть и речи; именно поэтому первохристиане отказывались признать за язычниками хоть какую-нибудь религиозность: ведь у язычников этос господствовал над пафосом. Однако рождение нового духа, происходящее именно сейчас, вовсе

не означает возврата к язычеству: оно означает то, что признавали неизбежным первохристиане, — наступление эпохи Святого Духа. Речь идет здесь не о религиозной установке в традиционном смысле, но, с другой стороны, о том, что укоренено в духе не менее глубоко. Не о дохристианском, а о послехристианском состоянии. Оно не опровергает христианскую истину, оно даже никоим образом не противоречит христианской вере: оно воплощает состояние более высокого уровня, чем то, всемирным символом которого выступало христианство. По сравнению с христианским этот образ мышления столь же нов, сколь новым был христианский по отношению к языческому. Он представляет собой новую установку по отношению к вечному — к тому же самому вечному, к которому апеллирует и христианство. Новую установку, которую потребовала новая стадия развития, которой достиг авангард человечества¹.

Таково общее направление истории человека как духовного существа, находящейся в своем важнейшем после явления Христа поворотном пункте. Но в чем в этой новой фазе человеческого приключения состоит особая задача Соединенных Штатов? Это очевидным образом зависит от современного состояния человека. Ибо все встающие перед человеком задачи коррелируют с его фактическим состоянием и его реальными способностями. Мы рассмотрели и исследовали душу Соединенных Штатов во всех главных отношениях. И нам будет нетрудно теперь завершить картину.

Великая задача следующих столетий, по всей видимости, состоит в том, чтобы на том основании, которое представляет собой грядущая техническая эпоха, развивать новую духовную жизнь. Мы признали, что с технизацией не надо бороться — она есть знак того, что человек достиг новой биологической стадии и нового положения, причем эта новая стадия представляет собой

¹ Изложенные здесь мысли подробно развиты в главе «Религиозная проблема» моей книги «Возрождение».

нечто безусловно положительное, поскольку лишь технизированный человек достиг того истинного состояния равновесия между собой и окружающим миром, которое совершенно естественным образом воплощает любое животное. Но, с другой стороны, все, даже высшие технические достижения относятся к животному уровню. В связи с этим нам удалось доказать, что репрезентативными идеалами этой эпохи являются животные идеалы. Но человек — не животное; в конечном счете все наши доводы в отношении положения дел в Америке сводятся к доказательству этой истины. В предыдущей главе мы обнаружили формулу, которая в нескольких словах исчерпывающе характеризует как саму ситуацию, так и ее смысл: человек как человек достигает самоосуществления только на уровне культуры и никогда в естественном состоянии, но культура предполагает верховенство духовного, а не животного принципа. Последние сомнения в этой истине должна была устранить данная глава, в которой доказывалась действительность духа как биологического принципа. А из этого следует, что техническая цивилизация, которая завоевала весь земной шар и стала таким же знаком нашей эпохи, каким миллионы лет назад было господство динозавров, цивилизация, достигшая в Соединенных Штатах высшей точки своего развития, представляет собой не конец, а начало, не последнее, а, наоборот, первое слово. Если человек включен в космический порядок лишь в качестве животного, то в таком случае он неправильно ориентирован, его жизнь не соответствует своему смыслу; а поскольку то, что я называю «смыслом», представляет собой подлинный источник его жизни, то, если нынешнее состояние продлится еще достаточно долго, неизбежным результатом будет не безграничный прогресс, а утрата жизненных сил и конец цивилизованного человечества.

Таким образом, великая задача грядущих столетий состоит, повторюсь, в развертывании новой духовной жизни на фундаменте технической эпохи. То, что речь идет о новой духовной жизни, естественным образом следует из того признанного нами факта, что дух относится

к сфере биологии. Когда изменяются фундамент или психологическая структура, то очевидно, что и духовность, чтобы непосредственно выражать истину, должна находить какой-либо иной, отличный от прежних способ своего выражения. Именно поэтому сегодня повсюду рушатся традиционные формы духовности. В свое время старые религии и философии верно выражали положение человека во вселенной. Но так обстояло дело до начала геологической эпохи человека. Тогда человек, несмотря на свои духовные способности, был лишь животным среди других животных. Это в полной мере доказывает индийская и китайская мудрость, она никогда не возвышала человека над природой. Но даже христианство, как бы низко оно ни ставило природу, никогда не видело в человеке господина мира; наоборот, для него человек был по самой своей сути слабым и бессильным. Сегодня же, вне всякого сомнения, человек стал всесильным. А следовательно, формулы, описывающие положение человека во вселенной, уже не соответствуют фактам.

А теперь следует присоединить ко всему вышесказанному то, что мы говорили об эпохе Святого Духа. Поскольку дух является составной частью человеческого организма, он, находясь в корреляции с целым, должен проявляться и в качестве некоей земной силы. Если человек стал могущественным во всех отношениях и на всех уровнях, его духовность также должна проявляться в модальности власти, а не подчинения, этоса, а не пафоса. Разумеется, существует огромное количество людей, которые обретут правильное личное отношение к духу в форме смирения, так было даже в золотой век языческой древности; именно это имел в виду тот отец церкви, который говорил об *anima naturaliter Christiana**; возможно, в эту техническую эпоху найдутся целые нации, духовность которых в силу потребности в компенсации даже скорее расцветет именно под знаком пафоса. Но в целом и с исторической точки зрения закон компенсации при лю-

* Душа, живущая в соответствии с христианскими законами (лат.).

бых обстоятельствах не найдет в данном случае своего применения. Античная духовность несла на себе знак общего духа классической древности, индийская и китайская духовность — знак общей жизненной модальности этих наций. Точно так же между христианской духовностью и общей структурой христианской души существовали соответствие и корреляция. Данное утверждение, пожалуй, можно было бы оспорить на основании того стремления к покорению мира и господству над ним, которое для нехристианского мира является главным признаком христианских народов. Однако стремление к власти над миром объясняется прежде всего расовым инстинктом, а тогда характерным для христиан является именно отсутствие целостности, разрыв между духом и плотью. Поэтому в данном случае закон компенсации мог вступить в действие. Состояние разрыва способствовало большей агрессивности христиан в светской сфере, тогда как их духовное начало в соответствии с законом компенсации должно было выражаться в форме терпения, покорности и смирения. Но едва ли можно сомневаться в том, что тот, кто не желает признать этого, просто закрывает глаза на очевидные факты — христианская эра означала для западных наций лишь определенную стадию развития. Из европейцев лишь русские могут рассматриваться как истинно христианская нация в изначальном смысле; а изначальный смысл очевидным образом является определяющим: Иисус и его непосредственные последователи куда лучше, чем современные интерпретаторы их учения, сознавали, что они имели в виду. В римско-католической церкви в значительной степени продолжала жить языческая древность. С Реформацией же началась дехристианизация, ибо с ее продвижением господствующим стал принцип этоса, а не пафоса.

В действительности, западный мир был в конечном счете создан не для христианской эпохи, а для эпохи Святого Духа. Поскольку западные народы по самой своей природе были слишком светски ориентированы, они, разумеется, настоятельно нуждались в воспитании, исполненном глубоко несветского духа; и это поистине был

bonne fortune, что оно выпало на их долю. Однако с началом эмансипации интеллекта Запад окончательно вступил на свой собственный путь. Пока что, кружа по разным путям-дорогам, он все еще где-то в стороне, на небе, в прошлом, в будущем, пытается наугад найти увиденный им свет. На самом деле этот свет светит в душе каждого отдельного человека. Но поскольку все скрытые в его коллективном бессознательном образы являются христианскими, совершенно естественно, что и всякая «мутация» должна воспринимать саму себя прежде всего как возвращение к изначальному типу. Этим объясняется как сам факт появления, так и успех *Christian Science* на американской почве. Хотя она сознательно связывает себя со всевозможными грубыми недоразумениями и предрассудками и искренне полагает, что представляет истинное воплощение учения Христа, тем не менее она фактически, хотя и еще в рудиментарной, односторонней и искаженной форме, выражает дух эпохи Святого Духа. Отсюда и позитивная установка. Поскольку смысл создает факты, уже одна эта установка должна чудесным образом воздействовать на всех тех, кто искренне верит в учение *Christian Science*. Впрочем, живой принцип *Christian Science* означает нечто еще гораздо более важное: она, учитывая реальную психологию американского народа, непосредственно представляет собой отправную точку и одновременно инструмент перевода состояния равновесия, в котором вся власть принадлежит внешним вещам, в новое состояние, в котором господствующим будет духовное начало. Поскольку современные американцы в духовном отношении ровно настолько пассивны, насколько они активны во внешней деятельности, добиться их духовности можно лишь посредством радикального признания активной стороны духа. И все же *Christian Science* не может быть чем-то большим, чем своего рода открытой дверью. Для духовно зрелого человека спасение уже не заключается в слепой вере: он может обрести его лишь в познании. Понимание же представляет собой столь же позитивный процесс, что и *Christian Science*. А понимать можно только изнутри, придавая переживаемому опыту

его собственный смысл. С другой стороны, каждый этос связан с соответствующим пафосом; если для того, чтобы понимать, нужно, подобно женщине, раскрывать свой дух, то и *Christian Science* предполагает пафос веры. Тем не менее понимание неизмеримо выше любого рода веры. И именно потому, что оно, *par définition*, может быть только пониманием истины. Здесь речь идет не о внушении, то есть о некоей надстроенной воображаемой действительности, которая лишь случайно может стать более глубокой действительностью, а об идентификации и последующем сущностном объединении субъекта и объекта.

А это ведет нас к определению духовности нового рода, которая именно в эпоху Святого Духа соответствовала бы как фактическому положению вещей, так и его смыслу. Трагизм духовности любой эпохи, которая предшествовала геологической эпохе человека, состоит в том, что она могла утверждаться только как бегство от мира, ибо мир был сильнее ее на ее же собственном уровне. Однако уже мудрецы древнейших эпох знали, что идеал неотрывен от природы. Конфуций говорил: «Дао ничто, когда оно оторвано или отторгнуто от мира». Будда, начавший свой жизненный путь как аскет, закончил его иначе. Христос никогда им не был. В соответствии с законом корреляции смысла и выражения, которому подчинено любое проявление жизни, справедливо следующее положение: чем богаче средство выражения, тем в большей мере дух может воплотиться в нашем мире. Если до сих пор это оказывалось не так, то это зависело не от духа, а от того, что человек не знал своей истинной сущности. По сути дела, как бы парадоксально это ни прозвучало, только победа над материей, достигнутая лишь сегодня, могла привести к полному господству духа на земле. А следовательно, сегодняшний материализм по своей сути представляет собой не что иное, как преддверие более глубокой духовности. И преддверием именно совершенной духовности, а не духовности как какой-либо существующей наряду с другими отдельной характеристики, как это было до сих пор и как проявилось в карикатуре *Christian Science*. И здесь мы вновь сталкиваемся с

главным пороком сегодняшней Америки — с ее сухим и твердым, деревянным и железным характером. Не бывает совершенной духовности, которая не была бы сладкой и нежной, как спелый фрукт. Язык всегда глубже, чем любая теория. Таким образом, тот факт, что в большинстве языков слово «смысл» (Sinn) обозначает две различных вещи, которые при поверхностном рассмотрении кажутся даже противоречащими друг другу — значение (Bedeutung) и чувственность (Sinnlichkeit), — кажется глубоко символичным. Также символично и то, что в Библии обладание женщиной обозначается как «ее познание» — познание в смысле понимания; символично и то, что во все духовные эпохи использовался образ «запаха святости». В самом деле, одухотворение всегда — используем слово, освященное Иисусом, — означает не вознесение, а исполнение.

«Отвечающим» аспектом реального исполнения является понимание, и ничто иное. Понимание не имеет ничего общего с объяснением. Оно не подчинено закону причины и следствия. Оно есть непосредственное единение духа с духом, души с душой или плоти с плотью. На уровне плоти и более низкой душевной сферы непонимание означает несовместимость. Отсюда его разрушительное действие: ничто не ранит столь глубоко, как непонятость, ибо она означает отрицание собственной идентичности. Существует лишь живое понимание. Понимание *in abstracto*, как его утверждает современная наука, представляет собой *contradictio in adjecto*. Дух — это не абстракция, он так же конкретен, как и плоть. Поэтому во все времена в качестве высшего символа духовности избиралась любовь. Не по причине ее бескорыстия — любовь никогда не бескорыстна, она самоотверженна, ибо она сияет, как солнце, и именно поэтому может также и сжечь, и довести до изнеможения, — а потому, что не существует более живого понимания, чем то, которое воплощает любовь. В одной своей знаменитой фразе Леонардо да Винчи весьма неточно изложил суть дела. Он писал: «Любовь ко всякой вещи есть дочь ее понимания. Любовь тем горячее, чем достовернее познание». Столь же ошибочно

и утверждение, что любовь ведет к пониманию, — всякий знает, что, как правило, она лишь ослепляет. Но справедливо нечто лучшее: любовь есть понимание. Любовь — это непосредственная общность и единение двух духов, высшее единство того, что на земле не может быть по-настоящему единым. Но по этой причине для человека, достигшего уровня совершенной, а не частной духовности, не может быть никакой духовной любви, которая противопоставлялась бы земной. Поскольку дух находится в таком же отношении к материи, как смысл к буквам алфавита, и в то же время воплощает высший творческий принцип, он может выражаться всеми земными средствами. И он может полностью осуществиться, лишь заполнив собой все вплоть до каждого атома материи, подобно тому как смысл, вкладываемый поэтом в стихотворение, заполняет его все вплоть до каждой запятой. Лишь этот вид понимания представляет собой истинное и полное понимание. Христианство начало свое движение со слишком низкой ступени познания, чтобы иметь возможность осмысленно и в согласии с фактами выразить свою глубокую проницательность. Отсюда его ошибочное понимание чувства любви как некоей ценности, отсюда не слишком близкое любви направление его дальнейшего развития. Но сегодня мы можем понимать. С другой стороны, благодаря произошедшему в сознании человека перевороту акцент сегодня не только может, но и должен быть сделан на понимании. Но это единственно необходимое сегодня истинное понимание есть ни в коем случае не абстрактное понимание. Оно не имеет ничего общего ни со знанием, ни с объяснением. Оно не имеет никакого отношения и к науке или даже философии в обычном смысле слова. В этом отношении дело обстоит почти точно так же, как в начале нашей эры, когда «нищие духом» по праву считались более способными постичь истину, чем мудрецы. Сегодня необходимо такое сосредоточение сознания на творческом понимании, чтобы в дальнейшем оно стало для человека столь же естественным и столь же необходимым, как дыхание. Это единственный адекватный в геологическую

эпоху человека способ одухотворения. Здесь проходит единственный путь, ведущий прочь от сухого материализма и пустого интеллектуализма. И в нем — единственное спасение для Америки, страны, в которой душа и дух больше, чем где бы то ни было, подвергаются смертельной опасности.

И все же каким образом и в какой мере одухотворение изменит мир? На поверхности оно не изменит ничего. Когда современный человек осознает духовную истину, он вновь познает то, что было известно всем великим и глубоким эпохам: факты только тогда обладали жизненным значением и ценностью, когда они переживались непосредственно как символы. Что истинное понимание означает видеть сквозь них и жить, не обращая на них чрезмерного внимания. Что верить в факты как в последнюю инстанцию есть самое грубое суеверие, какое только возможно. И тогда откуда-то изнутри неким таинственным образом последует преображение. Илия ожидал Господа как великую и мощную бурю, но Он пришел как нежное, тихое дуновение. Точно так же и теперь не будет никакого могучего переворота. Но тем более радикальным будет преображение. Животный идеал умрет своей естественной смертью. Среда, институты, знание, воспитание автоматически утратят свое значение. Материальный прогресс перестанет быть самостоятельной целью. И в результате внутренний духовный космос, единственная родина человека, заполнит и скрепит собой все строение современного мира. Но это не будет означать реставрацию старой духовности, это будет новая и более глубокая духовность. Она будет выражением понимания. И лишь благодаря этому более глубокому и духовному пониманию человек как духовное существо вновь окажется в состоянии утвердить себя в своей новой роли господина материального мира. Сегодня дело обстоит так, что жизнь утратила весь свой смысл; отсюда самоубийственные тенденции нашего времени. Если корни будут глубже, чем когда-либо прежде, простираться в глубь земли, крона дерева покроется свежей листвой. Однако это новое осмысление опять-таки зависит только от челове-

ка. Как дух он по самой своей сути совершенно свободен. На духовном уровне он только в силу своей свободы может достичь той полноты, которая на уровне природы достигается сама собой. Следовательно, необходимо постоянное и все более глубокое понимание. Не существует никакого другого средства, никакой иной надежды, никакого иного спасения. Мужчина настолько обладает женщиной, насколько глубоко он ее понимает; точно так же лишь от достигнутой человеком духовной глубины зависит то, будет ли он обладать завоеванным им внешним материальным миром или, как сегодня, останется им захваченным. Однако этого недостаточно. Чем больше возможностей, тем больше опасностей. Современное состояние Америки доказывает, какой страшный суд ждет тех, кто не обладает пониманием. Если человеку не удастся преобразовать мировую эпоху, в течение которой он покори́л природу, в ступень лестницы, ведущей наверх, к миру духа, тогда то, что сегодня выглядит как прогресс, превратится в падение, и на этот раз не в Первое, а в его Последнее Падение. Ведь если материальный мир завоеван, а дух побежден — что же еще может произойти?.. Чем более всемогущей кажется материя, тем более важен дух. Окончательная победа лишенной духа материи означает абсолютную смерть. Ибо в конечном счете человек есть не что иное, как дух.

ТРУДЫ ГРАФА ГЕРМАННА КАЙЗЕРЛИНГА

СТРОЕНИЕ МИРА (написан в 1904 — 1905 гг.)

Хьюстон Стюарт Чемберлен писал при выходе в свет этой книги: «Всякий раз, читая эту книгу молодого автора, я смеюсь смехом светлой радости».

БЕССМЕРТИЕ (написан в 1906 — 1907 гг.)

Р. В. Индж, настоятель собора святого Павла: «Лучшая из известных мне книг о бессмертии».

Профессор Иоганнес Райнке, Киль: «Самая значительная философская работа о бессмертии, которой мы располагаем».

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК ФИЛОСОФА (написан в 1911 — 1918 гг.)

Рабиндранат Тагор: «Это высшее, чего может достичь человек, осваивая вселенную, чтобы повсюду находить свое место».

ФИЛОСОФИЯ КАК ИСКУССТВО (написан в 1919 г.)

Герман Бар: «Свобода, непосредственность и бесстрашие мысли прекрасно сочетаются у Кайзерлинга с легкостью и тонкостью чувства, а взгляд естествоиспытателя, от которого он никогда не отказывается, ведом метафизическим смыслом».

ТВОРЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ (написан в 1921 г.)

Пауль Дальке: «Кайзерлинг, как Будда, превращает мышление в действительность. Чем же объясняется, что Будда использует эту грамматику, чтобы возвестить неслыханную доселе весть о совершенном прекращении бытия, а Кайзерлинг — чтобы создать всемирную картину будущего человечества, которое в своем роде является столь же неслыханным, как и буддизм, гигантским предприятием, истинной прометеадой?»

ВОЗРОЖДЕНИЕ (написан в 1926 г.)

Профессор Ганс Мух: «Мне кажется, что проблема добра и зла с ее посю- и потусторонностью, с ее полярностью и неразрешимостью впервые сформулирована так точно».

НОВЫЙ МИР (написан в 1924 г.)

Гленн Фрэнк, президент университета г. Мэдисон, Висконсин, США: «Кайзерлинг может оказаться вторым Иоанном Крестителем западной цивилизации».

ЛЮДИ КАК СИМВОЛЫ (написан в 1925 г.)

Анри Бергсон: «"Шопенгауэр как искажитель" — шедевр анализа».

Рудольф Касснер: «Я считаю эссе "Иисус-маг" в книге „Люди как символы« лучшим из всего написанного Кайзерлингом. Знаменательным и значительным у него является сочетание чудовищного в своей чудовищности даже какого-то ненемецкого темперамента с очень большим, превосходным, совершенно исключительным рассудком».

КНИГА О БРАКЕ (создана совместно с 24 соавторами в 1925 г.)

Эльзе Фробениус: «Эта книга подобна тонко отшлифованному бриллианту, играющему богатством цветов и оттенков. То, что такой человек, как Кайзерлинг, в наше сумбурное время взывает к форме, можно расценить как симптом новой воли к преобразованию и сознания ответственности».

СПЕКТР ЕВРОПЫ (написан в 1927 г.)

Гуго фон Гофмансталь: «Действительно исключительная книга, поскольку она с такой большой точностью и при этом с такой внутренней свободой и легкостью рассматривает вещи исключительной важности, которые до сих пор понимаются весьма смутно и неопределенно, как может их рассматривать только чрезвычайно значительный и зрелый человек. Это не шутка — держать свой ум одновременно и напряженным, и расслабленным, пред-

лагать читателю столь значительное содержание и при овладении столь важной темой — а это действительно овладение — с такой грацией апеллировать к его чувству юмора».

Доктор К. Г. Юнг: «Кайзерлинг — это феномен, для оценки которого требуется чрезвычайное внимание и осмотрительность. Здесь ни в коем случае нельзя выносить каких-либо окончательных суждений: этот феномен включает в себя слишком многое. Его попытка взглянуть на Европу с высоты птичьего полета заслуживает очень высокой оценки. Тот факт, что Кайзерлинг вызвал такую неприязненную реакцию в Швейцарии, никоим образом не доказывает его неправоту, а лишь подтверждает, что выстрел попал в цель».

Николай Бердяев: «Совершенно далекий от какой-либо абстрактной философии, Кайзерлинг дает в этой книге в полной мере свойственную ему философию конкретной формы».

МЕЖДУ СОЗЕРЦАТЕЛЬНОСТЬЮ И АКТИВИЗМОМ

Жизнь и труды графа Германна Кайзерлинга

Настоящая статья, сопровождающая издание перевода книги Германна Кайзерлинга «Америка. Заря нового мира», имеет целью представить русскому читателю некоторые сведения об этом мыслителе, ему совершенно неизвестном. Впрочем, специалисты и дотошные любители биографических редкостей могут найти первичную информацию о нем в нескольких философских справочных изданиях, в которых внятыми будут только указания, что по философским воззрениям Германна Кайзерлинга следует отнести к представителям философии жизни – философского течения весьма известного на рубеже XIX и XX столетий.¹ И еще несколько библиографических подсказок.

Когда, по окончании гражданской войны, возникла возможность восстановить культурные и научные связи с Европой и в Россию проникли первые сведения о философских проблемах, которыми стал жить западный интеллектуальный мир, а также о философах, признанных властителями дум послевоенного мира, то среди них оказались идеи и имя Германна Кайзерлинга. Хотя ко времени, когда его осенила слава, он уже был автором нескольких книг, для Германии и Европы он предстал прежде всего как автор книги «Путевой дневник философа».² После нее Кайзерлинг издал еще не менее десятка других сочинений, но в сознании большинства любителей интеллектуального чтения так и остался автором только «философского дневника». Путевой дневник возник из впечатлений от предпринятого Кайзерлингом в 1911-1912 годах кругосветного путешествия. Своеобразие книги определилось тем, что туристические впечатления рождались не в сознании томящегося бездельем и скукой путешественника, решившего развлечь и оживить свои притупившиеся чувства острыми переживаниями необычных приключений, которые должен был предоставить экзотический мир нецивилизованного человечества, – странствия такого сорта стали обычным явлением с конца XIX века³, – а возбуждали ум пытливого и проницательного мыслителя, умевшего за пестротой повседневности удивительного мира неевропейских

народов усмотреть подпочвенные корни и основание, — *Urgrund* — на котором упрочились и выросли совершенно особые культуры, не менее фундаментальные, чем европейская, но помещающие человека в жизненные проекции, не ведущие к саморазрушительным перспективам, подобным тем, на которые обрек себя западный мир. Книга вышла в свет в 1919 году и неожиданно обрела известность, почти равную той, которую стяжал трактат О. Шпенглера «Закат Европы». После появления этих книг стало ясно, что невозможна никакая культурфилософия, игнорирующая «ориентальный параметр» истории человечества.

Философский журнал «Мысль» едва ли не первым знакомит русского читателя с именем этого философа и его сочинением в рецензионной заметке в 1922 году — знакомство явно, недостаточное и запоздалое.⁴ Но в различного рода мемуарных источниках имеются сведения о том, что философские идеи Кайзерлинга, вытекающие из этого сочинения, были предметом интенсивного обдумывания и обсуждения в интеллектуальных кружках обеих столиц, они занимали А. Белого, М.И. Кагана, Н.И. Конрада. Совершенно определенно известно, что эта книга обсуждалась в «невельском кружке» М. Бахтина.

Мы приводим эти факты, чтобы засвидетельствовать живое восприятие русскими мыслителями интеллектуальной новинки немецкой философии, относящейся тематически к той сфере представлений о судьбах культуры и путях развития человечества, которые, как известно, почти безраздельно поглотили русскую социальную мысль начала XX столетия. Признание Кайзерлингом Востока как особой ценности и культурфилософское обоснование его продуктивной специфичности тем более было близко отечественным мыслителям.

Свидетельством еще одной русской рефлексии на Кайзерлинга служит публикация фрагмента его упомянутой книги в антологии «Современная немецкая мысль», изданной в Дрездене русским эмигрантским издательством «Восток» в 1921 году. Но фрагмент столь мал, что не дает представления ни о философии Кайзерлинга, ни о стилистическом своеобразии его книги. Вот, пожалуй, и все, что составляет к сегодняшнему дню «русскую Кайзерлингиану»; которую, собственно, и принимать во внимание едва ли стоит из-за ее ничтожности. Но вот что удивительно. Вопреки полной неосведомленности о существовании взглядов Кайзерлинга, его поли-

тической позиции и жизненной судьбе много позже, в послевоенном идеологическом сознании тем не менее у нас утвердилось невятное представление о нем, как не то предтече, не то выразителе каких-то «фашиствующих» идей. Возможно это, стало причиной полного исключения его философии из компендиумов по общественной мысли XX столетия.

Таким образом, изданием одного из основополагающих в творчестве этого мыслителя труда, для русского читателя открывается не только незаслуженно неизвестный ему философский писатель прошлого века, но и интеллектуальный мир оригинального мыслителя⁵. Отличительной особенностью этого мира является поразительная современность, которой отмечена структура мыслей, композиция дискурса и понятийный язык, хотя сочинения, в которых он был изложен, появились более семидесяти лет назад. Но обратимся, наконец, к их автору.

Германн Александр Кайзерлинг – потомок старинного дворянского рода, одна из ветвей которого издревле укоренилась на балтийских землях в процессе их завоевания Тевтонским орденом и последующей германизации. Ее родоначальником считается некий рыцарь Германн Кезелингк, принятый на службу ордена его магистром, знаменитым Вальтером фон Плеттенбергом. За свою службу он получил поместья в Курляндии, а его потомки – почетные звания и дворянские титулы. Укоренение в прибалтийских провинциях разветвляющегося рода с неизбежностью предопределяло возникновение российских контактов и связей. И действительно, с XVIII столетия мы встречаем Кайзерлингов не только в качестве обычных подданных российской короны, но и как весьма деятельных людей на русской службе. Здесь уместно указать на рейхсграфа Германна Карла Кайзерлинга (1696-1764), состоявшего русским посланником при ряде германских и австрийском дворах, а также президентом Петербургской академии наук. В этих должностях с ним находился в служебных отношениях, и не очень простых, М.В. Ломоносов. Впрочем, рейхсграф слыл покровителем наук и искусств и ему приписаны на этом поприще некоторые заслуги. Он проявил себя покровителем Баха, посвятившего ему одно из своих музыкальных сочинений.⁶

Имя следующего Кайзерлинга – Генриха Христиана – связано с И.Кантом. Последний входил в состав ближайших друзей дома просвещенного графа, вместе с супругой державшего в Кенигс-

берге философский и литературно-музыкальный салон. Графиня была неплохой рисовальщицей и упражнялась на зарисовках портретов своих гостей, благодаря чему мы имеем единственный портрет юного Канта.⁷ Возможно, с этого времени в семье Кайзерлингов установилось почитание философии, и особенно Канта. Впрочем, с неким другим представителем этого рода связан не очень привлекательный курьез, затрагивающий другого великого философа, а именно Гегеля. Он описан Куно Фишером. Некий Германн (!) фон Кайзерлинг, состоявший приват-доцентом Берлинского университета в бытность в нем Гегеля, в борьбе за профессуру воздвиг против последнего обвинения, уличая философию своего конкурента в безбожном направлении – в пантеизме. Университет, к своей чести, смог отстоять Гегеля, хотя в свете современного понимания духа философской системы великого философа обвинение не такое уж беспочвенное.⁸

Как бы то ни было, но философские пристрастия стали родовым свойством Кайзерлингов и не раз появлялись у последующих носителей этой фамилии, вполне выявившись в деятельности нашего философа.

Следующим достойным упоминания Кайзерлингом является дед философа и потомок упомянутого покровителя и последователя И. Канта – Александр Фридрих Михаил Леберехт Николаус Артур Кайзерлинг, именовавшийся в русских кругах графом Александром Александровичем фон Кайзерлингом.⁹ Он и ныне достоин внимания русского человека, хотя имя А.А. Кайзерлинга пребывает в забвении. Он родился в 1815г. в родовом поместье. Отец его, будучи поклонником Канта, решил применить для воспитания отпрыска принципы кантовской моральной философии и педагогики. Он и сам стал его главным учителем и ориентировался на классическое образование. Но глубокое и усердное изучение греко-латинской литературы и философии в подлинниках не убило главного – созерцательного интереса к природе и естествознанию. Занятия музыкой и физическими упражнениями вселили в очевидцев педагогического эксперимента уверенность, что формируется гармоническая личность. Как бы то ни было, это был действительно недюжинный человек. В 1833 г. юноша поступает в Берлинский университет, сначала на правоведение, затем на естественный факультет. Предметом его основного интереса стали зоология, геология и минералогия. Уже студентом он заводит важ-

ные и перспективные знакомства с учеными, а среди студентов в качестве друга сходится между прочим с Отто Бисмарком, будущим творцом Германской империи и знаменитым «железным канцлером». Он находится в той научной среде, где вызревали и утверждались новые революционные открытия и идеи естествознания, в частности, эволюционная теория (К. Бэр), учение о клетке (Т. Шванн). За научной деятельностью молодого Кайзерлинга следили Александр фон Гумбольдт и один из отцов немецкой геологии Леопольд фон Бух. Дружба же с Бисмарком оказалась не только устойчивой, но и привела к породнению их внуков: Германн женился на внучке Бисмарка Гёделе Бисмарк-Шёнхауз. Вместе с зоологом Блазиусом еще будучи студентом он издал двухтомный труд по систематике беспозвоночных на основе изучения ископаемых организмов в отложениях горных пород Карпат. К этому времени в России начинаются исследования по обнаружению и учету ее естественных ресурсов и их статистическому описанию, инициированные министром финансов графом Е.Ф. Канкриным. Готовятся экспедиции во «внутренние губернии» империи и начинается подбор специалистов. Весной 1840 года сопровождаемый благожелательными рекомендациями А. Кайзерлинг появляется в столице страны, подданным которой он являлся. Так начинается важнейший период в научной деятельности ученого, отмеченный крупными научными и практическими результатами, и вместе с этим — интересная и малоизученная страница истории отечественной геологии. Мы так подробно останавливаемся на этой личности не только из желания обратить внимания на ее заслуги перед Россией, но и ввиду огромного значения образа деда на все творчество и мирозерцание философа Г. Кайзерлинга, которое последним вполне осознавалось.

В Петербурге молодой геолог усердно занимается в коллекциях Зоологического музея и в минералогических кабинетах нынешнего Горного института. Именно в это время устанавливаются прочные связи с «русским Гумбольдтом» — К. Бэром, которому позже он посвятил ряд исследований-характеристик. Изучает неизвестный ему русский язык и входит в петербургское общество (В.Ф. Одоевский). К концу 1840 года А. Кайзерлинг побывал в Архангельске и Москве обследовал Тульскую и Калужскую губернии. Участвует в изучении Смоленской и Могилевской губерний, посещает Киев и Чернигов, затем Полтавскую и Харьковскую гу-

бернии, описывая угольные залежи на предмет их промышленного использования. Итоги были очень обнадеживающие, и Канкрин приближает к себе энергичного молодого ученого. Спустя некоторое время тот посватался к дочери министра и получил согласие. В следующем 1841 г. Канкрин организует крупную геологическую экспедицию для обследования северных провинций европейской России. В нее вошли и европейское научное светило английский геолог Родерик Мурчисон и молодой горный инженер Н.И. Кокшаров, позднее знаменитый русский геолог, академик и директор Горного института. Экспедиция обследовала Урал, районы Перми, Казани, Симбирска (до Царицына и Уральска). Гигантский материал обрабатывался участниками экспедиции в Лондоне и Париже, куда выезжает и А. Кайзерлинг. Ему поручается закупка и доставка минералогических коллекций для пополнения собрания Горного музея в Петербурге. Делаются предложения читать лекции в Горном институте, от чего он отказывается ввиду слабого владения русским. Но известность и общественное положение молодого и перспективного ученого укрепляются. Он входит в лучшие дома Петербурга и принят при Дворе. Он уже бесспорный ученый авторитет и его широко знают в Европе. Неутомимый исследователь предпринимает еще одну экспедицию. В мае 1843 г. он отправился в район Печоры, Северной Двины и Северного Урала. За лето он провел геологическое исследование почти неизвестного в географическом отношении Печорского края, изучил его угольные месторождения, открыл Тиманские горы и указал на нефтеносность Архангельской области. Материал был получен огромный. В экспедиции его сопровождал сын знаменитого адмирала – Павел Крузенштерн. Даже в 1890 г. академики А.П. Карпинский и Ф.Н. Чернышев свидетельствовали о сохраняющейся ценности результатов экспедиций, и в беседе с А. Кайзерлингом подчеркнули, что прогнозы уральской 1841 и печорской 1843 годов экспедиций блестяще подтвердились. В 1845 г. в Англии вышел огромный двухтомный труд, подведший итоги экспедиций «Геология России в Европе и Уральских гор». Кайзерлинг его рассматривал как «долголетнюю прочную основу русской геогнозии».¹⁰ Можно предположить, что крупные геологические экспедиции, организованные при поддержке Е.Ф. Канкрина с участием крупных европейских геологов оказались прекрасной школой для становящейся науки в России и развития горного дела. Их отличала не столько академи-

ческая направленность, сколько ориентация на практическое использование добытых результатов. В жизни А. Кайзерлинга это тоже оказалось неповторимым временем. Женившись, он отказывается от научной карьеры, от почетных должностей в Академии наук и от профессуры в Горном институте и посвящает себя хозяйственным и семейным заботам, удалившись из столицы в свои прибалтийские поместья. Огромная работоспособность, широкая образованность, соединенные с высокими моральными достоинствами и культурой, обеспечили ему почет и авторитет среди курляндского дворянства и общества. В 1862 он принимает должность куратора Дерптского университета, оставив ее в 1869 г. ввиду трений с петербургским чиновным миром. За ним числится определенное литературное наследство, из которого можно почерпнуть представления о его моральных принципах, философском и религиозном миросозерцании. Не имея возможности развить эту тему, отметим только, что он оставался вполне в русле рационализма, типичного для естествознания XIX столетия. Был чужд мистике и религиозно-экстатических наклонностей. В целом оставался вполне в русле кантовской метафизики и критицизма, хотя и не разделял представления о субъективной природе пространственно-временных форм бытия.¹¹ Человек обличен моральным долгом относительно окружающих и зависящих от него, и в этом он ответственен не столько перед Богом, сколько перед самим собой. И эта ответственность составляет основу его внутреннего мира. Восхищался как государственным деятелем Е.Ф. Канкриным и человеческими качествами, соединенными с великими научными добродетелями и трудами Карла Бэра¹², эволюционное учение которого не только разделял, но и сам имел заслуги в его научном обосновании. Скончался в своем имении в мае 1891 года. Еще в молодости он мечтал о далеких странах, Китае, планировал совершить кругосветное путешествие. Возможно, эта мысль как жизненная установка перешла к его впечатлительному внуку, перенявшему от деда, особенно в молодые годы, ряд фундаментальных жизненных установок. Внук внимательно отнесся и к родословию. Повышенный интерес к нему определялся, как можно было бы предположить, не традиционным любованием знаменитыми предками и древностью рода, а стремлением обнаружить первооснования своей духовной сущности и зависящие от нее границы творческого самоопределения – *schöpferische Sinngebung*. Эта установка полу-

чит позже выражение в учении о поляризовании как способе духовного самообретения и развития. Через Канкрин по женской линии Германн Кайзерлинг возводил свою родословную до потомков Чингис-хана, в то время как через свою мать, по линии Унгерны Икскуль, он предполагал себя наследником не больше и не меньше как первых Рюриков.

Память о путешествиях А. Кайзерлинга продолжала жить многие десятилетия в сознании жителей Европейского Севера. Но в целом сам путешественник остался духовно чужд русской культуре, хотя ценил ее достижения и особенно литературу.

Отец Германа, Лео Кайзерлинг, не походил на своего отца. Именно в нем ярче всего проявились черты, относимые к типу большого русского барина. Он родился в 1849 году и получил блестящее образование, обучаясь в Берлинском университете у Т. Моммзена. Лео по семейной традиции был приверженцем моральной философии И. Канта, но жил не всегда по ее предписаниям. От своей матери, дочери Е.Ф. Канкрин, он унаследовал многие русские привычки и манеры жизни. Более всех Кайзерлингов чувствовал себя своим в среде русских, тем более, по имеющимся сведениям, был крещен в православии. В унаследованных от отца имениях Кённо и Райкюль организовал образцовое хозяйство, но практическими вопросами тяготился, передоверив их весьма деятельной супруге. Это была практичная особа, видимо с нешироким умственным кругозором и ограниченными духовными интересами, но с характером, не лишенным своеобразия. Смерть мужа в 1895 году ее потрясла. Потеря предмета ее каждодневных забот и попечения непроизвольно побудила искать ему заместителя. И она со всей энергией перенесла ее на одного молодого человека, студента, состоявшего домашним учителем ее детей. Постепенно возникла глубокая привязанность, завершившаяся их браком. Но семья разрушилась. Дети не приняли этот мезальянс. Сын находился с матерью в напряженных отношениях, особенно после того как она легализовала свои отношения с молодым человеком. Давление среды вынудило ее покинуть Эстонию и переехать с новым мужем в Швейцарию, где, по имеющимся сведениям, она включилась в общественную деятельность, став поборницей женского равноправия.

Внутрисемейные отношения также стали одним из источников культурфилософских размышлений и проблематики в воззре-

ниях Г. Кайзерлинга и нашли отражение как в биографических интроспекциях, так и в стремлении развить особое учение о браке, как совершенном единстве двух духовных персон, содействующем гармонизации жизни и духовному росту его сторон. Такому браку предшествует ряд условий, выявить которые и представить в виде ясно осознаваемых предпосылок и целевых действий он попытался в философских эссе, вошедших в «Книгу о браке».¹³ В духе такого понимания брака, он отрицает установку на его инстинктивную природу, следование которой, по традиционной точке зрения этнологов, якобы предпочтительнее для сохранения его сущности, чем облачение в культурные формы. Одной из них является истинное понимание личности, ее структуры. В духе такого понимания брака, он отрицает установку на его инстинктивную природу, следование которой якобы предпочтительнее для сохранения его сущности, чем облачение в культурные формы. Ряд идей, находимых в учении Кайзерлинга, позволяют видеть в нем мыслителя близкого к тому движению мысли, которое в XX столетии получило именование «космизм»: «Человек есть не только единичная личность, но есть прежде всего родовая сущность, социальное существо, часть космоса». «Сверхиндивидуальное предшествует индивидуальному, и в этом заключается корень всякой этики...». «Реальность космического человечества как предпосылка духовной личности», — так Кайзерлинг, совершенно по-новому осмысливает проблему бессмертия, наполнив ее осязательным смыслом и оптимистическим реализмом. Духовный опыт, извлеченный из драмы конкретной семейной жизни, участником которой он невольно стал, трансформировался в элемент общего учения об обновлении человечества «в духе». Этот опыт лег в основание философской педагогики «Школы мудрости».

Но в личном плане разрыв отношений с матерью на долгие годы, уязвленный аристократизм, сознание краха семейных традиций и единства рода, олицетворенного в деде, образ которого утвердился в сознании Германна Кайзерлинга как символ и образец человека фамильного типа привел к несколько иным результатам. Он обострил чувство индивидуности, желания вести жизнь независимую от любых личностных отношений и не подчиняющуюся общепринятым требованиям семейного долга, в жертву которому обычно приносится духовное саморазвитие личности. В нем развилось определенное нерасположение к кровному род-

ству, требующему отяготительных демонстраций родовой солидарности и поддержки. Он предпочитал вести жизнь в духовном сосредоточении, что находилось во внешнем противоречии с той интенсивностью контактов, частой переменой мест, которыми отмечена была его первая половина жизни.

Достоин упоминания еще один представитель рода Кайзерлингов, значимый и сам по себе, и по известному влиянию на философа. Это Эдуард Кайзерлинг, известный немецкий писатель-новеллист, скончавшийся в 1918 году, дядя философа. Он вел жизнь с явно выраженной богемностью, не чванясь своим аристократическим происхождением, в отношении к которому, как и к окружению, он был преисполнен скепсиса и злой иронии. Большую часть жизни он провел в Мюнхене, где и умер. Она была наполнена страданиями, вызванными физической немощью и постигшей его в старости слепотой. Но все это только содействовало укреплению в нем мужественности и духовной непреклонности, неприязни ко всякого рода проявлению авторитарности. В художественной среде последнее проявлялось нередко в виде формирования вокруг некоторых художественных деятелей с явно выраженной установкой на доминацию группы почитателей и последователей, безоговорочно следующих эстетическому вождизму лидера, вплоть до безграничной личной преданности и служения. Таковым был наиболее типичный для эпохи модернизма поэтический кружок, сплотившийся вокруг Стефана Георге, с которым Эдуард Кайзерлинг был близок. В нем утвердился культ этого поэта, закреплённый сложным ритуалом общения членов кружка, с безоговорочным принятием художественной программы поэта, как жизнеорганизующим стилем отношений. Впрочем, Эдуард Кайзерлинг не смог принять эту манеру, находил ее разрушительной для художника и выглядящей чем-то неестественным с точки зрения понимания свободы как предпосылки творчества.¹⁴

Германн Кайзерлинг родился 20 июля 1880 года в имении родителей Кённо в Эстонии. Оно было размещено в лесистой местности среди небольших полей – типичного эстонского ландшафта. После смерти деда семья перебирается в более благоустроенное имение Райкюль, перешедшее по наследству к отцу философа. Именно здесь и произошла описанная выше семейная драма. Безмятежная жизнь среди природы, оправлявшей воспитательную деятельность отца, которая, впрочем, не отягощала детей, закон-

чилась с его кончиной (1895). Через полгода после нее, выполняя желание отца, Германн поступает в гимназию ближайшего города Пярну. Отец хотел, чтобы сын, находясь в публичной школе, вошел в обычную среду и приобщился к требованиям жизни. Но то, что заложено было в юноше и дало ростки под влиянием домашнего образования, явно дисгармонировало с нравами гимназической жизни. Юноша рано проявил склонность к созерцательности и чтению несвойственной его возрасту литературы. Уже в 17 лет мы находим его за чтением философских авторов, мистиков и оккультистов. Таковым, в частности, оказался К. Дюпрель, автор популярного в то время труда «Философия мистики», трактовавшего бессмертие. Теорию отбора Дарвина он применил не больше и не меньше как к объяснению происхождения Вселенной и ее законов. Кайзерлинга захватывает спиритуализм учения Дюпреля, и он начинает размышлять о духе как силе, движущей развитием и человечества и Земли, как о космической сущности. Он строит идею некоей «науки о тайне», призванной обнаружить те законы, которым подчинена деятельность духа, ибо ничто не произвольно. Таким образом, уже первый духовный опыт Кайзерлинга ввел его в мир оккультных проблем, интерес к которым он сохранил навсегда. Гимназию он закончил два года спустя. Началась пора самостоятельной жизни. Сказывается влияние примера деда. Свою жизнь Германн решает продолжить, сочетая образование и путешествия.

Первоначальное его решение состояло в выборе продолжить учебу в европейском университете. Он пал на Женеву и на естественный факультет. С энтузиазмом он приступает к изучению физики, химии, биологии, геологии. Но вскоре обнаруживается несоответствие между структурой личности, типом воображения юноши и сделанным им выбором. Точные науки наводят на него скуку. И только геология еще привлекает, и то в части экспедиционной практики и экскурсий. Проведя год в Женеве, он возвращается домой и записывается в Дерптский университет. Это был краткий период, когда среда и витальные инстинкты на короткое время овладели его существом. Он вступает в студенческую корпорацию и начинает жить по законам студенческого сообщества. Внешне ничего не предвещало в нем человека духа. Он сам неоднократно отмечал, что его рост, внешность, комплекция выдавали в нем скорее «человека силы», живущего побуждениями чувства и фи-

зиологическими потребностями. Так он проводит почти два года, которые позже считал самыми бездуховными в своей жизни. Они венчаются вздорной дуэлью, едва не стоившей ему жизни. Но это было и событием, заставившем его пересмотреть всю свою прежнюю жизнь. Великие предки рода язвили его укоризненным примером своей возвышенной жизни. Ему оставалось только внять внутреннему порыву к духовности, осознать, что его интеллект должен стать определяющей силой в жизни. Обо всем этом он рассказал много позже в книге о личной жизни «Путешествие сквозь время». Настала пора делать из себя «человека духа». Именно к периоду болезни относится его первое соприкосновение с весьма необычным интеллектом, с Хаустоном Стюартом Чемберленом, через его сочинения, главное из которых знаменитые «Основания девятнадцатого столетия». Но вначале чтение не производит эффекта, оно скорее дань моде, вспыхнувшей после выхода в свет этого трактата, трактующего о культурной сущности человечества и его исторической перспективе.¹⁵ Позже произойдет и роковая личная встреча, переменившая мирозерцание Г. Кайзерлинга. А пока он решает продолжить учебу и избирает для этого знаменитый немецкий университет в Гейдельберге, который находился в очередном зените своей славы.

Снова выбор остановлен на геологии, хотя ему самому становится ясным его неправильность. По сути дела идет испытание воли. Тем не менее годы в Гейдельберге – это и время прикосновения к философии. И вновь неудачное. Опять сказалась роковая сила семейной традиции. Он принялся за «научную философию» и за исток всего ее содержания, за кантову «Критику чистого разума». В юноше пылало пламя, в котором оформлялось и закалялось новое духовное устремление, не видящее себе места в научно-критических традициях девятнадцатого века, в его положительной науке, в духе здоровой рассудительности и привычке видеть мир в свете улучшающего все эволюционного прогресса. Заземленный утилитаризм как залог здоровой жизни и благополучия явно оказывался непривлекательной базой для построения нового и более возвышенного представления о человеке. Кайзерлинга не привлекают кумиры отходящего столетия. Невольно он тянется к людям иной духовной формации, например, к Якобу Иксюлю – биологу и натурфилософу с необычной теорией организма и целостности. Короткая поездка во Флоренцию в сопровождении

Г. Тоде, специалиста в области истории искусств, пробуждает в нем эстетические чувства и острый интерес к искусству. Позже созданная Кайзерлингом теория художественного впишется в общую трактовку философии, жизни и мира. Оказалось, что женой Г. Тоде была дочь Козимы Вагнер – второй жены великого композитора. Музыкальность – как не вспомнить! – тоже была элементом наследственного пристрастия, и она не замедлила обнаружиться в молодом человеке. Фрау Даниела Тоде привела его к музыке Вагнера и кругу ее почитателей. Столица вагнерианцев Байрейт и властвовавшая там Козима Вагнер входят в духовный опыт Кайзерлинга, начав незаметно свою преобразующую деятельность. Вагнерианцем он не стал, но с хозяйкой байрейтского окружения был в тесном общении и интенсивной переписке. Но, видимо, сказался дух протеста и инстинкт самозащиты от подавляющего влияния, не позволившие ему сделаться ее слепым почитателем. Он уловил в ее роли что-то ненатуральное, поддерживаемое только усилием и натужностью.

Мы ясно видим, как юноша ищет ориентирующих образцов, которые не в состоянии предоставить родовая традиция для жизни в новом мире. И он исподволь начинает полагаться на собственную волю к саморазвитию.

Но ему все же предстояло испытать на себе влияние образца и силу обаяния духовной личности. Снова в его руках оказывается книга Чемберлена. Но читать ее начинает уже человек, переживший новые страсти, человек, в котором возникло эстетическое чувство и в котором сформировались первые принципы духовной личности, которым предстояло вырасти в кристалл, именуемый Германн Кайзерлинг и его философия. В нем возникла жажда встретиться с самим автором этого необычного трактата. «Впечатление было мощным, – вспоминал более двадцати лет спустя сам Кайзерлинг. – Мне сразу стало ясно, что если бы я встретил человека, написавшего это, я бы понял, что встретил то, ради чего я нахожусь на земле». Ведь неясность ответа на этот величайший экзистенциальный вопрос и составляла сердцевину сомнений и причину его метаний.

Не рассуждая долго, он решает оставить Гейдельберг и переехать в Вену, туда, где с 1889 года обосновался один из властителей дум Европы конца XIX столетия. Это было особенное время в культурной истории Европы. Его главным мотивом стал бунт во

всех сферах духовной и умственной жизни, бунт против господствующих форм мышления, научной и художественной жизни, борьба за новые ценности и цели человеческих стремлений, восстание против парализующей волю убежденности в естественную детерминацию всех мировых отношений и событий, включая сферу духа, поставленную в зависимость от физико-физиологических процессов. Старая философия твердила, что истина одна и едина и к ней неуклонно движется человечество во всех своих усилиях. Она лежит вне человека, он ей только служит, ибо сфера ее бытия – мир за пределами человеческих чувствований и рассуждений. Он тоже может и должен быть понят и описан одним-единственным способом, ибо он – один, пребывающий в себе, и раскрывается лишь познающему разуму. Упорядоченность жизни по единым предписаниям, нормам, правам и ценностям представлялась точно такой же аксиомой, как и то, что в мире природы царствуют одни и те же законы. И если в реальности мы еще имеем дело с различиями, то разум, польза и соображения удобства позаботятся об их сглаживании. Такова в крайне схематическом представлении система воззрений, ставших итогом XIX столетия, и против которых возник протест, имя которому модернизм. Раньше всего он проявился в художественной сфере и литературе и надолго обрек себя на отождествление со стилем и этапом художественно-эстетического развития европейской культуры. Но то, что утвердилось дерзко в искусстве, более сложно проявилось и в других сферах общества, обнаружив эпохальный смысл модернизма. Отошлем читателя за более подробной характеристикой модернизма к нашему исследованию¹⁶, сейчас же заметим, что провозвестниками его и создателями принципов, на которых утвердился новый тип мышления, были философы А. Шопенгауэр и Ф. Ницше; в той мере, в какой дух бунта, призыв к преображению мира и творению «нового человека», свойственные философии модернизма, представлены в учении Маркса, он тоже может быть признан его предтечей. К первому поколению, несших прометеев огонь нового мирозерцания и ценностей, принадлежали и люди теперь основательно забытые, знание о которых почиет в толстых энциклопедиях и сводных компендиумах, в которые не решается заглянуть ныне не слишком пытливый ум. Они признаны чем-то вроде духовных маргиналов, стоявших на обочинах основного интеллектуального течения культуры, и на них нередко возлагают ответ-

ственность за издержки экстравагантности модернистского бунта, за его непредсказуемую разрушительность, в которой дискредитировались прекрасные призывы и возвышенные цели. Модернизм – сложная эпоха и явление. Расчистив дорогу индивидуализму, признав и оправдав первенство творчества, героизма, подвига и самоотречения, возвысив дело преображения мира до высоты смысла человеческой жизни, он вместе с тем поставил мир человека перед риском авантюры. Героизм подменился насилием, сила воли духа – господством и террором государства. Чудовищные катастрофы гуманизма прошлого столетия в чем-то были предопределены «новым гуманизмом» эпохи модернизма и лежат на его ответственности.

Таковыми провозвестниками будущих философов, которыми жил XX век, были Х.С. Чемберлен, Р. Вагнер, Л. Клагес, Р. Касснер, Й. Стржиговский. Мы ограничим перечень философов культуры первого поколения этими именами хотя бы потому, что и они неведомы нашему читателю. Оговоримся, что речь идет о мыслителях, многие из них являются первостепенными величинами и в свое время имели немалый успех и влияние. Оно в скрытом виде сохранилось в духе и структуре культуры всего XX столетия и едва ли покинуло ее и сейчас.

Конечно, Х.С. Чемберлен (1855-1927) не может быть назван по качеству своих теорий мыслителем первого разряда. Но его влияние определилось не этим. Он не только почуял свежий ветер наступающих культурных перемен, подставив под них свой парус, но сам одним из первых дал выражение тому, что в некоторых социальных и культурных сферах стало знаменем их устремлений. Англичанин по рождению, он признал своей духовной родиной Германию, а тип психики, строй менталитета и язык этой нации как высшее проявление человеческого духа в Европе. На них покоится самая совершенная германская цивилизация, явившаяся возрождением той творческой потенции, носителем которой изначально была раса ариев. Именно развитие этих идей составило смысл всего его творчества. В нем расовая определенность качества культуры и построение теории культурной предпочтительности на основе расовых преимуществ нашли свое классическое выражение. Связь их с расизмом XX века, в том числе национал-социализмом, не подвергается сомнению и закреплена некоторыми биографическими фактами из жизни Х.С. Чемберлена. Но в

90-е годы XIX столетия он представлял пророком новой культуры и вождем нового духовного течения. В сфере его интересов были натурфилософия, религиозные и исторические проблемы. Знакомство с творчеством Вагнера превратило его в экзальтированного поклонника его музыки.

Увлечение Вагнером сродни тому, которое овладело в свое время и Ницше, завершилось тем, что Чемберлен признал его не только величайшим композитором и поэтом, но и провидцем путей развития человечества, способным повести его к лучшей будущности. Ежегодные паломничества в Байреит завершились полным переселением туда. Уже в почтенном возрасте в 1908 г. он даже женится вторым браком на Еве, дочери жены своего кумира. Свои мысли о Вагнере не столько музыкального свойства, сколько социально-философского он изложил в соответствующем сочинении, но они присутствуют и в интенсивной переписке с Козимой Вагнер, неоднократно опубликованной и приобретшей публичный характер.¹⁷

В немецкой философии он остановил свой взор на Канте, но и Кант нужен был ему только как некая философская подпорка в его устремлениях проникнуть в глубинные тайны бытия как жизни.¹⁸ Свою главную цель Чемберлен видел в том, чтобы указать народам западного мира пути духовного обновления. В последствии, в более широкой постановке, охватывающей все человечество, эта идея захватит и Г. Кайзерлинга. Особое значение в этом великом деле возрождения в глазах Чемберлена приобрела Индия. Конечно, не Индия как конкретно-историческое явление, а как некий образ, идеал, возникший в воображении культур-философа, охваченного мессианскими устремлениями и только ищущего для своего выражения конкретный культурный материал. Для Чемберлена им оказался не столько непосредственно культурный мир Индии, сколько некий духовный комплекс, названный им «арийское мировоззрение», корни и первое творческое обнаружение которого он увидел в древней Индии.¹⁹ Именно через приобщение к арийскому мировоззрению, создателями и носителями которого были арии, некий древней народ, спустившийся с Гималайских гор в долины индийских рек и затем растекшийся по просторам Европы, состоится обновление европейского человека. Нынешнее состояние Европы плачевно, и тенденция ее культурных процессов вызывает тревогу. В основе их лежит наука. Но это не животворящая сила, а как раз наоборот. «Культура не имеет ничего об-

щего ни с техникой, ни с нагромождением знаний, — указывал Чемберлен. — Она есть внутреннее состояние души». ²⁰ Сама наука была создана семитскими народами и соответствует их мирозерцанию. Ему свойственны схематизм, узость и односторонность, склонность рассматривать вещи не в их живом многообразии, а в состоянии омертвевших законченностей. Именно в таком виде она получила развитие у эллинов, духу которых было привито это семитское качество. Поэтому пережитое европейской культурой Возрождение не явилось актом полного обновления. «Однако же этим актом не завершено дело нашей самостоятельности и независимости. Одаренность эллинов, при всем их блеске, была во многих отношениях ограниченной; кроме того ее проявления с самого начала повергались чуждым и искажающим влияниям... Наше освобождение от порабошающих чуждых представлений оказалось неполным. Именно в религиозном отношении мы еще и поныне остаемся вассалами, — если не сказать слугами, — чужих идеалов». Поэтому предстоит новое спасительно возрождение, порывающее с предыдущей культурной традицией. Очищенный от семитической привнесенности эллинизм в сочетании с индо-арийством — таковой видится формула облагорожения Европы. «Благое близко и только ждет, чтобы мы возжелали его. Как фантастическое видение влечет нас возможность слияния умственной и душевной глубины индоарийцев и их внутренней свободы с пластическим чувством формы эллинов и с их умением ценить здоровое, прекрасное тело, как носителя внешней свободы. Видение это так соблазнительно, что вид его опьяняет нас, и мы, подобно ребенку, воображаем, что уже обладаем образом, вызванным только тоской по далекому нему». ²¹

Учение о расе, как носителе и субстрате культуры, об арийстве, как ее высшей форме, живые основания которой сохранены в духе германских народов, обнаружило в будущем, как мы знаем, свой чудовищный политико-идеологический потенциал в Германии после Первой мировой войны. Но следуя правде, надо признать, что Чемберлен был далеко не единственным европейским интеллектуалом, который обольщался вымышленными образами Востока и искал в нем животворящие источники для подпитки дряхлеющей цивилизации. В Европе сложилась мощная культурная ориентация на Восток, чрезвычайно представленная в искусстве, но постепенно захватившая и гуманистику. Возможно, что

Чемберлен только с большей дерзостью и прямоотой выразил эти внутренние обновительские чаяния, чем и обеспечил себе известность. Он мыслил и писал дерзко, не считаясь с установленными нормами научной добросовестности и приличия. Он утверждал, а не предполагал, он знал и верил, а не извлекал из фактов и не анализировал, как того требовала научная этика, предоставляя читателю самому строить предположения. Перед тоскующим взором отчаявшихся он открывал бодрящую перспективу недалекого будущего. Именно эти свойства обеспечили популярность главного сочинения Чемберлена, отвергнутого научным миром за его фантастичность и псевдонаучность. Но «Основаниями девятнадцатого столетия» восхищался кайзер Вильгельм II и одного этого в Германии было достаточно, чтобы обеспечить им успех. Именно в этом сочинении он изложил свою расовую теорию и конструкцию мировой культуры. Человечество, растолковывалось в нем, не представляет собою ни единства, ни аморфной среды. Оно разделено на расы, остающимися разнящимися между собою его константами. Из них выделяется «арийская раса», превосходящая все другие в способности создать более высокую и совершенную культуру. Этим она предопределена к господству. Трагедией для нее было бы смешение с другими народами. Чистота арийства – залог его будущности. В нынешнем состоянии германские народы являются наследниками первых арийцев и несут в себе их дух. Основная характеристика европейской истории заключена в факте постоянной борьбы рас, в которой германство постоянно сталкивается с антигерманством. Конец этой борьбы Чемберлен видит в возрождении расового сознания, угасание которого и засилье инородных расовых элементов и означает декаданс, ведущий к гибели европейскую культуру. Обаяние книги заключалось в обилии разнородных фактов, искусно подобранных им из разных областей истории и науки для иллюстрации своих умозрений. Он обращался с ними смело и свободно. Этим он дал культурфилософам, вроде О. Шпенглера, образец манипулирования историко-культурным материалом. Да и Г. Кайзерлинг овладел искусством их препарации ради «наведения на смысл» и постижения глубинных сущностей жизненных процессов, на чем покоилась развиваемая им «философия смысла».

Исходным пунктом и базовой основой европейской культуры Чемберлен признал греческое искусство, римское право и христи-

анство. Причем последнее не родилось из еврейской традиции, как твердило религоведение, а противоположно ей, поскольку, по его убеждению, Христос не еврей, а ариец из Галилеи. Ход истории определил вырождение этих трех элементов под воздействием семитизма и смешения рас.

Именно к этому мыслителю потянулся Г. Кайзерлинг. Описанию их знакомства, взаимоотношений и характеристике личности Чемберлена уделено им много места в мемуарах. Со временем обаяние растаяло, но влияние Чемберлена на свое духовное развитие, нередко решающее, Кайзерлинг признавал всегда.

Познакомил их в Вене известный индолог и друг отца Кайзерлинга Леопольд Шрёдер. Встреча превзошла все ожидания. Молодой человек сразу же подпал под обаяние этой личности. Удивляло все: широта интересов, универсальность знаний, смелость суждения и необычное направление ума. Кайзерлинг увидел человека необычной витальной силы и целостности и сразу признал его символом (Sinnbild) и путеводной звездой своей жизни. Да и сам Чемберлен проявил к Кайзерлингу повышенный интерес и охотно сделался его учителем. Под его влиянием Кайзерлинг занялся более целесообразно своим саморазвитием. Он стал усиленно развивать свои эстетические и философские наклонности. Чемберлен советовал ему более внимательно отнестись к Канту, погрузил его в материалы по восточной философии и культуре. Довольно быстро в Кайзерлинге развились вкус к отвлеченному философствованию и установка на синтетический, целостный охват предмета мысли. «Критический» же метод ему явно не давался. И хотя свой первый крупный философский труд «Строение мира» (1906) он обозначил как «опыт критической философии», как раз в этом отношении опыт и не состоялся. И посвящен он Чемберлену, как своего рода философский отчет.

В нем Кайзерлинг уже осмеливается говорить «моя философия» и даже указать ее некоторые приметы. Он мыслит ее как род «нового мировоззрения», стремящегося стать не системой, а находящегося в становлении, росте и обретении облика (Gestalt). Пока он не настаивает на новшестве своих идей, «все они когда-то уже были продуманы в школах Плотина, Гете, Канта, точного естествознания, в интенсивном общении с Х.С. Чемберленом». Но что сразу обращает на себя внимание, так это явный уклон от школ «научной философии» в сторону спекулятивной натурфилософии гёте-

анского типа и нежелание видеть смысл критического метода в аналитике: «Я отваживаюсь утверждать, что моя философия, насколько она критическая, означает творческое дело (Tat), так как продуктивность и только продуктивность философской критики есть точка, на которую она нацелена и из которой идет дальше».²²

Впрочем, ни эта книга, ни вышедшие несколько позже «Прологомены к натурфилософии» не получили признания, остались незамеченными и важны главным образом в контексте личности создавшего их философа для понимания его творческого развития.

Общение с Чемберленом, особенно интенсивное в 1900-1902 годы, стало рубежом. Кайзерлинг обрел себя и фактически определился. В автобиографии он отметил, что его состояние перешло «из хаоса в космос».

Но Вена, в которой пребывал в эти годы Кайзерлинг, – это не один Чемберлен. Сам город в этот период находился в блеске художественного развития и был важным культурно-философским центром. Вена в не меньшей степени, чем признанные центры художественной жизни Европы – Париж, Мюнхен, Петербург, – оказывала влияние на общекультурную ситуацию. А в некоторых случаях и большую. Но этому городу, как среде и особому духовному феномену, в признании этого статуса повезло куда меньше, чем названным городам. Но даже при этом можно утверждать, не боясь быть опровергнутым, что с ним связано возникновение новых направлений в живописи, модернизма, символизма и экспрессионизма в литературе, создание новой философии музыки и ее воплощение в музыкальных композициях, давших новое направление этому искусству в XX столетии, и, что уж совсем несомненно, в нем зародился ряд фундаментальных для философии нашего времени течений.²³ Столица гигантской многонациональной монархии влекла к себе творческие и экспансионистские художественные натуры всех наций, в результате чего возникла необыкновенная духовная среда, с неуловимым сочетанием духовного авантюризма, идейного синкретизма, толерантности к экстравагантным демонстрациям стилей и вкусов, некоторого этического легкомыслия и утонченной этикетности, любви к разнообразию и фееричности с серьезным углублением в проблемы надэмпирической целостности, придающей животворящий смысл бытию.

Интеллигенция образовала салоны, сочетавшие представителей разных профессий, обсуждавших вопросы, которым вскоре

предстояло воплотиться в художественные произведения или дать начало новой мысли. Таким, в частности, был салон княгини М. Турн-и-Таксис, известной покровительницы искусств и поклонницы Р.М. Рильке. В нем, кроме Чемберлена, бывали Артур Шнитцлер, Хуго Гофмансталь, Рудольф Касснер. Последний – литературный эссеист и культур-философ – оказал на Кайзерлинга влияние, мало в чем уступавшее влиянию Чемберлена. Надо сказать, что последний также организовывал у себя встречи, имевшие целью знакомить преимущественно с новыми философскими идеями. Говорил главным образом сам хозяин, читая с комментарием свои последние сочинения. Участники встреч также обязывались представлять свои новейшие работы, и Кайзерлинг здесь провел через горнило критики свои первые философские опусы. Именно в этих двух кружках состоялось важное знакомство уже имевшего имя Р. Касснера и начинающего философа.

О Рудольфе Касснере (1873-1959) можно сказать почти то же, что и о всех других персонажах этих заметок: ныне он почти не известен, вопреки оригинальности своих идей, проницательному и провидческому характеру своего видения реальности и влиянию на своих современников. За свою долгую жизнь этот человек, преодолевая свой физический недостаток (почти полная неподвижность после тяжелой болезни), смог много поездить, посетив и Россию, многое повидать и быть в активных отношениях почти со всей культурной Германией. Кроме упомянутых выше художников и литераторов, он находился в тесном общении с Полем Валери, Оскаром Уайльдом, Андре Жидом. Уже сам перечень этих имен говорит в каком секторе духовной жизни Европы были его интересы.

Несмотря на преобладание философских и художественных интересов, Кайзерлинг все же заканчивает Венский университет и защищает дипломное сочинение по минералогии, чтобы более к ней не возвращаться. В последующем его связь с университетским миром и строгой наукой практически не возобновлялась, за исключением коротких лекционных курсов, которые он до 1914 года имел в нескольких университетах.

С 1903 года он уже предоставлен самому себе и покидает Вену направляясь, конечно, в Париж. Настали годы почти непрерывных поездок по Европе, завершившиеся кругосветным путешествием в 1911 году. В России, подданным которой он был, Кайзерлинг

появляется только как владелец наследственного имения и не пересекает границ Эстляндии. Круг его интересов и род занятий еще не определился. Он свободный мыслитель, который никогда не был признан в профессиональной философской среде, лишь изредка появляясь в ней с докладами, как носитель экстравагантных идей. Впрочем, такая фигура стала обычной в европейском обществе. «Годы странствий» не препятствуют его писательской работе. Он складывается в человека, не погруженного в отвлеченное философствование и отрешенного от мира, а в активного носителя нового духа, которому предстоит преобразовать человека. Его совершенно не заботят удобства быта. Гостиницы, в которых он живет, обычно из дешевых. Он не позволяет себе излишеств. Его фотографии представляют нам крупного мужчину, со скуластым сухощавым лицом, в котором действительно имеется что-то азиатское, в одежде, явно не пользующейся вниманием своего владельца. Сосредоточенные глаза говорят скорее о способности смотреть не на поверхности вещей, а стремлении проникать за их оболочку.

Париж является местом, где у него возникают наиболее значительные связи в салонах и в художественной среде, переходящие порой в многолетний обмен письмами. Среди знакомств – Дебюсси и Массне, Дюжарден и Бурже, де Гро и Бергсон, помимо упомянутых ранее. Кайзерлинг начинает приобретать славу оригинального эстета и остроумного писателя, имеющего серьезный взгляд на проблемы культуры. Входит он и в аристократические круги, чаруя всех загадочностью своего положения: аристократ, носящий известную немецкую фамилию, и одновременно русский.²⁴ Это было время, когда во Франции распространяется мода на русское. Франция вообще оказалась более отзывчивой на философское творчество Г. Кайзерлинга, чем Германия. Некоторые сочинения выполнены им на французском языке и впервые вышли в Париже. Таковы «Личная жизнь» (1933), «Мировая революция и ответственность духа» (1934), «Об искусстве жить» (1936). Он полагал, что жизнь в Париже позволяет овладеть всей европейской культурой. Во встречах в художественных кружках и светских салонах оттачивается его техника общения и воздействие на аудиторию, которые им осмысливаются в целую педагогическую программу, позже реализованную им в «Школе мудрости». Среда, которая формировала духовную сторону личности Г. Кайзерлинга, была отмечена склонностью к критической рефлексии относи-

тельно происходящих бурных изменений в европейской цивилизации, склонностью облекать ее в художественно-эстетические формы, скомпонованные из сложной, расплывчатой и неопределенной метафизики.

Европа, и особенно Германия, после 1870 года делали чрезвычайно быстрые шаги в индустриальном развитии. Естественные и технические знания явно опережали гуманитарные. Старые ценности быстро уходили из жизни, оставаясь в памяти еще не сошедшего со сцены поколения. Впервые человек столкнулся со следствиями энергичного технического прогресса. Проведя детство и юность при свечах и тусклых газовых горелках, передвигаясь в каретах и на извозчиках, он к старости уже пользовался электричеством, телефонами и трансевропейскими экспрессами. В небе появились летательные аппараты, а под землей метро. К началу XX века забыли о парусниках, которые еще пятьдесят лет до этого заполняли моря. Впервые, еще не умея закрепить это в понятиях, европеец ощутил прикосновение и эффект массовости, грозное дыхание иррациональной толпы. Разрыв в структурах жизни был наглядным. За ним неизбежно следовала дисгармония психики. В человеке возникали новые ощущения, в которых господствовали чувства тревоги, неопределенности и страха перед очередными неизбежными изменениями. Кайзерлинг вращался в той среде, духовный комфорт которой особенно болезненно отзывался на перемены. Именно в ней таились самые тяжелые предчувствия относительно будущего, и в стремлении понять происходящее она тяготела к мистике, спиритуализму, оккультным толкованиям и интуитивным прорывам в непостижимые тайны жизни. В известном смысле, возникающая культурология Г. Кайзерлинга является только более изящно теоретически оформленным парафразом всех этих чувствований и состояний. Мотив, что господство материального нарушило гармонию мира и человеком потеряно чувство органической целостности, в разных выражениях наполнял сочинения Кайзерлинга. Вслед за Чемберленом, Касснером он полагал, что западный человек, разрушая свой душевный мир, движется из космоса в хаос. Подыскивая понятия и определения, в которых можно было бы выразить сущность создаваемой им культуры, Кайзерлинг обращается к выражениям, фиксирующим деятельную, волевою, продуктивную, преобразующую и познавательную установки жизни человека индустриальной эпохи. Все эти смыс-

лы он находит в модальном глаголе «können» и образованном от него существительном «das Können», обозначающем умение, возможность, навык, знание, мастерство. «Könnenkultur» – вот то определение или обозначение, которым он помечает западный мир – Abendland – в широком смысле понятия. Фиксируя неполноту реализации человека в научной и технико-индустриальной деятельности, Кайзерлинг все же остерегается впадать в консервативно-утопические иллюзии. Он пытается найти выход в построении новой более высокой формы культурной реализации личности. Но это дело будущего, хотя и недалекого. Пока же он находится в поисках и прощупывании почвы, став на которую можно было бы двигаться к новому постижению. Сначала, как мы видели, это обращение к довольно обычному источнику: немецкой метафизике и Канту. Освоение критического метода оказалось бесперспективным, хотя иллюзия сохранялась долго и зафиксирована в его работах, так сказать, «критического этапа творчества. Неудача была определена тем, что к кантовской философии Кайзерлинг подошел не со стороны и навыков академических школ кантианства, господствовавших в те годы в немецких университетах, а со стороны его модернистической интерпретации Х.С. Чемберленом.²⁵ Идти первым путем означало бы для него раствориться в безличной массе приват-доцентов философии, упражняющихся под руководством мэтров кантианства – П. Наторпа, Г. Когена, Г. Файхингера и других – в разработке частных кантовского критицизма или погружившихся в мелочную интерпретацию воззрений своих учителей. Описательная философия культуры кантианства, как она нам известна по трудам Кассирера или Виндельбанда, очевидно не отвечала запросу общества. Выбор явно неприемлемый для Г. Кайзерлинга, не отвечающий природе его темперамента и специфике философского воображения. Второй путь в действительности вел от Канта. Чемберлен в Канте видел критика научного мышления, то есть того элемента семитизма, который, будучи воспринят еще греками, уводил в тупиковые обочины европейскую культуру. Как мало было в этом Канта, очевидно. Следовательно, об академической карьере нечего было и думать, разделяя такие представления. А одно время Кайзерлинг, видимо, искренне полагал, что Чемберлен открыл новый взгляд на Канта, и эта оценка отразилась на его первом крупном философском сочинении. «Строение мира». Квазинаучная строгость, которой щеголяли кантианцы, была не-

приемлема Кайзерлингу. По духу он был метафизиком спекулятивного толка, тяготел к натурфилософским конструкциям, но не мог выдерживать монотонной методичности в развитии темы. Экспрессия, аллюзии, обыгрывание смыслов, замена определений приблизительным описанием, скорее наводящем на воображаемый предмет, чем точно указывающим на него, – вот некоторые признаки его писательства. Однако попытки войти в научное сообщество все же предпринимались. В 1911 году он участвует в Международном философском конгрессе с докладом «Метафизическая реальность». В нем таковой провозглашается жизнь. Докладчик утверждал, что в ней имеет последние корни все то – ценности, нормы, правила, истины, – существование чему полагается обычно в сознании. Истинная метафизика, о которой думали Плотин и Гегель, «может быть только одним: философией органического». Касаясь процесса познания, Кайзерлинг постулирует, что в философии он достигает высшего своего результата. Сама же она, развиваясь, переходит от науки о недействительном к учению о действительном, то есть о жизни. Рожденная из мифа и, вопреки всем попыткам освободиться от него, остающаяся окутанной мифологическим, она приближается к идеалу: постичь истину в чистом виде. В несколько романтическом духе сопоставляя познавательную деятельность первобытного человека с нынешней, он находит в первой подобие с поэтическим мышлением. Она не детерминирована реальностью, лишена возможности провести различие между действительным и вымышленным. Первобытная логика, как и поэтическая, связывала воедино несоединимое, подобно сновидению. Согласно романтическому предубеждению, что это все свидетельствует о большей мощи воображения и силе впечатления первобытно-поэтического познания. Кайзерлинг же возражает, говоря, что «наоборот, требуется величайшая фантазия, чтобы усмотреть истину реального, нежели вымыслить сказочный мир». Сказочный мир возникает «из себя», самопроизвольно, не пробуждая сил субъективности. Постижения же чужой субъективности и реальности того, что вне человека и является иным, требует пробуждения мощных жизненных сил и творческого интеллекта. В докладе уже присутствует формулировка эскиза философской программы будущей работы. Сам философ, готовя доклад, питал надежду произвести им на конгресс фурор. Ожидание не вполне оправдалось, хотя он привлек внимание Бенедетто Кроче,

приветствовавшего его как «грядущую смену», и А. Бергсона, с которым установились профессиональные отношения. Их переписка, интенсивная до Первой мировой войны, опубликована.²⁶ В свете этого факта выглядит странной невысокая оценка, данная Кайзерлингом Бергсону в его биографических заметках. Он приписал ничтожное значение его влиянию на свою философию. А в конце 30-х годов и саму его философию оценил как ничтожную. Обе оценки очевидно несостоятельны.

Второе крупное произведение Кайзерлинга – «Бессмертие» – вышло в 1907 году. С созданием этого труда он связывал немалые честолюбивые и меркантильные надежды. Он рассчитывал, что книга поможет обрести известность, если не мировую славу, и решить возникшие материальные затруднения. Проводя жизнь в непрестанных путешествиях, он почти полностью порвал связи с родиной. А там в эти годы разразился социальный кризис, завершившийся революцией. Приходили самые мрачные известия о бунтах, разоряющих поместья. Доходы перестали поступать даже в тех скромных размерах, что были прежде. Почти всю свою жизнь Кайзерлинг был убежден, что «Бессмертие» – одно из лучших его творений, и постоянно на него ссылался. Но ни проблему бессмертия, ни проблему денег оно не решило. Более того, даже Чемберлен нашел его тривиальным, о чем и не преминул сообщить автору. Это положило конец и личным отношениям и влиянию творца арийской теории на выходящего на самостоятельные пути нового философа. Наступил разрыв с «байрейтским обществом». С момента знакомства с Чемберленом, Кайзерлинг регулярно посещал «Байрейтский фестиваль». Растущая самостоятельность не согласовывалась с духом раболепного поклонения традициям вагнерианства, ревниво охраняемых его семьей. Разрыв ускорили критические рассуждения об А. Шопенгауэре, философской святыне вагнерианцев, высказанные Кайзерлингом и затем опубликованные в эссе «Шопенгауэр как искажитель».²⁷ Зато он приобрел некоторую известность в веймарских кругах, связанных с «домом Ницше» и его опекуншей, сестрой сумрачного гения, Элизабет Ферстер-Ницше. Летом 1906 года она устроила специальный вечер, на котором Кайзерлинг выступил с докладом о «философии как искусстве». С этого времени началась его неустанная лекционно-педагогическая деятельность, не связанная с университетами, которая продолжалась до начала 30-х годов, когда в Германии

замолк голос «свободной философии», которую исповедовал философ. Эти доклады составляли основу почти всех его книг, вышедших в 20-е – начале 30-х годов. Третье крупное произведение «Прологомены к натурфилософии» составились из «Гамбургских докладов», прочитанных в 1907 году при деятельном участии дочери О. Бисмарка – княгини Герберт Бисмарк, будущей его тещи.

Количество книг нарастало, росла известность, но не того рода, которая грезила Кайзерлингу. В душе вызревало убеждение в своей особенной миссии. Оно еще не определилось в конкретном представлении, в чем же она должна состоять. Но уверенность, что он открывает какие-то истины, прежде никем не подмеченные, что он выходит на рубеж, который еще никем не занят, и тем самым он может показать людям большее, чем они видят сами, не покидала его. Как-то Георг Зиммель в эти годы ему сказал: «Вы несомненно напишите еще много книг, и даже хороших книг. Но это не то, что только вы и можете. Ваша собственная задача, кажется мне, в том, чтобы как-нибудь однажды представить «Бытие». Только позднее он осознал провидческий смысл этих слов, когда кругосветное путешествие изменило все его оценки и восприятие мира и он уяснил себе, что стал обретать «совершенное понимание духовных связей», связующих все бытие в единый космический порядок. Итак, быть посредником, миссия проводника из мира феноменальности в мир существенного, в мир первоначал и первосмыслов – так начал осознавать свое предназначение Г. Кайзерлинг.

«Прологомены к натурфилософии» менее всего соответствуют сложившемуся в немецкой традиции представлению об этой философской науке. Прежде всего своей несистематичностью, отсутствием проработанных принципов, на которых могла бы покоиться новая система «философия природы». В книге утверждает, что существует значительно более высокая точка зрения, познавательный обзор с которой более обширен и которая обоснована не менее прочно, чем предложенная Кантом.²⁸ С нее, в первую очередь, видна ограниченность всей предыдущей критической философии и связанной с ней науки. Задача состоит в том, чтобы ясно обозначить эти границы. Кайзерлинг не разделяет агностицизма ни в его онтологическом, ни в познавательном отношении. Следует отвергнуть, требует он, всякое сомнение в недействительности мира. Если мы имеем дело только с явлениями, своеобразие

которых обусловлено для нас нашими познавательными формами, то из этого вовсе не следует, что наш мир недействителен. «Критическое учение, что наш мир есть представление, а его составные части – феномены, имеет точно такой же смысл, как и убеждение здравого человеческого рассудка о происхождении данного нам из действительности». Мы всегда имеем дело с явлениями. Но наряду с ними стоят и продукты нашей психики, продукты нашей свободной фантазии, мир произвольных понятий, которые мы в себе образуем. И все это, как и вещная предметность, равно составляют действительность. «Для всеобщей феноменологии, как и для науки о существующем вообще (надо думать, что имеется в виду метафизика – *Авт.*), нету никакого принципиального различия между физическими и психическими явлениями, между объективно объявляющимися предметами и субъективными фантомами. Все, что имеется, есть в одинаковом смысле феномен и, следовательно, в равном смысле действительно».²⁹ Итак, Кайзерлинг расширяет представление о феноменальной действительности. Мы не будем утомлять читателя историко-философскими аналогиями, чтобы показать неоригинальность этой позиции. Одно замечание все же следует сделать. Когда читаешь, что «мысли и чувства, воображения и хотения являются точно такими же реальными действительностями, как и предметы, которые мы хотим ощупать», невольно вспоминаешь, что в эти же годы, и чуть ранее, именно в Австрии, в Вене, в «австрийской школе философии», начатой Ф. Brentano, его ученик А. Мейнонг развил «теорию предметов», зачислив в предметную область все те продукты психической деятельности, о которых говорит и Кайзерлинг. Только в отличие от него, Мейнонг дал систематическое развитие этой мысли. Но этот мир не есть еще настоящая действительность, неожиданно заключает Кайзерлинг. Ею является тот мир сил, которые их производят к жизни: «Если что и есть действительное в высшем смысле, то это духовные силы, так как они в состоянии не только установить мир, но и двинуть вперед; они производят новое». Учение о постижении этой высшей действительности, которое он будет позже разрабатывать, получит название «Философия смысла».

Мы приблизительно очертили круг мыслей, которые занимали Г. Кайзерлинга весь период до начала его важнейшего предприятия – кругосветного вояжа. Оно оставит позади натурфилософские изыскания, погасит честолюбивые желания, создать но-

вую метафизику, и на почве обретенного интеллектуального опыта разовьет совершенно новые впечатления и рефлексии, из которых вырастет философия как мудрость.

Во многих своих позднейших сочинениях Кайзерлинг неоднократно возвращался к обстоятельствам, связанных с замыслом этого путешествия и последующих событий до публикации «Путевого дневника философа». Практически никаких необычных обстоятельств не существовало. Несмотря на свою внушительную комплекцию и взрывной темперамент, он был подвержен всевозможным недугам, от которых избавлялся, посещая санатории. Они избавили его и от военной службы и от призыва на фронт. Поэтому перемена климата и обстоятельств могли принести ему облегчение. Но более всего он нуждался в смене впечатлений, ему нужен был новый опыт, чтобы осуществить свои творческие замыслы и выразить уже смутно существующие в нем смысловые связи. В 1926 году он замечает: «Я предпринял кругосветное путешествие, не имея в виду ничего иного как, с одной стороны, получить материал для уже сложившегося у меня плана романа, а с другой – пройти курс терапии».³⁰ Помимо этого, мы находим у него и другие объяснения, куда более значительные. Мы уже знаем, что Кайзерлинг был противником абстрактного теоретизирования, считая его совершенно бесполезным, поскольку оно лишает нас способности входить в глубины смыслов, видеть целостность в ее реальной взаимосвязанности и в реальном существовании. Он отрицал всякий схематизм и системность. Реальное погружение в конкретное бытие, включение себя в процессы конфликта противоборствующих сил и тенденций – раскрывать себя новым впечатлениям и воздействиям!

Постоянно в памяти всплывали вышеприведенные слова Г. Зиммеля, с которым он с 1906 года находился в интеллектуальном общении.

Духовное напряжение, вызванное неустанной работой мысли и поисками единственно себе принадлежащему произведению неожиданно получили разрешение. «В начале 1911 года я почувствовал себя так, как будто бы у меня спала пелена с глаз: мне стало ясно, что моя цель преобразить мой душевно-духовный организм в современный и послушный инструмент познания, отныне, насколько это вообще достижимо, достигнута».³¹ Кайзерлинг осознал себя как существо, через деятельность и присутствие которо-

го здесь открываются для человечества каналы и коммуникационные выходы, ведущие к основаниям жизни, позволяющие постичь ее глубинные связи и источник ее целостности. Философ ощутил себя призванным к посредничеству между миром эмпирического культурного бытия и жизнью конкретного человека — с тем, на чем они основаны и каковыми должны быть, чтобы согласовываться с космическим порядком универсума. Это прояснение своего собственного назначения далось не сразу, но мощной волной захватывало его сущность, крепло и становилось все более отчетливой программой реализации своего призвания: открытия и передачи миру открывшейся ему истины. Такое понимание себя и осознание своей миссии потребовало еще большей концентрации на себе самом. Если прежде она определялась поисками своего призвания, то теперь это самососредоточение было способом поведать миру о своем становлении, явив в нем образец духовного становления и преображения человека. Причем преображения не по неукоснительным предписаниям и программам, через регламентацию и дотошное исполнение каких-то обязательных ритуалов и процедур, а ориентируясь на конкретный образец, на путях соприкосновения с духовно-душевной личностью «другого», чтобы вызвать в себе возбуждение творческого духовного саморазвития, которое Кайзерлинг нередко именовал «преображением в духе». Это не значило, что философ уклонялся от практической стороны духовной педагогики. Его книги и статьи «о личной жизни», об интимной стороне отношений, об условиях создания «правильного» брака наполнены рекомендациями и указаниями, но все же в развитой им позже «философской педагогике» главным был пример, образец и следование ему через самораскрытие.

Возможно, неверно будет видеть в этом оригинальность Кайзерлинга. Скорее всего в этом пункте сказалась зависимость от Чемберлена, который рассматривал принцип примера как важнейший в духовном совершенствовании человека и сам видел себя в качестве такового для своих адептов. Излагая свою биографию как историю своей духовности, он явно обрабатывает ее как определенный образец для следования ему.³² Собственно говоря, на этом строились практически все взаимоотношения в художественно-интеллектуальных кружках, объединяющих людей, собирающихся не «по интересам» в современном смысле, а с целью совершенствования, чтобы проникнуть в сокровенную тайну, преобразиться

путем усвоения эзотерического учения, существующего в концентрации на личности духовного вождя. Таковыми были отношения в среде вагнерианцев, в веймарском кругу приверженцев Ницше, в кружке, как мы упоминали, поэта Стефана Георге. Да и русская жизнь периода модернизма изобиловала такого рода примерами. Стоит указать на претензии Д. Мережковского и Зинаиды Гippiус, нечто подобное складывалось в «башне» Вячеслава Иванова, среди почитателей Н. Гумилева и др. Богатый материал на эту тему читатель найдет в знаменитой мемуарах трилогии Андрея Белого.³³ Преобразующую силу примера Чемберлен вообще считал основой гуманистического процесса. Пример и обучает и одновременно «образовывает» (bilden), т.е. формирует образ нашего «я». «В примере одна полная жизнь воздействует непосредственно на другую. Через пример я побуждаюсь к деянию, воодушевляюсь для предприятия, возможность которого мне бы, возможно, даже не пришла в голову. Уже тем, что я предполагаю подражать, я создаю нечто новое». Добровольное подражание противостоит тираническому принуждению, позволяя в полноте воспринять уникальность оригинала.³⁴

Интерес к становлению собственной личности у Кайзерлинга привел к появлению целого цикла автобиографических работ, которые, строго говоря, не совпадают с формальными и стилевыми признаками этого жанра. Помимо большого «автобиографического очерка», опубликованного в 1923 году и объемного, биографического по духу, введения к книге «Люди как символы» (1926), он написал большие специальные книги, в которых его жизнь является главным содержательным и смысловым центром, аккумулирующим все духовные воздействия извне с тем, чтобы, синтезируясь, дать то, чем стал Кайзерлинг во всей мощи своего воздействия на мир. Таковы «Книга о личной жизни» (1936), «Об искусстве жизни» (1936), «Книга о происхождении» (1942) и, наконец, «Путешествие через время» в трех книгах, работа, написанная во время военных невзгод и одиночества. В сущности, ни одна мало-мальски крупная публикация Кайзерлинга после выхода в свет «путевого дневника» не обходилась без биографических рефлексий.

С известным правом можно сказать, что личная жизнь философа имела двойную структуру. Одну составляло то, что его личность приобретала в ходе «путешествия сквозь пространство»,

другую, вырастающую из первой, но постепенно становящуюся единственной, — то, что давало «путешествие сквозь время». Первый род путешествий обогащал личность в ходе ее становления и развития, наполнял ее впечатлениями, фактами, знакомствами, столкновениями. Внешнее входило внутрь, становилось своим. «Путешествие сквозь пространство» представляло панораму культур, стилей жизни, расовых отличий. На почве этих приобретений вырастала философия культуры и то, в чем выразилось его представление о должной и будущей человеческой культуре. Путешествие в пространстве всегда оказывалось путешествием в культурах.

«Путешествие сквозь время» — это работа по проникновению в глубины духа с тем, чтобы выйти на уровень коренных смыслов всего сущего. Кайзерлинг принимал интуицию за способ «постижения смысла», его схватывания. «Раскрытие смыслов» представлялось процедурой с некоей длительностью, в ходе которой формировалось и совершенствовалось понимание. «Путешествие через время», видимо, имело большее значение для создания «философии смысла», которую следует видеть как кайзерлингианскую модификацию философии жизни. В тесном переплетении с нею возникала и его философия человека. Конечно, оба структурных плана жизни не противостояли друг другу как фазы его личного бытия, а сочленялись так, что их результаты оказывались совместимыми. Так, философия человека возникла не только из самонаблюдения сложных интроспекций и «исповедальной» установки в духе классических образцов Августина, Руссо, Толстого, но и на базе применения юнгианской типологии человека к социально-антропологическим обобщениям, обретенным в ходе путешествий. Последнее представлено, в частности, в данной книге об Америке и ее обществе.

«Путешествие сквозь пространство» помогло Кайзерлингу создать ряд блестящих образов-характеристик ряда стран и континентов. Таковы очерки о ряде европейских стран, собранные в книге «Европейский спектр» (1928). Все они выполнены не в духе «зарисовок с натуры», а как «понимающие интерпретации» самой сущности народа как целого. Это предопределяет необходимость ясных интерпретационных принципов. Вот некоторые из них: «По своей природе я рассматриваю в этой книге отдельное только в связи с целым, к которому оно принадлежит. Так, я рассматриваю отдельные народы с точки зрения Европы; то чем они сами для

себя могут быть, я опускаю из рассмотрения». Или: «Никакой народ как таковой не имеет ценности с точки зрения вечности, так как только единичный субъект находится в непосредственном отношении к абсолютному. В противном случае это значило бы *petitio principii*, когда нация загодя приписывает самой себе вечную ценность своих великих сынов».³⁵ Большой и, увы, с элементами скандала резонанс в Америке получила его книга об Америке, перевод которой ныне предлагается русскому читателю. Благодаря ей Кайзерлинг стал в Америке нежелательной персоной.³⁶ И поскольку она писалась для иностранцев, Кайзерлинг посчитал нужным изложить в ней основные положения своей философии, что придало книге дополнительную ценность. Еще несколько лет спустя он издает большую книгу «Южноамериканские размышления»³⁷, принятую радушно на южно-американском континенте. В ней также изложена его философия в более разработанном виде, отчего Кайзерлинг считал ее принципиально важной во всем теоретическом наследии. Книга получила признание и среди интеллектуальной элиты Европы: ее отметили К.Г. Юнг, В. Зомбарт, Г. Гауптманн, В. Фуртванглер, Г. Робакидзе, Н. Бердяев, Габриэль Марсель, А. Бергсон, Р. Тагор. В известном смысле это был шедевр. Не нарушая стилистического единства, Кайзерлинг представил в ней весь спектр основных проблем своей философии. В антропологии он касался изначальных глубин человеческой натуры, перемещаясь во все более высокие формы земного бытия личности, вплоть до высот духовной жизни. Но начало этому ряду книг положил «Путевой дневник философа».

В октябре 1911 года из Генуи Кайзерлинг отправился в свою кругосветную поездку, которая продлилась почти год. Он не был первым философом, отважившимся на такой шаг. Причины, по которым они решались на тяготы путешествия в экзотические страны, обычно были одни и те же. Магия Востока, аромат относительно безопасной авантюры, стремление на время отделаться от отяготительного бремени западной цивилизации, наконец, погоня за острыми впечатлениями, способными оживить увядающее творчество. Как мы говорили, мотивы Кайзерлинга были иными. Его не особенно манили Индия и Китай, по его собственным уверениям. Но именно в этих странах он пришел к самым серьезным заключениям относительно глубинных основ культур. Именно Восток оставил в нем наиболее мощные впечатления: «Я был одержим Восто-

ком настолько, что долго просто не мог представить себя западным человеком», — писал он, готовя дневники к изданию.³⁸

Становясь мыслителем метафизического толка, Кайзерлинг полагал, что наиболее приемлемая форма индивидуального бытия, согласующаяся с призванием — уединение. Следовало ожидать, что в отшельничестве в голову придут наиболее значимые мысли, лишённые налета бренности и погруженности в эмпирическую действительность. Только в этом состоянии казалось достижимой мечта о самоосуществлении. Он удаляется с этими мыслями в свое поместье. Но оказалось, что в сельской замкнутости открылась неожиданная перспектива стать «самим собой» не в метафизическом, а в эмпирическом смысле. Выйти в чистое универсальное существование, преодолеть в себе индивидуальное, оказалось бесперспективным. Назрел кризис. Время отрицания мира еще не настало. И как выход из него — неожиданное решение. «То, что вытолкнуло меня в широкий мир, было то же, что многих влечет в монастырь: томление по самоосуществлению». Кайзерлинг признал мудрость Пифагора и Платона, которые в зрелом возрасте предали жизни путешественников. Европа была пройдена и лишена загадочности. Оставался Восток. Кратчайший путь к себе проходит вокруг света. Маршрут путешествия не затронул только Африку и Австралию. Приобретенные знания, знакомства и встречи создали во многих отношениях новые точки зрения на, казалось бы, решенные проблемы, открыли новые перспективы понимания человеческого мира в нем.

По возвращении он вновь водворяется в имение Райкюль и принимается за обработку материалов и впечатлений. Работа в целом была завершена к осени 1914 года, и тогда же ожидался выход первого тома «Путевого дневника философа».

Имеются многочисленные личные свидетельства состояния Кайзерлинга во время этой работы. «Я верил, что с «дневником путешествий» я достиг максимально высокого состояния развития и одновременно имею дело с завершением труда жизни».³⁹ В массе литературы, рожденной путешественниками и в путешествиях, которой одарила Европа мир, по меньшей мере за три века, когда этот вид занятий западного человека утвердился как существенная форма его жизни, книга Кайзерлинга занимает особенное место. Без всяких снисхождений она является литературным шедевром и признана таковым. Автор не сообщает сенсаций и ди-

ковинок, да и фактов в ней не так уж много. Большинство из них европейцу уже ведомы. Но они имеют значение только как поводы, вызывающие мысль философа, углубляющие ее и передающие от одного к другому по эстафете. Именно это движение философского созерцания определило цельность произведения, а не движение, везущего его парохода или локомотива. Дневник оказался псевдодневником путешествия. Его жанр Кайзерлинг назвал романом. «Предложенный дневник прошу читать как роман. Даже если он состоит по большей части из элементов, вызванных внешними побуждениями кругосветного путешествия, содержат избыток объективного изложения и абстрактных рассуждений, которые вообще-то могут существовать и сами по себе. Но все это однако представляет собой одно целое, созданное внутренним побуждением, и являет внутренне связанное художественное произведение (*Dichtung*)». Только с учетом этих особенностей, можно воспринять внутренний смысл дневников, предупреждает Кайзерлинг.⁴⁰

Характер книги он определяет также тем, что фактичность никогда не была для него самоцелью. Он не ставил задачу фиксировать все виденное. Даже уникальное, если оно не вызывало мыслей, оставалось вне поля созерцания смысла. Вещи-знаки смыслов, но смыслы существуют независимо от них. Идеи относительно чуждых культур сочетаются с авторскими размышлениями, точное изображение с преображенным (*Umbildung*). Противоречиво сталкиваются, не всегда разрешаясь, точка зрения автора и изменение настроения. Таким образом, внутренний динамизм книги определялся коллизиями мыслей, а не темпом передвижения путешественника.

Книга стала литературной легендой Германии. Она вышла в свет в начале 1919 года. Война задержала ее появление на четыре года. Но как знать, может быть эта задержка пошла на пользу сочинению. Не в смысле того, что автор неожиданно получил досуг для ее совершенствования, хотя кое-что и было в этом смысле сделано, а в том, что она была предъявлена совершенно другому читателю, чем тот, который был в 1914 году. Возможно, что всех литературных достоинств ее не хватило бы на то, чтобы расшевелить чувство и воображение самодовольного предвоенного немецкого бюргера. Едва ли в нем возник бы интерес к культурологическим размышлениям о самоценных корнях других культурных

реальностей, на которых произрастают самодостаточные духовные организмы.

Но в 1919 году немец являл собой совершенно иной человеческий тип. Унижение национального достоинства, вызванное катастрофическим поражением гордого рейха, породило серию неожиданных рефлексов. Повсеместно возник острый интерес к источникам, где можно было бы найти или ответ на основные экзистенциальные вопросы или хотя бы объяснения того, что случилось и в каком месте культурного порядка вещей следует искать свое настоящее и будущее.⁴¹ Можно быть уверенным, что книга Кайзерлинга неожиданно оказалась той, где немецкий читатель находил кое-что и весьма важное для себя. Успех «Заката Европы» О. Шпенглера, появившейся всего лишь несколькими месяцами ранее объясняют точно такими же обстоятельствами.⁴²

Однако несмотря на тематическую близость, на понятийное и даже иногда терминологическое совпадение, книги Кайзерлинга и Шпенглера совершенно различные произведения, равно как различны их авторы по типу и направлению мышления. Кажется, они жили, не замечая один другого. Особенно это справедливо для Шпенглера, который, видимо, проигнорировал сочинение графа. Кайзерлинг провел анализ личности Шпенглера в неблагоприятном для того свете: Шпенглер погружен в факты. Установка на факты – типично ученая позиция и, следовательно, этим закрывается возможность («физиологическая невозможность») постижения смысла, хотя Шпенглер о нем только и печется. Раздражала Кайзерлинга и пророческая претенциозность Шпенглера.⁴³

Несмотря на понимание высокого значения ждущего своего издания произведения и вместе с этим того, что он вышел на вполне самостоятельную стезю дальнейшего духовного развития, никем не указанную и еще никем не пройденную, годы войны морально угнетали его. Физически в ней он не участвовал. Испытывал неудобство двойственной ситуации. Считался русским и должен был демонстрировать патриотизм. С приходом на территорию Прибалтики немецкой частей восстановилась связь с Германией, но он воздержался от выражения национальной солидарности. Кайзерлинг ощущал себя европейцем. Война была ему морально чужда. Он считал ее бессмысленной с любых точек зрения и «душевно-морально омерзительной».⁴⁴ Порой казалось, что песенка Европы спета и надо искать иного прибежища. Под этим

впечатлением он даже вступает в переписку с японским послом в Петербурге, выясняя возможность поселиться на Дальнем Востоке – в Корее, в буддийском монастыре. Но это был временный упадок духа, скоро сменившийся приливом энергии. В этом, в который раз, проявилось свойство его характера – способность от растерянности переходить к активности. Войну стал оценивать как кризис, предшествующий оздоровлению, и в его личных воззрениях появились элементы стоицизма. Они заметны в завершающих страницах второй книги «Путевого дневника философа», как раз дописывавшихся в это время.

К русской революции Кайзерлинг отнесся отрицательно. Впрочем, это, как и Россия, – темы, требующие особого рассмотрения. Не ожидая ничего хорошего, он покидает свое родовое имение, и, как оказалось, навсегда. Вместе с женой он поселяется в родовом поместье Бисмарков – Шёнхаузен-на-Эльбе. Это произошло уже осенью 1918 года.

С выходом книги путешествий в свет и в связи с ее огромным успехом общественное положение Кайзерлинга решительно меняется. Он – немецкая, а вскоре, после перевода его книги на французский и английский языки, и европейская знаменитость. Отчасти восстанавливаются новые знакомства и связи. Его писательская работа становится почти непрерывной. Помимо уже перечисленных выходят и другие книги. Не только специально философского рода, но и отзывающиеся на актуальные вопросы немецкого и европейского состояния. Особое место в его политической публицистике занимают франко-немецкие отношения. Философ размышляет о европейской будущности и месте в ней Германии.⁴⁵ Окончательно оформившиеся культурфилософские взгляды, сердцевиной которых является принцип синтеза продуктивных особенностей двух типов культур – европейской и восточной, служат базой для развития интеграционизма. Он выступает решительным сторонником объединенной в культурно-политическом отношении Европы. С этой стороны его можно с полным правом считать предтечей современных идей единой Европы, о чем, кажется, забыто.

Однако этот род активизма не удовлетворяет Кайзерлинга. Он вынашивает более амбициозные планы. Они связаны с идеей реализации программы воспитания нового человека путем возрождения в нем духа и восстановления в нем духовно-душевного единства. Все эти идеи выросли на почве его философии че-

ловека, получившей завершение в начале 20-х годов, когда он познакомился с К.Г. Юнгом и прошел интенсивное ознакомление с теорией и практикой психоанализа. Учение о «коллективном бессознательном» и юнгианская типология личности стали ее составными частями.

Выше мы уже касались общего смысла философии человека Кайзерлинга. Возможно, следует сделать несколько уточняющих сказанное дополнений. Рассматривая общую ситуацию, он замечает, что нынешнее неудовлетворительное положение в понимании сущности человека явилось следствием господства односторонних антропологических теорий предыдущих столетий.

Как всякий ограниченный исторический этап развития, теории XVIII и XIX века были односторонни. Теория прогресса, на которой они базировались, предполагала опору на развитые материально-телесные стороны личности. «Моральная и спиритуальная стороны человека оказались вне процесса развития». ⁴⁶ Опыт войны и революций начала XX века, уверен Кайзерлинг, поставил на повестку дня вопрос о перенесении смысловых акцентов на душу. Кроме того, прежнее понятие человека имело не конкретный, а абстрактный характер. Задача преодоления односторонностей и абстрактности в учении о человеке прошлых веков чаще решалась регрессивно, без осмысления сущности жизненного процесса, заменой одной односторонности другой. На самом деле речь должна идти не о том, чтобы отбросить абстрактного человека с его возможностями, но вернуть его в «тотальность живого человека». Но прежде нужно отойти от некоторых предрассудков, надо понять, что имеется действительность души как живого организма. Не менее важным, по Кайзерлингу, является возвращение некоторых средневековых представлений о человеке, забытых под влиянием материалистических учений последующего времени.

В частности, в средние века якобы правильное понималось познавательное действие души. И человеческую сущность тогда понимали много глубже, чем ныне, и это потому, что умели связать ее метафизический корень с эмпирическим выражением человека в единое целое. В XIX веке, наоборот, пошли по пути развития идеи сознания в отвлеченно-метафизическом смысле. На самом же деле «нет никакого чистого разума в смысле Канта, никакой чистой воли в смысле Когена, никакой субстанции «сознания» и, разумеется, никакого субстанциального «бессознательного». На

самом деле имеется только живая душа, живые способности которой можно рассматривать как абстракции для себя, т.е. только теоретически, подобно тому, как живое тело разлагают в теории на анатомические, физиологические, биологические элементы, которые, однако, сами по себе не существуют как жизненные». Далее, Кайзерлинг обращает внимание на то, что нет ничего, что соответствовало бы в отдельности понятиям эмпирического или метафизического, которыми пользуется рассудок. Нет и жестких границ между внешним и внутренним в человеке, причем так, что какие-то области человека были бы только материальными, а другие – только духовными. Живой, связанный в единое целое своих сторон и способностей человек является действительной предпосылкой всякого деяния и мышления. «Если бы я, – резюмирует Кайзерлинг, – пожелал выразить в одной фразе, в чем мое учение отличается от теорий других нынешних философов, то она звучала бы так: оно исходит из живой души, в отличие от абстрактного человека». Таким образом, теорию абстрактного человека он замещает своеобразной версией персонализма.

Но под воздействием материалистических теорий прогресса человек сошел с путей действительного развития своей сущности, потерял ощущение своей связи с космосом, стал бездуховным и односторонним. Следовательно, возврат его целостности означает то же самое, что «возрождение в духе». Раскрытию смысла этого понятия и обозначаемого им действия Кайзерлинг посвятил немало страниц своих сочинений, увы, не внесших ясность в его теорию. Несколько более ясной его теория становится с учетом осуществлявшейся им практики воспитания новой личности в так называемой «школе мудрости».

«Школа мудрости» – главнейшее и самое известное детище общественной деятельности Германа Кайзерлинга. Она возникла в Дармштадте, куда переехал Кайзерлинг по приглашению герцога Эрнста-Людвига Гессенского. При его покровительстве и участии ряда аристократов как ее попечителей она начала действовать с 1919 года. Занятия проводились в форме докладов и непосредственного общения слушателей с выдающимися интеллектуалами и личностями Европы, которых руководитель школы – Г. Кайзерлинг – признавал духовными личностями. Занятия проходили в виде двухнедельных собраний (Tagungen), на которые раз в полугодие съезжались лекторы и слушатели из различных стран

и мест Германии. Школа действовала фактически до прихода к власти нацистов. Ее педагогика строилась на технике непосредственного контакта всех участников при лидерстве руководящего духовного лица, которое передавало свою духовность адептам. В ней принципиально не было выражено никакого национального начала. Предполагалось, что в ней зреют новые духовные личности, будущие лидеры возрождающегося человечества. Они должны воспринять и освоить духовную сторону двух основных типов культур: западной и восточной. Ранее мы уже охарактеризовали понимание Кайзерлингом сущности западной культуры, закрепленной в понятии «Культура-уметь» (Können-Kultur). В противоположность созерцательности и неконструктивности восточных стилей жизни, склонности к пассивному углублению в данность сущностей, принципиальное неприятие преобразовательного отношения к миру было им закреплено в понятии «Культура-быть» (Sein-Kultur). Безмятежное принятие мира как данности и постижение его в этом статусе – таково основное отношение к нему человека Востока. Среди учителей «Школы мудрости» были представители обеих культур или компетентные знатоки их сущностей. Отбор был тщательным и проходил под контролем Кайзерлинга. Иногда требовались рекомендации. Вот некоторые из лиц, входивших в корпус преподавателей школы в разные годы: Э. Трёлоч – философ культуры и историк, Л. Циглер – философ и религиозный мыслитель, К.Г. Юнг – теоретик психоанализа, М. Шелер – философ, один из создателей теории ценностей, Л. Фробениус – этнограф-африканист, Г. Дриш – биолог и философ-виталист, Р. Тагор – знаменитый индийский поэт и философ, Т. Манн – крупнейший немецкий писатель XX века. Конечно, главным учителем был сам руководитель «Школы» – Г. Кайзерлинг. Нам известно, что делались попытки привлечь к работе в «Школе» и русских: Н. Бердяева, Л. Шестова, А. Таирова, А. Ремизова.⁴⁷

Наряду со «Школой мудрости» было основано «Общество для свободной философии», также проводившее свои мероприятия в духе идей ее основателя. «Школа мудрости» в реальности было учреждением элитарного типа, местом встреч элиты европейского общества с выраженным аристократическим духом. Целый ряд признаков говорит об установке на утверждение ее лидера и организатора в качестве духовного вождя и прокладывателя дорог к новой культуре и обществу. В такой же роли видел себя и сам Кай-

зерлинг. При таком положении вещей, конечно, ни о каком согласии его с нацистским режимом не могло быть и речи. Ни его дух, ни его вожди не были приемлемы для него. Но и сил для реальной оппозиции ни сам Кайзерлинг, ни его «Школа», ни его соратники по делу возрождения культуры не имели. Самое большее, на что они могли решиться пойти, была «внутренняя эмиграция» – некий способ пассивного неприятия и сопротивления террору. В ней находились многие интеллектуалы тогдашней Германии, например, Карл Ясперс. В ней находился и Германн Кайзерлинг почти во все время господства фашистского режима.⁴⁸ Политический террор его непосредственно не коснулся. Возможно, имела значение его принадлежность по браку к семье потомков Бисмарка, официально почитаемого в Германии.

Почти все виды деятельности Кайзерлингу были запрещены. Попытка перенести работу «Школы мудрости» за рубеж не удалась.

С годами росло одиночество, усталость. Досаждали недуги, которые он переносил мужественно, недоедание. Годы войны он провел в Австрии, в Иннсбруке, где и застал его конец войны. Воскресли прежние планы возродить «Школу мудрости», на сей раз в Австрии. Оставшиеся члены «Общества за свободную философию» даже сделали кое-какие приготовления. Делу содействовали и французские оккупационные власти. Но было поздно. 26 апреля 1946 года он скончался. На скромных похоронах присутствовали официальные власти.⁴⁹ За смертью настала пора почти полного забвения жизни и дела Германна Кайзерлинга. Но сохраняется надежда, что оно не окончательное и к его философии обратится ищущий путей к духовности наш современник.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Философская Энциклопедия. Т. 2. С. 489; *Хюбшер А.* Мыслители нашего времени. Пер. с нем. М., 1962.

² *Keyserling H.* Das Reisetagebuch eines Philosophen. Bd. 2. Darmstadt, 1919.

³ К этому времени в медицинской практике европейских докторов утвердился рецепт от хандры, изнуряющей скуки и пресыщенности комфортом в виде предписания совершить путешествие вокруг света.

⁴ Мысль. Журнал Петербургского философского общества. Пг., 1922. № 2. С. 146.

⁵ Имеется библиографическая справка о выходе в 1928г. книги *Ш.К. Нуцубидзе* «От Шпенглера до Кайзерлинга. Эволюция идеологии в послевоенной Германии». К сожалению, ее поиски в библиотеках не дали пока результатов.

⁶ Г. Кайзерлинг неоднократно обращался к собственной биографии и родословной, в том числе в контексте своих культурфилософских рефлексий как к источнику философско-антропологических суждений и в поисках корней и истоков духовной творческой созидательности личности. См.: *Keyserling H.* Autobiographische Skizze // *Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen*. Bd. 4. Leipzig, 1923; *он же*: Das Buch vom persönlichen Leben. Stutt.-Berl., 1936; *он же*: Reise durch die Zeit. Bd. 1. Vaduz, 1948. Наряду с этим история рода Кайзерлингов довольно подробно воспроизведена в генеалогических разысканиях *Отто Таубе*, см.: *Das Buch der Keyserlinge. An der Grenze zweier Welten. Einführung von Otto v. Taube*. Berlin, 1944. В данной статье мы также пользуемся исследованием *Барбары Гарте*, см.: *Garthe B.* Über Leben und Werk des Grafen Hermann Keyserling. В дальнейшем мы постараемся не утомлять читателя ссылками.

⁷ См.: *Fromm E.* Das Kantbildnis der Gräfin Karoline Ch. A. von Keyserling // *Kant-Studien*. 1899. Bd. 2.

⁸ *Куно Фишер.* Гегель, его жизнь, сочинения и учение. Первый полутом. М.-Л. 1933. С. 603.

⁹ Его личности посвящена довольно обширная биографическая литература, включая воспоминания внука. На русском языке имеется его биографический очерк: *Вл. И. Штейн.* Царедворец – ученый // Исторический вестник. Т.24, март-апрель, 1903. В некоторых справочных изданиях он слывет за Александра Андреевича.

¹⁰ The geology of Russia in Europe and the Ural Mountains, by R.I. Murchison. Ed. de Verneuil, count A. von Keyserling. In two volumes. 1845. Первый том собственно геологический, второй – на французском языке, – посвящен палеонтологии. Именно в экспедиции 1841 года Мурчисон, занимавшийся классификацией геологических эпох и их сравнением обозначил древнейшую палеозойскую систему «пермским периодом» (S. XI-XII).

¹¹ Keyserling A. Einige Worte ueber Raum und Zeit. Aus Tagebuchblattern des Grafen A. Keyserling. Stuttgart, 1894.

¹² Keyserling A. Gedächtnissreale auf Carl Ernst von Baer. Reval, 1892. О степени известности А. Кайзерлинга в научном мире Европы можно заключить из факта, что он вошел в число тех ученых, кому Ч. Дарвин выслал свою книгу «О происхождении видов» с дарственной надписью.

¹³ Das Ehe-Buch. Eine neue Sinngebung im Zusammenhang der Stimmen führenden Zeitgenossen. Hrsg. von Graf H. Keyserling. 3-te Aufl. 1926. Для участия в подготовке этой книги, претендующей на новую постановку проблемы брака, Кайзерлинг привлёк выдающихся ученых-психологов, этнографов, писателей и общественных деятелей. Среди них были Лео Фробениус, А. Адлер, К.Г. Юнг, Э. Кречмер, Рабиндранат Тагор, Томас Манн. Но только сам Кайзерлинг потщился на радикализм осмысления всей проблематики, не получившей сколько-нибудь значимой поддержки у других участников научного предприятия. В духе его «философии смысла» брак выступал особой формой реализации духовно-душевной общности, достигаемой ради «обретения смысла» в постижении целостности бытия. Из этих общих созерцательных предпосылок философ претендует дать универсальные ориентиры относительно «правильного выбора супругов». Впрочем, книга имела некоторый успех в Германии и выдержала ряд переводов.

¹⁴ Жизнь кружка была стилизована под обычаи римлян августовской эпохи. Сам Стефан Георге находил в своем облике черты Данте, подчеркивая сходство облачением в одежды, соответствовавшие времени жизни последнего. Было принято выражать удивление таким удивительным сходством между поэтами, которое Стефан Георге поддерживал соответствующими позами и аскетизмом. Острый взгляд Кайзерлинга увидел в этой нарочитости смешную гротескную сторону. На вопрос, правда ли, что Георге напоминает Данте, писатель ответил: «Нет. Он выглядит не как Данте, а как старая дама похожая на Данте».

¹⁵ Chamberlain H.S. Die Grundlagen der neunzehnten Jahrhunderts. München, 1899. Это сочинение было своего рода сенсацией и выдержало бесчисленное количество переизданий.

¹⁶ Дудник С.И., Солонин Ю.Н. Парадигмы исторического мышления XX века. Очерки по современной философии культуры. СПб, 2001. С. 77-137.

¹⁷ Chamberlain H.S. Richard Wagner. München, 1907; *Cosima Wagner und Houston Stewart*. Chamberlain in Briefwechsel. 1888-1908. Hrsg. von Pretzsch. Leipzig, 1934.

¹⁸ В момент общения Кайзерлинга с Чемберленом, последний работал над большим сочинением о Канте, которое он посвятил своему юному адепту.

¹⁹ Chamberlain H.S. *Arische Weltanschauung*. Berlin, 1905; имеется несколько русских изданий этого сочинения.

²⁰ Там же. С. 85.

²¹ Там же. С. 84.

²² Keyserling H. *Das Gefüge der Welt. Versuch einer kritischen Philosophie*. München, 1906. S. 6. Принцип целостности и идея продуктивности как главной меры ценности всякого, в т.ч. и умственного, действия, относятся к постулатам гётевского учения.

²³ Вена как философская столица начала получать свое признание в работах последнего времени. Например: Криштоф Нири. Философская мысль Австро-Венгрии. М., 1987; Черепанова Е.С. Австрийская философия как самосознание культурного региона. Екатеринбург, 2000.

²⁴ Вспоминаю свой разговор о Г. Кайзерлинге с княгиней Татьяной Меттерних (урожденной Васильчиковой), княгиня говорила о 20-30-х годах: «...когда появлялся Кайзерлинг, все замолкали. Говорил только он один. Он знал все и его нельзя было сбить с толку никаким вопросом. При этом он пил только шампанское».

²⁵ Ее не мог принять даже такой терпимый кантианец с модернистическим уклоном, как Ганс Файхингер, посвятивший кантовским штудиям Чемберлена особую работу: *Vaihinger H. Houston Stewart Chamberlain – ein junger Kants // Kant-Studien*. 1902. Bd. 7. S. 432-439.

²⁶ Dyserinck H. *Die Briefe Henri Bergsons an Graf Hermann Keyserling // Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*. 1960. Jg. 34. Hf. 2.

²⁷ В заглавии имеется ускользающее в переводе сближение и созвучие противоположных по значению слов: «Verbilder» от «verbilden» – искажать, уродовать и «Vorbilder» – образцовый, примерный человек.

²⁸ Keyserling H. *Prolegomena zur Naturphilosophie*. München, 1910. S. 4.

²⁹ Там же. С. 7.

³⁰ Keyserling H. *Menschen als Sinnbilder*. Darmstadt, 1926. S. 49.

³¹ Keyserling H. Ibid. S.49.

³² Chaberbain H.S. Lebenswege meines Denkens. München, 1919.

³³ Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М., 1989; Он же. Начало века. М., 1990; Он же. Между двух революций. М., 1990. Сам мемуарист испытал на себе силу такого подчинения, идущую не только от кружка Мережковских или теософов круга Р. Штейнера, но и от Эмилия Метнера, русского вагнерианца и одновременно поклонника Чемберлена, особенно в части его учения о деструктивной роли еврейства в культурной истории Европы. См. очень содержательную книгу по этому вопросу: Юнггрен Магнус. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб., 2001.

³⁴ Chamberlain H.S. Arische Weltanschauung. S. 3-4.

³⁵ Keyserling H. Das Spektrum Europas. Heidelberg, 1928. S. 13-14.

³⁶ Keyserling H. Amerika. Der Aufgang einer neuen Welt. Stutt.-Berlin, 1931. Книга, как видно из предисловия, писалась изначально для американского читателя на английском языке.

³⁷ Keyserling H. Reisetagebuch eines Philosophen. München/Leipzig, 1919. Vorbemerkung.

³⁸ Ibid.

³⁹ Keyserling H. Menschen als Sinnbilder. S. 54.

⁴⁰ Keyserling H. Reisetagebuch eines Philosophen. S. 9.

⁴¹ Историками книгоиздательского дела в Европе отмечен удивительный факт, что в неблагополучной послевоенной Германии невообразимо вырос спрос на книги. По объему печатной продукции в 20-е годы она занимала 1-е место в мире и в год появлялось более 40 тыс. наименований книг.

⁴² Поражает совпадение судеб обоих шедевров мировой культурологии. Книга О. Шпенглера тоже была закончена в канун войны, которая задержала ее выход на 4 года.

⁴³ Keyserling H. Spengler der Tatsachenmensch // Keyserling H. Menschen als Sinnbilder. S. 14.

⁴⁴ В годы войны им опубликовано несколько публицистических статей на темы войны в Англии и США: Keyserling H. On the meaning of the war // Hibbert-Journal. Oxford. April. 1915; Он же. A philosophical View of the War // Atlantic Monthly. Boston. February. 1916.

⁴⁵ Keyserling H. Europas-Zukunft. Zürich, 1918; Он же. Deutschland wahre politische Mission. Darmstadt, 1919; Он же. Unsere Beruf in der veränderten Welt. Darmstadt, 1919; Он же. Politik, Wissenschaft, Weisheit. Darmstadt, 1922.

⁴⁶ Нижеследующий эскиз воззрений Г. Кайзерлинга дан по его статье «О продуктивности недостающего», помещенной в его книгу «Люди как символы».

⁴⁷ О «Школе Мудрости» есть довольно обширная литература. См.: Briefwechsel Graf Hermann Keyserling – Oskar Schmitz. Aus den Tagen der Schule der Weisheit. Darmstadt, 1970. О ее программе см.: *Keyserling H. Schöpferische Erkenntnis*. Darmstadt, 1922.

⁴⁸ Родственник Г. Кайзерлинга по побочной линии вспоминает: «Граф Кайзерлинг в июле 1933 года говорил: «Гитлер по своему почерку и физиогномии являет выраженный тип самоубийцы. Этим он воплощает черты немецкого народа, который всегда был влюблен в смерть, постоянно возвращающееся переживание которой составляет беду Нибелунгов. Гитлер устремлен навстречу грандиозной гибели, которая вызывает в нем восторг». Некрофильный характер психики Гитлера был обычной констатацией всех психоаналитиков. См.: *Keyserling R.-V. Unfinished History*. Hale, 1948. P. 287.

⁴⁹ *Graf Hermann Keyserling Gedächtnisbuch... Hrsg. von Keyserling-Archiv. Innsbruck-München, 1948.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издателя	3
Предисловие к немецкому изданию	5
Введение	9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

АМЕРИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТ	21
---------------------------------	----

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКИ	120
Примитивность	120
Животный идеал	150
Социализм	185
Приватизм	218
Идеализированный ребенок	260
Женское господство	282
Демократия	343
Морализм	371
Культура	412
Духовность	440
Труды графа Германна Кайзерлинга	480

Ю.Н. Солонин, Ю.Л. Аркан

Между созерцательностью и активизмом.	
Жизнь и труды графа Германна Кайзерлинга	483

Германн фон Кайзерлинг

Америка.
Заря нового мира

Санкт-Петербургское философское общество
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 5.
ЛР № 000217 от 20.07.1999

Директор издательства: К.В. Родченко
Редактор: А.М. Большаков
Макет: А.В. Малинов
Предпечатная подготовка: А.В. Андриенко

Сдано в набор 5.01.2002. Подписано в печать 17.09.2002
Формат 84 X 108 1/32. Бумага офсетная. Объем п.л. 33,1
Тираж 1000 экз. Заказ № 45.

Отпечатано в типографии БИОНТ
199026, Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, 86.
тел. (812) 322-68-43